Георгий Гулиа

Фараон Эхнатон

Елене и Дмитрию Гулиа, моим родителям

От автора

Есть вещи незабываемые. Незабываем, например, Древний Египет, или, как называли его сами египтяне, Кеми.

Всякий, кто попытается постичь истоки мировой цивилизации, тот неминуемо придет в Египет. А кто однажды прикоснулся к его истории, архитектуре, скульптуре, литературе, тот на всю жизнь становится духовным пленником во многом таинственного для нас государства Кеми.

По мере того, как мы удаляемся от седой древности, интерес к Кеми все растет и растет. Во всем мире. Не удивительно, что и я оказался в числе завороженных и тридцать лет изучал историю и искусство этой страны.

За три тысячи лет на египетском троне восседали фараоны тридцати династий. Наверное, их было намного больше двухсот – этих полубогов в бело-красной короне. Одни из них царствовали необычайно долго, другие – очень краткое время. Рамзес Второй правил шестьдесят семь лет. Его рекорд побит только фараоном Пиопи Вторым: почти сто лет! (Какой ужас, даже если и всамделишный полубог!) А Шешонк Второй так и не успел вкусить от единовластия: он умер во время совместного с фараоном Осорконом Вторым правления. Большинство царей переселилось на поля Иалу в результате естественной смерти. Большинство, но не все. Аменемхет Первый, например, был убит в своей спальне. Поздней ночью…

Я хочу сказать, что фараоны были разные, с различными судьбами. Были среди них и те, что поумнее. Находились и поглупее. Были воинственные. И менее агрессивные. Но деспотами были все. Поголовно все!

В длиннющей веренице фараонов особенно выделяется один.

Он бесстрашно свергнул бога небесного Амона – более чем тысячелетнего по возрасту, немыслимо сильного своими земными связями. Свергнув Амона, провозгласил культ единого – осязаемого, зримого – бога Атона, солнечного диска.

Звали фараона Эхнатон.

Он не отличался воинственностью, подобно Тутмосу Третьему. Зато царствование его богато великолепными мастерами – гениями зодчества, ваяния и живописи

При жизни к нему относились по-разному. Спустя три тысячи лет ученые-египтологи также относятся к нему различно. Это даже удивительно! Одни пишут о нем восторженно, слишком восторженно. Другие обливают грязью. Равнодушным не остается никто!

Брэстед называет его так: «Первый индивидуалист истории», «Самая замечательная фигура на Древнем Востоке». Кеес пишет: «Этот болезненный, безобразный деспот, необузданный в мыслях и в поведении». Перепелкин и Коростовцев, по-моему, держатся середины.

Послушаем Уэли: «Эхнатон сказал „первое солнечное слово“ – и Бернара: „Бесноватый эпилептик, вышедший из ада, чтобы разрушить осирическое предание“

А вот мнение Гардинера: «Быть таким умным, как он, в те времена значило навлечь несчастье». А Шарф осуждает Эхнатона как государственного деятеля, пренебрегшего интересами своей страны.

Питри говорит: если бы культ Атона «был новой религией, призванной для примирения с нашими научными понятиями, мы не нашли бы изъяна в верности этого взгляда на энергию Солнца». Антес инкриминирует Эхнатону неограниченный рационализм. Ланге, напротив,

высоко оценивает духовную мощь Эхнатона, стоявшего «по ту сторону рассудочного, явившегося из глубин, чтобы выполнить миссию египетской культуры».

Вейголл видит в нем блаженного эпилептика и предшественника Христа. Майер и Масперо объясняли реформы Эхнатона борьбой со жречеством. Павлов пишет: его «учение… нанесло тяжелый удар по консервативному фиванскому жречеству». А вот что говорила Матье: Эхнатон «пошел на открытый разрыв со знатью и жречеством…», «солнечный диск… был объявлен создателем мира и всего этот мир населяющего». Уилсон утверждает, что «революционная» партия Атона была «равнодушна к захвату колоний и к захвату Азии».

Я назвал имена и привел мнения, известные египтологам всего мира.

Таков диапазон суждений о личности и реформе его величества Нефер-Хеперу-Ра Уен-Ра Эхнатона (он же Наф-Хуру-Ра, он же Аменхотеп Четвертый! Можно подумать, что фараон скончался только вчера.

Я знаю о нем все или почти все, что может знать человек, живущий в нашем веке. Я прочитал о нем гору научных книг и часами вглядывался в его скульптурные изображения в каирском музее. Однако книги слишком умозрительны, а камень чрезмерно холоден.

Я ходил по земле Ахетатона, нынешней Эль-Амарны. Как известно, палеонтологи по одной кости воспроизводят образ мамонта. По прелестному мраморному порогу на развалинах дворца Нефертити или даже огромному мозаичному полу Ахетатона трудно вообразить, что здесь было: столица Эхнатона растаяла, как ледяной дом. Но кое-что все же можно представить себе, призвав на помощь рисунки из гробниц и шестое чувство…

Так обстоит дело.

А теперь обратимся к нашему рассказу. Он начинается в первых числах месяца фармути (январь – февраль) и заканчивается в середине месяца паони (февраль – март) 1347 года до рождества Христова.

Место действия – столица Кеми Ахетатон.

Часть первая

На переправе

Можно ли уловить границу ночи и утра? Да, вполне. Если даже наступил месяц фармути с зябнущим в полночь небом и предрассветной зимней прохладой. Ты всегда уловишь эту границу, если стоишь на берегу царицы рек Хапи[1]; если прошел огонь пустыни и жег себе пятки на песчаной сковороде; если ты зол и голоден; если сердце твое стало камнем и каждое слово твое, что рычанье льва…

– Я долго ждал этого мгновения, – негромко сказал Нефтеруф. Он дышал, как раненый зверь. – Я сказал себе: если увидишь, Нефтеруф, то, что увидишь, – считай себя безмерно счастливым. Так говорил я себе, Шери, идя по раскаленным угольям пустыни, дыша зноем земли и обжигая себе ноздри. Я был хуже собаки, Шери: я готов был жрать падаль.

В шагах ста была переправа. Нефтеруф и Шери слышали плеск воды и приглушенный людской говор. На границе ночи и утра и тихий плеск, и тихий говор – явственней, чем днем, когда все звуки мира соревнуются между собою.

Кто-то доказывал, что ладья переполнена, что края бортов ее – всего на локоть от воды, что он не вправа нарушать приказ главного начальника переправ его светлости Пауаха. Другой – глуховатый, степенный голос – возражал ему: дескать, есть еще в ладье места, что ему, как гонцу, должно оказываться особое внимание, что нельзя его заставлять ждать. Перевозчик упрямо стоял на своем. А гонец настойчиво требовал. Наконец в спор вмешалось несколько голосов, и невозможно было понять что-либо..

Но вот зажегся фонарь на носу, и ладья медленно отчалила. Судя по всему, гонца

---

[1] Хапи – Нил.

пришлось взять…

– Я узнал его голос, – сказал Нефтеруф и заскрежетал зубами. Как в лихорадке.

Это был рослый круглолицый мужчина. Грязные лохмотья прикрывали его тело, и можно было понять его желание как можно раньше – еще до света – переправиться на тот берег. Его крепкие, как стекла из Джахи, зубы сверкали в темноте, свидетельствуя о телесной мощи.

Настоящее имя его было совсем другим: Усеркааф или Усеркееф. Оно не похоже на Нефтеруфа, так же как этот грубый оборванец-здоровяк – на аристократа из Уасета по имени Усеркааф или Усеркееф. Человек не властен над временем, и обстоятельства порой сильнее самого времени…

– Этот гонец разыскивает меня, Шери.

Шери сказал:

– Нефтеруф, ты слишком подозрителен, и тебе мерещится преследование. За тобою помчались вверх по Хапи, а сам ты – здесь, у стен столицы.

Шери стоит позади Нефтеруфа, точно скрывается от глаз, наблюдающих за ним с того берега. У фараона – надо отдать справедливость – глаза ястребиные, и гнев его простирается по всей вселенной. Поэтому надо быть постоянно начеку, надо иметь десять глаз и десять ушей. И никогда не пренебрегать осторожностью! Рожденные в это проклятое время, живущие на одной земле с фараоном вынуждены заимствовать звериные повадки: чаще ползти на брюхе, а не ходить в полный рост, и выбирать густые тени, избегая света. В Ей-н-ра[2], откуда происходил Шери, давно и хорошо усвоили эту истину. Еще во времена Нармера и Хуфу.

И по характеру своему, и по внешнему виду Шери отличался от Нефтеруфа. Худощавый Шери был совсем иным. Он как бы восполнял то, чего недоставало Нефтеруфу. Нефтеруф готов был идти очертя голову через Великую Западную пустыню, чтобы добиться своего. А Шери предпочитал плодородные, хотя и далекие, берега Великой Зелени[3]; кружной путь – прямому. Ей-н-ра испокон веку находился под боком у великого города Мен-Нофера[4], и соседство это кой-чему научило горожан Ей-н-ра. Невысокий, жилистый, малозаметный среди толпы, Шери как бы самой природой был создан для замыслов коварных, для маневров обходных, для нападений сзади, ударов в спину – меж лопаток.

Его родители владели обширными землями в Дельте. Их дома считались первыми в Ей-н-ра. Воистину уважаемые люди прекрасного и славой стародавней, и внешним обликом города! Так что же случилось? Почему некогда блистательный Шери вынужден ни свет ни заря бродить по пустынным берегам и проклинать толстые и высокие стены на том берегу? Почему достославный Нефтеруф должен уподобляться гиене, живущей вдали от людей? Все, все перевернул вверх ногами женоподобный человек, спящий в эти мгновения за толстыми и высокими дворцовыми стенами Ахетатона, и рассказ обо всем этом – дело не одного дня…

Шери повторил:

– Нефтеруф, ты слишком подозрителен. Это ремесленники направляются в город. Это лгун, объявивший себя гонцом, требовал для себя места.

Нефтеруф разжал кулак, и в темноте перед глазами Шери – очень близко – возникла грубая ладонь, пахнущая потом.

– Ты видишь ее? – спросил Нефтеруф. – Это пустая ладонь, и любая складка на ней – точно знак на обелиске – ясна и понятна. Вот так же ясно мне и понятно все, что творится на многострадальной земле Кеми! Я вижу душителя нашего с царскими знаками отличия в руках. Вижу и тех, кто задыхается от трудов и забот. Вижу знать – великую опору Кеми во все времена, во все времена! Я хочу сказать, Шери, что слышу не только ушами, но и

---

[2] Ей-н-ра – Гелиополь.

[3] Великая Зелень – так египтяне называли море, в частности Средиземное.

[4] Мен-Нофера – Менфис.

сердцем, вижу не только глазами, но и душой. Повержен Амон, боги наши преданы проклятию, и все способные мыслить гниют на золотых рудниках. Я говорю это, потому что видел все своими глазами. Я пил гнилую воду и ел падаль. И я пришел сюда, где не ждали меня и не ждут, где враги мои, где логово врагов моих. Вот куда я пришел!

Нефтеруф говорил горячо, и каждое слово – будто рык львиный.

Ладья плыла где-то посредине Хапи. Ее носовой огонь был виден четко, как звезда Сотис[5]. А на том берегу – слева направо – дома, дома, дома. Точно шествие в большой праздник. И меж ними – будто солнце – огромный дворец. Он возникал на границе ночи и утра, как видение, как мираж в Западной пустыне. Подножия стен его тускло освещались сторожевыми огнями, в то время как крыша чернела четким силуэтом на темно-темно-зеленом небе. Деревья из загадочного Пунта и деревья из Ретену[6], кустарники с острова Иси[7]и деревья из Джахи[8]чередой следовали друг за другом по всему берегу. И земля для них была привезена издали, и деревья были посажены в ту землю, и зеленели деревья так же зелено, как в Пунте, Джахи или Ретену.

– Дорога фараона идет вдоль реки? – сердито спросил Нефтеруф.

– Она идет вдоль. И дворец и храм выходят на ту дорогу. И она прямая как стрела.

– Куда же я должен идти?

– Сойдя на тот берег – налево! Ты увидишь пекарню и обогнешь ее. Узкая улочка выведет тебя на площадь, тесную, как комната. Становись лицом к востоку – там будет дом. И ты увидишь окно, единственное в своем роде: широкое и высокое. Это красавица Ка-Нефер устроила его так, чтобы гулял в доме сквозной ветер. Устроила на манер хеттов. Я скажу тебе сущую правду: она будет тебе другом. Как мужчина.

Для Нефтеруфа этой рекомендации было мало. Великая подозрительность гнездилась в его сердце, и он не мог довериться женщине, особенно если она красива.

– Она красива. Очень красива и приятна собой, – подтвердил Шери, – но голова ее – вместилище мужской доблести и мудрости.

– Кто ее муж?

– Он – рисовальщик и ваятель. Человек молодой и тихий. Родился и вырос в Уасете. С утра он месит глину или долбит камень.

– Есть ли у нее дети?

– Она бесплодна.

Внизу, на переправе, появился какой-то человек.

– Шлюпку для гонца! – крикнул он.

Где-то в камышовых зарослях заплескалась вода под веслами.

– А кто требует? – донеслось оттуда.

– Гонец из Абу[9]! К его величеству фараону – жизнь, здоровье, сила!

– Шлюпка идет к причалу!

Нефтеруф схватил Шери за руку.

– Слышишь? – прошептал он.

– Да.

– Из Та-Нетер[10]!

– Да.

– Это за мной!

– Нет!

---

[5] Звезда Сотис – звезда Сириус.

[6] Ретену – Ассирия.

[7] Остров Иси – о. Кипр.

[8] Джахи – Финикия.

[9] Абу – Элефантина, древнегреческое название острова на р.Нил.

[10] Та-Нетер – Пунт – по-видимому, современное Сомали и близлежащие земли.

– Он сообщит, что я бежал.

– Может быть. Но ведь бежишь не только ты один. Не только тебе опостылела жизнь в золотых рудниках.

– Это верно.

– Люди встают для битв.

– …и победы!

Гонец, как видно, уселся в шлюпку. И она поплыла к другому берегу. Эти двое проводили ее взглядом до самой середины реки, где она смешалась с предрассветными тенями.

Нефтеруф не сводил глаз с города и его главного дворца. Это чудо, воистину чудо, сотворенное за три года! Вырос город, вырос город на ровном, пустынном месте. Город, не уступающий красотой прославленной Ниневии[11] и даже самой столице хеттов! Но это – красивый, проклятый город, и строил его проклятый человек…

– Курва он, курва! – задыхаясь, проговорил Нефтеруф.

Шери понял, о ком речь…

«…Этот женоподобный ублюдок загнал нас в нору. Мы едим в той норе землю. И в наших глазах – песок! Знать всей Кеми – в той самой норе. Он загнал нас в нору! Я пришел сюда умереть. Но умру не только я! Не только я! Не для того шел я через пустыню и не для того ел землю…»

Нефтеруф чуть не рвал одежду на себе; гнев его беспределен. Это был взбесившийся буйвол.

– Курва он! Слышишь, Шери?! Сволочь он, сволочь, сволочь, сволочь!..

Шери усадил его на землю. Чтобы поостыл Нефтеруф. Чтобы разум его возобладал над гневом… Долго еще ругался Нефтеруф, а потом – утих. Ровнее задышал. Успокоился. Совсем. Прошел самум, и все улеглось…

И они снова вернулись к Ка-Нефер.

– Мне она обязана жизнью, – сказал Шери. – Десять лет тому назад, когда выстроили этот проклятый Ахетатон, ее чуть было не выкрали вавилонские купцы. В провинции Гошен я повстречал их, и она бросилась ко мне. Мать ее хеттитка, а отец – отважный воин из Мен-Нофера. Я спас двенадцатилетнюю девочку из плена. Воистину это львица в облике кроткой девы, и слово мое для нее – закон. Она ждет тебя.

Шери передал своему другу кусок папируса – точнее, обрывок – с печатью на нем и коротким, малопонятным для постороннего набором заветных слов…

Нефтеруф жадно выискивал в странной темноте очертания ладьи. По его расчетам, она уже плывет обратно. Он непременно должен попасть на нее, иначе рассветет, а этого очень не хотелось бы…

– Сколько ему лет? – жестко спросил Нефтеруф, стоя лицом к реке.

Шери ответил:

– Тридцать четыре. А может, тридцать пять.

– Он моложе меня на десять лет.

– Да, но он плюгавенький.

– А такие живут до ста.

– О нет!

– А я говорю, до ста! – Нефтеруф резко поворотился к Шери: – Я, кажется, с ума схожу.

– Уймись же, Нефтеруф!

– Наверное, нет более наших богов! Нет их в целом свете!

– Не богохульствуй!

– Ни Амона-Ра, ни Озириса, ни Изиды, ни Гора, ни Тота… Никого нет!

– Помолчи же!

Нефтеруф поднял вверх кулачища:

---

[11] Ниневия – столица Ассирии.

– Тогда зачем же они все это сносят? Откуда их бессилие? Ответь мне, Шери!

Шери сказал:

– Они молчат до поры до времени. Но приговор их будет суров.

– Ерунда!

– Он будет подобен грому.

– Чепуха!

– Они низринут его…

– Они? Никогда!

– И суд их будет воистину потрясающим!

– Только мы с тобою можем судить его!

– С их помощью, Нефтеруф, с их помощью…

Нефтеруф снова выругался, точь-в-точь как там, на рудниках От такого ругательства впору затыкать уши. И он сказал, строя гримасу на лице, будто ел прокисшую винную ягоду.

– Открой мне, в чем сила этого женоподобного? Я никогда не поверю, что Кеми держится на горбу Эхнатона. Никогда! Я должен доподлинно знать, где тот столп, на который опирается свод нашего государства. Надо знать врага истинного, а не подставного. Кто же тот могущественный враг, который упек меня в жуткую дыру? Кто закинул туда, чуть ли не к истокам Хапи? Посмотри, скажу не хвастая, могу вступить в единоборство со львом. Не отступлю от зверя! И чтобы одолел меня этот человек с округлым женским задом? Да я же его и человеком не считал! Его покойный отец, чье имя сын соскреб со всех камней, вызывал уважение к себе. Хотя бы видом своим. А этот?.. Курва он – вот кто!

Шери прошелся быстрым взглядом по верхушкам дворцов, мысленно представил себе ненавистного фараона.

– Он… – проговорил Шери зловеще.

– Что – он?

– Он способен на все!

– Не верю.

– На многое… Если мы с тобой пренебрежем хотя бы малейшей осторожностью – очутимся в подземелье. И ты и я. Оба вместе!

– Ты не трус, Шери.

– Как будто так.

– Поэтому я верю тебе… Но ведь всё – буквально все! – говорит о его малодушии…

– Например? – сухо спросил Шери.

– Враги теснят его повсюду…

– Точнее: где?

– Хетты на Севере… В Ретену… Эфиопы бьют..! Не довольно этого?

– Нет.

– Почему?

– Потому что он может согнуть нас с тобой в бараний рог. Для этого достанет у него и силы и воли. Рекомендую тебе: осторожность, осторожность и еще раз осторожность!

– Но ведь этак можно превратиться в бездельника. Осторожность хороша, когда она точно отмерена.

– Об этом и идет речь.

– Между тем ты отдаешь меня в руки некоей красавицы. Тут, по-моему, предосторожностью и не пахнет…

– О нет! – Шери остановил его властным жестом. – О нет, ты не прав. Вот встретишься с нею. Потом мы повидаемся с тобой. И тогда скажешь свое мнение. А до того, прошу, не настраивай себя против Ка-Нефер. Мне это очень неприятно… Она тебя познакомит с его светлостью Хоремхебом…

– Светлостью?! – воскликнул Нефтеруф. – И Хоремхеб стал светлостью! Вот в какое чудное время мы живем! Я могу представить себе любую светлость, но только не этого мужлана…

Шери дал ему выговориться. Бывший каторжник сыпал словами, перемешанными с проклятьями и отборной руганью. Неблагоразумно было останавливать его – на это потребовалось бы слишком много сил.

«…Он очень сердит, он очень обижен. Воистину этот Нефтеруф явился сюда, в Ахетатон, чтобы совершить правосудие. Если не этот – тогда уж никто! Ибо никто так не обозлен, как Нефтеруф, и нет человека сильнее Нефтеруфа. Он свое сделает. Он обязан сделать это!..»

– Ты свое сказал, Нефтеруф?

– Не совсем.

– Я подожду. Я не тороплюсь. Я слушаю.

Шери говорил очень тихо и очень спокойно и сумел этим нехитрым способом остановить горячего друга.

– Спокойствие, спокойствие, Нефтеруф, – сказал Шери.

– Не могу слышать это слово! Если бы ты пробыл в дыре, которая именуется золотым рудником в Желтых горах, – вел бы себя иначе. Тогда бы ты схватил камень и постарался бы забросить его во двор этого проклятого дворца. – Нефтеруф кивнул туда, за реку. – Бросить в надежде, что он попадет по назначению…

– Сейчас тебе придется сойти к реке…

К переправе подплывала черной тенью огромная ладья. Да, надо идти… Шери счел необходимым еще и еще раз предупредить своего единомышленника.

– Нефтеруф, мы с тобой будем связаны. Невидимо для чужих глаз. Ка-Нефер – хороший посредник. Ты обживись в этом городе. Постарайся не выдать себя. Ты понял меня? Не выдать! Я обращаюсь к твоему разуму: возьми себя в руки, остуди себя.

– Мне обидно. Очень обидно. Я готов рыдать…

– Остуди себя!

Нефтеруф как бы обращался к самому себе:

– Вот мы оказались в одном ряду с жалкими простолюдинами. Мы взялись с ними за руки. Как равные. Они сделались нашими союзниками. Скоро мы будем кланяться им. Благодарить их!.. «Спасибо вам, спасители наши! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо…»

Нефтеруф – этот лев – согнулся в три погибели, словно нищий, и кланялся, кланялся, кланялся…

– Остуди себя! – приказал Шери.

– Нет, это очень неверно, – сказал Нефтеруф, вдруг выпрямившись и странно улыбаясь. – Послушай, Шери: вот стоишь ты, потомок великого рода, а рядом с тобою – грубый, недостойный, полуголодный мужик. И ты в союзе с ним, ты называешь его братом, ибо вы оба – против фараона. Так повернулось время! Так повелели события! Против твоей воли. И против моей. И мы бессильны поступить иначе: мы должны крепко держаться этого союза с теми, кто копошится в грязи! С этими жалкими немху[12]!

Нефтеруф сплюнул. Ему было противно. Все противно! Ненавидел себя, Шери, весь мир!

А Шери поразительно спокоен.

– Ну что ж, – говорит он, – подержим немного грязную лапу, знак союза, – лишь бы одолеть этого. – И совсем шепотом. Эдаким зловещим: – Этого! Это чудовище! Это омерзительное создание!.. Думай только об этом… Только об этом. Ибо он жаждет твоей крови, а не сапожник какой-нибудь. Он, а не крестьянин. Он, а не рыбак. Он, а не харчевник. Он, а не мелкий писец. Он, а не пахарь. Он, а не каменщик. Он, а не носильщик тяжестей. Он, а не пастух. Он, а не… Словом, он, он, он… Понял ты?

– Понял, – буркнул Нефтеруф.

И он почти побежал к переправе. Шери дождался мгновенья, когда ладья снова отчалила в чернильную реку. Вот-вот наступит рассвет. Ночь приближается к своему

---

[12] Немху – средние и мелкие землевладельцы.

пределу. Сейчас покажется край утра.

Шери еще раз окинул взором лежащую за рекой столицу, вдохнул хорошую толику прохладного воздуха и медленно пошел вниз по реке.

Кормчий

Желающих переплыть на тот берег Хапи оказалось не так уж много: несколько крестьян с грубыми камышовыми мешками, несколько каменотесов с инструментами да горожане, возвращавшиеся из дальних поездок. Посредине палубы восседал главный кормчий – грузный мужчина средних лет. Кожа у него задубилась на солнце и походила на старую пальмовую кору. Он отдавал приказания сиплым голосом бывалого моряка. Глядя на него, Нефтеруф решил, что кормчий, наверное, плавал и в Та-Нетер, и на остров Иси. А может быть, еще дальше. Куда-нибудь на Запад по Великой Зелени.

В темноте трудно было разобрать гребцов. Они, казалось, сидели где-то глубоко, в преисподней. Тяжелое, прерывистое дыхание доносилось снизу. Надсмотрщик над гребцами мерно отбивал такт на барабане, и ладья медленно двигалась к восточному берегу Хапи.

Плату за переезд взимал писец, пристроившийся возле кормчего. Он клевал от усталости носом и приходил в себя после строгого начальственного окрика.

Нефтеруф небрежно подал писцу серебряную пластинку, полагая, что ее вполне достаточно. Скриб[13]не сразу разобрал, что ему всучили, Разглядев получше, он показал пластинку кормчему, молча кивнув Нефтеруфу. Кормчий, которого звали Прэемхабом, подлил рыбьего жиру в светильник. На палубе стало светлее. Буйное пламя высотой в два локтя трепыхалось в темноте. От этого еще мрачнее становилось вокруг.

Прэемхаб подошел к бывшему каторжнику.

– Я тебя знаю, – сказал он.

Нефтеруф даже бровью не повел.

– Ты человек щедрый, – продолжал кормчий, под началом которого работали два молодых человека у рулевого весла. – Такие всегда запоминаются. Но еще больше врезалась в память твоя обезьяна. Где она? И когда ты начнешь снова развлекать добрых людей?

Нефтеруф догадался, что его приняли за какого-то бродячего дрессировщика обезьян. И он сказал:

– Обезьяна моя издохла. Ее мумию захоронил с большими почестями. Скоро пришлют другую обезьяну.

– Неужели же краснозадую?

– Может, и краснозадую.

Кормчий глядел на него с восхищением. На медно-рыжем лице его сияла откровенно детская улыбка. «Мы все как дети, – подумал Нефтеруф, – когда речь заходит о забавах». Этот грубый и невоспитанный моряк мгновенно становился добряком, если обещали его ввести на любопытное зрелище, например, на бой вавилонских петухов или баранов из Ретену. Но, пожалуй, нет на свете ничего забавнее эфиопских обезьян…

– Послушай, – сказал кормчий, не сводя с бывшего каторжника сверкающих глаз, – может, ты возьмешь обратно свое серебро? Мы перевезем тебя задаром.

– Нет, спасибо. Не такой уж я бедный.

– Разумеется, не бедный… Я бы даже сказал, совсем напротив… А скоро ли ты покажешь нам свою обезьяну?

– Очень скоро.

– Если буду нужен – я всегда на переправе. А зовут меня Прэемхаб.

Кормчий отошел к своим и стал шептаться, время от времени кивая в сторону Нефтеруфа. Эти кивки не доставляли особенного удовольствия бывшему каторжнику, хотя он и гнал от себя мрачные мысли. «А вдруг это уловка?» – размышлял Нефтеруф. И на

---

[13] Скриб – древнегреческий писец.

всякий случай приготовился к прыжку в воду: лучше крокодилы, нежели фараоновы подручные!

Он сделал несколько шагов вдоль высокого борта к тому месту, где начиналась зияющая пустота. Тяжелый дух подымался снизу. И не только дух, но и вздохи. Их не мог заглушить даже барабан, отбивавший такты для гребцов. К ударам барабана примешивалось позвякивание цепей. Среди гребцов, должно быть, находились и каторжники. В те мгновенья, когда сильнее разгоралось пламя светильника, можно было различить бледные лица, обрамленные черными бородами. «Азиаты», – сказал про себя Нефтеруф. Он былистым сыном Кеми, преисполненным благородного презрения к азиатам. Но нынче пожалел этих, позвякивавших невольничьими цепями.

Нефтеруф облокотился о борт, посмотрел на воду. Из черной она стала темно-синей – верный знак приближающегося рассвета. Вся жизнь представилась ему в виде этой Хапи, несшей свои воды к Великой Зелени с мрачной решимостью, но безо всякой радости. А разве не таковы годы, прожитые Нефтеруфом? Ну, давай припомним: с малых лет, насколько хватает памяти, – притеснения. Сначала егоотец, Аменхотеп Третий, – чтоб ему пусто было! – а затем этотублюдок. Звериная ненависть к семье Нефтеруфа не давала покоя им обоим. Ненависть или же зависть к богатству, к знатности рода? И то и другое. Амон-Ра тому свидетель! это они, фараоны, – отец и сын – разжигала ненависть между знатнейшими людьми Кеми. Сколько же пострадало семей из тех, на ком держалась слава Кеми, кто наводил страх на врагов в далекой Азии?.

Барабан утих. Кормчий крикнул:

– Сушить весла по левому борту! Грести вполсилы!

Ладья развернулась и поплыла по течению.

– Сушить весла по правому борту!

Барабан снова принялся отбивать такты – неторопливо, с большими интервалами. Великолепные гребцы работали молча, четко, в точности исполняя приказания кормчего. Приближался правый берег Хапи, одетый в камень, украшенный обелисками и небольшими сфинксами, Высокие штандарты его величества встречали ладью, точно живые.

Кормчий отдал короткий приказ своим помощникам, а сам приблизился к Нефтеруфу.

– Досточтимый, – проговорил он не без волнения, – я живу в том доме, что левее причала. У входа стоит весло. Это знак. По нему все узнают мой дом. Если ты пожелаешь когда-нибудь навестить меня, мой дом, – холодное пиво и горячие лепешки всегда найдутся для тебя. Все будут рады. Не говоря уж о моей хозяйке – госпоже дома, которая любит забавнейших обезьянок. Говоря по правде, это она таскала меня на все твои уличные представления.

«…Это худо. Женщина лучше разбирается в чертах запомнившегося ей мужчины, нежели этот добродушный кормчий. Не надо без особой нужды попадаться на глаза его жене…»

– Как зовут госпожу твоего дома? – спросил Нефтеруф.

– Таусерт, досточтимый.

– Передай ей, что я высоко ценю ее внимание. Передай, что ей и детям ее желаю высших благ, какие только возможны под синим небом.

– Передам. Непременно. Но мы бездетны. Она очень обрадуется твоим добрым словам. Говорят, что вы – укротители всякого рода зверья – обладаете особым даром.

– Это так, – бесстрастно подтвердил Нефтеруф, думая совсем о другом.

– Мне рассказывал один халдейский купец, что есть на свете люди, которые могут все. Они оживляют убитых и убивают живых своим взглядом, подобно ядовитой стреле.

– Да,это так.

– Смею ли я спросить еще?

– Да, – сказал Нефтеруф, не спуская острых глаз ни с одного из помощников кормчего.

Прэемхаб говорил дрожащим от волнения голосом.

«…Этот страшный с виду моряк на самом деле наивен и чудаковат. Если его госпожа

под стать ему – опасаться мне нечего…»

– Досточтимый, – говорил Прэемхаб, – я был на острове Кефтиу[14] и видел там одного подслеповатого, бородатого старика. Он сказал мне: «В моем сердце горит огонь добра и зла. Я могу запустить в любого смертного стрелу добра или стрелу зла». Так сказал мне подслеповатый старик с острова Кефтиу, что на Великой Зелени. Можешь ли ты сказать, что и в твоем сердце горит огонь добра и огонь зла?

– Да, – твердо ответил бывший каторжник.

Кормчий так оробел, что раззявил рот и вытаращил глаза, словно на него полетела смертоносная стрела зла.

– Господин, – выговорил он не без труда, – наш дом всегда будет ждать столь великого человека, как ты.

– Спасибо.

– Моя госпожа Таусерт всегда к твоим услугам.

– Спасибо… Но в каком смысле к услугам?..

Нефтеруф немножко развеселился. Ему очень захотелось знать, чем может быть полезна жена кормчего. Но тот был начисто лишен дара иронии или юмора.

– И я, господин укротитель обезьян, к твоим услугам.

– Спасибо!.. – Нефтеруф предупредил его: – Мы, кажется, ударимся о берег.

Кормчий вдруг пришел в себя. Он посмотрел на причал и крикнул:

– Эй, свиньи, влево кормило, влево!.. Покруче, свиньи, покруче!

И побежал, чтобы самому принять участие в тяжелой работе рулевых.

Базальтовый причал все ближе, все ближе. Он тоже черный в эту темень. Но его легко отличить от воды, ибо природа их разная – вода и камень! Нюх у Нефтеруфа стал подобен собачьему, – острым, очень острым. Вода имеет один запах, земля – другой, камень – третий и так далее. Базальт отдает мхом. Гранит – сухой травой. Булыжник – морской солью, песок в пустыне – копытами верблюдов и шерстью львов и гиен. Нефтеруф мог поспорить с кем угодно, что причал – базальтовый. Розовый. Может быть, в нем, бывшем каторжнике, и в самом деле – таинственная сила, которую угадал этот кормчий?

Барабан умолк. Гребцы кашляли. Сморкались. Промывали водою глотки. Крестьяне взвалили себе на спины тяжелые ноши. Ремесленники нетерпеливо бросились к сходням. Вот-вот ладья коснется причала. Прэемхаб со своими помощниками живо выровнял курс: ладья круто повернула влево, легко поплыла по течению и, направляемая умелым движением рулевого весла – большого и тяжелого, правым бортом придвигалась к причалу.

Нефтеруф пристально вглядывался в берег. Он угадывал – все тем же нюхом – присутствие каких-то людей. Но кто они? Желающие переправиться на левый берег? Или фараонова стража? Надо приготовиться к ответу на вопросы. Со стражей шутки плохи. Соваться сюда, в столицу, – сущее безумие, безрассудство, которое или погубит его, или вознесет наверх, подобно змею из папируса. Он почувствовал, как забилось сердце, как вдруг ослабли колени. Это случалось с ним не часто. Иначе как бы бежал он с рудника, как обманул бы стражу, бросившуюся искать его в Эфиопии? Облик оборванца, идущего в столицу неведомо зачем, неведомо к кому, – слишком легкая добыча для стражи. Вовсе не надо обладать умом мудреца, чтобы заподозрить здесь что-то необычное. Впрочем, это сказано слишком строго: разве мало нищего люда стремится сюда на строительство гробниц, мало ли землекопов и ремесленников, потерявших человеческий облик?

И все же сердце тревожно билось…

«…Есть у меня нож за пазухой, на груди. Он не подведет. Имеется яд в рукаве. Он тоже не подведет. Страже фараоновой не придется ликовать. В лучшем случае они получат мой труп. И могут показать его самому ублюдку…»

Вот ладья коснулась камня. Вот закрепили на берегу носовой канат и канат кормовой, поставлены широкие сходни. Люди двинулись вперед, и Нефтаруф попытался протиснуться

---

[14] О. Кефтиу – о Крит.

в их небольшой, но тесный круг.

Но тут он почувствовал на плече своем чью-то тяжелую руку. Оглянулся и увидел: это он, кормчий.

– Господин, – сказал Прэемхаб почтительно, – не торопись, пусть пройдут эти простолюдины.

Нефтеруф гордо выпрямился, отошел от сходней.

Стража на берегу встречала прибывших немыми вопросами. Освещенный факелом пассажир коротко называл себя и излагал в двух словах цель своего прибытия в столицу.

Когда очередь дошла до бывшего каторжника, вперед выступил Прэемхаб. Он сообщил страже радостную весть:

– Вы видите, кто к нам прибыл?

Стража приблизилась. Один из военных поднял факел повыше.

– Ну? – спросил кормчий.

Стражники недоуменно молчали.

– Вы помните прошлогоднюю краснозадую обезьяну?

Солдаты разразились дружным смехом. Еще бы! Они хорошо помнят обезьяну и ее могучего ростом и силой хозяина, обещавшего укротить льва. Наконец-то он прибыл снова! Но где же обезьяна?

Кормчий успокоил их:

– Скоро прибудет и она!

Солдаты расступились, и Нефтеруф, кивнув им всем на прощание, пошел своей дорогой. И – скажем прямо – не без удовольствия.

Ка-Нефер

Он шел, косясь на дворец, светло-серой громадой растянувшийся вдоль Хапи. Другие дворцевые строения терялись в предрассветной темени. Далекие огни ночных стражей обозначали их пределы – воистину огромные. Какая бы ненависть ни обуревала бывшего каторжника к фараону – он не мог не признать, что построить такой город, да в три года, да еще на пустынном месте, что-нибудь да значит!

Дорога фараона, на которую вскоре вышел Нефтеруф, тоже удивляла своими масштабами, соразмерностью жилых строений, дворцов и храмов. Все, казалось, было подобрано так, что взаимно дополняло друг друга. Улица эта была освещена светильниками и покрыта – правда, местами – вавилонской смолой. Грязи здесь, как говорили, не бывало никогда. Это тоже было новшеством, которого не отнимешь у фараона. Он знал кое-что понаслышке про эти самые храмы: Бен-Бен, Пер-Хаи, Пер-Атон-Эм-Ахяти. Они прекрасны даже в эту пору. Так же, как дворцы.

Нефтеруф не мог не признать всего этого. По-видимому, он обладал достаточной объективностью в оценке недостатков и достоинств своего противника. Это сулило ему в будущем несомненные выгоды, ибо тот, кто вступает в единоборство с опытным правителем, должен уметь здраво оценивать происходящее, так же как и могущее произойти. Как говорят умные хетты, следует иметь две пары глаз: одну – чтобы смотреть вперед, а другую – чтобы видеть то, что творится сзади.

«…Я вижу все это. Я увижу еще кое-что. Но ничто не сможет изменить моего мнения. Это он загнал в земляные норы многих вельмож и знатных людей Уасета. Это он надругался над древними, исконными богами Кеми и их жрецами. Нет, ничто не изменит мнения об этом ублюдке… Сволочь он! Курва он!..»

Нефтеруф миновал пекарню, из которой тянуло ароматом свежеиспеченного хлеба. Вот она, узенькая улочка, ведущая к заветному дому с необычно широким окном наружу.

Амон-Ра до сих пор, безусловно, благоволил к бывшему каторжнику: все шло так, как будто кто-то руководил свыше, руководил безошибочно и точно. Ночная мгла держалась стойко; ноги легко несли, словно по давно знакомой дорожке, дома следовали точно в том

порядке, как называл их Шери. Стражи, как нарочно, избегали Нефтеруфа. Бывший каторжник никогда не бывал в этой столице, но ориентировался не хуже старожилов. Чему бы приписать все это? Нефтеруф знал, чему и кому: он горячо молился великим богам своих предков, не оставлявших его в одиночестве в самые трудные минуты.

А вот наконец и та небольшая площадь, и высокий дом, выходящий на площадь, и широкое окно, до которого не достать, если даже подпрыгнешь.

Ждут его здесь или не ждут?

Трудно ответить на этот вопрос. Может быть, да, а может быть, и нет. Хотя в окне и горит свет, но это ничего еще не значит. Скоро-скоро все выяснится…

Нефтеруф постоял немного, прислушался к ночной тишине. Ведь и тишина кое-что может подсказать, если умело ее слушать. Там, в горах, – под землей и на земле – научился Нефтеруф слушать и рев ветров, и тишину тишины. Ухо его стало подобием нежнейшего инструмента, воспринимающего то, на что не способно ухо обыкновенного смертного. Но еще лучше научилось слушать сердце, ибо без него глухи даже самые чуткие уши…

Нет, в этой части Ахетатона было очень тихо, как и подобает этому часу. Ничто не предвещало опасности, которая всегда над головою любого смертного, не говоря уж о бывшем каторжнике – беглеце и кровном враге фараона.

Он пересек площадь уверенным шагом – не слишком быстро и не слишком медленно. Если бы кто-нибудь и увидел его в это мгновение, то, несомненно, сказал бы про себя: «Вот он, бедный, но довольный собой ремесленник, идущий домой после ночного бдения в мастерской». Нефтеруф подошел к низкой, прочной двери и постучал: опять же не слишком громко, чтобы не разбудить соседей, и не слишком тихо: так, чтобы могли услышать хозяева.

Дверь открылась как бы сама собой. Где-то в глубине длинного коридора стоял светильник. За порогом было темно.

– Это ты стучал? – спросил мягкий женский голос.

– Я не вижу тебя, – сказал Нефтеруф. Женщина стояла тут же за дверью. Она сказала:

– Я здесь.

– Это дом госпожи Ка-Нефер?

– Я Ка-Нефер.

– Шери кланяется низко. Твой недостойный слуга присоединяется к его поклону и говорит тебе: «Привет тебе, госпожа этого дома, и да будут все дни твои долгими и непоколебимы в радостях, как бивня слона». Я – Нефтеруф, недостойный твоего гостеприимства.

Как видно, беглый каторжник не настолько еще огрубел под землей, чтобы позабылись слова красноречия и тонкого обращения. Его приветствие было воспринято с должным вниманием и оценено по достоинству. Он услышал из темноты:

– Нефтеруф? Какое редкое имя!

– Да, моя госпожа, это имя встречается не часто, и дала его мне моя бабушка, жившая в далеком оазисе в Великой пустыне Запада. Такое имя носил герой повести, которую она читала не по книге, а на память – от начала и до конца.

– Это имя – настоящее?

Как быть? Сказать или утаить? И каков смысл в том, чтобы скрывать от нее свое настоящее имя?

– Вымышленное, – признался он.

– Так будет лучше, – сказала она. Он не понял, что будет лучше.

– Входи же, – пригласила хозяйка.

Он перешагнул порог, полный доверия к этому голосу, звучавшему в темноте ночи сладкой флейтой.

«Если наружность ее соответствует хотя бы в малой степени голосу ее – это великое

счастье для женщины, а также для мужчины, созерцающего ее».

Так подумал он, входя в дом, которого не знал никогда, но которому доверился так, как может довериться сын матери своей.

Потолок был низкий, и гость наклонил голову, в то время как хозяйка вела его вперед. И когда они очутились в небольшой комнате, где горел светильник, он увидел перед собой нечто поразившее его. Перед ним стояла женщина немного смуглая, чуть худая и чуть полная в положенных местах, казалось, чуть легкомысленная и чуть умная, как и положено красивой женщине. Тело ее просвечивало сквозь складки тонкого платья, и было оно из крепкого дерева – стройное и твердое. Глаза ее были светло-карие, как персиковые косточки. Ее пухлые губы и маленький нос соседствовали друг с другом в полной гармонии, и свет отражался на ее белых зубах, как на кварцитовом сколке.

Он смотрел на нее – дивясь ей и любуясь ею. Она, в свою очередь, тоже была удивлена: перед нею стоял человек, несомненно, знатной крови, в лохмотьях, которые под стать уличному фокуснику.

Она вышла в соседнюю комнату и вернулась оттуда с рукомойником. Ка-Нефер полила гостю воды на руки и тщательно обритую голову и принесла чистый набедренник. И тростниковые сандалии тоже.

– Это тебе, Нефтеруф. Я не хочу, чтобы муж увидел моего гостя в таком виде. – Улыбнувшись улыбкой красавицы, она добавила: – Не сердись за это недостойное тебя подношение, но так это будет лучше: столица любит приличные одеяния и не всегда ценит истинный ум.

Он поблагодарил ее и, оставшись наедине с самим собой, живо сбросил свои лохмотья и обвязался тканью, пахнувшей благовониями Ретену. Он посмотрел на себя в медное зеркало, висевшее на стенке, и снова возблагодарил Амона-Ра, не оставляющего его своими милостями вот уже три недели – с тех пор, как он начал спускаться с высоких гор вниз по Хапи.

Нефтеруф поднялся наверх по деревянной лестнице. В просторной комнате с широким окном его ждали хозяйка и муж ее. Он был молод, высок, худощав. Прищурил глаза, будто пытался высмотреть в госте какую-то незначительную, для других неприметную черточку. Впрочем, профессия его объясняла этот любопытствующий прищур: ваятель обязан видеть дальше и лучше всех прочих людей.

«…Вот люди, в руках которых – моя судьба. И не только моя. Эта красавица… И ее молодой муж… Ваятель, который часто бывает рядом с фараоном… Что сулит их гостеприимство? Кто она? Кто он?.. Скорей бы, скорей бы узнать это получше…»

– Я прилетел к вам столь ранней пташкой, – вслух сказал Нефтеруф, – что боюсь, не вызвал ли неудовольствия?

– О нет, – ответила хозяйка.

– Его величество вот-вот встанет, чтобы приступить к работе, – сказал ее муж. – Разве это рано?

Ка-Нефер сказала, улыбаясь молодой и покоряющей улыбкой1

– Моего мужа звать Ахтой. Он ваятель и работает в мастерской Джехутимеса.

– Я знал одного…

Хозяйка перебила гостя:

– Если ты имеешь в виду молодого ваятеля Джехутимеса из Уасета, то это именно и есть тот самый Джехутимес.

– И ты тоже из Уасета? – спросил ваятель.

– Да, я живу там с малых лет. Родился я на небольшом оазисе Сипи, что в Великой пустыне.

Хозяева пригласили присесть к низкому столику, чтобы позавтракать вместе с ними.

В комнате не было ничего лишнего: лежанка, едва возвышавшаяся над полом, циновки, столик, несколько грубых скамей да два деревянных ларя у стен. Широкое окно было занавешено пестрой льняной тканью.

– Я думаю, что холодное пиво не повредит, – сказал Ахтой, разливая напиток в глиняные чарки. Ка-Нефер разломила на части горячую пшеничнуго лепешку, поставила перед каждым тарелку с жареной рыбой. За трапезой начался обычный разговор, столь же бессмысленный, сколь необходимый для того, чтобы гость чувствовал себя посвободнее. Он коснулся прежде всего погоды, которая установилась вслед за тем, как Хапи ушла обратно в свое ложе. Ахтой был учтивым, сдержанным собеседником, умеющим развлечь гостя, то есть развлечь в меру, без навязчивости. Ка-Нефер прислуживала, выказывая в этом отменное искусство. Эта чародейка умела так подать тарелку и так красиво убрать и унести все ненужное, что трудно рассказать.

Ка-Нефер загадочно улыбалась. Она как бы говорила: «Ну, что ты скажешь, господин? Не обманулся ли ты? Прав ли был Шери, так щедро рассыпавший похвалы по моему адресу?» Она умела так передать свои мысли, не произнося при этом ни слова, что Нефтеруф покраснел. Он попросил пива и залпом осушил чару: это придало ему чуточку дерзости.

Ахтой объяснил гостю, что лепит бюст, который может принести славу любому ваятелю.

– Ты не слишком скромен, – сказал, улыбаясь, Нефтеруф, отхлебывая пиво, какого он давно не пивал.

– Я говорю правду. Ее же я придерживаюсь и тогда, когда передо мною глина или же камень. Я их тоже заставляю говорить правду.

– Это каким же образом, Ахтой?

Ваятель поднял брови – черные и тонкие. Он сказал:

– Я пытаюсь лепить натуру такой, какая она есть. Соответствие природе делает изваяние правдивым. Оно при этом говорит правду. Будто человеческим голосом.

– Все это для меня вроде чародейства, – сказал он. – Я никогда не задумывался над этим. Весьма возможно, что камни говорят на нашем языке. Теперь я буду прислушиваться к их голосам.

– Их надо слушать сердцем, – пояснил молодой ваятель.

– Я это умею.

– Не сомневаюсь, господин.

– Увижу ли я твою работу?

– Если пожелаешь.

– Желаю, и даже очень!

Ка-Нефер обратилась к Нефтеруфу:

– Попроси его показать царицу…

– О нет! – Ваятель замахал руками. – Пока еще рано!

Нефтеруф поставил полупустую чарку на столик.

– Царицу? – удивился он. – Разве ты собираешься делать ее образ?

– Собираюсь ли? Я уже заканчиваю его!

Нефтеруф развел руками. И сказал:

– Я слышал много лестных слов о тебе. Но я никогда не думал, что сама царица сидит перед тобой.

– Царица?! – воскликнула Ка-Нефер. – А ну скажи, Ахтой, в каком виде она бывает в твоей мастерской.

Ахтой смущенно заулыбался.

– Скажи, скажи, Ахтой, – просила его жена.

– Ахтой, можно подумать, что она позирует в неприличном виде?

– Что ты, Нефтеруф! Это слово не пристало к ней!

Ка-Нефер прошептала, хитровато подмигнув:

– Он влюблен в нее…

– Замолчи, Ка-Нефер!

– Правда, он влюблен…

«…Однако этот Шери знал, куда посылает меня. Попасть в такое славное общество –

чего еще надо! От них – прямой путь к царице! Нет, Амон-Ра не оставляет меня своей милостью!»

Придя к такому заключению, Нефтеруф обратился к Ка-Нефер:

– Любезная хозяйка, я понимаю щедрость твоего сердца, когда с такой легкостью говоришь о любви своего мужа к другой женщине, пусть даже царице. Это еще раз свидетельствует о силе твоей власти – воистину безграничной – над человеком, который тебе, несомненно, предан.

– Ты прав, – поддержал его Ахтой. – Ка-Нефер смеется, шутит, – значит, она уверена в себе. Но могу сказать по секрету: в царицу нельзя не влюбиться.

Ка-Нефер принесла свежих пирожных, усыпанных орехом. Новый кувшин пива, с точки зрения Нефтеруфа, еще больше облагородил трапезу.

– Разве царица так красива? – поинтересовался он.

– Как тебе сказать?..

– Обворожительная женщина, – подтвердила Ка-Нефер.

– Я бы выразился не так определенно. – Ахтой подыскивал подходящие слова. – В ней много притягательного. Ее бюст все еще хорош для тридцати лет…

– Тридцати двух, – поправила его Ка-Нефер.

– Тридцати, – повторил муж.

– Почему же, Ахтой? Она почти ровня его величеству.

– Нет, моложе…

Нефтеруф расщедрился.

– Ладно, – сказал он, – подарим два года матери-царице. Достопочтенной Тии, надеюсь, безразлично – два года больше или меньше!

– Не скажи, как всякая женщина, она не желает сдаваться. Она ревнует дочь к ее платьям и старается перещеголять ее. Можешь мне верить…

Нефтеруф чувствовал себя прекрасно. Ему казалось, что знает молодых людей вот уж много лет. С ними было просто, приятно. Несмотря на свои годы, и жена и муж принимали гостя с достоинством многоопытных людей…

– А все-таки в каком она виде предстоит перед Ахтоем? – спросил Нефтеруф хозяйку.

– Совершенно нагой.

– Нагой?! – поразился Нефтеруф. – Неужели нагой?!

Ахтой молча кивнул.

Нефтеруф развел руками и высказался иронически в том смысле, что в новой столице, должно быть, новые понятия о ваянии. О новых понятиях в области иноземной политики он вполне информирован. Сейчас модно отступать; и в Ретену отступать, и в Северной Джахи оставлять позиции, и в Палестине пятиться задом. В Эфиопии тоже доблестные войска Кеми кажут свои спины. Разумеется, не потому, что трусливы, но потому, что фараону, видите ли, недосуг затевать войны. Но это все – между прочим. Речь не о том… Рэчве не удивительно, что царица великого Кеми сидит нагая перед простыми смертными?..

– Не простыми, – прервал его Ахтой. – Почему же-простыми?

– А как прикажешь вас называть? Неужели же богами?

Ахтой покраснел: это с ним бывало только перед приступом гнева или в мгновения острого недовольства. К счастью, вмешалась Ка-Нефер.

– Я все объясню, – сказала она, одаряя обоих мужчин попеременно своими улыбками, чудесными как заря. – Для того чтобы понять царицу, надо поближе стать к его величеству – жизнь, здоровье, сила! – и к его великому дому… И в то же время, – она обратилась к мужу, – надо понять и тех, кто приехал сюда издалека, и притом впервые. Не каждый уразумеет все тонкости очаровательного Ахетатона. – Она уже улыбалась Нефтеруфу: – Не правда ли, столица очаровательна?

Ответ был подсказан самой госпожой дома. Ей нужен был ответ лояльный, ответ комплиментарный. И никакой иной! Другое дело – зачем? Об этом пока что можно только догадываться…

Нефтеруф налил себе пива.

– Этот ваш напиток хорош, – сказал он. – Хотя попробовал его только что. Я говорю: прекрасен Ахетатон, хотя я видел его одним глазом, и то ночью, и то впопыхах, торопясь в ваш счастливый дом.

Ответ понравился Ахтою. А еще больше егосупруге.

«…Вот истинно догадливый и тонко воспитанный человек. Если Нефтеруф проявит столь же изощренную тонкость во всех делах – ему жизнь в столице улыбнется, а улыбка эта чего-нибудь да стоит. Этот воспитанный лев, несомненно, встретит понимание в первую очередь среди женской части столицы. А это совсем, совсем немало…»

Ахтой поддержал Нефтеруфа и развил его мысль. Он сказал:

– Чтобы представить себе красоту Ахетатона, надо пройтись на утренней или вечерней заре от Северного дворца до Южного. И не только Дорогой фараона, но и боковыми улицами и переулками. Идти вперед, задерживаться для лучшего обозрения, снова двигаться вперед и возвращаться на прежнее место, чтобы полюбоваться дворцами, храмами или домами вельмож. При всей кажущейся единообразной роскоши – на самом деле перед табой возникают фасады, не похожие один на другой, отличные в деталях и в пропорциях. Скажем, дом его светлости Хоремхеба или дом его светлости Маху. Их надо непременно видеть самому, чтобы решить вопрос о том, что их объединяет в смысле зодческого мастерства и что отличает их. В первом случае колонны, украшенные листьями лотоса, ничем не отличаются по высоте и ширине от колонн Маху, построенных в виде связки стеблей папируса. Но если вглядеться получше? Разве не отличишь руку Май от руки Туту? Май все свое внимание обращает на отделку частей здания, в то время как Туту озабочен больше пропорциями, соотношениями плоскостей и проемов…

– Это что-то весьма мудреное, – сказал Нефтеруф. – Во всяком случае, моя голова не совсем приспособлена для такого рода бесед, Однако же не кажется ли тебе странным, дорогой Ахтой, что и один и другой зодчий, которых ты назвал, всегда должны принимать в расчет как отдельные части здания, так и соотношения стен, окон, дверей и лестниц?

У Ахтоя блеснули глаза

– Как хорошо ты сказал! – обрадовался он. – Это как раз то, что исповедую я сам как ваятель и как зодчий, ибо мне, кроме глины и камня, приходится иметь дело и с чертежами домов и храмов. Было бы очень хорошо, если бы мы могли соединить в одном лице таланты Май и Туту – воистину богатырей зодчества, которых не знали в Кеми со времен Нармера.

– Объединить? – небрежно спросил Нефтеруф. – Объединить таланты?

– Почему бы и нет?

– Друг мой, – продолжал Нефтеруф, – не кажется ли тебе, что и Май и Туту, которых я не знаю, славны именно тем, что существуют порознь, каждый сам по себе? И что бы было, если бы все на свете соединялось и смешивалось в одной большой тарелке, наподобие шумерских блюд?

Ахтон, казалось, приперт к стенке рассуждениями Нефтеруфа. Но он не считал ребя побежденным.

– Почему ты полагаешь, – возражал он, – что соединить два таланта, два их начала – это плохо?

– Ужасно, а не плохо!.. А самое главное, тогда не было бы у тебя Ка-Нефер!

– Это почему же?

– Да потому, – пояснил Нефтеруф, – что красоту ее, если следовать твоему пожеланию до конца и во всем, пришлось бы разбавить с красотой какой-либо уродины. А ведь согласись, Ахтой, что нельзя ничего ни убавить, ни прибавить к лицу и любой части тела твоей славной госпожи.

Муж поглядел на свою жену с таким вожделением, словно и не лежал рядом с нею нынче же ночью.

– Я бы никому не позволил тронуть ее, даже дающему жизнь всему сущему. Тронуть – значит испортить чудеснейшее из творений.

– Возгоржусь, – кокетливо заметила Ка-Нефер, подвигая к гостю новое блюдо. – Не кажется ли тебе, Ахтой, что досточтимый Нефтеруф немножко прикидывается простачком?

– Именно прикидывается. Теперь я вижу, что предо мною – соперник, досконально разбирающийся в зодчестве.

– Только не это! – возразил Нефтеруф. – Я всего-навсего человек, умеющий повторять чужие, где-то услышанные или где-то прочитанные мысли. И если вы обяжете меня строить дом – из этого ничего не получится: я осрамлюсь!

С улицы донеслись голоса продавцов зелени и булочников. Утро вступало в свои права.

– Мне пора идти, – сказал Ахтой, подымаясь. – Мой учитель и начальник Джехутимес не любит, когда кто-либо из его мастеров опаздывает на работу.

Нефтеруф спросил его:

– Могу ли я рассчитывать на гостеприимство в этом доме?

– Ты говоришь обидные слова, Нефтеруф…

– Да, да, – вмешалась Ка-Нефер, – не следует задавать такой вопрос тем, кто является другом Шери.

– Вот это сказано и точно и красиво!

И Ахтой попрощался с гостем. Ка-Нефер проводила его до порога, где супруги о чем-то пошептались. Вскоре блистательная Ка-Нефер появилась снова с кувшином пива. Она окинула взглядом стол и, решив, что все в должном порядке, уселась на свое место, Ее волосы, заплетенные во множество тонких косичек, отливали синим цветом – так черны и так чисты они были.

– Здесь более нет никого, – сказала она как бы между прочим.

– У фараона уши длинны, Ка-Нефер.

– Они кончаются у порога моего дома.

– Это хорошо.

– Не совсем, Нефтеруф.

– Почему?

– Да потому, что неплохо иметь под боком соглядатая, который не скажет ничего и не выдаст тебя.

Бывший каторжник сказал:

– Да какой же это соглядатай, который тебя не предает?! Разве бывают такие?

Ка-Нефер прикрыла на мгновение глаза, – дескать, бывают.

– Говори, Нефтеруф, свободно и откровенно, так, как если бы ты разговаривал с Шери или с каким-нибудь близким другом.

– Благодарю тебя, Ка-Нефер! Я в таком положении, когда мне нужны верные уши и сердца.

– Кто же ты?

– Я достаточно долго испытывал твое терпение и ждал этого вопроса. Но я молчал, потому что не знал ваших отношений (он имел в виду Ахтоя). Как не знаю до сих пор. В Та-Нетер утверждают, что жена и муж – два конца одной палки…

– Одной палки, Нефтеруф?

– Точнее, хворостины. А хетты говорят: жена и муж – добро и зло

– Где же добро и где зло?

– Это каждый раз приходится определять особо.

Ка-Нефер поднесла к губам чарку с пивом и пила его, о чем-то размышляя. Потом медленно поставила чарку на место, все о чем-то размышляя. Потом посмотрела в глаза своему гостю, тоже о чем-то размышляя. Это был взгляд и красавицы и мудреца. И добрый и жестокий, и нежный и колючий взгляд…

Нефтеруф с любопытством уставился на нее. Ему хотелось прочесть в ее глазах то, что скрывал язык ее. Это безумно трудно. Это слишком трудно. Но возможно! Для этого надо изнурить свое сердце и напрячь до предела ум. Для этого необходимо думать только, о деле, не поддаваясь женским чарам, до которых так падки ординарные мужчины.

Она продолжала смотреть на Нефтеруфа, и ему казалось, что встретился с мудрою змеею, подобно Синехуту из старинной сказки. «В руках этой женщины – моя жизнь, – думал Нефтеруф, – она может мне даровать ее или погубить для бесславного существования в долине Иалу… Вот она, Изида всемогущая, если верить Шери. Но не верить Шери невозможно, ибо Ка-Нефер должна быть именно такою, какую рисовал ее в лестных выражениях Шери…»

– Ты прав, – проговорила Ка-Нефер, – надо всю жизнь глядеть, как говорят в Мен-Нофере, в оба… Чтобы не ошибиться – в оба!.. Не правда ли, Нефтеруф, это очень обидно?

– Что обидно, Ка-Нефер?

– Вот так глядеть всю жизнь – в оба… Меня наставляли сызмальства, что следует остерегаться камышей на Хапи, ибо там живут крокодилы. Мне объясняли, что песок пустыни очень опасен своими обитателями – змеями. Меня пугали теменью. Пугали слишком горячим солнцем. Но почему-то мало говорили о том, что нет ничего опаснее языка человеческого, что опасно жить среди людей. Что, живя, все время надо думать о том, чтобы тебя не схватили за горло. Даже ночью думать об этом. Даже во сне!

Она говорила по-женски искренне. Без жеманства, присущего красавицам: такая задумчивая, углубленная в свои мысли, чем-то обеспокоенная…

– Неужели, Ка-Нефер, в твоей воистину чудесной оболочке, созданной для жизни, для увеселений, гнездятся такие мрачные мысли? Что значит человек! Я бы никогда – слышишь, никогда! – не подумал бы, что ты столь мудра в своих суждениях.

– При чем здесь мудрость?

– Именно она при том!

– Нет, Нефтеруф, не надо небольшое, воистину жалкое по сравнению со всей жизнью нашей наблюдение возводить в беспримерную мудрость! Я могу и обидеться, решив, что ты посмеиваешься надо мной, как над легкомысленной служанкой у колодца или в лавке торговца ароматическими маслами.

– О, боги! – чуть не возопил беглый каторжник – Неужели же я столь неловок в выражении своих мыслей! Я лишь хотел воздать тебе должное, несравненная Ка-Нефер!

– Допустим, допустим…

– Я клянусь! – Нефтеруф поднял правую руку над головой. Затем сложил руки на груди и повторил: – Я клянусь!

Нефтеруф умолк. Протянул руку к финикам, засахаренным в меду:

– Я верю, – сказала Ка-Нефер кротко.

– Мне нельзя не верить, – горячо отозвался он. – В моем положении или молчат как рыба, или говорят только лишь чистую правду.

Она ждала его откровенных слов…

Он же вспомнил наставление халдейских чародеев, утверждавших, что не следует доверяться женщине. Особенно молодой. Особенно красивой. У него была еще возможность солгать, сказать ей неправду, сочинить свою жизнь, подобно иным скрибам, пишущим забавные или грустные истории на свитках папирусных. Он мог и вовсе промолчать. Мог встать и уйти, руководствуясь советами чародеев. Но в этом случае он должен был бы отказаться от того, ради чего прибыл в эту проклятую столицу, ради чего поклялся жить и отдать свою жизнь… Еще и еще раз взвесил он свое положение, свои возможности в этом городе… и тогда оказалось, что нет у него иного выхода, кроме как довериться этой красавице, которая смотрела на него испытующе; оказалось, что нет иного решения, кроме решения высказать ей все и просить содействия… Придя к такому заключению, к которому не без труда приходят люди мыслящие, люди многоопытные, он почувствовал облегчение…

«…Вот я и пришел на конец улицы, которая упирается в стенку. И нет у меня иного пути! Остается одно: прислониться к той стене и выплакаться. Нет у меня иного пути!»

– Ка-Нефер, – сказал он тихо, – десять лет я ел землю под землей. В горах, за четвертым порогом, человек быстро становится кротом, живущим в земле. И глаза у него делаются как у крота: он видит в темноте. Я искал золото для фараона. А некогда его искали

для меня. В Уасете наш род был и знатным и богатым. Нас не чуждались фараоны. Более того: мужчины нашего рода часто ели с царского стола, а женщины становились приближенными цариц и царевен. Так было некогда. Но что же стряслось с нами с воцарением этого?.. Ну, вашего… Этого самого… Род наш оказался с переломленным хребтом. Одни из нас погибли в горах за четвертым порогом или в Эфиопии. Другие сложили головы в Ретену или на границе с хеттами. И в Великой Зелени на кораблях погибли наши мужчины. Погибли простыми гребцами…

Она наблюдала за ним.

Он говорил тихо, спокойно, словно о чужой жизни. И не было волнения сердца в голосе его, и голос его звучал ровно, как у жреца, читающего молитву. И глаза у него были сухие. И он казался таким сильным, каким может быть человек, повидавший говорящую змею и не оробевший перед нею.

Ка-Нефер слушала не дыша, и этот человек был приятен ее сердцу. Она сказала себе: «Вот он, достойный того великого дела, за которое борется». Она была словно чародейка, и сердце ее видело далеко…

Нефтеруф продолжал:

– Я не буду утомлять госпожу рассказом о всех бедах, обрушившихся на наш род. Не скажу, что мы были единственными в своем горе. Множество знатных людей испытывало горечь изгнания и вкус каторжной жизни в горах, пустынях и на морях. Трудно найти свиток папируса, на котором можно уместить всю историю моего бедствия. Едва ли найдется и рука, которая сумеет описать все муки. Их может вынести только и только человек. И нет во вселенной животного, способного перенести нечто подобное. Иной раз казалось мне, что голова у меня мертва, как шумерская тыква. А кости мои? Они часто превращались в воду, и я не мог не только держаться на ногах, но и лежать на боках своих или на спине своей. – Нефтеруф едко заключил: – И все это благодаря стараниям его величества Эхнатона – жизнь, здоровье, сила!

Он сжал кулак, у него вдруг проступила желтая пена на губах и кровью налились глаза. И он не выдержал. Забыл, где он и кто перед ним. Он прошипел, подобно змее:

– Курва он, курва! Сын проститутки и сам проститутка!..

Ка-Нефер поступила очень верно, притянув ему чарку с пивом. Напиток остудил его кровь, и она снова вошла в русло своих жил и в пределы своего сердца…

– Прости, – проговорил он тихой склонил голову перед нею.

– Нефтеруф, – сказала она, – я поняла все, я теперь знаю все, и рассказ твой подобен рассказу того мореплавателя, который вернулся домой живым и невредимым после кораблекрушения. Моряк словно побывал под брюхом крокодила, словно испытал на себе крепость челюстей гиппопотама.

Нефтеруф усмехнулся, и усмешка его была горше любого рыданья.

– Это гнев и ненависть к моему врагу укрепляли мое сердце и отшлифовали внешность мою, подобно тому как бушующее море обтачивает со всех сторон булыгу Все помыслы мои были направлены к одному: выжить! Много людей валилось вокруг. Они подыхали как собаки, ибо были слабы, и гнев их не питал сердца. Человек без гнева умирает под землей, как насекомое, как бабочка-однодневка. Так уходит тот, кто не имеет в сердце своем мести и кто не видит постоянно перед глазами своими образ заклятого врага своего. Я жил и клялся отомстить. Я жил и ежедневно молился всемогущему Амону-Ра, который не свергнут, который жив и имя которого невозможно уничтожить. Пусть его величество посылает каменотесов, чтобы стереть имя бога с камней. Пусть он рвет папирусы, чтобы изничтожить имя бога. Тщетно! Это не под силу рукам человеческим. И я пришел, чтобы выполнить то, о чем клялся все десять лет.

– Чего же ты хочешь, Нефтеруф?

– Я?

– Да, ты!

– Разве это не ясно из моего рассказа?

– Ясно.

– Тогда зачем же спрашивать? Я пришел прямо ко двору его. Я пришел на порог его. Добрался до того места, где он не ждет меня. Шери сказал мне: иди! Он сказал: тебе поможет Ка-Нефер. Он сказал мне: Ка-Нефер – солнце видом своим и солнце яркое умом своим. И смелость ее равна смелости разъяренной львицы.

– Так он сказал?

– Да. Это его слова. Доподлинные.

– И я должна помочь тебе?

– Если пожелаешь.

Нефтеруф сидел точно перед судом Осириса. Ждал ее слов. Или он встанет тотчас же и покинет этот дом, или… Пусть она только скажет слово. Почему она смотрит на него глазами матери? И достанет ли доблести в сердце ее?..

Однако Ка-Нефер была тем, кем являлась И слово ее было так же верно, как верен ее глаз, исторгающий великую силу и великую нежность.

Ка-Нефер сказала:

– Мы будем действовать сообща. Мы сделаем то, что под силу только львам пустыни. Нефтеруф, будь спокоен под этой кровлей.

– Кеми будет жить, Ка-Нефер, пока на ее земле родятся женщины, подобные тебе. О, Хатшепсут[15] наших дней!

И растроганный Нефтеруф закрыл лицо руками, коричневыми, как земля, и заплакал так, как плачет раненый буйвол.

Утро фараона

Над Восточным хребтом показался краешек солнечного диска Горы, солнце, небо – всего три цвета: сепия, золотей ультрамарин.

Над столицей зачиналось утро. Быстро сокращались тени, исчезла ночная прохлада. Только Хапи по-прежнему плавно несла свои воды мимо дворцов и храмов, лавок и хижин.

Главный жрец дворцового святилища Атона постучал в дверь – требовательно, можно сказать, бесцеремонно.

– Твое величество, – сказал жрец звонким голосом, – бессмертный Атон облагодетельствовал землю своими лучами. Кеми ждет повелителя.

Он лежал на циновке, по-детски разбросав руки. Округлые бедра прикрыты тончайшей тканью. Как-то нежно, женственно скроен этот человек, за исключением мясистых губ, длинного носа и, пожалуй, несуразного подбородка.

Фараон мигом очутился на ногах. Посмотрел на восток Смиренно сложил руки на груди. Склонил голову перед солнечным диском. И, круто повернувшись, направился в приемный зал, мимоходом глотнув воды.

Он уже бодр. Ни следа от вчерашней усталости. Скорее это был воин, беспрекословно выполняющий военную команду, нежели верховный глава вселенной.

Ему подали большую корону и царские знаки отличия – золоченую плеть и изогнутый посох, богато инкрустированный финикийскими камнями и слоновой костью.

«…Вот отец мой разбудил меня, и я снова иду, чтобы занять свое место и служить государствуКеми, чтобы служить народам вселенной, подобие тому как служит отец мой Атон блистательный в небе своей вселенной.»

Фараон занял свое место. Слева от него, подогнув под себя ноги, седели писцы. Их было трое. Его сиятельство Маху – Несущий опахало справа от царя – почтительно ждал приказаний.

На миг верноподданные пали ниц, а спустя еще мгновение они были готовы к работе.

– Ждут ли меня гонцы? – спросил фараон.

---

[15] Хатшепсут – египетская царица, правившая во времена Восемнадцатой династии.

– Их двое, – сказал Маху. – Один из Эфиопии, другой – с хеттской границы.

Тучный Маху сопел, будто взбирался на гору. Фараон покосился на него.

– Юг и Север, – проговорил с досадой фараон, имея в виду гонцов. – Любопытно… – Он постучал указательным пальцем по золотой бляхе, которая красовалась чуть повыше пупа… – Пожалуй надо начинать с северного гонца. Оттуда наверняка идут неприятности. Лучше с самого утра покончить с ними. Выслушать неприятности – значит наполовину победить их… Что еще замыслили эти хетты? – сказал ворчливо фараон.

Вместо ответа грузный вельможа направился к высокой резной двери и открыл ее.

– Сюда! – крикнул он, указывая на усталого гонца, покрытого пылью пустыни.

Гонец сделал несколько шагов и упал наземь. Он лежал неподвижно, не решаясь взглянуть на благого бога – его величество Эхнатона, повелителя вселенной.

Маху взял у него из рук свиток папируса и передал писцам.

Фараон не ошибся: сообщение было не из приятных. Впрочем, в последние годы только и ждешь подвохов от этих проклятых хеттов. Они медленно теснят египтян – то прямо, не таясь, то скрытно, но неуклонно движутся на юг. Азиатские князья тоже осмелели. Они шаг за шагом, словно тучи, подползают к форпостам в горах Ретену. Не трудно предвидеть, что будет через несколько лет Может быть, не лет, а месяцев?

– Встань и приблизься, – приказал фараон гонцу.

Этобыл сухойЮ как палка, с горящими глазами молодой воин из легковооруженных полков. Превозмогая усталость, он сделал несколько шагов в сторону фараона.

– Можешь ли добавить что-либо к этому сообщению? – спросил фараон.

– Да, твое величество.

– Говори же!

– Прикажи нам идти в наступление! Прикажи послать нам помощь!

– Зачем? – спросил фараон, щуря глаза и поджимая губы.

– Чтобы сокрушить их!

– Кого?

– Хеттов!

– Ты такой сильный? – Фараон улыбнулся.

– Я – нет! – ответил воин, гордо вскидывая голову. – Твое величество сокрушит врагов, и мы будем избавлены от насмешек…

Фараон нахмурил брови:

– Каких насмешек?

Гонец не задумывался:

– Смеется над нами арамеец, сириец, израильтянин, вавилонянин… Смеются все, кому охота смеяться…

– Ты уверен?

– Я слышал смех своими ушами!.. Хетты подтягивают войска. Они терпеливо окружают наши крепости и, доводя наши гарнизоны до изнурения, отпускают их на юг, как они выражаются – на все четыре стороны. А на самом деле это одна сторона – Юг!

Маху перебил его:

– Всего-навсего передвигают свои части. Передвигают только вперед и только на юг. В одних случаях они винят слишком строптивых военачальников, в других – гражданские власти, и при этом они извиняются. Весьма униженно и витиевато. Но войск своих назад не отводят.

– Да, это так, – подтвердил гонец.

Фараон сгорбился. Опустил голову. Казалось, стыдно ему выслушивать все это. Казалось, вот-вот подымется фараон и призовет войска под непобедимые знамена предков. Призовет и двинется на Север проторенной дорогой отцов и снова покажет миру

всесокрушающую силу Египта…

Но он сидел недвижно и чуть не выронил из рук свои царственные знаки.

– Ступай, – сказал Маху гонцу, и тот уполз из зала. Совсем скрылся за резной дверью.

Фараон что-то шептал. Писцы притворились, что очень заняты. Они шуршали свежими свитками папируса, старались не глядеть на его величество: им было жаль фараона до глубины сердца.

Маху знал твое дело: вызвал гонца из Эфиопии. Протолкнул его грубо в дверь и подвел к трону. А сам отошел к стене и оттуда внимательно наблюдал за фараоном своими маленькими, бесстрастными очами.

А когда его величество Эхнатон поднял голову, он увидел перед собой курчавоголового чернокожего в сером плаще. Такого здоровяка с белыми зубами.

– Кто ты? – испуганно вопросил его величество.

Чернокожий ответил глубоким поклоном.

– Кто?!

– Посланец главного начальника всех царских рудников в Куше.

– Что тебе надо?

– Твое величество, его сиятельство Пунанх тысячу раз кланяется тебе, целует стопы твоих ног и посылает благодарность за все твои благодеяния…

– Дальше, дальше, – нетерпеливо перебил его фараон. Ему явно надоедала эта идиотская напыщенность чиновничьей речи. – Что же дальше?

Посланец посмотрел в сторону Маху, словно прося у него совета Тот едва заметно кивнул. Знак был достаточно красноречивый.

– Твое царское величество, – сказал он, – десять преступников во главе с Усеркаафом…

Фараон привстал, бросил ближайшему писцу плеть и посох. Оперся руками о подлокотники, точно готовясь к прыжку.

– Во главе – с кем?

Чернокожий отступил на шаг.

– Во главе с Усеркаафом… – пробормотал он.

Фараон сошел с трона. Медленно двинулся к посланцу, все время повторяя: «Во главе – с кем?» Он не мог слышать это имя! Не мог! Не мог! Не мог!

– Только не говори мне, что он бежал! Только не говори мне, что он бежал!..

Чернокожий, не сводил глаз с тучного вельможи. Гот подавал определенные знаки, подбадривая его.

– Да, бежал, твое величество, – выдавил из себя посланец не без робости.

Фараон вдруг остолбенел. Умолк. Уперся взглядом в белые, белые глаза этого посланца. Сплетя пальцы и сжав их до белизны. Сжав губы. До белизны!

– Усеркааф подговорил стражу. Он подкупил ее добытым под землей золотом. И он бежал в Эфиопию. За ним устремилась погоня. Его сиятельство Пунанх извещает тебя о том, что беглецы будут возвращены на рудники живыми или мертвыми.

Фараон приблизился к гонцу на расстояние локтя и, сдерживая гнев, сказал, а точнее прошептал:

– Иди и скажи своему хозяину, иди и скажи ему, чтобы непременно известил меня о поимке преступников. Моих врагов! Моих смертельных врагов! Иди и скажи ему, что жду вестей от него в скором времени.

Фараон задыхался. Пена проступила на его губах. Глаза помутились.

Маху прикрикнул на гонца, и тот стрелой вылетел за дверь Сказать откровенно, не без удовольствия.

Вельможа взял под локоть его царское величество и подвел к трону.

По широкому коридору уже шлепали босые дворцовые служители с примочками и холодной водой.

Завтрак

Старый Пенту медленно подымался по широкой лестнице. Навстречу ему спускался Маху.

– Достопочтенный Пенту, – обратился царедворец, – я посылал за тобой.

– Я чувствовал это, – произнес главный жрец дэорцового святилища Хет-Атон. – В каком качестве я требуюсь? Духовника или врача?

– Наверное, врача.

Пенту официально занимал еще две должности: хранителя царской печати и старшины семеров[16]. Ему было около семидесяти лет. Еще при покойном фараоне Аменхотепе Третьем он занимал одну из четырех нынешних должностей, а именно, должность врача его величества – жизнь, здоровье, сила! Покойный фараон умел подчинить своей воле окружающих. Он действовал неторопливо – медленно приближал к себе друзей и незаметно отвращал от глаз своих впавших в немилость. Ее величество царица Тии, в ком, как утверждали, текла и азиатская кровь, настаивала на осторожных, тщательно продуманных действиях. Ее супруг был человеком горячим. Один взгляд его приводил к смирению строптивых царедворцев и семеров. Он был умен – и даже слишком! – для того, чтобы не отбрасывать все царицыны советы, но принимать во внимание наиболее достойные из них. Фараон справедливо полагал, что в многотрудных делах государственных не следует пренебрегать ни одним советом, не продумав его тщательнейшим образом.

Его светлость Пенту заметно одряхлел за последний год. Он становился чрезмерно сухощавым – вода уходила из его тела. Однако лицо не меняло своего выражения, оно казалось высеченным из розового песчаника, на котором небесный ваятель запечатлел мужество и решимость. Плотный нос с горбинкой, ровные брови, как бы прочерченные углем под линейку, и широкий подбородок не оставляли сомнения в том, что Пенту умел выказать в соответствующее время и стойкость и упрямство. Глаза его смотрели сквозь узкий прищур. Никто не знал, что в глазах его. Зато он видел все и знал обо всем…

Маху сопел. Он молча протянул руку, но Пенту отказался от помощи. Жрец восходил на второй этаж ровный, как тот самый посох, который держал в своей руке.

– Что с его величеством, Маху? – спросил он.

Царедворец пожал плечами.

– Обычное?

– И да и нет.

Пенту остановился, не дойдя двух ступенек до верха

– Как понимать тебя, Маху?

– Его огорчила весть из Эфиопии.

– Что за весть?

– Бежал Усеркааф.

– Бежал?

Старик схватил Маху за руку и в одно мгновение преодолел две ступени. Он подпрыгнул, как мяч из шерсти.

– Что я слышу? – взволнованно прошептал он. – Это скверно, Маху!

– Да, хорошего мало.

– Куда же он делся?

– Говорят, ушел к эфиопам.

Пенту недоверчиво прищурился:

– Кто это может подтвердить?

– Прибыл гонец.

– Он не мог бежать один.

– С ним еще девять преступников. Самых ярых врагов его величества.

Пенту нетерпеливо ударил посохом о каменный пол:

---

[16] Семер – высший сановник, наиболее приближенный к фараону.

– Я хочу сказать, что у них имеются пособники. Среди стражей.

– Возможно.

– Нет, это вполне определенно! Я боюсь, что не только среди стражей. Но и повыше. Совсем недалеко от трона. А?

Маху сильнее засопел.

Они отошли к высокой нише, где их никто не мог слышать, а точнее подслушать.

– Пунанх обещает водворить беглецов на место, – пояснил Маху.

– Обещает?

– Да.

– Скажи мне, Маху, дорого ты платишь за пыль в пустыне?

– За пыль расплачиваюсь только пылью!

– Это и есть цена обещаниям Пунанха!

– Ты думаешь, Пенту?

– Да! Только так! Этого Пунанха знаю давно. Я бы его не поставил надсмотрщиком над двадцатью азиатскими рабами. А он у нас начальник провинции! Если такие люди придут к управлению государством – пиши пропало! Этим бы только брюхо набивать себе да ближним своим. Не знаю, имеются ли основания подозревать Пунанха в пособничестве. Не хочу брать на себя лишнего. Ясно одно: Усеркааф должен быть изловлен, его следует водворить на место! В противном случае возможны всякого рода неприятности. Подраненный лев очень опасен. – Пенту многозначительно подчеркнул интонацией:– К чемуновые неприятности в дополнение к уже имеющимся?

– Ни к чему! – сказал Маху.

– Ты прав стократ, Маху…

Царедворцы направились в трапезную его величества. Пол, по которому они шли, был расписан яркими, воистину живыми красками. Под ногами как бы простирался кусок прибрежной полосы Хапи. Посредине вилась проторенная тропинка, желтая, как в месяц эпифи. Зеленела трава. А по боковым стенам выше человеческого роста вытянулись камыши. Изображение было столь натуральным, что хотелось раздвинуть камыши, чтобы увидеть воды Хапи. Верхние части стен и потолок соответствовали голубому небу тоже в месяц эпифи. В воздухе носились дикие утки и гуси, мелкие пичуги и хищные ястребы. Меж зеленых рядов растительности невольно ощущался аромат распустившихся роз, точь-в-точь как в месяц эпифи.

Вход в трапезную легко можно было потерять из виду, ибо походил он на прогалину в камышах, по которой шествуют к реке и из реки на сушу тяжелопузые крокодилы. Так разрисовали стены и пол живописцы, согласно воле и указанию его величества.

Маху пропустил вперед главного жреца, и они вошли в трапезную. И здесь продолжался в своем великолепии прибрежный пейзаж Хапи Под ногами вместо тропы оказалась прозрачная вода, но не очень глубокая, а так – с локоть. Рыбы различных пород резвились в воде: лупоглазые и с прищурью, серые и желтые, красные и белобрюхие. Эти рыбы как живые Они резвились в прозрачной воде. Они глядели на тех, кто оказывался над ними, – озорно и приветливо, как бы приглашая отведать рыбных блюд. А по стенам – тонконогие олени и лани, антилопы и прочие звери, живущие на скалах Та-Нетер, выше и ниже Порогов Хапи, в Дельте и на Синайском полуострове, в горах Ретену и Вавилона и на просторах пустыни. А рыбы были из тех, что водятся на море Тростниковом и на море Великой Зелени, в Х’апи и озерах Эфиопии.

В этой комнате сидели за столиками его высочество Семнех-ке-рэ – предполагаемый преемник фараона, начальник царских закромов черный Панехси, жрец храма Бен-Бен Пауяк, вельможи Ману и Нахт, царский писец Яхмес и еще многие царедворцы – писцы, управители, жрецы придворного храма.

В смежной комнате на некоем возвышении восседали их величества с дочерьми. Вместе с ними завтракала царица-мать Тии. Верховный жрец Атона Эйе вместе со своей супругой Ти – кормилицей Нефертити – сидел неподалеку (за отдельным столиком). Как

было принято здесь, в Ахетатоне, трапеза у фараона проходила непринужденно, без особенных формальностей. Царский церемониймейстер не был обременен особыми заботами.

Обе комнаты были отделены друг от друга легкой перегородкой с широким проемом для дверей, которые так и не были повешены на петли. Каждый из находящихся в большой комнате хорошо видел все царское семейство. По существу, это была трапеза за одним столом в одном зале – нововведение, которое не одобрялось противниками его величества. Впрочем, это был не самый главный пункт разногласий.

Пенту и Маху уселись на свои места. Жрец плохо видел. Он достал отшлифованный горный хрусталь и приставил к правому глазу. Этот магический камень обладал чудодейственным свойством – приближал отдаленные предметы. В настоящую минуту он был направлен на фараона. Его величество казался утомленным. Был бледен. Молча ел отваренную рыбу под горьким соусом. Хлеб из тонкопросеянной муки был теплым. Это любимая еда. Но нынче его величество безо всякой охоты отламывал небольшие куски, скатывал их в руке и бросал на стол, так и не попробовав. Это был плохой признак. Обычно после любого приступа неприятной болезни он быстро приходил в себя. Вина он любил. Сам давал им названия. А нынче даже не прикоснулся к вину, которое было известно как «Восход Атона на небосклоне» (вероятно, из-за бледно-зеленого цвета напитка).

Царица, напротив, выглядела веселой. Непринужденно перешептывалась с дочерьми, сидевшими по левую руку от нее. Это были: Нефер-Нефру-Атон-Ташери, Нефернеферура и Сетепенра. Меритатон, старшая из дочерей, супруга Семнех-ке-рэ, не вышла к завтраку из-за головной боли, а Анхесенспаатон со своим мужем-красавцем Тутанхатоном находилась в Северном дворце.

Ее величество ждала, что царь обратится к ней с каким-нибудь шутливым вопросом (как это бывало обычно)… Она ответит ему так же шутливо… Рассмеются присутствующие… Царица-мать прибавит что-нибудь от себя… Фараон умел так обставить завтраки, обеды и ужины, что каждый из них запоминался надолго. В это время не только ели. Но и дела делали. То кто-нибудь из вельмож заступится за какого-нибудь хаке-хесепа[17], провинившегося, скажем, во время сбора урожая, то сам фараон вспомнит о ком-либо из сосланных за небольшую провинность на Синайский полуостров и помилует его. Одним словом, трапеза трапезой, а государственные дела вроде бы все время на виду…

Но почему фараон сегодня тих и мрачен? И не слишком ли часто в последнее время он грустит? Эти вопросы задает себе не один Пенту. И не только Маху. Больше всех тревожится ее величество Нефертити. Вот она наклоняется к дочери, а сама думает: «Что с ним нынче?» Она подает кусок дичи младшей дочери Сетепенре, а про себя: «Почему он не глядит в мою сторону? Почему не ласкает дочерей своих?» Кийа в Южном дворце – и не это ли обстоятельство огорчает его величество?

Фараон, должно быть, почувствовал необычную неловкость, которая царила за завтраком, или приспела пора перегореть в нем той горечи, которая отложилась на сердце после разговора с гонцом из Эфиопии? Трудно сказать что-нибудь определенное. Фараон был существом сложным, извивы души его – похлеще тайников пирамиды Хуфу. Он неожиданно повернулся к ее величеству и спросил:

– Не кажется ли тебе, что нынче слишком тихо в этих комнатах?

Ее величество согласилась, что да, нынче за столами тихо. Говорят, что так трапезничают те, которые живут в Западной пустыне, где кончаются пески и начинаются плодородные земли, – в стране Та-Кефт. Вот тот народ молчит за едой, словно набрал в рот воды.

Фараон сделал вид, что впервые слышит об этом народе: кто он? откуда он? И можно ли вообще жить в Западной пустыне?

– Многие говорят о стране Та-Кефт, – сказала Нефертити. Она посмотрела на мужа

---

[17] Хаке-хесеп – губернатор провинции.

пытливым взглядом. Задержала на нем взгляд. Что-то происходит с ним? Или что-то творится с нею? Где тот кудесник, который мог бы объяснить, в чем тут дело? Между ними не было открытой размолвки. Он по-прежнему был вежлив. Но воистину надо превратиться в обелиск, чтобы не понять, что что-то неладно в этом великом доме. А может быть, не в доме, а в Кеми, на обоих берегах Хапи, в Дельте и на Юге? Не здесь ли, как говорят хетты, спрятаны ослиные уши? Ведь бывает же так: ничего не сказали дурного друг другу, а в воздухе носится непонятное, с трудом осязаемое и обоняемое, от которого портится настроение, хмурятся брови и встает между двумя любящими сердцами ледяная стена, как в горах Ретену. Ее величество понимает, что надо поддержать этот порыв фараона, надо отеплить воздух, витающий над столиками.

Семнех-ке-рэ доедал сладкое блюдо, когда его величество обратился к нему с вопросом:

– Что там за народ в стране Та-Кефт и что он делает?

Его высочество отставил тарелку, вытер губы льняной салфеткой. Юношески бледное лицо Семнех-ке-рэ порозовело. Глаза его блеснули черной молнией. «Вот этот будет фараоном, – подумал его величество, – есть в нем и фантазия, и умение слушать людей, а главное – есть и достаточная мощь под славной, привлекательной личиной». Семнех-ке-рэ, сказать по правде, не обладал большой физической силой. Стрела, запущенная им, могла и не угодить в цель. Но разве в этом величие фараона, ведущего тысячи и тысячи людей за собой? Говорят, во времена Нармера ценились в фараонах бычья сила и прожорливость крокодила. В те времена, говорят ученые жрецы, люди во дворце свободно поедали быка. Для этого достаточно было, чтобы его величество собрал трех-четырех вельмож. И пиво пили сверх всякой меры… Если правда, что в силаче и дух сильный, то ничего хорошего о Семнех-ке-рэ не скажешь. Однако всякий, кто знает его, поймет, какая гордая и какая сильная душа в этом молодом принце! Стало быть, старинная поговорка не совсем точная…

Его высочество Семнех-ке-рэ ответил, не говоря ничего лишнего сверх того, что требуется сказать. Сверх того, что необходимо для ясного уразумения мысли. Он ответил так:

– Есть страна на Западе, и есть народ на Западе. Он такой же, как все: на двух ногах, о двух, руках. Такой же, как все: с волосами на голове и двумя сосками на груди. Я напомню: в мире четыре расы. Ромету – красные. Это – мы. Аму – желтые. Они – в Азии. Тегенну – белые. Они – в Ливии. Нехсу – черные. В Та-Кефт живут тегенну и немного нехсу. Там города и деревни, там каналы и сады в пустыне, и женщины там красивы и статны, как в Дельте, и ловки, как те, живущие в оазисах. Мертвых там хоронят в скалах и маленьких каменных пирамидах. И мертвые в могилах не лежат, а сидят. И нет там обычая, чтобы мертвый забирал с собой на поля Иалу больше, чем может взять человек в охапку. Не взваливая себа ношу на спину или плечи.

– Слышите? – сказал его величество, глядя перед собой. Но неизвестно, кому это он сказал.

Эйе заметил в кратких словах, что все это правда. То есть правда то, что говорят о Та-Кефт.

– Кто говорит? – спросил фараон.

– Люди мудрые говорят.

– А они есть?

– Кто? – Эйе потянулся рукой к финикам и меду.

– Мудрые люди.

– Они находятся даже здесь, в этом помещении.

– В самом деле? – Фараон откинулся чуточку назад, как бы выставляя напоказ свои крепкие, массивные челюсти. И засмеялся. Нет, он захохотал. Нет, он вдруг захлебнулся в смехе.

Глядя на него, начинал смеяться то один, то другой.

Он передавался – этот смех – от одного к другому.

Вот уже смеются все. Даже Нефертити. Даже застенчивый Семнех-ке-рэ. А о принцессах и говорить не приходится: девушкам палец покажи – уже хохочут…

Пенту наклонился к Маху и сказал вполголоса:

– Его величество – жизнь, здоровье, сила! – чувствует себя хорошо.

Маху ответил:

– После трапезы он будет ждать тебя.

В этом неожиданном веселье, которое напало на всех – а иначе никак не скажешь, – веселье, явно нездоровом, искусственно подогретом, непоколебимо мрачным оставался один: его высочество Эйе. Он неодобрительно посматривал на жену свою Ти – такую немножко сморщенную, но все еще живую задорную женщину. Может быть, Эйе видел дальше, чем все. Или знал больше других. Кто это может сказать? Если бы здесь присутствовал живописец и ваятель Юти, он, несомненно, изобразил бы полтора десятка бездумно-веселых людей и сурово-задумчивого Эйе. Одного старого мудреца среди легкомысленных людей. Одного воина среди подвыпивших. Так бы изобразил Юти. И он, наверное, был бы прав…

Эйе сказал, сохраняя задумчивость:

– Что такое мудрый человек? Некий певец, разъезжавший по городам в древнее время – при царе Усеркаафе, выразился так: мудрый человек такой же, как все, разница лишь в том, что он больше думает и меньше других болтает.

– Это трудно, – сказал фараон.

– Что – трудно?

– Болтать.

– А я что говорю? – сказал Эйе. – То же самое!

Служители разнесли вино – черное, как чернила, которыми пишут в фараоновой канцелярии. Оно называлось «Несравненное Ахетатона».

Ее величество Нефертити смеялась, а на душе у нее – камень…

«…Эхнатон уже не тот. Что с ним? Говорят, все Кийа, эта жаркая, молодая красавица. Но разве может смутить бога красавица? Не в ней дело! Совсем не в ней. Если Эхнатон в чем-то не согласен со мной – можно объясниться. Если я не родила ему мальчика – я могу уйти. Но все требует объяснения. Нельзя так молчаливо…»

Эйе смотрел прямо перед собой – сквозь жену, которая сидела напротив него, – и думал о своем. Его жилистые руки лежали на столике. Голова его слегка наклонена набок – к левому плечу…

«…Сейчас видно все как на ладони. Даже иноземец, не знающий нашего языка, скажет: царь и царица – не в ладах. В великом доме – разлад. Великая любовь уступила место великому равнодушию. От равнодушия до ненависти – шаг. Это молодая Кийа делает свое дело. Она разрушает. Это видно даже слепому…»

Фараону не давали покоя эти самые молчаливые мудрецы, о которых говорил Эйе. На бритой голове старика пульсировали большие и крепкие жилы, и фараон подумал, что именно эти жилы являются признаком мудрости. Он любил и глубоко уважал Эйе независимо от того, сколько у него жил на голове и что говорил старик. Ни один совет Эйе не был легкомысленным или непродуманным. Говорил Эйе – точно слова ковал. Каждое слово – что небесный металл: весомое, четкое, попадающее в сердце, в самую серединку…

– Я читал в старых свитках, – сказал Эхнатон, – что некогда в Кеми обитали мудрецы. Они много болтали, но каждое слово их ценилось выше золота.

– Где же они? – спросил Эйе.

– Мудрецы, что ли?.. Они повывелись. Ибо в противном случае берега Хапи были бы усыпаны золотом.

– Я верю этому.

Эйе наконец рассмеялся.

Фараон поднял чарку, хотел было пригубить, но, что-то вспомнив или увидев что-то в чарке, поставил ее на место, встал и вышел в свою рабочую комнату, где он работал и слагал

стихи.

Пенту последовал за ним.

Беспокойство

В небольшой – очень небольшой – комнате, расписанной живописцами, Эхнатон чувствовал себя лучше, чем где бы то ни было. На стенах многократно изображен фараон в различные мгновения жизни: то на руках полуобнаженной, молодой Тии, то рядом с ее величеством Нефертити, то среди детей, то у тела несчастной Мактатон, безвременно переселившейся на поля Иалу (так было угодно великому Атону).

Один угол комнаты был завален чистыми свитками папируса. Фараон мог в любой час записать свои мысли без помощи писцов. Веранда выходила на просторы Хапи. Плавная, как лебяжья шея, излучина – словно на ладони. Оттуда веет прохладой, когда солнце еще на востоке. Позже – после полудня – его величеество перейдет в другой кабинет, напоминающий этот, но выходящий балконом на север. Здесь тоже приятно слагать стихи и наигрывать на арфе замысловатые мелодии…

Пенту тихо приоткрыл дверь и резко затворил ее за собой. Его величество не шевельнулся. Он смотрел на стену. На голую стену, на которой только рисунки.

Пенту стал сзади, вперив острый глаз в затылок фараона. Кто скажет, глядя на него со спины, что в руках его вся вселенная? Кто бы подумал, что в нем – этом тщедушном человеке – найдутся силы, которые восстанут не только на врагов своих, но и на самого бога Амона? Все это останется тайной даже для такого многоопытного и мудрого человека, как Пенту. Если это тайна для Пенту, то для кого же не тайна?

– Оборотись ко мне, твое величество!

Эхнатон стоял не двигаясь. Он слышал голос Пенту, но звучал в его ушах голос и посильнее.

– Твое величество!..

Фараон медленно повернулся. Губы его точно бы припухли. Глаза безжизненны. Тонкое лицо, о котором говорили, что оно острое, как кинжал, стало еще острее. Серый цвет лица напугал жреца. Что стряслось с фараоном?

Пенту протянул руку и приложил к сердцу его величества. Затем пощупал печень его все той же рукой. Фараон, казалось, отсутствовал. Точно щупали не его, а тень фараонову.

– Болит?

Фараон молчал.

– Болит? – переспросил Пенту.

Его величество вздохнул глубоко, взял врача за руку:

– Пенту, мое сердце всегда с тобой. Оно совсем не болит. И печень не болит. Мое Ба корчится от невыносимых страданий. Славно бы горячим вертелом, как гуся, протыкают его, прежде чем изжарить.

Пенту слушал внимательно.

– Когда-нибудь я скажу тебе, Пенту, нечто. И ты тогда поймешь, отчего корчится мое Ба, отчего больно моей душе. А тело мое, – заверяю тебя, – хотя оно не столь внушительно, не думай о нем плохо. Сто лет, сто добрых лет послужит оно мне, если только выдержит Ба.

Жрец ничем не проявлял своих чувств, Он служил отцу его величества, служил тому, кто дарует жизнь всему сущему, – богу Атону. Посему жрецу надлежало быть выше всего земного и, разговаривая с любимым сыном Атона, сохранять достоинство священника.

– Пенту, – продолжал фараон, – я хочу сказать нечто. Я думаю об этом, и кровь стынет в моих жилах и вызывает тяжесть в затылке. От тяжести той мои суставы делаются иногда похожими на воду… И я чуть было не упал. Сегодня утром. Если бы не Маху, я бы упал. Распластался бы на полу.

Жрец нарушил молчание:

– Твое величество, я знаю все. И я скажу тебе: твое беспокойство оправданно. Ибо в

руках у тебя – судьба Кеми. Подай мне руку. Правую.

Фараон протянул ладонь. Она была и нежной и маленькой. Как женская рука.

«…Такая маленькая и такая сильная. Воистину сказано: бойся низкорослых… Рука сильная, но Кеми еще сильнее. Рука загребущая, но совладает ли она с горячим конем, на котором скачет фараон?»

Пенту рассматривал линии на ладони.

– Ты здоров, – сказал он наконец фараону.

– И это всё?

– Что же еще?

– Я знаю: я здоров. Но хочу знать: здоровы ли мои царедворцы, мои военачальники, мои семеры? Ибо от их здоровья зависит и мое.

Эхнатон прошелся по комнате взад и вперед, чуть выставив округлый живот.

«…Он очень некрасив, он очень некрасив. Бедная Нефертити! Она достойна лучшего из львов!»

Фараон стал перед жрецом, дыша жарким и прерывистым дыханием. Его глаза сверкали, точно из воды. Губы – такие пухлые и по-детски нежные – вздрагивали, прежде чем произносили слова.

– Пенту, – сказал фараон, – мне кажется, что страна болеет. Не я, а страна! Чем больше думаю об этом, тем больше убеждаюсь. Однако больше всего меня смущает ее величество. – Он ждал, какое впечатление произведут на жреца его слова. – Царица, мне кажется, больше не понимает меня.

– Может быть, наоборот?

Фараон вздрогнул, точно его растолкали среди сна:

– Как ты сказал?

– Ты-то сам понимаешь царицу?

И в первый раз – ничего подобного никогда не видел Пенту! – фараон скорчился, как от боли, при упоминании царицы. «Неужели? – подумал жрец. – Неужели это так?»

Фараон, разделяя слоги, выговорил эти слова:

– Не желаю ее знать!

Его величество затрясся от злобы.

– Успокойся, – сказал Пенту.

– Не могу! Я чувствую, как жена моя и дети мои отдаляются от меня. Народ отдаляется от меня. Кеми уходит от меня…

– Это тебе только кажется…

– Кажется? – Фараон стал самим собою – царственным, волевым монархом. – Я вижу слишком далеко. И в этом, может быть, мое несчастье. Ты думаешь, я не знаю, что вокруг зреет недовольство. Да, да, недовольство!

– Оно всегда и повсюду зреет, – сказал мудрый Пенту. – С тех пор как существует человек и существует Кеми, всюду и во всякое время зреет недовольство. Сосчитай, сколько людей в твоем царстве. Превратись на миг в сокола и взгляни на землю свою: сколь она велика и как много на ней людей. А теперь превратись в мышь домовую и подслушай, что говорят миллионы…

– Ничего хорошего, Пенту.

Жрец возразил:

– Одни ругаются. Другие милуются. Третьи довольны. Четвертые…

Фараон не дал ему договорить:

– Это не важно, что думают и чем занимаются четвертые. Зачем все это, если у меня под боком творится нечто, от чего человек может вовсе лишиться разума?

– Это неправда.

– Что – неправда?

– Ничего особенного не творится.

– Если жена не понимает тебя? Если зять – Семнех-ке-рэ – мыслит по-своему? Если

другой зять тоже шагает не в ту сторону, а дочери твои не поддерживают тебя – разве это «ничего особенного»?

Жрец дал понять, что все это именно и есть «ничего особенного». Фараон невольно рассмеялся. Как мальчик. Захлопал в ладоши. Ему стало так весело, будто напился вина.

– Очень хорошо! Очень хорошо! – воскликнул он. – Мои близкие и друзья превращают на моих глазах серое в белое, белое в черное. Очень хорошо! Значит, нечего опасаться? Значит, я могу сказать, что в государстве все идет отменно?.. Нет, нет! Не отвечай мне сразу. Подумай прежде. Подумай прежде. Подумай и скажи мне: все ли в государстве идет отменно?

Жрец по-прежнему старался не выдавать ни своих мыслей, ни чувств:

– Твое величество, с тех пор как существует вселенная, не было еще государя, который мог бы сказать: все хорошо в моей стране.

– Дальше.

– Если даже находился такой царь, то он вскоре раскаивался в своих словах.

– Почему?

– Потому что убеждался в том, в чем убеждался.

– Я не понимаю твоего книжного языка. Говори яснее, Пенту. Говори, как говорят на рынке.

Жрец нахмурил брови:

– Я же не на рынке. Я не торговец зеленью…

– Вот это я знаю!.. Дальше.

– Нельзя сетовать на то, что в государстве что-то не ладится. На то оно и государство.

– Ты это говоришь как врач или как мой советник?

– Как врач.

– Что ж, по-твоему, я болен?

– Да.

– И тяжело?

– Да.

– Ты уверен?

– Да.

– Ну, так лечи.

Фараон плюхнулся на циновку, вытянул ноги, сложил на груди руки, закрыл глаза. И приказал:

– Лечи!

Жрец не трогался с места.

– Лечи, говорю!

Пенту присел на низенькую скамью, которая на трех ножках. Помолчал. Потер лоб… Нет, в самом деле, он убежден, что говорит правду. Разве плохи дела Кеми? Наступление хеттов на пограничные деревни? Но они могут и отступить! Восстание в Ретену? Оно окончилось. Тревожное положение на границах с Эфиопией? Там всегда было неспокойно…

– Твое величество, – проговорил Пенту, не глядя на фараона, – никто из нас не сотворен из камня. Тебе нужен отдых. Поезжай, твое величество, в Южный дворец. Проведи день, другой. Пробудь ночь на воде. При огнях. Слушай музыку. Это необходимо для здоровья.

– А дальше?

– Что дальше?

– Кто делами займется?

– Ты.

– А кто же предаваться будет веселью?

– Тоже ты.

Фараон присел. Уткнулся подбородком в колени. Так, как это делал в детстве. Пенту хорошо помнил совсем еще юного фараона. Юного принца.

– Послушай, Пенту, отвечай прямо и не пытайся морочить мне голову.

Пенту скорчил гримасу: он не одобрял увлечения фараона языком рынков и мастеровых людей.

– Понимаешь? Не морочь голову!.. Если к тебе приходят и говорят: бежал из каменоломни твой враг, заточенный тобою, – что ты скажешь?

– Стану искать его.

– Если его не находят?

– Наберусь терпения.

– А потом?

– Выдам сто хлыстов нерадивому хаке-хесепу.

– Сто?

– Может, пятьдесят. Для первого раза.

– Это мысль!

Фараон ударил палочкой из слоновой кости в бронзовую пластинку. И сказал вошедшему негру:

– Позови ко мне его светлость Маху.

Чернокожий выслушал приказание, не глядя на благого бога. И попятился назад, к двери.

– Скажи, чтобы шел поскорее!

Чернокожий приоткрыл дверь.

– Чтобы мчался сюда!

Чернокожий вышел в коридор.

– Пусть растрясет свой живот!

Чернокожий не посмел закрыть за собою дверь.

– Пускай спешит сюда этот грязный гиппопотам!

Фараон был словно горный поток: миг! – и сокрушит все на пути.

– Пенту, – крикнул он, потрясая кулаками, – ты всегда подаешь мне хорошие советы! Этих подлецов надо держать в черном теле. И тогда меня будут больше любить и уважать. Этот секрет я вычитал в одном старинном свитке времен Аменемхета Первого. Там очень хорошо говорилось о том, как следует вести себя власть предержащим.

– Жестоко?

– Именно жестоко, Пенту! Не жалея никого и ничего. Мне говорили, что впервые испытал этот способ фараон Нармер. Ведь он, Пенту, в один час из смертного князя превратился в живого бога, наподобие меня. В один час, Пенту! Я бьюсь – вот уже четырнадцать лет – со своими недругами и достиг не очень многого.

– Я этого не сказал бы, твое величество.

Вошел Маху. Вернее, вкатился. И кто-то невидимый прикрыл за ним дверь.

– Я у твоих стоп, твое величество!

Произнося эти слова, Маху смотрел на жреца. Но тот стоял к нему спиною.

– Маху, – сказал фараон, – Пунанх проявил нерадивость. Он упустил этого Усеркаафа. И тот бежал в Эфиопию. За ним послана погоня. Но беглец пока не пойман. Я приказываю: полсотни палочных ударов Пунанху. Немедленно! А остальные – потом. И передать ему: пусть ищет его на земле и под землей, в горах и на воде! Передай еще: не дай бог, не дай бог не поймать его и не водворить на место! Понял меня, Маху?

– Понял.

– Пятьдесят увесистых ударов.

– Так точно.

– И доложить мне тотчас же!

– Твое величество, Пунанх получит свое сполна.

Фараон кивнул; Маху, удалился.

– Ты доволен, Пенту?

– Так же, как ты, твое величество.

– Я расстроен. Я совсем не доволен.

Откуда-то из складок своего одеяния жрец достал флакон, вылил из него немного бурой жидкости в чарку и поднес ее фараону.

– Этот настой, – сказал он, – дает успокоение, в котором ты больше всего нуждаешься. В далеком Та-Нетере растет это дерево, похожее на чудовище.

Фараон выпил до дна:

– Какая гадость!

– В этой жидкости – великая сила.

– В этой вонючей воде?

Жрец молча поставил чарку на столик.

– Я открою тебе тайну, Пенту, – начал фараон доверительно. – Ближе ко мне, Пенту. Поближе!.. Мои военачальники жаждут войны. Одни из них зовут меня на Север, другие – на Юг. Третьи советуют идти через пустыню, чтобы завоевать неведомое государство Та-Кефт. Если я двинусь на Север, помчусь на Юг, переползу через пустыню – меня станут уважать враги. Жрецы Амона протянут мне руки. Знать, которую я долбал нещадно, тоже протянет мне руку примирения. А я говорю, напоминая им шумерскую пословицу: «Ты пошел отнимать землю у врага? Враг пришел, чтобы отнять твою землю». Понимаешь, Пенту?

Жрец кивнул.

– Шумеры – не дураки. Это сейчас они присмирели, как бы забились в угол. А ведь шумеры других учили уму-разуму. У них такое смешное письмо, какбудто бы куры царапали клювом. И я, положа руку на сердце, не могу сказать, у кого род более древний: у нас или у них?

Фараон поднялся на ноги – по-юношески легко, – кинулся в угол, где лежали чистые свитки папируса… Вдруг застыл. Медленно повернулся всем корпусом **к** жрецу. И прошептал:

– А хочешь, я им дам войну?

– Кому, ваше величество?

Благой бог не ответил кому. До поры это была только его тайна.

Главный военачальник

Очень возможно, что его величество объяснил бы Пенту, кому же он объявит войну. Кому это – «им»? Особых тайн от жреца у него не было. Даже, может быть, слишком часто открывал благой бог свое сердце для ушей жреца и врача? В Уасете говорят: «Какой же это монарх, у которого за душою нету тайн?» Впрочем, народ в Уасете – прежней столице Кеми – слишком изощрен. Точнее сказать, слишком испорчен столичной жизнью, превосходством их города над всеми прочими городами Кеми. В Мен-Нофере – самой древней столице Кеми – говорят несколько иначе: «У фараона тайн должно быть не больше, чем у обыкновенного воина в Ливийской пустыне, когда он там воюет». Это две крайние точки зрения. Правда, по-видимому, где-то посредине. Мясники Ахетатона выражают свой взгляд на тайну следующим образом: «Без тайны и злого умысла – только вол, висящий на крючке в мясной лавке». Кто же все-таки прав?..

Очень возможно, что его величество объяснил бы кое-что жрецу Пенту, если бы в эту минуту не явился главный военачальник Хоремхеб. Он протопал в тяжелых башмаках прямо к фараону, поклонился ему. Это был человек грубый, как носильщик тяжестей. Высокий и дородный, словно негритянский царек. На левой щеке его красовался розовый рубец – прекрасный знак, полученный в битве с хеттами. Хоремхеб очень гордился шрамом, ибо жизни не лишился. А мог бы. И очень даже просто. Ото лба до подбородка столько же, сколько от уха до уха: почти квадратное, почти солнечно-округлое лицо, почти тыква, на которую смотришь сверху…

– Его величество только что пришел в себя, – сказал Пенту, указывая рукою на кувшин.

– Очень жаль, Пенту.

– Почему же?

– Потому что вести у меня мрачные. И разговор – мрачный.

– Это в порядке вещей, Хоремхеб. Я несу благую весть, твое дело омрачать людей и вселять в их сердца холод и страх.

– Ты прав, Пенту. Профессии у нас разные. Мы созданы для разных дел. И я не сетую.

– Увы! – отвечал жрец. – Меня это различие как раз и тревожит.

Хоремхеб махнул рукой, – дескать, пустое все это. Он поставил рядом две трехножные скамьи. И сказал так, как будто говорил солдатам:

– Садитесь: твое величество – сюда, Пенту – сюда!

Благой бог, поглощенный собственными мыслями, уселся на скамью без звука. Пенту ничего не оставалось, как последовать его примеру.

Фараон уставился взглядом на некую рыбешку на полу, которую собирался проглотить другой – более сильный – подводный житель. Живописец изобразил маленькую рыбу весьма симпатичной и не подозревающей о страшной угрозе. А хищник оскалил зубы. Раскрыл пасть и уже предвкушает удовольствие. Какая прекрасная иллюстрация к разговору, который, несомненно, затевает Хоремхеб! Ему чудится Кеми в образе этого подводного хищника. Спит и видит во сне Кеми. Кеми, пожирающего соседние земли. Соседьие государства. Соседние народы…

– Как всегда, – начал Хоремхеб почему-то торжественно, – я – с дурными вестями. Хетты наглеют с каждым днем. По моим сведениям, они вторглись в пределы городка Ном-от. Твоему величеству, вероятно, памятно это название. Год тому назад оттуда присланы были золотые рукомойники для трех дворцов Ахетатона.

– Да, помню, – глухо проговорил благой бог.

– Ном-от имеет большое значение для северных провинций Джахи, – Хоремхеб развернул пожелтевший папирус. – Вот здесь, твое величество, изображен городок Ном-от. Население его сплошь туземное, и князя его зовут Хеметтат. Он предан тебе и нынче оплакивает падение своего владения. Чуть правее, подальше от моря, в шести сехенах[18] от Ном-от, находилась наша крепость, построенная его величеством покойным фараоном. Эта крепость тоже взята хеттами. Народ Митанни[19], подстрекаемый князьями Ретену, обрушился на наши гарнизоны вот здесь. – Толстый палец Хоремхеба медленно описывал полукруг от города Ном-от к востоку и северо-востоку. – Моряки-разбойники, выйдя в море с острова Иси, мешали нашим кораблям. На берегу, на самой границе с хеттами, стоял наш военный пост Нефер-Туа. Он захвачен врагами еще в прошлом году, в месяц мехир. За полгода хетты продвинулись вот сюда, к городу Ан-Таир. Твое величество легко вычислит, сколько сехенов прошли хетты за полгода от Нефер-Туа до Ан-Таир: ровно двадцать!

Пенту искоса поглядывал на папирус, но более всего поражали его эти грубые руки Хоремхеба. Из них словно жир вытекал, точно они поджаривались на огне. Этот грубый военачальник был противен жрецу. По-видимому, не только ему. Разве фараон искренне относится к Хоремхебу? Только-только терпит. Однажды была сделана попытка заменить его на посту военачальника. Но не тут-то было! Пришлось отказаться от этого намерения. Многие высшие сановники высказались против замены – и Хоремхеб остался Это очень плохо, когда военный решит, что прочно сидит в седле. Жди от такого всякой пакости – явной и тайной.

– Мятежные князья Ретену… – продолжал Хоремхеб, указывая на красное пятно, – князья Ретену перешли вот здесь горную гряду и приблизились к городу Кодшу настолько, что наш гарнизон был вынужден отойти к морю. – Военачальник повел мизинием от красного пятна к краю папируса.

Пенту смотрел сверху вниз. Он даже не наклонился, чтобы получше разглядеть чертеж. Жрец, как обычно в таких случаях, прибег к помощи горного хрусталя.

---

[18] Сехен – мера длины (11 км).

[19] Митанни – государство на севере Месопотамии.

Фараон уперся взглядом в потолок. Там летали птицы. Там было синее небо, невообразимая высь. Сокол нехебт летел в синеве. Он парил на крепких крыльях, и его величество завидовал ему. Откровенно завидуя свободному полету, он в то же время задавал себе вопрос: «Почему рыбе хорошо в воде, а соколу в небе?» В чем же сущность плавающего, шагающего по земле и летающего в воздухе?..

Пенту приметил рассеянный взгляд фараона. Жрец тоже залюбовался соколом нехебт. В самом деле, под потолком – точнее, небесным куполом – парила птица. Она казалась не то чтобы живою, а совершенно натуральной – с перьями, лоснящимися от подкожного жира, и клювом серого цвета, и глазами, похожими на янтарь…

Хоремхеб ушел, как говорится, с головой в свой папирус. Он продолжал развивать мысль о том, что наступление врагов Кеми будет продолжаться и впредь. Оно будет продолжаться до тех пор, пока его величество бездействует. Да, бездействует!..

Военачальнику хотелось убедиться в том, какое впечатление произведут слова эти на фараона. К его удивлению и огорчению, его величество и вельможа еголюбовались изображением птицы на потолке. Не говоряни слова и не выдавая своего возмущения, Хоремхеб тоже запрокинул голову и стал разглядывать птицу нехебт. Так и рассматривали птицу три первых человека Кеми, меж которых был сам благой бог…

– Мне кажется, – проговорил фараон, – что этот сокол немного косит глазами. Или он смотрит не туда, куда следовало бы. Нехебт высматривает свою жертву. Наподобие нашего Хоремхеба. В данном случае одной из жертв являемся мы – кто-то один из нас. Я хочу сказать – жертвой, если иметь в виду направление хищного взгляда этой птицы. Но левый глаз глядит не туда! Если согласиться, что левый пытается определить расстояние до меня, то правым приметил Хоремхеба.

Пенту сказал, что оба глаза направлены на Хоремхеба и ни о какой косине речи быть не может. Живописец знал свое ремесло!

Он говорил слишком резко. Хоремхеб попытался отнести эту резкость на счет фараона. Однако тот сейчас же реагировал:

– Дорогой Хоремхеб, это о тебе говорит, о тебе говорит уважаемый Пенту! Ты и в самом деле мало смыслишь в живописи. И в этом нет ничего обидного. Так я думаю…

– Разумеется, разумеется, твое величество! «Послушай, лысая обезьяна, – обратился Хоремхеб про себя к жрецу, – когда ты перестанешь засорять наши уши своими глупыми словами?»

– В этом нет ничего обидного, – издевательски настаивал фараон, по-прежнему запрокинув голову и выставив на всеобщее обозрение далеко не привлекательный подбородок.

«Да, подбородок лошадиный, – продолжал размышлять про себя Хоремхеб. – Ничего не хочу, два дня власти – только и всего! Я бы показал им, где живут крысы в пустыне!»

Хоремхеб сказал:

– Уважаемому Пенту следовало бы не столько тыкаться носом в потолок, сколько оглянуться вокруг и подумать о том, что творится на границах империи.

Фараон оживился.

– Как ты сказал? – спросил он Хоремхеба.

– Так, как сказал! – буркнул военачальник.

– Нет, ты выразился сочно, а я, как тебе известно, люблю сочные выражения. «Тыкаться носом в потолок»… Клянусь Атоном, сказано неплохо! Даю слово, что использую твое выражение в своих стихах. И объявлю, что лучший образ принадлежит тебе.

– Я не честолюбив…

– Вот этому не верю.

– Почему?

Вмешался Пенту:

– Потому что неправда!

– Что неправда?

Пенту приложил к глазу магический камень и тихо сказал, очень тихо, отчего каждое его слово звучало еще сильнее:

– Потому что в сердце твоем живет честолюбие, как крокодил в воде, как бегемот в болотах, как змея в пустыне. Ты готов ввергнуть страну в военное бедствие, лишь бы удовлетворить собственное честолюбие. Оно у тебя алчное, Хоремхеб! Оно готово проглотить весь мир. Такое оно алчное!

У Хоремхеба кровью налились глаза. Лицо налилось кровью, подобно льняной ткани, на которую вылили красное вино. Но он не был бы Хоремхебом и не был бы первым военачальником, если бы не умел брать себя в руки. Он остыл – медленно, очень медленно, как галька прибрежная после знойного дня. Сначала он улыбнулся – скривил лицо, прищурил один глаз, потом – другой. Сорокапятилетний вояка, казалось, боролся с самим собой. Не часто ему приходилось бороться с самим собой! Затем мускулы на его лице сгладились, – сгладились все, кроме шрама, оставленного азиатским кинжалом.

– Удивительно это, очень удивительно – сказал он обиженно, – удивительно, твое величество! Вот я прихожу к тебе, и благодать твоя вокруг меня. Вот пришел я к тебе, чтобы почерпнуть силы в словах твоих. Вот я пришел к тебе, чтобы нарисовать твоему величеству действительную картину, которая на границах империи. Что же я услышал? Колкости со стороны Пенту? Насмешки из уст твоих? Нет, я не за этим явился к тебе. Уши мои словно у зайца: они ловят каждый твой вздох, точно шорох в кустах.

Фараон прикинулся, что поражен. Его величество обратился к Пенту:

– Ты слышишь, Пенту? Не думаешь ли ты, что уважаемый Хоремхеб прав? Суди сам: он с жаром говорит о бедах на северных границах, а мы глазеем по сторонам, подобно нерадивым ученикам в школе. Он пытается повернуть наши головы в правильную сторону, а мы с тобою, подобно упрямым ослам, сопротивляемся. Нет, Пенту, прав Хоремхеб! И тебе тоже придется признать это.

– Признать? – огрызнулся Пенту. – Что признать?

Он сказал это так, словно был наедине с фараоном, словно здесь не присутствовал Хоремхеб.

– Признать, – повторил фараон, – что он прав, а мы с тобою не правы.

Его величество улыбался. Его тонкое лицо словно было вырезано из папируса. На этом лице несуразно блестели большие глаза, точно принадлежащие кому-то другому. И мясистый нос торчал несуразно.

– Я готов признать это, – сказал Пенту, – если угодно твоему величеству.

– Мне сейчас ничего не угодно.

«…Врут они, врут оба! Фараон прекрасно знает, чего хочет, и прикидывается наивным, когда это выгодно ему. А этот Пенту, лысая обезьяна, – известный поддакиватель, кивающий головою, когда надо и когда это не требуется вовсе».

Фараон нахмурился. Выпятил нижнюю губу, подумал, подумал и обратиться изволил к слугам своим с высоты своего царского величия:

– Хоремхебу собрать военный совет. Ему же доложить на военном совете то, что он считает нужным доложить. Это очень важно. Чрезвычайно важно.

Хоремхеб склонил голову. Пенту был внимателен, очень внимателен.

– Совет скажет свое слово. Возглавит совет достопочтенный слуга Атона, наш слуга Пенту. Он сообщит мне решение совета. И я поговорю с богом. Атон подскажет мне верное решение. Он не оставит сына своего без внимания. Не оставит Кеми…

Так сказал его величество. Хоремхеб почти был уверен, что царь неискренен. Но не совсем был уверен. Пенту, напротив, был убежден, что фараон говорит серьезно. Но полностью Пенту за это не поручился бы.

Аудиенция была окончена.

Для Хоремхеба.
И для Пенту.
Эхнатон умел показать это. Показать, что разговор окончен.

Ее Величество

Оставшись один, фараон вдруг ощутил пустоту. Душевную, щемящую, неукротимую. Ему показалось, что он проваливается в эту пустоту. Летит камнем. То головою, то ногами вперед. Он бросился на циновку, закрыл лицо ладонями, чтобы стало темно в глазах. Как можно темнее. Это проклятая, распирающая боль в затылке. Словно бы кто-то долбит камнем камень. Там, в глубине мозгов. Даже глубже. Где-то возле гортани. Точно запускают грубую, шершавую руку на самое дно желудка… И эта тошнота. И это головокружение!..

Он пролежал без движения с полчаса. И вот колесо, кем-то бешено заверченное, начало понемногу терять скорость. А на этом колесе лежит фараон… Все медленнее обороты… И легче, легче на душе. И в голове. И в желудке. Еще мгновение… Еще другое… Вот хорошо! Вот совсем хорошо!..

Он открывает глаза. Осторожно. Очень осторожно. Вот он разнимает ладони, которые на лице его. Тоже осторожно. Теперь вся комната – перед ним. Росписи как живые. И рыбы внизу. И птицы – под потолком. Нет, все как будто на месте. Ничто не рухнуло. Дворец стоит непоколебимо. Мир держится твердо. Да, благополучно миновало нечто страшное, которое Пенту именует недугом затылка и спины, недугом печени и головы…

Верно, все прошло. Однако остался странный привкус во рту. Точно поел незрелых плодов сикоморы. Зеленых фиников. Тухлой рыбы. Невозможно передать этот привкус во рту. Это вкус смерти. Так говорит Пенту. Человек, испытавший его, все равно что побывал на полях Налу. Забежал туда на мгновение и снова вернулся в этот мир.

Его величество неподвижен. Только большие глаза смотрят наверх и по сторонам. И вдруг – вдохновение. Какой-то голос шепчет ему слова нового гимна отцу его – великому, всемогущему Атону. Это так явственно, так четко, что трудно спутать слова. Каждый стих отграничен от другого как бы глубоким вздохом. Вставай и бери в руки письменный прибор. Вставай и записывай слова, продиктованные свыше. С небес, которые разверзлись. Для того чтобы его светозарное величество Атон нашептал своему сыну новые стихи…

Эхнатон замер. Чтобы не пропустить ни единого звука. Вот он, его голос – голос свыше:

О величье вселенной, которая
Рождает в сердце твоем любовь!
О сердце львиное твое, которое
Способно вместить любовь!
Если б не вы, если б не вы,
Кто бы хранил это заветное чувство,
Идущее от звезд к человеку?

Фараон чутко ловит каждое слово. Разве не для него это каждое слово? И кем говоренное? Его светозарным отцом. Нет, нельзя упустить не то чтобы слово, а и каждый слог, каждое придыхание…

Замер, замер его величество на простом и жестком ложе. Именно на этом ложе к нему является великий Атон, чтобы через сына своего донести до вселенной чудо новых стихов и гимнов. Благодаря этому голосу все Кеми – от Порогов до Дельты – услышало голос Атона, и уверовало в него, и отвратилось от старых богов и самого Амона…

Его величество медленно перекатывается на живот, протягивает руки к чернилам и папирусу, нежному как шелк. И он пишет, он пишет под диктовку отца, который на синем небе. Пишет для Кеми, которое от Порогов до Дельты…

О великий отец, низвергнувший в пропасть

Ненависть и подлость,
Не гы ли рукой бесстрашной
Поднял знамя любви?
Не ты ли позвал народы
Идти за тобою в путь далекий –
Народ Джахи и народ Та-Нетер,
Народ Вавилона и Митании,
Арамейцев, шумеров, израильтян
И славный народ обширного Кеми?
О отец наш – Диск Золотой и Живой, –
Дай силы детям твоим,
Вложи в десницу их меч,
Попирающий зло, зло, зло
И дарующий людям вселенной Любовь!

Он писал, и вскоре гимн был окончен. Его не надо было ни исправлять, ни переписывать. Ибо продиктован свыше. Его величество уронил голову на руки. На лбу его – испарина. Сквозь плотно сжатые зубы вырывался не то стон, не то смех ликующего. Ибо его величество управлял Кеми не только рукой гранитоподобной, но и чудесной силой стихотворца. Венценосный поэт не надеялся на свои руки, в которых палочка для письма. Поэтому руками, сердцем и разумом фараона руководит его светозарное величество Атон. Теперь это знают все! Ни для кого не секрет. Поэтому имя сына Атона прославлено во всех землях вселенной.

Любуясь свитком, исписанным каллиграфическим почерком, его величество поднялся на ноги.Душа его была легка. Голова светла, как луна, восходящая над пустыней – такая большая, такая яркая! И ноги гибки, как молодая пальма…

Эхнатон направился к двери. Он шел молодой, пружинящий, и не осталось следа от усталости. Царь чувствовал себя немножко виноватым перед женой. Ведь за трапезой он вел себя не совсем обычно. Это заметили все. И не могли не заметить, ибо фараон что бревно у каждого в глазу. Вот он поворотился в эту сторону – и все думают: почему он смотрит в эту сторону? Вот он склонил голову, слушая жреца. И все спрашивают – почему он склонил набок голову? Вот усмехнулся – и все спрашивают друг друга – что значит этот смех и каков он, этот смех? Так спрашивают друг друга семеры и вельможи. С таким вопросом обращаются друг к другу писцы и управляющие большими делами. И это в порядке вещей. Ибо кто голова всему? Кто есть начало всем началам в Кеми и далеко за пределами его? Кто как светоч в государстве? Кто сцементировал народ, словно камни на пирамидах? Его величество – жизнь, здоровье, сила!

И он открыл дверь и прошел мимо стражи. И был легок он, словно лань. Вперед, вперед несут его ноги. Вперед и вперед… Вот покои ее, и пальмы на стенах их, и все растения Та-Нетер и еще более отдаленных земель. Его величество постучал в дверь, дабы не застать врасплох жену свою и детей ее. Стражи преклонили колена, страшась поднять глаза на повелителя вселенной.

Нефертити сидела перед маленьким бронзовым зеркалом, и две дочери причесывали ей волосы. Младшая, Сетепенра, скорее мешала принцессе Нефернеферуре, нежели помогала. Эта действительно причесывала мать. Впрочем, принцесса тоже забавлялась, как и Сетепенра. Но, забавляясь, она, как могла, ублажала ее величество.

Чувствительный царь застыл в дверях. Он обожал эти незатейливые сцены, в которых простые человеческие чувства сильных мира сего проявлялись во всей своей полноте. И он любил эти милые существа, составлявшие его семью. Ее величество встретилась с ним взглядом. И она смутилась. И дочери ее вдруг застыли с бронзовыми гребенками в руках, словно сотворили нечто недозволенное. Он сказал:

– Я пришел к вам, чтобы посмотреть на вас и передать вам немного своей силы и

бодрости, Болезнь моя прошла, как буря в пустыне. Она подняла к небу много песка и пыли. И вот улеглась она, и я здоров: снова блистает солнце над землей и душа моя покойна

Она поверила ему, ибо силу и бодрость источали глаза его.

«…Вот он явился с повинной, как преступник. Ибо тот, кто забыл на мгновение закон любви, есть преступник. Вот он явился, и улыбка на его лице, как солнце над Кеми. Ибо он солнце Кеми и пребудет им…»

Ее величество указала на место рядом с собой. На край циновки в два локтя, под которым мягкий вавилонский ковер, расцвеченный, как радуга над Дельтой.

Он с благодарностью принял это приглашение. «Я бы умер давно, – подумал он, – если бы не моя Нафтита. Она умна, как змей с острова Иси, и красива, как истая дочь Кеми. И чрево ее всегда щедро. И дети ее – плоды ее чрева».

Он присел рядом с нею и разом обхватил обеих принцесс. Они взвизгнули, как и подобает женщинам. Они захохотали – совершенно бездумно, беспричинно, – как и подобает женщинам, у которых мать – настоящая женщина из женщин. Его величество поцеловал Сетепенру прямо в нос, напоминавший шип на розовом кусте. И прижал к своему сердцу принцессу Нефернеферуру. Она тихо сказала:

– Пусти, я причесываю мать.

И он выпустил ее из объятия.

Его величество положил голову на оголенное плечо жены. И она сказала:

– Какой ты горячий.

Он ответил

– Это болезнь выходит через поры.

– Ты же здоров.

– Да, как лев!

Он любил прихвастнуть своей силой. Делал это, как мальчик, без всякого умысла, без расчета. Она любила в нем эту черту, потому что он умел любить без расчета: за красоту, за сердце, за доброту глаз и жар гранатовых губ умел он любить…

– Мы скучали без тебя, – призналась она.

– Да, – подтвердила принцесса Нефернеферура.

Ее высочеству Сетепенре все это было безразлично. В шесть лет слова для нее не имели особого смысла.

А Нефертити не верилось. Может быть, и в самом деле переменился он в чем-то? Она пыталась по мельчайшим признакам определить: произошли ли в нем какие-нибудь перемены? Если глядишь на озерную гладь, то можно ли угадать, что творится на дне его или у самого дна? Только в одном случае – если умеешь угадывать сердцем. А глаза и уши в этом случае – плохие помощники. Им нельзя доверяться целиком. А Наф-Хуру-Ра – такое глубокое озеро, что и представить себе невозможно. В стране израильтян, говорят, есть озеро, в котором, говорят, ничто и никто не утонет. Все плавает на его поверхности. А на дне, говорят, – ничего. Все мертво на дне его. А если озеро живое? Вот и угадай, что в его толще. Когда каждая капля живет своей жизнью, часто обособленной. А эта его болезнь, которая проявляется все сильнее? Эти припадки? Эти боли в затылке. (В затылке, который так много удовольствия доставляет живописцам, ибо нет ничего легче, чем нарисовать тыкву, насаженную на тонкую и высокую шею.) Его враги так и говорят; Тыквоголовый! Вся эта сопревшая от ветхости знать, эти жрецы Амона, вся эта камарилья из Уасета… Как он досадил им! Как прижал их к ногтю, словно азиатскую вошь!..

…Но что же с ним в последнее время! О чем он думает? Почему все чаще молчит, когда они наедине – она и он? Может быть, настает конец его странному поведению? Может, эта конечная грань подошла именно нынче? И эти мгновения… Вот он по-прежнему мил, по-прежнему ласков, и в глазах его – все лучи света…

– Нафтита, – говорит он голосом дикого голубя, который так приятен для ее слуха, – я много думал о тебе.

– А я о тебе. Я думаю всегда. А ты?

Он замялся. Потрепал за волосы Сетепенру. Девочка мотнула головой.

– Я – нет, – признал он честно. – Наверное, я хуже тебя. Наверное, потому, что слишком много тяжести на плечах моих.

– А у меня?

Он подумал:

– У тебя – тоже.

Она сказала:

– Ты – сын лучезарного Атона. И сила его – в твоих жилах и в твоей печени.

– Это верно, Нафтита.

– Твоя рука в его руке. И он ведет тебя уверенно.

– И это так! Однако ряды друзей моих тают, Одни живут привольно, счастливой жизнью на полях Иалу, другие – понемногу отчуждаются. Вскоре я останусь совсем один.

Она не стала утешать его: ложь была противна ей. Близкому человеку ее величество предпочитала говорить суровую правду. Останется один? Вполне возможно Но ведь все в руках его отца – лучезарного Атона. Он не захочет, он никогда не захочет, чтобы Ахна-яти остался один! Этого не произойдет и в том случае, если даже его величество очень постарается. Что такое человек без поддержки? А фараон нуждается в поддержке друзей, единомышленников, близких… Пусть Он окинет взглядом долгую историю Кеми, уходящую в седую древность. Разве Нармер был один? А Хуфу? А Джосер? А Сехемхет? Аменемхеты? Сенусерт Первый? Любой из процветавших фараонов опирался на крепкую когорту друзей. И это при том, что не было у них такого отца – великого Атона, с которым легче править на троне.

– Но, – заключила она. – Но все зависит от тебя самого. Ты не должен сворачивать с пути, избранного богом, нашим богом. Дорога Атона пряма, как меч. У нее нет ни боковых троп, ни тропочек. Сойти с дороги, – значит, погубить свое дело. Значит, потерять друзей. Я говорю тебе: не переступай границ дороги его, и благо тебе будет!

Последние слова ее величество выговорила с особым ударением. Вдруг вместо очаровательной женщины перед фараоном предстала вещунья, а точнее – умудренный опытом человек, постаревший в тягостных раздумьях. Он никогда не видел морщин на ее лице. Может, попросту не замечал их. А сейчас она показалась постаревшей, изможденной матерью его дочерей.

Он отполз от нее на несколько локтей, чтобы получше видеть ее. Против света она кажется и старше и смуглее. Он был удивлен. Огорошен. Ее тоном. Ее проницательностью. Может, ее устами говорит сам Атон? А может, ей хочется, чтобы другие думали, что она близка к Атону? Позвольте, не его ли, фараонова, сила передается ей? Почему так уверенно и так горячо говорит она?

Он опустил голову. Она была гладко выбрита. Смугла и блестяща, как дыня. Тыквоголовый? Пусть поищут враги еще другого такого Тыквоголового!

Нефертити наспех завершила туалет, позвала служанку и передала детей на ее попечение. Они остались одни. Она улыбалась. Снова стала той, которой нет равной: прекрасной женщиной, воистину Нефертити!

Он полон самых нежных чувств. Он понимает: и сердится и горячится она только из любви к нему, из преклонения перед силой Атона – бога верховного и всемогущего. Вот уж месяц – нет, больше! – как он изводит ее. То своим молчанием, то полным презрением. Какой ужасный месяц! Враги обрадовались их отчужденности. Друзья огорчились. Двор пребывал в тревоге. Мудрый Эйе ходил настороженный, как под стрелами азиатов. Только один Хоремхеб не скрывал своей радости. Как сытый гиппопотам меж камышей. Как человек, вылакавший кувшин пива.

Когда же случалось такое? За пятнадцать лет их супружества ничего похожего не бывало! Может, что-то сломилось в их колеснице, как говорят в Уасете? Спицу еще можно починить. А вот с осью дело похуже…

Нефертити вышла в соседнюю комнату и вернулась оттуда с кувшином прохладного

вина. Из большого, инкрустированного перламутром ларца она достала конфеты. Они были приготовлены из муки земляного ореха, фиников и меда. Маленькие деревянные тарелки из черного дерева она поставила перед мужем и перед собой. Рядом с конфетами Нефертити положила его любимое пирожное. Оно было сделано на медовом сахаре из крупного ореха и сбитых яичных белков.

У него засветились глаза. Как у ребенка.

– Что я вижу, Нафтита?

Она рассчитывала на этот эффект. Нет, это была не только жена и мать, но и прекрасная любовница. По-прежнему – любовница. В свои тридцать с хвостиком лет она была привлекательна, как утренняя звезда.

Он сказал:

– Нафтита, я знал одну публичную женщину. Там, в Уасете. Все говорили, что нет на свете более обходительной, более привлекательной, более милой женщины…

Она улыбалась. Довольная.

– Эта женщина умела так угостить и так приласкать, что глупые мужчины сходили с ума.

– Ты с нею спал, Ахнаяти?

– Я тоже поддался ее чарам. Мы однажды проспали с нею двое суток…

Она удивилась.

– Нет, мы лежали. Мы не спали, – пояснил он.

– Это другое дело.

Она улыбалась обворожительно. Улыбалась, разливая вино в золотые чарки.

– Так что же я хотел сказать? – Он легонько коснулся ладонями ее упругих сосков. – А вот что: она не стоит твоего мизинца.

Нефертити чуть взгрустнула. Но он не видел грусти на лице ее…

«…Ты вспоминаешь публичную женщину, которая далеко… А эта? Которая в этом городе… Которая в Южном дворце… Что ты скажешь мне о ней? Ты думаешь, я ничего не вижу? Ты думаешь, у меня не прежнее любящее сердце?.. Ну произнеси, ну скажи ее имя… Произнеси вслух: Кийа… И тогда мы поговорим о ней…»

Он опустил голову на ее колени. Над ним, как два ярких облачка на синем небе, сверкали ее губы. Они шевелились, словно от ветра. Который в небесных сферах. Губы приближались к нему. И когда он почувствовал прохладу их и сравнил эту прохладу с той, которую дарила та, публичная женщина, его величество сказал про себя: «Нет, Нафтита – краше, Нафтита – лучше…» И вот глаза их совершенно слились. Они как бы стали одним – большим и священным – глазом. Магическим глазом небесного отца…

Она выглядела молодою. Словно бы не родилось у нее шестеро дочерей. И кожа у нее лоснилась, как у девственницы. Икры ног ее были крепки, как дерево. Разве она была лучше семнадцать лет тому назад? Разве печать времени испортила это замечательное произведение искусства из мяса и крови?..

– Ты красива, очень красива, – шептал он.

– Не любишь ты меня, – сказала она.

Он не опроверг этого утверждения. Он целовал ее в шею, щеки, груди,

– Не любишь меня…

А он всю, всю ее покрывал поцелуями.

– Она была лучше?..

Он жадно тянулся к ней.

– Она жива еще?

– Не знаю.

Не до той публичной женщины сейчас…

– Неужели я лучше ее? – спрашивает Нефертити.

– В тысячу раз…

Он целует, целует, целует ее. Нет, кажется, страсти на свете, которая была бы сильнее

этой.

– В тысячу раз, – говорил он.

– В чем же? Чем же? – допытывается она.

– Всем.

– Это не ответ.

– Вот этим! – Поцелуй **в** губы. – Вот этим! – Поцелуй в левый сосок. – Вот и этим! – Поцелуй в правый сосок. – Вот этим!

И каждый поцелуй – что тавро на теле неподражаемо нежной и упругой антилопы.

Наконец-то она отдышалась… Дала ему конфет. Напоила вином из своих рук. Он жадно съел пирожное. Принялся за второе. Прихлебывая вино…

Она сказала

– Я счастлива.

– Да?

– Очень. Я одолела публичную женщину.

Он подумал.

– Одолела? – спросил он.

– Ты так сказал…

Шутила она или говорила всерьез? Говорила счастливая? Или с обычным женским притворством, которое не знает границ и под сводами дворцов?..

Он любил ее за маленькие ножки и широкий, полный страстного дыхания нос, за все женское и всемужское, нежность и мудрость.

– Нафтита, – сказал он мечтательно, – человек бывает счастлив?

– Если беден.

– А если богат?

– Никогда!

– Если могуществен?

– Только любовь делает его счастливым. Любовь – это знамя над палаткой.

– Ты сама это придумываешь?

– Отчасти.

– Кто же помогает тебе?

– Все женщины вселенной.

Он поднял брови: дескать, как это понимать? Фараон, когда это было выгодно, всегда поднимал брови. Притворяясь непонятливым.

– Ты меня хорошо понимаешь, Ахнаяти, – сказала царица. – Когда я думаю о судьбе Кеми, у меня кости делаются, как вода. От страха перед будущим.

Его величество поднял брови еще выше.

– Перед будущим? – вопросил он.

– Да.

– Почему же, Нафтита?

– Разве ты это знаешь хуже меня?

Он кивнул.

– Хуже?

Опять кивок. Ее величество развела руками. Она не могла понять: серьезно это или шутка?..

– Ты замечаешь? – продолжала царица. – Ты замечаешь, что с каждым новым месяцем все хуже складываются наши беседы? Может, я мешаю тебе? Или есть у тебя друзья преданнее? Или они любят тебя больше, чем я?

Она заглядывала ему в глаза. Вычитывая в них ответ правдивый – пусть жестокий, но правдивый.

Фараон улегся на спину. Голова его по-прежнему покоилась на ее коленях. Он сказал, эдак глядя в пустоту разверзающихся небес:

– Что известно тебе, Нафтита, о случае, описанном в древнем папирусе времен

Сенусерта Первого? Странный то был случай и весьма поучительный.

– Что ты имеешь в виду?

Фараон глубоко вздохнул. Он сказал:

– Да будет тебе известно, Нафтита, что, по свидетельству мудрых, в давнопрошедшие времена случались удивительные происшествия. Это сейчас ничему не дивятся люди. Они привыкли ко всему. А ведь человек не может жить, не удивляясь. Утром он дивится свету божества, в полдень он дивится течению реки, а вечером – свету звезд. Так вот, в те далекие времена, когда в Кеми жили люди, способные удивляться, некий житель пустыни встретил говорящего льва.

Царица усмехнулась:

– Говорящего льва?

– Представь себе! Говорящего человеческим голосом. И не обычно, как на рынках и площадях, а наречием особенным, обличающим в нем книжника.

– Лев – книжник?!

– Да, Нафтита, чего только не бывало прежде, в благословенные старые времена! Этот лев встретил пустынника и сказал ему: «Вот я перед тобой!» На что мудрый пустынник ответил: «Так же как и я перед тобой». Лев стал на задние лапы, чтобы подняться повыше роста человеческого. И крикнул: «Вот я каков!» Человек помедлил с ответом. Этот лев не очень пришелся ему по нраву. И человек сказал: «Уступи дорогу». Он сказал: «уступи», – а разве не было дороги слева и справа, сзади и спереди? В пустыне, где песок, – везде дорога. Лев казался озадаченным. Казался смущенным…

– Смущенный лев?! – весело сказала царица. – Воистину, только в те незапамятные времена случались подобные чудеса!

Его величество не обратил внимания на ее смех – немножко взвинченный, слегка искусственный. Его увлек лев, говорящий человеческим голосом, и пустынник, пытающийся одолеть зверя силою ума своего. И он продолжал:

– Снова повторил пустынник: «Уступи!» Задумался лев и пропустил. Он сделал шаг в сторону, и пустынник гордо прошествовал вперед. Своей дорогой, И даже не обернулся… Ты знаешь, что стало со львом?

– Нет.

– Догадайся.

Она запрокинула голову:

– Лев съел пустынника.

– Почему ты так решила?

– Лев же!

– Ну так что же? Лев, а смышленый. Вроде нашего Пенту…

– …или этого верзилы Хоремхеба.

– К слову сказать, верзила нас обороняет.

– Ты в этом уверен?

Фараон снова вскинул брови, точно они были у него на веревочке.

– Я спрашиваю, – повторила Нефертити, – ты уверен?

Он уклонился от ответа. Его величество сказал:

– Лев заплакал…

– Я очень сомневаюсь в тех, кто нас обороняет. И от кого обороняют? От друзей?

– Лев залился горючими слезами…

– Меня – от тебя?

– Он плакал, как ребенок-несмышленыш…

– Или тебя – от меня?

– Ему опротивел белый свет.

– Вот именно: опротивел!

Фараон увлекся собственным рассказом:

– Почему огорчился мудрый лев? Не потому, что был голоден и упустил свою жертву.

Это полбеды! А потому, что так и не понял, о чем же думал пустынник… Мои враги, Нафтита, порою мне кажутся подобием того льва.

В комнате стало тихо. В этот полуденный час дворец как бы замирал. Солнце давило. Как гранитная глыба.

Ее величество сказала:

– Наконец-то мы добрались до сути нашего разговора И я хотела бы его продолжить. Не по-семейному. А как люди, заинтересованные в судьбах страны.

– Согласен! – Эхнатон привстал и уселся напротив жены – глаза в глаза, лоб ко лбу.

Она разлила вино. Подала ему чарку.

О, эта прохлада подвалов Ахетатона! Что сравнится с нею? Разве сыщется что-либо подобное в целом свете?.. Он пригубил… Нет, не сыщется! Еще раз пригубил… Нет, такое вино только здесь, в благословенной столице Атона!..

– Мы поведем с тобой, Ахнаяти, разговор политический.

– Я готов к нему.

– Как будто бы мы не муж и жена, а единомышленники, ищущие путей к общей цели.

– Хорошо, Нафтита.

– Мы давно так не говорили. Правда?

– Пожалуй.

– Я не хочу доискиваться – почему?

– Ты права. Не надо.

У нее задвигались широкие ноздри. Вот-вот пойдет из них пар, как от шипящего котелка над костром. Ее глаза и без того были чуть навыкате, а тут, казалось, выскочат из орбит…

– Я буду говорить о своих ощущениях. Сначала о них. Ты, по-моему, готов пойти на сделку со своими противниками. Не пытайся возражать, не выслушав меня. Мы здесь одни, и я имею право свободно высказать свое мнение.

– Я слушаю, Нафтита.

– Сделка с противниками – самый гибельный путь, ибо он ведет к половинчатости. Если она – не уловка. Для маневрирования. Для отвода глаз. Для обмана противника… До сих пор ты шел прямой дорогой. Все говорили: вот фараон, идущий прямо! Но с некоторых пор ты пытаешься свернуть с нее… Дай мне договорить, Ахнаяти. Дай договорить… Я говорю тебе: ты подошел к пределу и стоишь у черты. Перешагнешь ли ее? Останешься ли ты по эту сторону черты или по ту? Будешь ли прыгать через пропасти в один прыжок или в два? Год тому назад я на все эти вопросы отвечала бы в твою пользу. Сейчас я все больше и больше сомневаюсь в том, что ты идешь своей прежней дорогой.

– Ты кончила?

– Нет. Этот верзила и мясник Хоремхеб делает все для того, чтобы начать войну и на Севере и на Юге. Кому нужна война? Твоим противникам! Они мечтают о ней. Спят и видят ее!

– Войне не быть, – сказал фараон мрачно. Но не очень уверенно.

– Хоремхеб страстно желает ее. Он всячески поносит нас, обвиняя в трусости, А я говорю: если он хочет воевать – пусть воюет. Только без Кеми! Только без натиих юношей! А сам! Один на один с хеттами. С Митанни. И с кем ему еще доведется помериться силой Меч у него есть. Голова, которую можно срубить, тоже на месте. За чем же дело стало? Иди, Хоремхеб-храбрец, и воюй!

Она так разволновалась, что опрокинула кувшин. Красный, кровеподобный сок разлился на полу. Эдакой зловещей струей…

– Если все это говорится для того, чтобы переубедить меня, – сказал фараон, – то это – напрасный труд. Нет более убежденного мирного человека во всем Кеми, чем я. Даже сам первый жрец Эйе не может в этом отношении сравниться со мной. Меч мой, как утверждают мои враги, ржавеет в кладовой, а боевая колесница скрипит несмазанной осью. И очень обидно, Нафтита, выслушивать слова, которые прямого отношения ко мне не имеют, но

направлены в самую середину моего сердца.

Она отдышалась. Словно пробежала длинную дорогу. Но останавливаться ей уже было нельзя. Это – не в ее характере. И разве можно останавливаться в политике на полпути? Или руби до конца, или вовсе не берись за дело!

Да, у нее серьезные претензии к нему. Очень серьезные! В конце концов, он может охладеть к ней. (Его величество не опроверг этого предположения.) Она может не видеть его, хотя это и ужасно. Но Нафтита согласна на все во имя великого Атона, во имя благодействия Кеми…

Она продолжала развивать эту мысль:

– Послушай, Ахнаяти, что скажу: ведь мы с тобой поклялись когда-то смело идти дорогой Атона. И мы шли. Мы восстановили против себя знать, мы подружились с немху. Мы ниспровергли Амона и возвеличили Атона – нашего бога, нашего отца. Мы унизили древнюю столицу Кеми и возвысили новую столицу, родив ее. Мы заявили твоими устами, что противимся гнусным войнам с соседними народами. Больше того, мы объявили себя равными всем другим народам. И вдруг…

– Что вдруг? – перебил он ее раздраженно.

– Вдруг на пятнадцатом году своей борьбы ты сворачиваешь с прямой дороги…

– Куда? – бросил он.

– Вот этого я еще не знаю.

– Зачем же тогда говорить? – Он надул губы, уткнулся взглядом в пол.

– Чтобы удержать тебя…

– От чего?

– От роковой ошибки.

Его величество усмехнулся. Она сказала:

– Я хочу, чтобы ты по-прежнему ловил чутким ухом каждое слово нашего царя и бога Атона.

– В этом я прилежен, как ученик в школе.

– Слушай его, надо претворять в дело каждое его слово.

– Я пытаюсь делать это, Нафтита.

– В этом я с некоторых пор сомневаюсь.

Он покраснел от негодования. Нет, это уж слишком. Он этого не потерпит! Нельзя же обвинять голословно!..

Тогда ее величество сказала с величайшим хладнокровием, на которое способна только первая женщина Кеми:

– Ахнаяти, твое величество Наф-Хуру-Ра! Не сердись, если ты прав. Я же скажу тебе: со стороны все виднее. А я вижу – поскольку оказалась в стороне, – что ты идешь не туда. Мне известно, что Хоремхеб получает все большую власть, что ты его выслушиваешь внимательнее, чем когда-либо. А известно ли тебе, что Хоремхеб ведет тайные переговоры с твоими врагами в Уасете и Мен-Нофере. И в Дельте. Если ты проявишь некоторое любопытство, то спроси его, о чем он шептался недавно с одним вавилонянином?

Эхнатон вздрогнул.

– С кем? – сказал он. – С вавилонянином?

– Да.

– Когда?

– Дней десять назад.

Его величество задумался. И сказал как бы про себя, но вслух:

– Десять дней назад… Вавилонянин… Шептался с Хоремхебом… Десять дней… Десять дней…

Фараон, видимо, что-то вспоминал.

– Такой курчавоголовый купец, – подсказала царица, – смуглый такой, лупоглазый. Зачем он прибыл в Ахяти? Что ему тут надо? Знающие люди сообщили, что он привез

воздуха на полталанта[20]. Воздуха в своих бурдюках для воды.

– Ну да, ну да, – размышлял фараон. – Вавилонянин и хетты… Мне что-то говорил Хоремхеб.

– Что же он говорит?

– Какую-то чушь, Нафтита. Какую-то чушь. Небылицу, Нафтита!

– А что Хоремхебу надо в торговых кварталах?

– Наверное, покупает, Нафтита.

– Что же?

– Товар.

– Какой?

Его величество улыбнулся.

– Ты же говоришь, что купец доставил воздух в бурдюках. Представляешь себе? Вавилонский воздух!

– Да, это большая ценность в Кеми.

Фараон встал. Прошелся по комнате. Руки закинул за спину. И все убыстрял шаги. За ним трудно было уследить: туда-сюда, туда-сюда! У царицы закружилась голова. Его величество, того и гляди, побежит. Как на учениях рядовой воин. Что с ним?

Потом он вдруг останавливается. Молча глядит на царицу. И шевелит губами. А глаза – невидящие совсем.

– Я всю подноготную узнаю. Мне расскажут все об этом вавилонянине. И тогда горе тому, кто скрыл! Кто от глаз моих утаил нечто! И кто от моих ушей схоронил чужие слова! Пусть тогда пеняет на себя! Только на себя!

Фараон потряс маленькими кулаками.

– Ты хорошо сказал, – проговорила царица. И обеими руками сжала виски, в них стучало, словно в каменоломне, как на постройке каменных домов.

Фараон снова забегал по комнате. То медленней, то быстрее. Часто останавливаясь перед царицей.

– А теперь, Нафтита, слушай. Я скажу тебе нечто. И это должно остаться между нами.

Она кивнула. Очень уж стучало в висках – вот-вот лопнет голова…

– Нафтита, есть вещи, которые сильнее фараона. Жизнь сильнее, Нафтита! Это говорю я тебе. И никому больше. Ты ведь знаешь. Я вздыхаю в Ахяти, а вздох тот слышен в Та-Нетер или в Ретену. Он слышен на много тысяч сехенов вокруг… Я сказал слово, а оно уже в ушах хаке-хесепов, где бы они ни находились. И руки и ноги их работают, чтобы исполнить мое желание. Так ли это?

– Так, – сказала царица. А в висках все сильнее боль. Как на беду, все сильнее. И желтые круги перед глазами…

– И я говорю тебе, Нафтита: фараон, низвергнувший Амона, бессилен перед жизнью и перед людьми, которые вокруг.

– Неправда! – воскликнула царица. – Неправда! Неправда!

– Я говорю, Нафтита: в сердце моем усталость. Будто прошел я всю Западную пустыню. И в душе моей огонь, который гаснет медленно, но верно. Я говорю тебе, Нафтита: мы уже не молодые, и нам надо понимать людей…

– Твоих врагов?

– Если хочешь – да!

– И это называешь зрелостью?

– Да.

– Когда ты это понял?

– Недавно.

– Значит, ты хочешь стать спиною к своим друзьям?

---

[20] Талант – в данном случае денежная весовая единица золота, равная приблизительно 30 кг, дебен – 91 грамм.

– Нет.

– Подать руку примирения своим врагам?

Он не ответил.

– Руку им протянуть?

– Может быть, Нафтита.

Царица объяснила, как тяжко ей, как болит голова и как хочется ей остаться одной. Он вышел, не сказав ни слова.

Она свалилась на циновку, угкнула нос в ладошку. И заплакала.

Она плакала.

Не могла не плакать.

Купец

К торговым рядам вела довольно широкая, мощенная белым песчаником улица. Лавки располагались высоко над нею. Крутые лестницы спускались с порогов на мостовую. Над лавками – жилые помещения с небольшими отверстиями-окнами. Хотя и молода эта столица, выстроенная в пустынной местности, но торговые заведения ни в чем не уступают прославленным торговым рядам в Уасете, Мен-Ноферe, Ей-н-ра или в Саи[21].Откуда только не доставлялись сюда товары! Они шли отовсюду, где только звучало имя фараона Кеми. Но где же оно не звучит? Во всей вселенной!

И ремесленники работали здесь отменные. Прекрасная обувь, тончайшие ткани, отличное оружие, домашняя утварь, отборная посуда – глиняная, медная, бронзовая и из золота – все, все к услугам граждан Ахетатона! Идешь меж рядов – и глаза разбегаются. Войдешь в лавку – душу отдашь за любую вещь. Так ладно, так красиво и добротно умеют делать все в Ахетатоне, благословенной столице обширного и могущественного государства Кеми.

А что сказать о кулинарных заведениях? Пышные пшеничные лепешки, жареные гуси и куры, говяжьи куски на вертеле, сладкие пирожные, медовые конфеты – все делают здесь и преподносят в лучшем виде! На то, говорят, и столица! Однако столица столице – рознь! Если Ахетатон утирает нос самому Уасету, то что же можно сказать о других столицах вселенной?

Вавилонский купец Тахура – такой полный розовощекий, бородатый мужчина – заявил во всеуслышание, что ничего похожего нет ни в какой другой стране. Он сказал, что восхищен Ахетатоном, что ослеплен его красотой, что пленен его женщинами и отдает должное мужчинам, которые словно бы собраны здесь напоказ со всех концов земли.

Он сидел в лавке Усерхета и наслаждался холодной водой, которой он запивал засахаренные земляные орехи. Купец привык у себя на родине говорить громко, как на площади. На жителя Кеми громкий разговор не производил особо приятного впечатления, однако азиату это прощалось, как, впрочем, и многое другое. Одно дело – Кеми, а другое – Азия! И никому не придет в голову здесь, в Ахетатоне, подходить к азиату с полной мерой, разве что только его величеству Наф-Хуру-Ра. Этот позволяет себе говорить почтительно даже о каких-нибудь кочевниках из страны шумеров. Ну, это уж совсем непонятное, странное и, может быть, болезненное явление!..

Купец поджал под себя ноги, сидя на грубой камышовой циновке. Его слушали молча – эти благовоспитанные сыны Кеми. Слушали молча, лакомясь сладостями.

– Я побывал во многих землях, – разглагольствовал купец. – Знаю остров Кефтиу, как себя. Остров Иси обошел пешком. Я был в Колхиде, которая на севере, и был и там, где горит вода. Видели мои глаза города большие и малые, далекие и близкие. Но что сравнится с Ахяти? Что, спрашиваю?

Тахура обвел глазами всех присутствующих. Будто каждому задавал этот вопрос: «Что,

---

[21] Саи – Саис, современное местечко Са-эль-Хагер.

спрашиваю?» …Задавал и ждал ответа. Особенно долго и пытливо смотрел он на Усерхета – бритоголового хозяина лавки, мужчину средних лет

Старик, восседавший на циновке, сказал:

– Ахяти – хорош. Слов нет. Но есть города которые могут с ним поспорить и в красоте и в величии.

Он ел гусиные потроха под барбарисовой подливкой. И запивал холодным пивом. Морщин на нем было неисчислимое количество. Морщины – вместо кожи! И глаза его сидели в морщинах. И рот его весь в морщинах – даже губ не видно. Цвета он темного (однако не чернокожий). Под стать старой-старой пальме.

Тахура с ишересом обратил свой взор на этого старика, поедавшего самое дешевое блюдо.

– Уважаемый, – сказал купец, – ты, наверно, не из этих мест.

– Нет, именно из этих.

– Наверно, давно здесь не был.

– Правда твоя. Я много ходил по свету.

Усерхет захохотал. Так, как умеют хохотать только добродушные толстяки, довольные собой, делами своими, семьей, всем миром. Хозяин лавки облизнул пальцы на руках – они были в меду. Он сделал комплимент купцу, который, дескать, умеет видеть даже сквозь каменную стену; который, дескать, настолько натренировал свой глаз в бесчисленных поездках, что уже нет для него секретов; дескать, ничего нельзя утаить от него…

Купец, весьма польщенный, поглаживал бороду. И каждый жест обнаруживал в нем истого азиата. Впрочем, он не только не пытался скрыть этого, но даже подчеркивал это – жестами и интонацией. И весьма учтиво обратился к старику:

– Уважаемый, по всему видно, человек ты сведущий во многих делах. Где тот город, который может поспорить с несравненным Ахяти?

– Там, – старик махнул рукою на запад.

– Там – пустыня, уважаемый,

– Среди пустыни. Далёко за песками. Дорога туда многотрудная, дальняя. Безводная. И ни в одном бурдюке не уместится вода, потребная человеку, идущему на запад. И ни один башмак не выдержит этого пути. Ноги будут кровоточить, ибо истончится стопа.

– Уважаемый, край тот пустынен. Безводен. И нет жизни на краю вселенной.

Старик усмехнулся:

– Ты так думаешь?

– Я уверен.

– Напрасно! Да будет тебе известно, чужеземец, что на всякую силу есть другая сила, на всякую красоту – другая красота. Так создан этот мир. Только на полях Налу все дышит одинаково ровно, и человек там в трудах – как все!

Теперь уже не купец, а старик оказался в центре внимания. Воистину: на одну умную голову нашлась другая, не менее умная! Многие перестали жевать и беседовать друг с другом. «Занятный старик, – подумал купец. – Кто он? Уличный фокусник, показывающий диковинные штучки? Или мудрец, оказывающий услугу людям за пшеничную лепешку и тарелку гусиных потрохов? Дай-ка я немножко его поэкзаменую…»

– Что же там, уважаемый, на краю пустыни? Мы немножко уклонились от нашего разговора.

Всем хотелось услышать, что там, в стране миражей и песчаных бурь. «Тише! Тише!» – послышались голоса. Перестали стучать ложки. Люди затаили дыхание.

– Я скажу вам, я скажу вам, – проговорил старик, не отрывая взгляда от своей похлебки, – скажу и о том, что видел сам, не доверяя другим, что слышал сам, полагая, что слух мой не подведет меня… Было мне тогда двадцать лет и жил я в Дельте. Однажды встретил человека, бородатого, вроде тебя (старик указал на купца). Прибыл он из Джахи, и умел он делать стекло разноцветное. Располагаясь на песчаном берегу. К ловкости рук своих прибавляя тайные заклинания. Этот человек ненавидел лютой ненавистью род женский.

Может быть, чем-нибудь огорчили его жены? Этого уж никто не сможет сказать, ибо отошел он в лучший мир, а при жизни своей держал уста на крепком запоре. И этот человек – посильнее любого рыночного бойца – предложил мне идти с ним в неведомую страну, где люди повыше и здоровее нас, где злоба не омрачает сердец и спокойная любовь надо всеми, подобно шатру. Я спросил его, где же этот край, напоминающий поля Налу? Он показал рукой на запад, где заходит солнце, где пустыня с миражами и песчаными бурями. Я поверил ему. Он был для меня как пророк в стране израильтян – стране пророков.

– И ты пошел с ним?! – не выдержал купец.

– Да!

– В неведомую пустыню?

– Да!

– Вдвоем?

– Нет. С нами были еще. Несколько горячих голов.

– И вы дошли?

– Да!

– Живыми и невредимыми?

– Нет. Мы иссушили нашу печень. Глаза слипались от язв. И тела наши покрылись струпьями. Я один, я один приполз в ту страну и все увидел своими глазами и услышал собственными ушами. Мои спутники лежат в песках Они умерли оттого, что спеклись внутренности их от зноя и безводья.

– И что же там? И что же там? – словно не терпелось купцу Тахуре.

И хозяин лавки сказал:

– У меня выскочит сердце, клянусь прахом отца, выскочит сердце от любопытства! Не томи же нас, уважаемый!

– Я скажу вам все. – Старик облизал ложку. Словно давно не ел. Это всем бросилось в глаза. Вдруг усомнились в том, что старик такой уж мудрый и такой уж многоопытный. Разве мудрецы лижут ложки? Но вскоре пришлось убедиться, что мудрецы способны и не на такое. Старик продолжал: – Мы пришли в землю, которая именуется Та-Кефт. Мы пришли туда, чтобы умереть на виду их блистательного города. Я один добрался ползком, направляясь с холма в город. Как дитя… На карачках. И колени мои источали кровь и гной. И когда я потерял сознание, едва выкрикнув «помогите!», когда я был точно во сне, – меня спас караван. Меня доставили в тамошний Тапе, который блистателен. И люди там рослые, и вместо двух – у них три уха.

– Три уха?! Не два, а три?! Где же третье ухо? – послышалось со всех сторон.

– Третье ухо? – старик почесал мизинцем кончик носа. – Третье ухо вот здесь.

И он показал на затылок молодого человека, сидящего рядом с ним.

Возглас удивления вырвался у каждого, кто находился в лавке. Удивились все, кроме купца. Он улыбался и крутил ус. Его черные глаза – черные, как ночь, – тоже улыбались из-под густых бровей. Или купец знал нечто, что способно перешибить эту новость, или не верил ни единому слову старика.

«…Старик может пригодиться, такие люди всегда нужны. В определенные часы. Могут принести пользу, которой нет цены. Но они должны быть обязаны тебе больше, чем Озирису, больше, чем фараону».

Купец Тахура приказал, чтобы принесли старику полгуся, жаренного на вертеле, истекающего салом и рыжего от огня.

Старик принял гуся как нечто должное, поблагодарив легким кивком вавилонянина. И, отломив хрупкое крыло, он сказал.

– Мне недоставало его! Ибо да будет известно тебе, чужестранец, что воспитания я тонкого. Было время, когда мне подносили яства с острова Иси и рыбу с острова Кефтиу. И я их ел, как девушка, – чуть-чуть. Но путешествие в Та-Кефт сделало меня прожорливым и вечно голодным, как гиена.

Вавилонянин собственными глазами увидел, как летели гусиные кости в разные

стороны, мгновенно обглоданные. И все сказали про себя: не зубы это, а настоящая мельница, в которой рушат зерно! Поскольку старик был занят жареным, вкусным гусем – никто не тревожил его вопросами.

Спустя положенный срок – когда от гуся остались одни перемолотые кости, – купец спросил:

– Высокоуважаемый, могу ли я узнать твое имя?

– Да.

Но имени своего так и не назвал. И вавилонянин понял, что с этим надо подождать.

Жара понемногу спадала. Обеденный час миновал. Посетители оставляли свои места и шли по делам. Можно сказать, что лавка опустела. До самого ужина теперь здесь будет сонное царство. Только на кухне по-прежнему пылает огонь и повара размышляют над новыми блюдами, которыми следует потчевать посетителей за ужином.

Старик тоже поднялся с циновки. Подошел к купцу.

– Тебе – спасибо, – сказал он. Поклонился глубоким поклоном. Словно вельможа фараону. И пальцы на руках его, и пальцы на ногах его были длинные и тонкие. Словно у вельможи. – Чужестранец, ты вел себя как истый сын своей прекрасной страны. Я знаю ее, я скажу тебе: звать меня Сеннефер, сын Гемипет. Мой дом был в Саи. Красота его знакома многим, кто бывал в Дельте. Но все это в прошлом. Меня вырвали из родной среды. Кеми стал для меня вроде мачехи. И я даже стал подумывать, чтобы схоронили меня где-нибудь в чужой пустыне.

Усерхет сказал, обращаясь к купцу:

– Господин, вот еще один, кто горько сетует на судьбу свою.

– Нет! – возразил старик Сеннефер.

– Как так – нет? – сказал Усерхет. – Разве мы не слышали сейчас, что говорил ты о судьбе своей?

– Слышали, чтобы донести?

– О нет! – Усерхет готов даже поклясться. – Разве Усерхет соглядатай и его лавка – место для соглядатаев?

– Верно, – проговорил купец, внимательно присматриваясь к старику, – Усерхет известен как человек честный, высокопорядочный.

Старик, видимо, поуспокоился:

– Ладно, с вами, кажется, и пошутить нельзя. Времена, разумеется, не самые сладкие… Но кто и когда слыхал, что они бывали сладкими? Что-то не припоминаю! При Хуфу, что ли?..

Купец не спускал с него глаз. Нет, не простой этот старец. Далеко не простак. Что-то в нем особенное. Сквозь грубую, затвердевшую, как тина в засуху, кожу просвечивает образ иного человека. Иной крови. Чтобы заметить это, не надо быть провидцем. Речь, манеры, осанка свидетельствуют о том, что старик не всегда был в таком бедственном положении, как сейчас. А эта обида в его словах? Он обижен, обижен, обижен! Как многие в Кеми… И в Дельте. И в других местах…

Старик собрался уходить. Усерхет дал ему жареных тыквенных семечек.

«Немху в наше время не жалуется, – продолжал размышлять Тахура. – Немху сейчас в почете. Значит, этот старик Сеннефер – немху поневоле. А был он, несомненно, знатного рода. Да он, собственно, и не скрывал этого». Придя к такому заключению, купец поднялся, чтобы проводить Сеннефера до порога. И шепнул ему:

– Уважаемый, очень хочу увидеть тебя.

Старик задумался.

– Понимаешь, уважаемый? Очень!

– Хорошо! – Старик кивнул. – Я живу в последнем квартале по дороге к усыпальницам. Последний квартал, последний дом. Спросишь парасхита[22]. Сеннефера.

---

[22] Парасхит – один из бальзамировщиков, делавший надрез на животе умершего.

– Парасхита? – удивился купец.

– Да.

И старик вышел из лавки… Тахура обратился к хозяину:

– Ты знаешь, Усерхет, этого старика?

– Он иногда заходит ко мне.

– Пообедать?

– Да. Он платит вперед за много дней.

– Почему?

– Не надеется на заработки.

– Он парасхит.

Усерхет поморщился.

– Неужели? – проговорил он брезгливо. – Я больше не пущу его на порог!

– Напротив, напротив, Усерхет! – попросил купец. – Ты не только должен пускать, но и угощать получше. За мой счет.

– За твой?

– Да, мой.

Хозяин велел слугам прибрать лавку. Двое из них кинулись исполнять его приказание. Сухощавые, ловкие парни действовали умело и проворно.

– Пойдем в мою комнату, – пригласил купца Усерхет. – Мы поговорим по душам.

– А где обещанная девица, Усерхет?

– Я хозяин своему слову, Тахура. Всему свое время.

Купец признался, что сейчас самая пора побаловаться. А потом не выберешь и часа. Дела, дела, дела!.. Однако хозяин успокоил его, многозначительно кивнув на дверной проем, занавешенный легкой тканью. За нею угадывалось нечто… У азиата раздулись ноздри, как у буйвола.

– Там?

– Да, там.

– Молода?

– Об этом у меня не спрашивают.

– Так пойдем же поскорее, Усерхет. Давай болтать! Давай беседовать! Давай делиться впечатлениями! Буду делать что угодно, сколько угодно, лишь бы дождаться ее! Усерхет, плоть моя изнемогла!

Купец с трудом оторвал взгляд от таинственной занавески, вошел в соседнюю комнату и повалился на мягкое ложе Здесь все было как на его родине: уютно, сумрачно, ароматно, как в цветнике.

– О, Усерхет, – простонал купец, – давай говорить! Дай мне пива или вина. И будем говорить! И, пожалуйста, поскорее, если не хочешь доконать меня!

И когда они уселись и хозяин убедился, что никто не подслушивает, – сказал с усмешкой:

– Послушай, Тахура, почему это вы, азиаты, такие легкомысленные?

– Мы? Легкомысленные? Это почему же?

– Сначала выпьем. Вина. По глоточку, – сказал Усерхет, разливая ярко красную жидкость. В глазах у него замелькали золотистые огоньки, а живот колыхался, словно мешок, наполненный льном.

– Нет, ты скажи, почему мы легкомысленные?

– Скажу. У вас превыше дела – женщины.

Тахура выпучил глаза.

– А как же должно быть?

– Наоборот.

– Значит, сначала – дела?

– Несомненно, уважаемый Тахура.

Вавилонянин почесал бороду.

– Вы, жители Кеми, – сказал купец, – слишком деловиты. И это погубит вас. Когда-нибудь. Ну, скажи мне: неужели же можно пренебрегать красавицей ради даже самой выгодной торговой сделки?

Владелец лавки ответил, не задумываясь:

– Можно.

– Это вполне серьезно?

– Да. Вполне.

Купец долго хохотал. Держась за живот. «Он напускает на себя юношеское легкомыслие, – говорил про себя Усерхет. – Слишком усердно напускает. А я-то знаю его. Как облупленного. Он не пожалеет отца родного ради порученного ему дела. Тщеславие его слишком велико, чтобы мог позволить себе легкомысленные развлечения в ущерб делу…».

Усерхет считал бессмысленным спор о превосходстве деловитости над развлечениями. Особенно потому, что у азиата – у истинного азиата – слово – одно, а дело – нечто иное. Правда, и в Кеми немало «азиатов» по характеру Бритоголовых. Поклоняющихся Атону или Амону. И тем не менее – азиатов. Надо отдать должное хозяину лавки: он сумел подняться, – по крайней мере, в данном случае – над национальной ограниченностью. Единственное, что отталкивало его от азиатов, – это их нечистоплотность. Они редко мылись и не брились. «В наш век, – размышлял Усерхет, – когда в три года строятся города, подобные Ахяти, невозможно мириться с теми, кто не придает особого значения чистоте тела, особенно рук». Даже этот Тахура, который не первый раз в Кеми, и тот не в состоянии перенять здешние обычаи, предписывающие регулярные омовения всех членов тела. Самая главная особенность Тахуры – хитрость. Она буквально во всем, даже в складках его шелкового халата, в его жирных пальцах и лоснящейся бороде… Тахура вдруг преобразился: перестал улыбаться, уселся ровно, руки положил к себе на колени. Прищурил глаза, точно вглядывался в пустынную даль.

– Усерхет, – сказал он очень тихо, – расскажи мне, что здесь, в Ахяти, делается. Что слышно во дворце? Что говорят в народе?

Усерхет отпил вина. Чуть пригубил. Поставил чарку на место. На все это ушло время: хозяин лавки обдумывал свой ответ.

– Что сказать тебе? – начал он. – Слово фараона – камень, и Кеми – точно гранит. Нет силы сильней фараоновой…

– Это я знаю, – перебил его купец.

– Нет силы сильнее фараоновой. Он подумает в своем дворце, а уж слово его слышат за третьим порогом Хапи. И слово его звучит в нижнем Ретену и Ливии.

– И это я знаю, Усерхет.

– …в Регену и Ливии, – невозмутимо продолжал лавочник. – Но ты спросишь меня: так почему же его величество не идет войной против хеттов, против азиатов в Ретену и против эфиопов?

– Верно, спрошу: почему же, Усерхет?

– Он этого не желает.

– Кто?

– Его величество – жизнь, здоровье, сила!

– Он один?

– Нет, Тахура: ее величество тоже не хочет.

– В этом главное.

– Нет, Тахура! Главное – его величество.

– А не кажется ли тебе, что во дворце два мнения?

Усерхет откровенно сказал:

– Верно, два мнения.

– Кто же за войну?

– Его светлость Хоремхеб.

– Один?

– Нет, Тахура. Фараон может переменить свое мнение. И может взяться за меч.

– Почему же медлит?

– Не желает войны.

– Он живет ее умом, Усерхет?

– Чьим – ее?

– Царицыным.

– Он?! – воскликнул Усерхет. – Его величество?! Никогда! Для этого достаточно хотя бы немного знать его.

– А ты его знаешь?

– По рассказам. Мне кажется, что он у меня как на ладони, а я гляжу на него и днем и ночью. И, глядя на него, я знаю его – и скажу тебе, Тахура: ему тяжко, как человеку под крокодилом.

Купец сделал вид, что удивлен:

– Вот как! Его величеству, под которым вся гранитная Кеми, – и тяжко?

– Да. Тахура, мне ведомо из самых достовернейших уст, что во дворце не все в должном порядке. Как поглядишь со стороны: и стены неприступные, и штандарты на башнях сверкают, и стражи охраняют дворец недреманным оком. Но это снаружи! А внутри – разлад.

– Разлад, говоришь, Усерхет?

– А как же иначе это назовешь? Царь отошел от царицы. Он больше не живет ее советами. У него отросла собственная голова. Он скоро начнет войну. Скоро и Амона признает.

– Его величество?

– Он самый!

Купец развел руками: это же невозможно! Подобно сказке! Чтобы его величество Эхнатон перестал слушаться советов ее величества Нафтиты?..

– Да, да, да, – повторял лавочник.

– Что же приключилось? Почему он в обиде?

– Доподлинно никто этого не знает. Может статься, что это – обычная размолвка. В прошлом бывало нечто подобное. Бывало, бывало, бывало… Только мало кто догадывался об этом. Все тщательно скрывалось. А теперь – невозможно. Что укроешь? От кого? Если они сами того не желают и не могут скрыть!

Купец удивлен этим сообщением… Ай, это, наверно, так! Наверно, это так и есть! Разумеется, разумеется! Он подумал об этом даже там, в провинции Гошен, едучи сюда, в Ахетатон. Ведь достаточно присмотреться и прислушаться к народу, чтобы понять многое. Нет, во дворце что-то неладно…

– Я говорю тебе, я говорю так, словно вижу в зеркале, – похвалялся лавочник своей осведомленностью. – Если Усерхет сказал, так оно и есть.

– Слушаю тебя, слушаю тебя…

– На Восточной горе строят гробницу. Для его величества. Днем и ночью долбят скалу. Фараон сам выбрал это место. Сам выбрал и для царицы. Однако работы прекращены.

– Где? В фараоновой гробнице?

– Нет. В гробнице Нафтиты.

– Это удивительно, Усерхет, это удивительно! Если бы не ты, я бы никогда не поверил в подобную новость.

– Это не новость. Каждый, кто имеет глаза и уши и не очень далек от дворцовых стен, знает про это. А вот о гробнице – никому не ведомо. Один Усерхет знает про это.

Купец достал из-за широкого кушака четырехугольный слиток золота и бережно положил его перед лавочником. Сделав небольшую паузу, вавилонянин выложил

серебряную пластинку. Увидев сероватый металл, лавочник затрясся.

– О, что я вижу! – вскричал он. – Я долго буду помнить твою щедрость, Тахура!

Купец поглаживал бороду. Он не слушал лавочника. Весь ушел в свои мысли..

«…Значит, что ж получается? Столица новая, а распри в ней – старые? Хеттский царь думает, что в Ахетатоне – полное единодушие. А на поверку оказывается наоборот. Этот Усерхет, несомненно, неплохо осведомлен. Он ни разу не подвел. В его лавке бывают разные люди. Они приносят разные вести. При их сопоставлении получается истинная картина… Прекращение работ в гробнице царицы – событие первостепенной важности. Что же последует за этим? По-видимому, нельзя отрицать одного: отношения между царем и царицей не те, что год назад. Партия Хоремхеба – военная партия во дворце, – как видно, одерживает победу. Но сколь приметна эта победа? На словах она или на деле? Кто это может сказать? Варочем и в том и в другом случае – новость огромной важности. Подозревают ли о ней хетты – это главные, самые сильные враги Кеми? Возможно, догадываются. Не более… Пожалуй, не более…»

– Усерхет, – проговорил купец, – если возобновятся работы в гробнице ее величества – тебя поставят в известность об этом?

– Я буду знать все, что положено.

– И ты скажешь мне… Передашь мне, где бы я ни был.

– Можешь быть спокоен, Тахура.

Купца интересовали кой-какие подробности дворцовой жизни. Например: чью сторону держит старая царица Тии? Ее слово – не последнее слово в Кеми. Не так ли? Можно даже поспорить, чья сила берет верх: ее или Нафтиты?..

Усерхет сказал:

– Я говорю так: если во дворце вдруг случится разноголосица, царица Тии – считай на стороне ее величества. Если фараон разойдется во мнении с Нафтитой – царица Тии будет держаться середины. Или в крайнем случае станет рядом с Нафтитой. Вот так!

– А жрец Эйе? Что ты скажешь о нем?

У лавочника всегда готов ответ:

– Эйе держит в своих руках его величество. – Усерхет сжал мясистый кулак и выставил его вперед. – Эйе сказал – значит, фараон сказал. Он вместо отца у его величества. Фараон, прежде чем сказать, советуется с Эйе. Этот всегда в тени. Этот не лезет вперед подобно Хоремхебу.

Еще двое интересовали Тахуру: что делают во дворце принцы Семнех-ке-рэ и Тутанхатон? Ждут царской власти?..

– Семнех-ке-рэ – возможно, – сказал Усерхет, – Тутанхатон – едва ли. Он слишком молод. Считай, что Семнех-ке-рэ – почти фараон. Этот будет назначен соправителем. Если не на деле, то на словах. Может быть, ему помешает здоровье?

– Разве он болен, Усерхет?

– Нет, не болен. Просто заморыш. Не болен, а вроде бы болеет. Так же как Тутанхатон. Этот к тому же юнец. Мальчик.

– Тоже заморыш?

– Да.

– Ты видел сам или доверяешь другим?

Лавочник растопырил два пальца и приставил к своим глазам:

– Я видел ими!

Тахуре были знакомы эти водянистые глаза, обрамленные красноватыми веками. Да, эти могут многое увидеть.

– Хорошо, Усерхет. Я доволен тобой.

Лавочник ударил в ладоши, и на пороге появилась молодая красавица. Которой не больше восемнадцати. Ее пупок задорно торчал на медно-матовом животе, но глаза ее скромны. Десятки косичек ниспадали на покатые плечи. Под ногтями ее пальцев – на ногах и руках – играла алая кровь. И груди ее были как груши. В руках она держала небольшую

арфу.

Ее пронзительная красота на мгновение ослепила вавилонянина. Словно живая молния ворвалась в комнату. Точно лань обратилась в женщину. Как в сказках…

– Ее звать Май, – сказал Усерхет.

– Прекрасное имя! А что у нее в руках?

– На этой золотой арфе она сыграет так, как никто в Ахяти.

Азиат глядел на красавицу восторженно. Удары сердца его отдавались в висках. И лавочник видел все и понимал все. Он хотел было встать и уйти. Но купец остановил его.

– Усерхет, – сказал он с волнением в голосе, – Май явилась вовремя. Не принесет ли она кусок папируса и чернильный прибор?

– Папируса? – протянул лавочник.

– Не больше двух локтей в длину.

Усерхет подал знак красавице, и та вышла из комнаты.

– Я доставлю тебе все, что нужно.

И лавочник поднялся, чтобы принести чернильный прибор и папирус.

Ваятель Джехутимес

– Господин Усерхет! Господин Усерхет!

Лавочник едва успел поставить на столик свою нетяжелую ношу. И на миг застыл, пытаясь угадать, кому же принадлежит этот голос. Если бежать на всякий зов, то никаких ног, никаких башмаков недостанет…

– Тебя зовут, – сказал купец.

– Слышу. Здесь, кроме меня, есть еще люди…

Лавочник выпрямился. Вытер руки о льняной набедренник. Для этого ему пришлось распахнуть свое длинное одеяние.

Вдруг влетел служитель при кухне, раб-арамеец. Скороговоркой прокричал:

– Его светлость Джехутимес! Его светлость…

Хозяин не дал ему договорить. Выдал хорошего пинка в зад. И тот выскочил из комнаты…

– О, уважаемый Тахура, это ваятель его величества. Сам Джехутимес!

И Усерхет выбежал. Выкатился из комнаты, подобно шустрой собачке, бегущей на зов хозяина. Купец почесал за ухом палочкой для письма. Он прикидывал в уме, что выгоднее: писать донесение о новостях в Ахяти или же, отложив на время папирус, познакомиться с ваятелем? Купец решил избрать второе.

«…Этот ваятель имеет доступ к их величествам. Не каждый же день сталкиваешься с подобным человеком».

Он не представлял себе, пригодится ли ему это знакомство. Но долгий опыт подсказывал ему, что в сложных и щекотливых делах очень важно не пренебрегать ни одним знакомством, тем более с таким важным человеком. Для Тахуры было вполне достаточно того, что некий Джехутимес – приближенный царя. Почти князь. Почти вельможа. Что делает здесь, в этой неказистой лавке, человек, могущий лицезреть самого фараона? И это само по себе было весьма любопытно. А любопытство Тахуры не знало предела. Ему все нужно! Не за это ли ценили его хеттинские покровители? Разумеется, за это. Именно за это!..

Купец отложил в сторону гибкий свиток папируса. Медленно поднялся с места, оправил бороду и одеяние. И по-сановному неторопливо пошел к двери.

Посредине лавки стояли трое мужчин. К одному из них – коренастому, широколицему, в черном парике – обращался, притом с большим почтением, господин лавочник.

– Высокоуважаемый Джехутимес, как всегда, получит все, чего пожелает его душа, – не говорил, а пел, словно пташка, тучный владелец лавки.

Джехутимес смущенно молчал.

– Я понимаю тебя: жареных орехов в меду, тонких лепешек – таких хрустящих…

Ваятель улыбнулся. Эдак широко. По-детски лучисто. Очень, казалось, довольный обращением Усерхета. Он перетянулся со своими друзьями. Прищелкнул языком И сказал:

– Вот за что люблю эту лавку! Тебя понимают! Тебя поймут, если даже ты немой. Совсем бессловесный.

Усерхет поклонился ваятелю. Пригласил его занять место за низким, круглым столиком. Один из его друзей – это был знакомый нам Ахтой – плюхнулся на циновку. И простонал:

– Я очень устал. Я очень устал…

Его примеру последовали Джехутимес и Тихотеп (так звали второго друга ваятеля). Усевшись, они принялись барабанить ладонями по столику. Дружно приговаривая:

– Усерхет, Усерхет, подавай, подавай!..

– Клянусь прахом своих предков! – провозгласил купец – Клянусь их костями, я не видел более веселых людей!

Тахура поклонился Джехутимесу глубоким поклоном, приложив руку к сердцу. И не спускал глаз с ваячеля. Трое за столиком перестали стучать. Ответили купцу легкими кивками. Купец сказал:

– О почтеннейший Джехутимес, слава которого перешагнула пределы Кеми! Разреши мне простыми речами, моим нескладным языком выразить тебе мое глубочайшее уважение. И тебе, и твоим несомненным способностям.

Дж^хутимес был удивлен. Обращение иноземца, говорившего с акцентом, и смутило и порадовало его. Разве плохо, если тебя знают, если слава твоя перешагнула через пределы страны твоей?

– Благодарю – ответствовал Джехутимес. – Я не знаю тебя, хотя полагаю, что ты – чужестранец.

– Верно, ты угадал. Глаз твой остер, и от него не укроется ничего! К твоим услугам недостойный сын вавилонской земли Тахура, поклонник искусств и всего прекрасного. Хотя занятие купца не всегда позволяет обращать взоры к дарам искусства, тем не менее – правда, не без труда – мне удается иной раз полюбоваться произведением кисти или резца.

Нельзя было не пригласить к столу столь вежливого, столь представительного мужчину, к тому же чужестранца, к тому же любящего искусство, ценящего искусство. И вот Тахура пристраивается к компании молодых людей. Ему уступают лучшее место – возле стены. От удовольствия он обеими руками расчесывает бороду, весело пялит глаза, громко покашливает…

– О тебе много приходилось слышать… – говорит он, обращаясь к Джехутимесу.

– Плохое или хорошее?

– Только хорошее! Самое лучшее!

Ваятель краснеет. Словно девушка. Смущается, как школьник. И от чего? От похвал малознакомого купца!

Ахтой говорит:

– Уважаемый Тахура, нету слов, которые могли бы наиболее полно оценить способности и мастерство нашего Джехутимеса. Он годами не стар, а уж начальник над нами…

– Да, да, – повторил восхищенно купец, – начальник, начальник…

– Сам фараон говорит: вот ваятель, который воистину велик…

– Сам фараон… Сам фараон, – повторяет купец.

– Ухо Джехутимеса обращено к фараону. Он – истинный послушатель его величества…

– Кокэчно, конечно… – Купец не спускает глаз с ваятеля. Они у него словно звезды: горят, горят!

Ахтой превозносит своего начальника, чтобы показать, что слово чужестранца не есть что-то особенное, что Джехутимес слышал кое-что и поприятнее.

Тихотеп поддерживает Ахтоя. Разумеется, Джехутимес не имеет себе равного. Где? В Кеми. А если угодно – во вселенной. Кто видел подобное тому, что выходит из под рук

ваятеля? Тихотеп уставился на купца, вопрошая: «Кто?»

Купец развел руками:

– Я видел свет. Ибо торгую там, где возможно и где совершенно невозможно.

Джехутимес захохотал:

– Неужели и там, где невозможно?

– А что? Торгую и там, где невозможно!

Ахтой и Тихотеп чуть не покатывались от смеха.

«…Это очень веселые люди. Клянусь богами, я редко встречал столь жизнерадостных ваятелей. Так могут смеяться люди счастливые. Неужели каменные изображения доставляют им такое наслаждение?..»

Та самая девица Май, которая совсем недавно предстала перед купцом, поднесла сладостей и расставила тарелочки перед гостями.

– Я прошу, – сказал Тахура, – я прошу разрешить мне угостить вас вином. Я запас вина, которое удивит и своей крепостью, и ароматом. Мы, вавилоняне, ценим в вине и то и другое.

– Это правда? – спросил Джехутимес, обращаясь к лавочнику.

– Что вино изумительно?

– Да.

– Верно, господа, вино такое, что его можно пить и пить без конца. Оно целительно для сердца. И от него совсем не мутнеет разум.

– Что же лучшего можно придумать! – воскликнул Ахтой.

Май сходила за вином. И когда она разлила, все нашли его прекрасным.

– Откуда оно? – поинтересовался Джехутимес.

– Тайна, – многозначительно произнес Тахура. – Учтите: я купец, и мое ремесло – торговля. Я брожу по свету.

– В поисках вина? – сказал Ахтой.

– Не только вина.

Тихотеп перешептывался с Май. Он ее увидел впервые, хотя в лавке не в первый раз. Кто она? И давно ли здесь? Она не ответила на первый вопрос. А на второй ответила утвердительно: да, давно.

– Не верю.

– Почему? – Она улыбалась, оголяя зубы, подобные лунным лучам – голубовато-беловатым.

– Вот так, не верю.

– Но почему же? – Она улыбалась глазами, устами, пупком, торчащим невообразимо похотливо. Всем существом…

– Если длвно, то я, значит, слеп.

– Возможно! – Она улыбалась коленями – точеными, мраморными.

– Нет, я не слеп!

Бедный Тихотеп, помощник Джехутимеса, ничего не понимал: неужели встречал ее в этой лавке и ни разу не обратил на нее внимания?

– Не обратил, – сказала она.

– В таком случае я прыгну в Хапи!

– Почему?

– Ты еще спрашиваешь, Май, почему? Я скажу: не стоит жить тому, кто не умеет приметить подобную красоту.

Он попытался обнять ее. Она выскользнула из его рук, словно рыба. И тут же скрылась за занавеской.

Тихотеп с горя прильнул к чарке. Он пил, можно сказать, по капле. Наслаждаясь. Вдыхая аромат вина. И думая о ней. Он уже не мог не думать. (Это вполне понятно в его тридцать лет.)

В углу стоял Усерхет и внимательно наблюдал за столиком. Он подавал почти невидимые знаки – и служители приносили что надо. Но Май так и не появилась.

Тахура очаровал Джехутимеса. Это очень редкостный купец. Тонкий ум, приятное обхождение, знания его не могли не удивить любого непредубежденного собеседника. Он легко переходил с одного предмета на другой. Он знавал земли и моря. Горы и небеса открывали ему свои тайны. Но самое удивительное не это. Совсем не это! Купец понимал силу камня. Силу резца. Вавилонянин хорошо разумел значение цвета и сочетания красок. Он особенно почитал тех, кто был искусен в ваянии колоссов. Купца более всего поражал, например, сфинкс, что у пирамиды Хуфу. Искусство – велико, а человек – мал. Сфинкс и доказывает превосходство искусства…

Джехутимес не мог согласиться с этим. Разве искусство должно подавлять?

– Нет, удивлять, – ответил купец.

– Тоже неверно.

– Что же верно?

– Я скажу, уважаемый Тахура.

– Я слушаю.

Джехутимес отпил глоток вина. Его лицо, каждая складка и морщинка выражали крайнюю глубину его мышления. Будто ваятель прислушивался к внутреннему голосу, будто не говорил как смертный, но чревовещал подобно чародею. Ибо такова была его вера в искусство. А искусство составляло смысл всей жизни. Если бы сказали ему: не будет больше искусства – он бы попросил: тогда возьми мою жизнь!.. Джехутимес говорил:

– Времена гигантских сфинксов миновали. Навсегда ли? Наверно! Ты спросишь меня: жалею ли я об этом? Отвечу тебе: и да, и нет. Правда, я хожу по этой земле, но я живу дома. Вокруг меня – четыре стены. И я хочу, чтобы в моей комнате находились некие творения ваятелей и живописцев, которые доставляли бы мне радость. Слышишь, уважаемый, я говорю – радость!

– И грусть, – добавил Ахтой.

– И горе, – сказал Тихотеп.

– Искусство – горе? – подивился купец. – Зачем вам горе? Разве его мало вокруг? Прошу вас, сделайте два шага – и его полным-полно! Ты хорошо сказал, досточтимый Джехутимес: радость, радость, радость!

Щеки Тахуры покрылись багряно-алой краской, Они блистали от избытка здоровья, блистали, как бронзовые миски, хорошо начищенные радивой хозяйкой песком и проточной водою.

– И грусть, – повторил Ахтой.

– И горе, – добавил Тихотеп.

– Нет, зачем же? – Купец засмеялся мелким, хихикающим смешком. – Зачем – горе? Уважаемый Ахтой, ты молод. На челе твоем – сила и здоровье. Ты глядишь, словно сокол нехебт, и в глазах твоих – любовь и радость. Зачем тебе грусть? Гони ее от себя! Гони от искусства! А впрочем… – Тахура сделал паузу. – А впрочем, можно и погрустить, если тебя чуточку подвела красотка.

– Красотка?

– Ну да. Например, не явилась на свидание.

– Значит – Ахтой поднял вверх указательный палец, – уважаемый Тахура разрешает грустить только по поводу мелких проступков некоей красотки?

– Нет, можно найти любой повод. В жизни, но не в искусстве.

Ахтой пригубил из чарки. А потом сказал:

– Мы не понимаем друг друга.

Тихотеп слушал этого бородача, для которого жизнь – сплошная радость, с чувством некоторой гадливости. Точно перед ним прыгала тяжелая жаба. Он был помоложе всех, и ему не полагалось брать на себя больше того, что полагается по летам. А иначе он бы плюнул и встал из-за столика… И все-таки он не выдержал:

– Нет, я прекрасно понимаю!

– Приятно слышать, молодой человек, – чуть не пропел купец из Вавилона. – Стало

быть, ты согласен до мной?

Тихотеп не смотрел на него. Потупив глаза, он выговорил и очень жестко, с оттенком злобы:

– Я сказал, что понял. Понял – значит понял! А «согласен» – это совсем другое. Если тебе угодно радоваться – пей вино!

– А я пью! Клянусь богами, пью!

И купец отхлебнул. Да так, что.поперхнулся. Объяснил: попало не в то горло.

– Вот и пей, уважаемый Тахура. А ваяние или живопись – не вино тебе! Хорошее настроение ты можешь приобрести за одну курицу или козленка. Так неужели же равнять искусство с живностью? Ни один ваятель не обязан развлекать тебя. И запомни, чужестранец: мы не уличные лицедеи!

Купец скрестил на груди волосатые, толстые руки. В знак полного смирения. Можно сказать, рабства. И тем самым как бы обезоруживал своего противника. Джехутимес разгадал эту уловку и ждал, что будет дальше. Однако дальше ничего не было, ибо разгневанный молодой ваятель закрыл глаза, чтобы не видеть: он не ручался за свои руки, которые изрядно почесывались. Вздуть этого ценителя искусства было бы сущим благодеянием…

– Великие господа, – проговорил Тахура тоном виновного, – если я допустил какую-либо…

Джехутимес, смеясь, перебил его:

– Да, допустил. Именно, допустил!

– О, если это и твое мнение – прошу меня простить… Неужели я оскорбил вас?

– А как ты полагаешь, уважаемый Тахура?

– Не знаю, что и сказать…

Тихотеп сердито бросил

– Нет большего оскорбления для искусства и его служителей, чем требовать одной только радости! Более того: искусство создано не для того, чтобы веселить Кто хочет бездумного веселья – тот его всегда найдет и без искусства. Мы часто несем миру невеселые мысли. Мы будоражим душу, подчас заставляем ее трепетать в страхе. Мы клеймим негодяев! Что же до веселья – его много в лавке уважаемого Усерхета. Не правда ли?

Этот вопрос был обращен к хозяину лавки. Тот поклонился. Он знал – притом очень хорошо – нрав молодого ваятеля из фараоновых мастерских. И не осмелился противоречить, хотя ему было совершенно безразлично: веселит искусство душу или навевает горестные раздумья? Это для него словно вчерашний зной.

Джехутимес похвалил яства Усерхета и тем самым отвлек противников от их главной темы. Купец с удовольствием воспользовался предоставившейся возможностью и тоже похвалил яства, причем с таким же жаром, с каким только что хвалил искусство, способное доставлять только радость…

– А у тебя на родине, – спросил Джехутимес, – таковы ли яства? И что у вас более всего ценят?

– У меня? В Ниневии[23]такие же лавки. Только чуть поскромнее. Там едят и засахаренный орех – крупный, мелкий и земляной. Но самая первая еда – жирное баранье мясо на курдючном сале. Его готовят на жаровнях. Потом мясо остывает. Не одно, а со всякими травами – высушенными на солнце. Попробовать такого мяса – одно удовольствие. Но я знаю страны – они далеко на Севере, – где кобылье молоко – клянусь богами! – не дешевле золота.

– Кобылье молоко?! – воскликнул Ахтой.

Джехутимес остановил его жестом:

– Ахтой, и я свидетельствую, что есть такие земли. Я слышал о них от одного достойного жреца, который знает все, что в земле, на земле и под землей. Молоко они

---

[23] Ниневия – столица Ассирии.

заквашивают, остужают и пьют, подобно тому как пьем мы пиво или вино.

Купец подтвердил это. Более того, такое заквашенное молоко способно свалить даже крепкого мужчину, если его поесть в большом количестве. Да что говорить о кобыльем молоке! Есть страна, где горит вода, которая бьет из-под земли…

– Как горит? – осторожно спросил Тихотеп.

– Горит огнем, – услужливо пояснил купец, словно между ними не было никакой перепалки. – Как если бы растопили бараний жир и подожгли его. Или рыбий жир. Ведь пламя же будет!

Каждый мог представить себе, какое это будет пламя, если загорится жир. Или масло, которое добывают из ореха. Но как горит вода – это трудно вообразить. Или это, может быть, особая вода? Нет, купец утверждал, что вода – не особая, но обычная. Которую пьют все. Она вытекает из-под земли. Как в оазисах. Или в горах.

– Кто же поджигает воду? – спрашивает Ахтой.

– Кому взбредет в голову такая блажь. А чаще всего молния: она бьет в родник, и он воспламеняется. И тогда клубы дыма подымаются к небу, и люди молятся на огонь. Ибо он имеет большую силу. А сила, как известно, всегда вызывает к себе уважение.

– И это неправда! – шипит Тихотеп.

– Что – неправда? – недоумевает купец.

– Сила не всегда вызывает к себе уважение. Если бы ты сказал, что мудрость, – я бы это понял. Но – сила?!

Купец всплеснул руками:

– Ну, дружище, ты меня доконал! Неужели я наступил тебе на ногу? Можно подумать, что мы с тобой враги. Как бы я ни открыл рот – все тебе не по нраву.

Джехутимес сказал примирительно:

– Не сердись, уважаемый Тахура. Молодость имеет одно неоценимое свойство: она не признает середины, но занимает крайнее место. Мы, ваятели, которые недалеко от его величества, не можем согласиться с тобой без особых оговорок.

– Прости меня, Джехутимес: но ведь Кеми всегда украшала сила его сынов. Вглядитесь в глубь истории, прочитайте свитки предков. Разве это стыдно – сила?!

– С некоторых пор мы предпочитаем Мудрость. Она лучше силы.

Джехутимес осушил чарку и с силой опустил ее на столик. Но не разбил ее.

Ахтой развил мысль, высказанную его начальником. Дело в том, что трехтысячный опыт Кеми красноречиво свидетельствует в пользу мира. Кому приносили счастье войны? Только нескольким военачальникам. Да, может быть, фараонам. И то не всем. Если бы и соседи, живущие на Севере и на Юге, тоже поняли это – на земле воцарилось бы счастье. Иное дело, когда вторгаются азиаты-гиксы и бьют посуду в твоем доме. Тогда сами боги велят браться за меч и лететь на боевых колесницах.

– Значит, его величество стойко держится мира? – без особого, казалось бы, тайного умысла спросил Тахура.

– Да! – произнес Ахтой.

– Только мира, – подтвердил Джехутимес.

– Видите ли… – Купец потер руки, будто озяб ои и хотелось немножко согреться. – Видите ли, это похвально – желать мира. Но кто поручится, что и хетты желают того же? Или сирийцы? Или шумеры? Или эфиопы? Или ливийцы? Я понимаю, когда государственная мудрость подсказывает тебе, что мир – это благо. Но это должно быть подсказано не только одному. И не двум. А многим. Всем! Воинственные хетты рвутся на Юг. Они теснят ваши посты. А вы будете взирать на все это спокойно?

Джехутимес не ответил.

– Разве они теснят наших? – спросил Ахтой.

– Еще как!

Тихотеп мрачно отрезал:

– Неправда!

– Что неправда, молодой человек?

– Что наших теснят.

– Я не сказал – теснят.

– А что же?

– Могут потеснить…

Тихотеп вздохнул. Отпил вина. Хотел было сказать что-то, но его опередил Джехутимес:

– Уважаемый Тахура, мы ведем, я бы сказал, немного отвлеченный разговор. Почему? Да потому, что особых осложнений на границах не предвидится. Стычки могут быть всегда…

Неизвестно, говорил ли он заведомую ложь или не знал истинного положения. Надо было обладать огромным терпением его величества, чтобы не обращать внимания на бесчинства хеттов. Джехутимес в глубине души чувствовал, что не совсем прав. Но не мог говорить он иначе! Не мог, потому что и сам он держался того же мнения, что и фараон. Главные враги здесь, на берегах Хапи, а не на Тигре или Евфрате. Кто больше всего жаждет падения его величества? Жрецы Амона тайные (ибо явные прикрылись новой личиной) или священнослужители хеттов? Разумеется, жрецы Амона! Стало быть, война с хеттами ни к чему. Иное дело, если хетты, пренебрегая всяким приличием, двинутся на юг, к Синайскому полуострову или к провинции Гошен. Вот тогда удар отрезвит их. Только удар! А в настоящее время письма, которые пишет на север его величество на хеттском языке, – вполне достаточное средство против войны…

«…Его ли эти слова или слова, слышанные во дворце? Может быть, от самого фараона. Едва ли ваятель осмелился бы выразить свое мнение насчет войны и хеттов с такой определенностью».

Во всяком случае, купец был очень доволен беседой, благодарил богов, которые свели его со столь высокопоставленными дворцовыми служителями.

– По здравом размышлении, – сказал Тахура, – нельзя не согласиться с вами. Как погляжу, ум ваш глубже и шире, чем это можно предположить, имея в виду ваши годы. Я видел старцев, убеленных сединами, их речи не выше ваших. А проницательность ваша превышает ихнюю.

Тихотеп горделиво заулыбался. Наконец-то чужестранец заговорил по-человечески. Он готов был простить вавилонянину его заблуждение насчет искусства и войны и мира. Главное, чтобы человек понял верные слова. Если понял, значит, хорошо, значит, слава богу! Молодой ваятель налил чарку себе и Тахуре. А потом сказал:

– Поначалу мне показалось, что ты исполнен злобы. – (Тахура изобразил на лице крайнее удивление.) – Да, да, показалось! Но теперь я думаю иначе: ты – человек неплохой, немного заблуждающийся. Но ты умеешь понимать свои заблуждения. Верно осмысливаешь их. А это дано не каждому.

Купец расхохотался. Пожал Тихотепу руку. Дружески ударил его по плечу. И они выпили. В знак примирения. И дружбы.

– Теперь, когда я заслужил благосклонность моего молодого друга, – сказал Тахура, – могу ли надеяться на нечто большее? На нечто, что доставит мне глубокое наслаждение? – Говоря это, Тахура не спускал глаз с Джехутимеса: – Могу ли?

Джехутимес, кажется, понял его. Да разве Тахура был первый, кто обращался к нему с такой просьбой? Она еще не высказана. Она только на языке. А по существу – ясна, Джехутимес знает эту просьбу наперед…

– Есть у меня мастерская, – сказал он, – есть мастерская, и в ней я – начальник над всеми ваятелями, коих семь. И над их помощниками – я начальник. А их – пятнадцать. И каменотесов у нас предостаточно, и всякого рабочего люда, которым под силу тяжести. Усерхет знает, где моя мастерская. Усерхет изучил дорогу к ней, как школьник иероглиф «анх». В любое время – прошу в гости!

Усерхет подобострастно кивал головою, он говорил: «Да, знаю»; он говорил: «Знаю,

как анх».

Азиат чуть не затанцевал от радости на козлячий манер. На радостях приказал внести каждому из сидящих отличного вина «Прекрасное из Ахяти». Он приказал, чтобы Май самолично и собственноручно вручила каждому из мужчин вино. И когда она появилась, прекрасная своей внешностью и чудесная обаятельностью своей, купец вскричал:

– Май наиженственнейшая, поцелуй каждого, кому вручаешь кувшин! Поцелуй каждого! Я приглашен в гости великим Джехутимесом!

И она послушалась. Этого азиата. К удивлению и к досаде Тихотепа. И он был как бы мертвый, когда она поставила на нем клеймо дешевой любви, продающейся, точно лук или барбарис на рынке. Этот знак ему жег щеку. И когда она громко и сладострастно чмокала других – он вздрагивал. И вдруг его залихорадило. Он приник к кувшину и пил вино прямо из кувшина, чтобы заглушить ревность, бившую у него через край.

Она обошла сидевших. Май поцеловала каждого из них и снова скрылась за занавеской.

Купец поглаживал щеку – то место, в которое чмокнула его красавица. И он говорил, закатывая глаза:

– О боги, что же произошло только что?! Почему душа моя ушла в пятки? Скажите же мне, друзья дорогие, что же стряслось только что с моей щекой? Отчего так горит она?

Купец повалился на спину, задрал ноги кверху. Глядя на него, ваятели покатывались со смеху. Служители – повара, потрошители живности, судомои – выглянули из-за занавесок, чтобы поглазеть на удивительное зрелище. Май тоже вышла из своего прибежища. Вместе с нею показались и ее подруги – одна красивее другой, одна моложе другой. Тихотеп мигом забыл про Май. Он рыскал взором, точно волк в стае прекраснейших гусынь. И сказал себе: «Вот место обетованное, где я редко бывал. Я каюсь в этом. Ибо что такое жизнь, если ты проходишь мимо красоток, в сравнении с которыми звезда не звезда, а всего лишь шляпка от бронзового гвоздика». Тихотеп приметил одну, красивую от загара и прелестную красотой ног и груди, бедер и лица. Такую невысокую и худенькую девочку-женщину. Ваятель встал, подошел к ней, пока все забавлялись видом дрыгавшего ногами азиата, и спросил ее:

– Кто ты?

Она посмотрела на него безбоязненно и смело, такими голубыми глазами, похожими на стекло из Джахи. Ответила четко:

– Сорру.

Что это за имя? Откуда она? Он хотел услышать еще что-нибудь от нее. Чтобы определить по говору, кто она, откуда она.

– Что это за имя? – спросил он.

– Арамейское, – сказала она.

– И ты – арамейка?

– Да.

– И давно ты в нашей стране?

– Меня похитили пять лет тому назад.

– Чтобы мучилась в этом закуте?

– И чтобы любила мужчин, – беспощадно продолжила она.

И, может быть, немножко назло этой Май он сказал:

– Сорру, я хочу тебя видеть.

– Так приходи же сюда.

Вот и все! Он отошел в сторону, потому что купец снова уселся на свое место, и шумно вытирал пот со лба. Скрылись девицы. Ушли к своим очагам повара. Потрошители принялись вершить свое грязное дело.

Нет, этот азиат покорил сердце Джехутимеса. Давно не видывал ваятель столь смышленого, столь ученого и столь потешного человека. Разве не следует пригласить в свою мастерскую Тахуру? Разве не достоин он любезного, более того, горячего приема? Да, да, да!. Тахура придет к нему. Он покажет ему все свои работы. Устроит пир для него и в честь

его!

Все это он высказал в изысканных, подобающих в таких случаях выражениях. Ахтой и Тихотеп кивали согласно головою, как бы подкрепляя приглашение своего начальника и учителя.

Когда они прощались и благодарили друг друга, проявляя крайнюю учтивость, Тихотеп уловил ее взгляд. Взгляд серны, которая потрясена. Взгляд животного – наипрекраснейшего, плоть которого встревожена.

Он кивнул ей. И она прикрыла веки. И ресницы на веках были длинны и черны. Их видно было издали. Отчетливо.

Неужели кончится этот взгляд Сорру? Когда нибудь?

Семнех-Ке-Рэ

На балконе второго этажа, обращенного на север, было прохладно в этот знойный день. Отсюда открывался вид почти на весь Ахетатон. Слева и справа вдоль Дороги фараона – храмы, сады, особняки вельмож, а подальше – хижины бедняков. Сверкает на солнце одетый камнем розового цвета главный храм – Пер-Атон-Эм-Ахяти. Недалеко от него малый храм – Хет-Атон-Эм-Ахяти. Туда, к Восточному хребту, тянутся дома, дома, дома, утопающие среди тенистых сикомор, гранатов и финиковых пальм. Сколько земли пришлось перетаскать, чтобы росли деревья на раскаленных песках! Сколько труда пришлось вложить, чтобы засверкали величием стены дворцов на пустынном берегу Хапи, не оскверненной присутствием Амона!

Его величество любит – очень любит! – этот город, выстроенный по слову его, по советам его и приказам. Городу всего четырнадцать лет, а где найдешь краше его? Говорят, прекрасна Ниневия с ее воздушными садами. А чем хуже Ахетагон? Не только не хуже, но много краше! Об этом говорят все, кто ступал на улицы Ниневии и улицы Ахетатона. Если Ниневии не сравниться, то какому городу можно потягаться с Ахетатоном?! Нет в мире таких городов! Одна Дорога фараона чего стоит! Эта красавица пряма как стрела, и по обеим сторонам ее – постройки. Их возводили лучшие зодчие Кеми Разве не заметна на них рука Туту, Хатиаи, Маанихетутефа и Май? Кте не узнает на фасадных барельефах почерк Юти, Бека и Джехутимеса? Но главное, но главное – не в этом! Не в этом, а в чистоте города! Грязные воды теперь – под землею, они текут по трубам из обожженной глины. Ванные комнаты топяпся и днем и ночью – и люди в Ахетатоне особенно опрятны, не в пример другим горожанам Кеми,

Сила слов его величества была такова: каждое из них весило очень много – тяжелее сотни дебенов! И вот результат: город, великий город на Хапи! Как не любить этот город, несравненный Ахетатон?! Его величество наслаждается видом с Северного балкона. Каждый день. Это у него вроде болезни. Очень приятной болезни…

Его высочество Семнех-ке-рэ худощав. Щупл. Рядом с ним царь выглядит настоящим борцом. Но ведь Кеми нужна голова, а не ноги, а не руки. Светлая голова у Семнех-ке-рэ. Недаром у них один корень – один отец! Неважно, что разные матери. Отец – всегда главный. По крайней мере, когда речь идет о детях…

– Я должен сказать нечто, – начал фараон. И умолк.

«…Неужели всю эту красоту отдавать другому? Красоту, добытую ценою крови, сердца, души?»

Он имел в виду этот город, это государство, равное вселенной. И эти храмы, и эти деревья в песке. И это небо. И диск Атона. Всё, всё, всё! Но таков неумолимый закон жизни – отдавать другому то, что приобрел очень и очень дорогой ценой. И фараон повторяет:

– Я должен сказать нечто…

Его высочество Семнех-ке-рэ может только догадываться. На это уже как-то намекал Эхнатон. Даже весьма прозрачно.

Речь идет о соправителе. Соправителе его величества… Неужели его величество Наф-Хуру-Ра чувствует приближение конца? Не рассчитывает на долгое правление? Почему же? Почему это в тридцать пять лет? Правда, фараон не должен обольщать себя мечтой, что процарствует на троне сорок пять лет, подобно Сенну-сергу Первому. Это верно. Но все же тридцать пять лет – совсем, совсем немного!.. Почему же так торопится его величество?

Фараон продолжал без тени волнения на лице, в глазах, в речи. Точно мудрец. Как человек, умудренный мудростью. Официально. Достаточно сухо. И веско. Словно выносил приговор, давно обдуманный, давно решенный.

– Семнех-ке-рэ, я считаю так: каждый правитель великой страны – если у него хватит ума – обязан найти себе достойного преемника. _И уйти в надлежащее время. До того, как его покинут силы. Или призовут на поля Иалу. Или иссякнут у него мысли, так необходимые для управления вселенной. Я полагаю, что настала пора и мне избрать соправителя. Что ты скажешь?

Его величество стоял напротив. Совсем близко и глядел пытливо. Длинное, тонкое лицо его насторожилось. Губы сжались. Рука обхватила руку. Там. За спиною.

Так стоял его величество: чуть подавшись вперед и по-военному приставив ногу к ноге.

– Ты ждешь моего совета? – тихо проговорил Семнех-ке-рэ.

– Разумеется.

Вот его величество сейчас в точности таков, каким изобразил его ваятель Ахтой: чуть насмешливый, настороженный, умный.

– Я согласен с тобою, твое величество.

– Как это понимать?

Было ясно, что фараон ожидал более обстоятельного ответа. Не односложного – «да», «нет», но пространного для различных мыслей, могущих породить новые – и мысли, и вопросы…

– Жалок тот, кто не умеет смотреть вперед…

– Хорошо сказано, Семнех-ке-рэ!

– …кто вовремя не вытащит меча из ножен…

– Прекрасно!

– …кто не опережает события, а плетется за ними, подобно кошачьему хвосту за кошкой.

– Тоже замечательно! Фараон пока что доволен…

– Поэтому, твое величество… – Семнех-ке-рэ глубоко вздохнул, словно намеревался нырнуть в воды Хапи. – Поэтому я полагаю, что твое решение взять себе соправителя вполне разумно. Все мы – слуги и дети Атона. Он призовет – и мы уходим на поля Иалу. Кто знает, когда это случится? Может, в постели, может, в дороге. Может, за трапезой.

– Да, да, да…

Фараон сорвался с места и вдруг заметался по комнате. Глядя себе под ноги, точно пол был весь в ямках. И лишь временами бросал взгляды на стены и роспись на стенах

– Я сказал, твое величество: ты хорошо решил. Вовремя решил. Так надо во имя твоего великого дома… Но какого мнения держится ее величество?

– Не знаю! – бросил фараон.

Семнех-ке-рэ на миг онемел.

– Не спрашивал, – отрезал фараон.

…«Не знаю»… «Не спрашивал»… Как это понимать? Разве голос ее стал глуше? Или хуже? Разве не она стояла рядом с его величеством во все тяжелые дни? Не она ли была опорой его мысли? А теперь – «не знаю, не спрашивал…».

Фараон подозрительно посмотрел на брата. Чисто и спокойно чело молодого – двадцатитрехлетнего – Семнех-ке-рэ. Само Благородсгво позавидовало бы ему в благородстве. Женщины мечтали о такой мягкой и гладкой коже на лице. Глаза его источали

нежность и ум, так необходимые человеку – особенно правителю большого государства. Кто сказал, что жестокость – попутчик царей? Почему жестокость? Отчего жестокость? И кого и от чего предохранила она и в этой и в той жизни? Чью память уберегла от забвения? Ничью!..

Фараон знает, на ком остановить свой выбор. Он говорит:

– Ты будешь моим соправителем. Ты!

Семнех-ке-рэ совсем не удивлен. Он знал, что это справедливо. Что так оно и должно быть. Он только спрашивает ради приличия:

– Достоин ли?

– Да.

– Твое величество, хорошо ли это обдумал?

– Да.

– Смогу ли послужить должным образом?

– Не знаю. Мы будем вместе. Как два близнеца. Я обещаю тебе все: силу, мужество, мудрость. На что только способен. Ибо и я иссякаю. Слишком больно вот здесь… в печени… В сердце… И здесь… в голове…

– Смогу ли, твое величество?

«…Этот будет служителем Атона. Непреклонным. Пойдет моей прямой дорогой».

Решение его величества казалось окончательным. Твердым. Бесповоротным Как и все, что решал прежде. Его величество сказал:

– Нам с тобой надо обсудить важное дело. Снова приходил ко мне Хоремхеб и требовал войны…

Семнех-ке-рэ по-детски нахмурился. Совсем как маленький, которому дали не того молока. На лбу появились складки На щеках – складки. Глаза сощурились.

– Требовал войны? – спросил он. – С кем? Когда?

– Со всеми! Лезут на какие-то пограничные деревни хетты – войну им! Эфиопы обидели нашего князя – войну им! В Ливии схватили нашего купца – войну им! Азиатские князьки не уплатили дани в назначенный срок – войну им! Этому чудовищу мерещится только война. Он спит и видит – войну. Ему безразлично, с кем воевать. Лишь бы воевать. Гнать рекрутов в Азию. Везти им пищу и вино. Убивать и чужих и своих. Он забывает, что боевые колесницы имеются и у хеттов. Он забывает, что копья и мечи куют не только в Кеми, что в воздух летят не только наши стрелы.

Фараон присел на скамью. А против себя усадил Семнех-ке-рэ. Прямо перед собой. На расстоянии руки. И продолжал, как бы разговаривая с самим собой:

– Конечно, ввязаться в войну не мудрено. Сказал Хоремхебу два слова – и на тебе, война! Повода даже не требуется. Он есть! Его сколько угодно! Можно придраться к кому угодно и начать войну где угодно: в Ливии – так в Ливии, в Азии – так в Азии! Можно воевать с Ниневией, с Нижним Ретену, с шумерами, которые при последнем издыхании. Да что толку?! Ты будешь воевать в песках, глотать пыль, лизать камни от жажды, а тайные и явные служители Амона подымут голову. У тебя в тылу…

– Почему же подымут?

– Очень просто! Когда человек ослабевает, на него кидается любая вошь. Как ни говори, война – это слабость. И победа – слабость. Особенно – победа! Запомни это! Кеми не нуждается в победах на полях сражений. Мы же не собираемся, подобно гиксам, переселяться из одной местности в другую. Ведь не собираемся?

– Нет, – сказал Семнех-ке-рэ.

– Кому бы хотелось оставить Кеми, берега Хапи и поселиться в грязной Азии?! Когда идут дыни из Азии в Кеми – это хорошо. Но жить в Азии?! Когда гиксы ввалились в нашу страну – это понятно: они рвались к богатству. А мы даже своих мертвых не оставляем в чужой стране. Ведь не оставляем?

– Нет, – подтвердил его высочество.

– Значит, воевать нам не из-за чего. Мне все время тычут в нос имя Тутмоса Третьего.

Вот, говорят, воевал! Вот, говорят, до Нижнего Ретену дошел! Вот, говорят, герой доподлинный! Может быть, это так. Когда-то Кеми нужны были войны. А сейчас? Нужны ли сейчас?

– Нет! – Семнех-ке-рэ даже слова «война» пугался.

Его величеству не понравился его категорический ответ. Бывают случаи, когда без войны не обойтись. Слишком большая внешняя угроза, например. Тут без войны не обойдешься! Но и в этом случае следует точно определить: существует ли такая угроза или придумывают ее военные? Конечно, азиатов надо держать в узде. С этим никто не спорит. Да и спорить глупо. Это понятно и младенцу в колыбели…

– Когда я пытаюсь смотреть вперед, – его величество сделал вид, что рассматривает какой-то отдаленный предмет (он даже ладонь приставил козырьком ко лбу), – когда я смотрю далеко вперед, то вижу величие Кеми не в войнах. Человек не может драться всю жизнь…

– Не может, – повторил Семнех-ке-рэ.

– Ему нужна и передышка…

– Нужна.

– Он рожден не для того, чтобы драться всю жизнь.

– Верно!

– А для того, чтобы жить. Наслаждаться. Молиться его величеству Атону. Слагать гимны. Работать на полях. Кормить семью и детей.

– Зто так. Это так.

– Что осталось от Хуфу?

– Пирамида величайшая.

– А где тело Хуфу?

– Давно сгнило!

– Пирамиду сложили не воины. Не люди вроде Хоремхеба! А люди с отвесами и молотками в руках. Так почему же мы должны отдавать предпочтение войне?!

– Не должны.

– Я и говорю!.. А что этот Хоремхеб?

Семнех-ке-рэ подумал немного, по-детски напряг лоб и сказал:

– Может, прогнать Хоремхеба подальше?

– Почему?

– Он – негодяй!

Его величество вдруг расхохотался. Он встал. Хохоча, прошелся до угла. Вернулся назад.

– Нет, так нельзя, – сказал он обескураженному Семнех-ке-рэ. – Во дворце нужны разные люди. Даже негодяи.

– Зачем?

– Негодяи?

– Да.

– На всякий случай…

Семнех-ке-рэ сидел почтительно – ровно, сложив руки на коленях. Что же это получается? Терпеть негодяев, чтобы пользоваться их услугами? Это же противно совести. Да, тяжела участь фараона, если он принужден терпеть негодяя у себя под боком.

Эхнатон продолжал:

– Со временем ты узнаешь многое. Тронный зал таит много секретов. Когда ты облачишься в одежды и наденешь на голову бело-красную корону – смиришься и с тем, что не допускаешь сейчас к своему сердцу. Все тогда поймешь! Ты будешь смотреть в глаза приближенных совсем иначе. Они будут искать в зрачках твоих сокровенный смысл. Но и ты будешь стараться прочесть тайные письмена, которые в сердцах. За это я ручаюсь! И вот тогда ты поймешь, что непременно нужны и негодяи. Рядом с честными…

– Не понимаю, – упрямо сказал Семнех-ке-рэ.

– Может, не понимаешь и не поймешь никогда, но держать возле себя негодяя будешь. Ты сам увидишь, что без этого трудно. Почти невозможно.

– Это ужасно! – И Семнех-ке-рэ содрогнулся. Ему стало не по себе.

«…Милый, милый мальчик! Лучше такой на троне, нежели отпетый негодяй. Ни один негодяй не приносил пользы стране. Может ли негодяй сотворить полезное только потому, что воссел на трон? Нет, такого не бывает! Вся история Кеми свидетельствует об этом… Выбор мой верен! Мне нужен богобоязненный человек – служитель Атона беспрекословный Только такой поведет Кеми к процветанию. Только такой сулит надежды. Только такой угоден Великому Диску!..»

– Итак, – заключил его величество, – мы, кажется, договорились с тобой насчет негодяев. Знай наперед, что не следует их полностью отвращать от себя. Держи их в узде, используй по своему усмотрению. Наш великий завоеватель Тутмос Третий был головорезом по характеру своему. Будучи умным от природы и образованным, он приблизил к себе наиболее степенных и осторожных. Он как бы уравновесил чашу весов…

«.. Что-то я не слыхал прежде таких речей от его величества. По-моему, относительно негодяев Ахнаяти был иного мнения. Отчего такая перемена во взглядах? Значит, права Нафтита, когда сетует на фараона… Вот оно как? – союз с негодяями, значит!»

– Должен сказать тебе, дорогой Семнех-ке-рэ: фараон мужает с годами. – Его величество вытянул шею и выпучил глаза, словно прислушивался к шороху. – Я признаюсь тебе: я только-только начинаю постигать всю глубину государственной мудрости. Я простер свою руку над Кеми. Все двадцать князей Та-Мета покорны беспрекословно. Все двадцать два князя Та-Реса склоняются к моим стопам. Нет провинции, где бы не низвергли презренного Амона! Сила моя подобна Хапи в месяц хойяк, когда воды заливают все Кеми. Я говорю не о военной силе, но о мощи духовной, вдохновленной нашим солнцеликим отцом. Скажи мне по совести, дорогой Семнех-ке-рэ, был фараон сильней и дерзновенней меня? А ну-ка, загляни в глубь веков!

И Семнех-ке-рэ ответил вполне искренне (а иначе он не умел):

– Нет, твое величество, это ты сверг Амона и возвеличил бога истинного, бога животворного. И – Кеми отвратил от себя лик Амона, ибо слово фараоново могучее! И нету больше силы во всей вселенной, которая бы повернула твою колесницу солнцеподобную назад. Ведь не текут же реки вспять?

– Не текут…

– Ты покорил многочисленных богов и врагов своих так, как это под стать только льву пустыни, – одним ударом! Только одним ударом!

Фараону понравилась эта мысль. Его словно бы кто-то подтолкнул эдак легонько в бок и указал на самую сильную сторону его характера. Он был очень доволен.

– Да, Семнех-ке-рэ, пожалуй, ты прав именно одним ударом, одним прыжком! Какой же дуралей прыгает через глубокий канал в два прыжка?!

Семнех-ке-рэ кивал ему. Улыбался. Чуть подобострастно. Впрочем, его величество этого не замечал. Он, казалось, упивался мощью своей, сковавшей страну толстой цепью На бледном лице фараона проступил румянец. Такой неяркий. На острых скулах.

Фараон приблизился к Семнех-ке-рэ – нос к носу. Соправителю хорошо было слышно прерывистое дыхание владыки Кеми. В расширенных зрачках фараона словно бы открывался целый мир в царство ночи, где черным-черно. Его величество неожиданно спросил:

– А ты будешь верен отцу нашему Яти?

Он спрашивал так, будто держал в руке нож, готовый вонзиться в горло Семнех-ке-рэ.

– Буду, – ответил младший брат.

– Как ты сказал?

– Буду! Буду!

– Очень хорошо.

Фараон вышел на балкон, облокотился на каменную балюстраду, поднял голову к небу. И оттуда крикнул соправителю:

– А я не верю.

– Чему?

– Твоим словам!

– А повод? – Семнех-ке-рэ проглотил горькую слюну. – А повод, Ахнаяти?

– Просто не верю!

Семнех-ке-рэ не знал, что и делать. Спорить, доказывать, что это не так? Это преунизительно! И можно ли вообще убедить человека, который твердо заявляет, что не верит тебе? Его высочество сидел не двигаясь. Потом – погодя немного – встал, подошел к его величеству сзади и положил на плечо ему руку:

– Ахнаяти, скажи, что ты пошутил… Что вырвалось это у тебя…

Тот молчал.

– Скажи, что нет у тебя оснований для подобного недоверия.

Фараон точно окаменел.

– Я жду, Ахнаяти…

Солнце накалило Восточный хребет, который был справа. Каменный жар чувствовался даже здесь, на берегу Хапи.

За густой рощей сикомор, росших прямо под балконом, проходила Дорога фараона. По ней проносились колесницы, шли прохожие, маршировали лучники, шедшие на смену дневной дворцовой страже.

А когда Эхнатон оборотился лицом к его высочеству, то, казалось, впервые увидел своего соправителя. Улыбнулся ему. Обнял за талию. Подвел к стене, туда, где попрохладнее. И как ни в чем не бывало сказал:

– Послушай, брат мой, я написал новый гимн, посвященный Яти. Мне кажется, что он удался. Я прочитал его писцам. Им понравилось все, за исключением одного места…

– Какого?

– Это трудно объяснить. Для этого надо прочесть тебе весь гимн.

– Так прочти, Ахнаяти!

Фараон выглядел ослабшим, осунувшимся. Эта перемена в нем случилась буквально за несколько мгновений. «Все это – его болезнь, – подумал Семнех-ке-рэ. – Ахнаяти вдобавок ко всему изнуряет себя работой и заботами. Только минуло тридцать пять, а на вид – старик…»

Его величество принес свиток и сильным, вдруг окрепшим голосом стал читать гимн. «Надо отдать должное, – размышлял Семнех-ке-рэ, – читает фараон прекрасно. Слова просты. Такие же, как на рынке. И ничего – или почти ничего – от древних, запыленных текстов, многие из которых или непонятны, или просто смешны теперь».

Его величество с необычайной энергией внедрил язык земледельцев и простолюдинов даже в дипломатическую переписку. Даже ноты писались на этом языке. Поэтому каждое слово, написанное или сказанное фараоном, так понятно всем немху – небогатым людям, людям малоимущим.

Фараон дошел до спорного места и предупредил:

– Слушай внимательно. – И стал читать дальше.

Не ты ли позвал народы
Идти за тобою в путь далекий –
Народ Джахи и народ Та-Нетер,
Народ Вавилона и Митанни,
Арамейцев, шумеров, израильтян
И славный народ обширного Кеми?

И замолчал. Посмотрел исподлобья на соправителя.

Спросил:

– Ну, что?

– Ничего. Читай дальше.

– Тебя ничего не смущает?

– Смущает.

– Что?

– Смущает твоя ошибка. Она же у тебя не сегодняшняя. Ты давно решил ошибаться именно на этом самом месте.

– Ты имеешь в виду это самое перечисление?

– Да.

Фараон швырнул свиток на пол. Позеленел:

– Что скажешь ты еще?

– Ничего нового.

– А все-таки?

– Зачем гусей дразнить?

– Чтобы они гоготали.

– Нет, серьезно?

– Если серьезно, то я вовсе не дразню! Это слишком мелкое занятие. Недостойное мало-мальски мыслящего человека. А я разве глупый? Скажи, глупый?

– Нет. Совсем наоборот. Значит, все это ты делаешь нарочно?

– А может, по велению свыше?

– Не знаю.

– А ты узнай.

Семнех-ке-рэ настроен миролюбиво. Ему не хочется ссориться, пререкаться, браниться, взвинчивать себя и Ахнаяти…

– Послушай, брат, я не против того, чтобы ставил нас после всех народов. Пусть будет по-твоему.

Ахнаяти остановил его резким жестом:

– Не по-моему, а по справедливости. Между прочим, я, как это ни странно, может быть, отделяю эти два понятия: «по-моему» и «по справедливости». Если мы – народ великий на самом деле, то почему бы не проявить скромности! И не стать позади своих соседей? Почему бы, спрашиваю?

– Это унижает…

– Кого?

– Наш народ.

– Великий народ?

– Да, великий.

– Этого я, наверно, никогда не пойму! Великий народ обижается, потому что назвали его после шумеров? Или израильтян, которых горстка? На это обижается великий народ?

– Возможно…

– Дурак обидится, а великий – нет!

Семнех-ке-рэ в этом пункте не мог согласиться с Эхнатоном. Как ни говори, а все-таки нельзя ставить народ Кеми позади каких-то азиатов или эфиопов. Это обидит хоть кого! А главное – увеличивает число врагов фараона, коих и без того немало. Поход против Амона стоил очень дорого. Если и стерто имя божества в храмах, то оно все еще живет во многих сердцах. Тетива оказалась натянутой. Может быть, даже слишком. А тут еще и это самое – заигрывание с соседними народами. Неужели в этом нуждается могучее государство на Хапи?

В ответ на это фараон сказал следующее:

– Любое государство – большое или малое – нуждается прежде всего в справедливости. Что это значит? Справедливость по отношению к любой живой душе. Это – раз! И справедливое отношение к соседям. Это – два! Нарушение справедливости в первом случае вызывает смуту внутри страны. Так было, например, во времена Сехемхета. Он сместил многих семевов, уличенных в жестокостях. Этим смещениям предшествовали восстания – весьма кровопролитные. То есть смещения запаздывали. На несколько месяцев… Теперь о втором роде несправедливости. Походы Тутмоса Третьего в соседние государства не решили

по-настоящему ни одного вопроса. Враги остались врагами. Они не стали от нас дальше, несмотря на то что наши войска топтали их земли. Разве все это не должно наводить на размышления? Как думаешь, Семнех-ке-рэ?

– Наводить на размышления должно. Но очень важно, к каким выводам приходишь после размышлений.

– Верно… Каковы же твои выводы?

«…Есть ли смысл спорить? Упорство фараона общеизвестно. Особенно в этом вопросе. Вряд ли его переубедишь. Единственный путь – положиться на время, памятуя, что время – лечит, время подчас само приносит верные решения. На невидимых крыльях. Независимо от твоей воли…»

– Я слушаю тебя, – раздраженно произнес фараон.

Семнех-ке-рэ беспомощно развел руками.

– Понимаю: тебе нечего сказать, брат мой.

– Нет. Мне кажется, что не надо раздражать…

– Кого?

– Наших врагов. Знать. Жрецов Амона… Ты слишком прижал их своими могучими руками… Между тем и немху не очень благодарны тебе.

– Немху?! – вскричал фараон. – А эти чем недовольны?

– Все из-за того же Амона. Как ни говори, он у них в сердце.

– Ну, это их дело. Меня это не тревожит. Амон вычеркнут. Он стерт на стенах. Он изгнан из душ. Так пожелал его величество Яти. Он это приказал через меня!

Фараон сжал кулаки и оградил ими свою грудь, словно обороняясь. Семнех-ке-рэ почел за благо не выводить из себя фараона. Он склонил голову и прошептал:

– Да, благой бог, уста твои приказывают нам, исполняя волю лучезарного!

Фараон облегченно вздохнул. И бог благой соизволил сказать:

– Сегодня же люди увидят нечто в Окне явлений. Тебя вместе со мною!

Семнех-ке-рэ благоговейно склонил голову.

Вдруг фараон вздрогнул. Всем телом. Словно наступил на что-то скользкое, гадкое. Глаза его помутнели. Застыли, будто неживые.

– А впрочем… – произнес он глухо. – Впрочем, к чему торопливость?..

И он указал брату на дверь. Не просто. А властно!

Вечерняя новость

В окне луна. Нынче какая-то мутноватая. Дешевенькая игрушка из золота. Того самого золота, которого в Кеми якобы столько, сколько и пыли. А не проще ли сказать: луна, высеченная из камня, какого много в Великой Западной пустыне?..

Нефтеруф думает о своем. Ка-Нефер занята собственными мыслями. Они сидят в полумраке. На улице чьи-то шаги. Одни замирают, другие рождаются то слева, то справа. В жизни всегда так: что-то уходит и что-то приходит. Как эти самые шаги

«Где-то на расстоянии четверти сехена отсюда сидит самовластнейший фараон и, может быть, мнет в нежных пальцах соски этой самой Нафтиты… А я – в чужом доме и кусаю себе ногти. Кусая, выдумываю сто способов для того, чтобы уничтожить жестокого фараона, придумываю нечто, что могло бы поразить его в самое сердце во славу бога всех богов Амона-Ра…»

«…Вот уже ночь пришла, а я одна, совсем одна в этом доме, где покой да мужчина в образе мятущегося Нефтеруфа. Чудак, он не может взять себя в руки, не может приказать своему сердцу, чтобы оно билось поспокойнее. Не может остудить своих мозгов. Он дошел до такого состояния, что не ощущает близости молодой женщины. Нефтеруф совсем как зверь, которому кровь застлала глаза…»

«…Нет, я знаю, кто я и зачем пришел в это проклятое логово, именуемое Ахяти. Губы словно деревянные, и пальцы точно пальмовая кора. А ей нужны объятия нежные… Скорей

бы пришел этот Ахтой…»

«…Он видит больше того, что видит. Нет в глазах его мужской усталости. В нем сила похлеще той, которая буйствует в одичавшем быке. И объятия его достаточно горячие, если я хоть что-нибудь понимаю в любви. Я заметила его взгляд – сущие огненные стрелы. Под землею он стал сильным и неустанным. Но ненависть к фараону во сто крат сильнее любви… Во сто крат сильнее…»

Нефтеруф поворачивается к ней. Она сидит подальше от окна. Лунный свет падает на грудь ее и живот ее. У кого он видел такой живот? Да, у подростков, таких черных подростков в горах: у них были груди маленькие, как звездочки, и упругие животы, Упругие, как кожа на барабанах.

«…Разве не кончится этот вечер? Разве не явится молодой ваятель к своей жене? Сидеть вот так? Сложа руки? И не делать ничего? Только кипеть гневом к фараону? Не видя и не желая видеть это чудо природы в образе Ка-Нефер».

Он слушает шаги. Которые на улице.

– Шаги, – говорит он.

– Чьи шаги?

– Просто шаги.

– Разве ты боишься?

Он молчит. Слушает шаги. Которые на улице. Такие гулкие…

– Разве ты боишься, спрашиваю?

Нефтеруф говорит:

– Очень.

– Разве ты трус?

– Да. Я боюсь смерти в безделье…

Он слышит ее дыхание. За своей спиной. Она тоже боится смерти. Они оба ее страшатся. Но при чем здесь смерть? Мужчина должен видеть женщину. Пусть он думает о своем. Но он не может не видеть ее. Если перед ним женщина, а не камень…

Он очень умен. И очень хитер. Одновременно. Он видел женщин. Но ведь он видел и небо, и звезды, и воды Великой Зелени, и песок пустыни. Нефтеруф, словно крот, ползал на животе. Под землей. Во мраке. Разве он явился сюда ради женщины? Почему она так шуршит тонким платьем? Почему источает благовония Ретену из пышных волос и от розового тела?

– Ка-Нефер, – хрипло говорит он и косится на ее ноги и золотые ногти на пальцах ног.

– Слушаю, Нефтеруф.

– Много ли в Ахяти продажных девиц?

Она поражена:

– Девиц?!

– Да, тех самых, которые продают свои ласки за золото.

Ка-Нефер испускает легкий вздох. От огорчения или удивления…

«Он туп, как и любой настоящий мужчина. В те самые мгновения, когда требуется сорвать созревший плод**.** Это же удивительно, что большой и сильный Лев ищет окольных путей к газели, вместо того чтобы брать ее с разгона. С прыжка…»

– Ка-Нефер, я спрашиваю тебя о продажных женщинах, а ты молчишь.

– Разве об этом спрашивают?

Он поворачивается к ней. Вся луна от рожка до рожка у нее в зубах. Зубы сверкают почище любой луны.

«…Вот наступило мгновение, когда решается главное: или она будет помощницей в моих делах, или превратится в циновку, которой я буду пользоваться в отсутствие ее славного мужа?.. Вот стучится это мгновение в дверь сердца моего, и нет более силы, которое удержало бы его за порогом…»

«…Этот человек хочет вступить в единоборство с фараоном? Это неплохо. Но разве он ослеп под землею? Глаза у него ясные, как у птицы нехебт. И руки у него словно лапы у

льва. И бедра узкие и сильные – воистину мужские…»

Ка-Нефер говорит:

– Разве ты видел женщин, которые не продаются?

Что он слышит?! Какие слова произносит эта бесстыжая женщина! И почему так лукаво блестит луна на ее лице? Или это искушение, уготованное для него богами9

– Подумай, что ты говоришь, Ка-Нефер!

– Я подумала.

– Подумай еще раз.

– Подумала.

– И в третий раз! Об этом думают трижды.

То ли она смеется, то ли нарочно желает позлить его:

– Трижды поразмыслив, я повторяю: женщины все продажны!

– Постыдись своих слов, Ка-Нефер.

Вместо ответа она протягивает ноги и упирается ими в его левое бедро. Вместо ответа она закидывает голову и разбрасывает руки в стороны.

Нефтеруф бледнеет от гнева. Он сейчас, в это мгновение, оскорбит ее. Он отомстит за всех женщин, которые обвинены столь несправедливо.

– Хорошо, Ка-Нефер. – Нефтеруф переводит дыхание. – Пусть будет по-твоему. Сколько же стоишь ты сама?

Она отвечает, не глядя на него:

– Сколько дашь. Это дело твоей совести.

– Моей? – кричит он.

– А чьей же?

– Ты шутишь, Ка-Нефер!

Она сильнее упирается прохладными стопами в его горячее бедро.

– Ты шутишь, Ка-Нефер!

Она кладет ему ноги на живот. Она гладит его живот, снимая с себя легкое одеяние.

– Ты шутишь, Ка-Нефер!

Она шипит, как змея, уползающая под камень. И сильнее нажимает ногами на живот. И пониже живота.

«…Эти женщины как трава, они точно реки, текущие вниз по ложу своему. Они что листья на деревьях, набирающие сок и зелень от солнечных лучей. Они – самки, не умеющие сдержать свою похоть. Она придумала испытание для меня. Но как я могу любить, когда клятва на душе моей? Как могу обнимать ее, когда совсем близко дышит ненавистнейший из сущих!!»

Никто не может сказать, что было бы после. Пусть не хвастает, что он семи пядей во лбу, – никто никогда не определит дороги, которая не определилась сама в эти мгновения!

«…Это стучится сам Амон-Ра в крепкие ворота. Это он зовет Ка-Нефер, прося поскорее открыть дверь. Хвала тебе, божество, дающее знать о себе столь властно, столь непреклонно и упрямо!»

Она медленно поднялась, оправила одеяние и, не глядя на Нефтеруфа, пошла открывать дверь. Он слышал, как сходила она вниз по лестнице, пружиня ногами. Как случайно, зацепив ногою кувшин, повалила его. И он, должно быть, треснул. Почему она спускалась так бесконечно долго?

И когда поднялся Ахтой по той же самой лестнице, и когда поднялась она вслед за ним, гость сидел прямой и торжественный, глядя на луну и озаренный луной.

– Послушайте, – сказал Ахтой. Он уселся на циновку поудобней, отпил глоток пива. Потом еще глоток. И еще один.

Ка-Нефер отошла в глубину комнаты. Она как бы слилась с темнотой. И темень скрывала выражение ее лица.

«Наш гость слишком озабочен. Он глядит только вперед. И не замечает никого возле себя. Это несчастный человек. Малейшая неудача сведет его с ума. Нефтеруф способен

выдать себя с головой. В нем мало хитрости. И не понимает, как пригодилась бы ему женщина, решившая сделаться его наложницей…»

«Я был прав. Я был прав. Я прав тысячу раз! Нельзя размягчать свое сердце женскими ласками. Не для того я страдал и выжил под землей. И если я в гостях – не трону хозяйки дома, муж которой подает мне руку дружбы. Для утехи я найду продажных женщин. Они даже милей, ибо не требуют ничего, кроме золота. И сердце и душа твоя не нужны им… Я был прав… И вовремя появился Ахтой. Женщина всегда очень сильна. Тем более – Ка-Нефер. И я бы стал вроде ужа у нее на ладони. И она смеялась бы надо мной».

«…Наш гость молчалив. Он как бы ушел в себя, подобно змее, уползающей в нору. Он хотел бы, чтоб не видели его и не знали его мыслей. Удручен, весьма удручен уважаемый Нефтеруф… А хозяйка дома? А госпожа дома Ка-Нефер? Я прочитал в ее глазах нечто. Оно блеснуло, точно молния. Но я прочитал все, как на папирусе. Я постиг тайну очей. Господин Джехутимес учил вникать в тайну сердца, и я вникаю, точно маг и чародей…»

– Ты что-то хотел сообщить? – спрашивает Ка-Нефер откуда-то из глубины. Голос ее идет будто из погребальной камеры пустой пирамиды Хуфу.

– Ты сказал «послушайте», – подал голос Нефтеруф, – и мне показалось, что ты сообщишь нечто…

– Да, я хочу сообщить нечто. Если это была бы тайна, то хранил бы ее вечно и даже госпожа этого дома не узнала бы о ней. Но вы должны знать нашу столицу. Здесь столько языков, и все они без костей. Ахяти словно по заказу создан для болтунов, и нет предела слухам, обвивающим город, точно корни баобаба. Если промолчу я, все равно скажут другие. Если не сегодня, то завтра. Не завтра, так послезавтра.

Ка-Нефер молчала в отдалении. Ей не хотелось показываться на лунном свету. Ваятель, казалось, не придавал этому ровно никакого значения. Он, казалось, был занят своей новостью, которую и хотел и не хотел рассказать…

«Эта женщина погубит меня. А заодно мое дело. Она стоит в присутствии мужа как ни в чем не бывало. Словно бы чуть не свершилось прелюбодеяние на этом вот самом месте. Неужели же Шери ошибся – этот человек, в чей светлый разум и беспредельную прозорливость я верю?»

«Наш гость чем-то смущен или чем-то недоволен. Я немножко выпил с Джехутимесом и Тихотепом. Но не настолько пьян, чтобы не видеть того, что бы увидел даже ребенок-несмышленыш…»

– Что же это за новость, Ахтой? – нетерпеливо спросил Нефтеруф. – Мы с Ка-Нефер ждем не дождемся, когда ты сообщишь ее.

– Ничего хорошего, – буркнул Ахтой.

– Что-нибудь стряслось с Джехутимесом? – сказала Ка-Нефер. Голос ее был необычайно спокоен. В нем чувствовался холодок – неприятный попутчик равнодушия.

– Говорят, – загробным голосом продолжал Ахтой, – говорят, что…

Он умолк. Поглядел на Нефтеруфа, на жену. «Они, должно быть, крупно поспорили. А может, и поссорились. Ка-Нефер слишком остра на язык. И непримирима, когда чувствует свою правоту…»

– Говорят, что его величество не совсем в ладах с ее величеством Нафтитой.

– Это не новость, – сказала Ка-Нефер.

– Верно, не новость, – быстро согласился ваятель.

– Кийа все больше, говорят, завладевает фараоном…

– И это давно известно.

– Семнех-ке-рэ не будет соправителем.

– Это правда?

– Так говорят.

Нефтеруф резко повернулся к Ахтою. Луна светила ему прямо в затылок. Его лицо было чернильным, без единого светлого пятнышка. Даже глаз не видно. Ваятель видел лишь черный контур.

– Кто же будет соправителем? – спросил бывший каторжник.

– Кийа!

Ка-Нефер всплеснула руками, присела на циновку. Она соображала быстро-быстро: чем все это может обернуться? Кийа никогда не была предана Атону. Эта хитрая женщина только на словах за Атона. Ка-Нефер совершенно уверена, что Кийа возносит молитвы Амону…

– Ты так думаешь? – сказал Ахтой.

– Мне незачем думать. Это – так!

– Госпожа, – обратился к ней Нефтеруф, – не следует делать поспешных выводов. Если она и возносит молитвы Амону, то делает это в строгой тайне. Я так полагаю. Ибо если об этом проведает фараон, Кийе придется худо.

Ка-Нефер упрямо твердила свое:

– Она молится Амону.

– Тогда остается предположить… – Ахтой посмотрел на гостя.

Тот кивнул и закончил его мысль:

– …остается предположить, что они оба – за Амона. Я это говорю слишком грубо, как мясник на рынке. Но вы поймете: если он хотя бы чуть-чуть подозревает ее в добрых чувствах к Амону, значит, он уже против Атона. Или будет против! Помяните мое слово!

Нефтеруф говорил слишком горячо. И прямо. Он говорил то, что думал. Ахтой сказал:

– Я прошу больше не повторять этого! Великий Атон в нашем сердце. Дорога к Амону исчезла бесследно. Она поросла травой. Или лучше сказать – засыпана жгучими песками… Я сказал вам: Кийа будет соправительницей.

Ка-Нефер налила пива, которое походило на вавилонскую смолу – черную и тягучую – в голубоватых лунных лучах. А затем зажгла светильники: тот, что стоял в углу, и тот, что стоял в другом углу. И тот, который висел на потолке.

В комнате сразу посветлело, а лунные лучи отступили к подоконнику, а оттуда – на улицу, где время от времени раздавались резкие шаги прохожих.

Ахтой закрыл лицо руками. Будто собирался плакать.

– О великий Атон, – сказал он прерывающимся голосом, – не допусти несправедливости, не отстраняй несравненную Нафтиту от наиважнейших дел! – Потом отнял руки от лица и обратился к Нефтеруфу: – Господин, ты не можешь вообразить себе, что случится, если его величество поссорится с ее величеством.

– Не знаю, – сказал безразличным тоном гость.

– Скажи же ему, Ка-Нефер, что будет с Кеми, со всеми нами, если царица отойдет от дел!

Ка-Нефер сказала:

– Тогда на ее место вступит другая.

– На ее ложе?! – воскликнул ваятель.

– И на ложе, – проговорила Ка-Нефер.

Ее муж в недоумении всплеснул руками:

– Ты всегда завидовала ей. Но знай: ты – моложе, ты – красивей, а она – Нафтита! Спроси у Джехутимеса, что это значит!

«…Этот ваятель совершенно ошалел. Его жена, несомненно, умнее его. Во всяком случае, КаНефер ненавидит Нафтиту. Она ненавидит Атона и его сына-ублюдка по имени Ахнаяти. Нельзя допустить, чтобы эти супруги поссорились, нельзя, чтобы закрылись двери мастерской Джехутимеса для меня…»

И Нефтеруф сказал вслух следующее:

– Друзья мои, кои для меня бесценны, хотя и знаю вас очень мало. Вы оба молоды и красивы. Перед вами – дорога, ведущая к знатности. И если что-нибудь смыслят вавилонские

мудрецы, у которых я учился мудрости, вы непременно взойдете на большую Высоту. Вы будете любимы знатью Кеми и богами Кеми…

– Богом Кеми, – поправил его Ахтой.

– Пусть будет по-твоему: богом Кеми. Но вы должны быть вместе, и никакая царица, какова бы ни была участь ее, не должна омрачить вашей жизни.

– Неправда, – возразил Ахтой. Он стал мрачным и злым. – Неправда! Судьба царицы – это судьба Кеми. Нельзя ставить под сомнение ее положение. Это все равно что заподозрить Хапи в чем-то нехорошем, когда она несет нам жизнь! Я говорю откровенно: все ваятели и живописцы Кеми сложат свои головы во имя ее благополучия.

– Похвально, – сказал Нефтеруф.

Ка-Нефер молчала. Но ее дыхание слышали мужчины вполне явственно: это дышала львица, с трудом сдерживающая гнев свой.

Нефтеруф поднял чару с пивом. И произнес несколько слов, которые, по его мнению, должны были умерить страсти:

– Шумеры, перед тем как выпить вина, говорят: мир и дружба дому сему и всем, кто под его кровлей!

– Ей-богу, хорошо сказано. – Ахтой поднял высоко свою любимую чарку из прекрасно обожженной глины – такую розовую, такую тонкостенную.

Нефтеруф сказал хозяйке:

– Отпей, госпожа, по шумерскому обычаю из моей чары.

Она молча взяла ее и прильнула к ней губами, как изжаждавшийся путник в оазисе.

«Женщина – как трава, как дикий зверь, для которой превыше всего – жизнь, заключающаяся в любви ее…»

Так сказал себе Нефтеруф.

Когда споришь с самим собой

Нефтеруф лежал на циновке. Руки – под головой. Нос – кверху. Столица уснула. И даже звезды дремлют. Может быть, в целом свете не смыкает глаз один Нефтеруф. Да стража дворцовая. Эта наверняка тоже не спит.

За кирпичной стеною – Ахтой и Ка-Нефер. Они долго приглушенно разговаривают. Усталые. Намучившиеся в споре. В котором ни один из них не взял верх. Ни эта… Ни тот…

Судя по-всему, дело складывается к лучшему. Как говорят в Та-Нетер, капля плывет к капле, образовывая ручей. Ручей куда-нибудь да свернет. Он не будет течь по прямому, как рука, ложу. Во всяком случае, его и повернуть можно. И даже вспять. А с каплями, как ни странно, это труднее. Капель очень много. Как людей на земле. И сладить с ними трудно.

Там, под землею, Нефтеруф часто забирался в какой-нибудь дальний угол, словно крот. И вдали ото всех рассуждал наедине с самим собой. Словно бы перед ним не кто-то другой, а тот же Нефтеруф. Но умеющий сказать резкое слово поперек.

Вот и сейчас воображает себя сидящим у столика. А напротив – этот Нефтеруф. Тоже воображаемый.

– Давай допустим на мгновение, что сведения, которые принес Ахтой верные. Допустим, соправителем будет не Семнех-ке-рэ, а Кийа. Что это изменит? Пока фараон дышит – все останется неизменным. Вот в этом весь ужас: пока дышит!

– Не совсем так. Конечно, фараон-злодей может любого прижать к ногтю, как азиатскую вошь. На этот счет не надо заблуждаться. Это будет так, независимо от того, кто станет рядом с фараоном – Семнех-ке-рэ или Кийа. Но тебе, кажется, объяснили, что значит уход этой самой Нафтиты. Представь себе: муж клянется в вечной любви, слагает по этому поводу гимны и вдруг бросает любимую женщину. И не просто женщину, но царицу. Но бывает ли так – рассуди-ка сам! – чтобы у царицы не было ни одного единомышленника? Не проще ли предположить, что у нее во дворце своя партия, свои преданные люди? А ну-ка, прикинь, что все это значит.

– Не надо быть мудрецом, чтобы угадать, к чему это приведет.

– К чему же все-таки?

– К дворцовой междоусобице.

– Верно, друг Нефтеруф! Именно к дворцовой междоусобице. Но в это жестокое время, когда голос людей, голос Кеми, имеет столько же силы, что и лягушечье кваканье, – даже небольшая дворцовая интрига кое-что да значит. Поссорились царь и царица. Дуются друг на друга царедворцы. Возлюбленная всходит на трон или к подножью трона (скажем, Кийа). Одни огорчатся, другие – обрадуются. Придется фараону выбирать какую-нибудь сторону, причем решительно. Если не успел еще сделать своего выбора.

– Надо думать, что победу одержит фараон…

– Скорее всего так. Есть на Востоке страна. Там змеи танцуют под звуки камышовой дудки. В той земле даже нищие мудры. Уподобься одному из них – ибо и сам ты нищ – и рассуди, да похладнокровнее. Значит, так: победу одержал фараон…

– Допустим.

– Что делает Нафтита?

– Она удручена. Убита горем. Грызет от бессилия ногти.

– Не всё!

– Что же еще?

– Не все, говорю, сказал. Где же ее гнев? Где ее друзья – явные и тайные? Они молчат?

– Думаю, что да.

– Учти: до поры до времени. Они замкнутся, уйдут в себя, прикусят языки. Но только на время. Их час пробьет!

Звезды описывают неведомый путь, точно нарисованные на огромном блюде. Они прочно привязаны друг к другу. Их союз нерасторжим. И это медленное вращение небесного свода привлекает внимание обоих собеседников.

– Ты видишь – звезды! Они на небе горят вечно. Их свет будет виден вечно. Представь себе, что так же вечен был бы царский двор со всеми царедворцами…

– Даже не заикайся об этом.! Одна подобная мысль может помрачить человеческий разум!

– Верно говоришь, верно. Стало быть, двор не вечен. И фараонова жизнь имеет начало и конец.

– Имеет, имеет, к нашей радости!

– А раз это так, то не надо пренебрегать ни одной перестановкой в созвездии дворцовом. Кийа и Нафтита – пусть при этом же фараоне – не одно и то же! Непременно, непременно что-то изменится. Пусть незначительное, едва заметное, но изменится! И вот тогда решай, как быть. Сейчас Нафтита усердная помощница фараона в делах государственных. А какой будет Кийа?

– А что же делать мне? Сидеть сложа руки?

– Нет, нет, нет!

– Действовать?

– Да, да, да!

– Но прежде надо удостовериться…

– Наше счастье в том, что люди – миллионы людей – равнодушны к тому, что делается во дворце.

– Нет, они не равнодушны. Их просто никто ни о чем не спрашивает. Люди как скоты: работают, пьют, едят, спят, размножаются, умирают. Дворец для них недосягаем, а власть фараонова слишком сильна.

– И все-таки люди есть люди. Их слово есть слово. Даже тайные проклятья их страшны.

– Это так! Это так!

– Подумать надо…

– Обязательно!

– Посоветоваться…

– С кем?
– С Шери, например…
– А где он?
– Или с Ка-Нефер…
– Поговорим о Ка-Нефер!

Она там. За стеной. Со своим молодым и сильным мужем. Они, кажется, о чем-то все еще шепчутся. А может, целуются? Вот скрипит половица под их циновкой. Раздается легкий вздох. И кашель. Мужской кашель… Она говорит. Она что-то говорит. А он молчит. Только половица поскрипывает…

– Наверно, все-таки я дал маху…
– Это сегодня, что ли?
– Да, сегодня.
– Когда она протягивала свои ноги к твоим чреслам?
– Да.
– Ноги, которые пахли ароматичными маслами?
– Да.
– Которые ты отверг?
– Ты имеешь в виду ноги?
– Да, их…

Нефтеруфы молчат: и один и другой. Оба глядят друг на друга прямо в зрачки. И в глазах отражается все небо.

– Наверное, мне следует уйти отсюда. Нельзя, чтобы к важному делу примешивалась любовь.
– Взвесь все это.
– Она, возможно, добьется своего…
– Взвесь и это…
– А иначе сочтет меня за высохший камыш.
– Возможно.
– Но куда я уйду?
– Некуда тебе уходить…
– Может, поискать Шери?
– Лучше наберись терпения!

Какая-то странная, нескончаемая ночь. Как там, в горах. Мучительная ночь.

А день? Разве он будет лучше?

Ночь, ночь, ночь…

– Послушай, Пенту, ты, кажется, клюешь носом?
– Нет, я вовсе, не сплю. И спать не хочется. Я думаю.
– О чем же?
– Над твоими словами, твое величество.
– А-а… У меня не проходит эта боль в затылке.
– Выпей настоя, твое величество.
– Он – горький.
– Он – полезный. Его делают племена, которые очень далеко отсюда.
– Где же они?
– За землями хеттов, твое величество.
– Разве и там есть земли?
– Есть! Но дальше – холод и море.
– Так ты говоришь, Пенту, что этот настой помогает?
– Очень, твое величество.
– И его придумали далекие племена?

– Да, далекие и дикие.

– Как же дикие могут придумать такое лекарство, до которого не додумался сам ты, Пенту?

Его величество пьет горький настой из далеких трав и морщится. Хватается за грудь, точно его тошнит. И падает навзничь. На мягкие подушки. И простирает руки, точно молясь богу. Фараон любит, чтобы в его покоях ночью было светло, как днем. Поэтому и горят светильники. В каждом углу. В них налит рыбий жир, чистый, как янтарь, и фитиль плавает в нем льняной, приготовленный особым способом. Поэтому светильники почти не чадят, щедро одаривая стены и потолок ярким светом.

– Я все равно не усну, Пенту.

– Я тоже.

– Это из-за меня?

– Нет, из-за старости. Теперь я могу не спать. Но в двадцать лет меня трудно было растолкать даже троим.

– Так хотелось спать?

– Да, очень хотелось. Нельзя было разомкнуть век. Они слипались. Это случалось в двадцать лет. И в тридцать. А теперь я могу не спать.

– Ты просто добр, Пенту.

– Нет, твое величество. Мне хорошо с тобою.

Фараон приподнимается на локтях. Его грузный подбородок – такой немножко лошадиный – судорожно трясется. Это от боли в затылке.

– В таком случае, Пенту, я хочу задать тебе вопрос.

– Я слушаю, твое величество.

Фараон щурит глаза. Его острое, как нож, лицо готово рассечь собеседника:

– Отвечай мне прямо, без обиняков.

– Как всегда.

Фараон придвигается к Пенту все ближе, все ближе.

– Скажи мне, что ты думаешь о Кийе?

– О ней?

– Да!

– Я грущу, твое величество.

– О чем же?

Нет фараон нынче не в себе. Это же видно. Он очень раздражен. Как во все последние дни. Пенту думает: «Его надо щадить… Он строг. Но более всего он строг к себе. Сделать соправительницей Кийю – значит не пожалеть ни себя, ни царства своего. Когда достигнута гармония и весы государства – в равновесии, неразумно нарушать его без особой нужды. Но если вечная любовь к ее величеству угасла, то что же делать? Лгать себе, ей и всему государству? Делать вид, что ничего не случилось? Тогда одна эта ложь убьет правду вообще, которая еще пригодится».

Пенту взывает к мудрости, которая, дескать, должна торжествовать. Дело в том, дескать, что такое великое государство, как Кеми, не должно, дескать, обходиться без мудрости. Ни единого часа без мудрости! Это золотое правило. Его надо беречь. Его надо придерживаться…

– Я это слышал уже.

Пенту пропускает эти слова мимо ушей. Такое прощается только и только ему. Все прочие за подобные вещи жестоко расплачиваются.

– Мудрость, твое величество, составляла – причем почти всегда – основу нашего государства, со времен его величества Нармера…

– Как ты медленно и длинно говоришь.

– Стало быть, мудрость не должна покидать тебя. Ни на одно мгновение. Разве так необходимо к одним неприятностям добавлять новые?

– Что ты имеешь в виду?

– Положение на наших границах хотя бы. Хетты говорят: «В одном котле можно сварить одну похлебку, а не две сразу».

– А что, если вылить эту похлебку?

– Куда вылить? – опешил Пенту.

– Хотя бы тебе на голову!

Старик прикрыл глаза. Покорно сложил руки на груди. Фараон перевернулся на живот. Взял обеими руками голову и крепко стиснул ее.

– Теперь болит чуть-чуть, – сказал он.

– Твое величество, хочешь – сердись, хочешь – не сердись, но я выскажу нечто. Я призываю а свидетели эти звезды: говорю правду для твоего же блага!

Фараон проворчал:

– Мое благо – это благо Кеми.

– Верно сказано! Хорошо сказано! – Пенту потирал от удовольствия руки (ужасная привычка, перенятая у азиатов).

– Перестан шуршать ладонями! – Фараон не глядит на Пенту. Сердито хмурит брови.

– Твое величество, я перестал шуршать.

– А теперь – продолжай.

– Я сказал, что говорю правду для твоего же блага. Разве нельзя иметь наложницу, не отстраняя от еебя ее величество?

– Кийа не наложница!

– Можно и любить ее большой любовью. Разве во дворце нет для этого места?

– Любить тайком?

– Почему – тайком? Почему выбирать такие выражения? Любить скромнее. Не выносить свою любовь на всеобщее обозрение.

– Это же оскорбительно!

– Для кого?

– Для Кийи! Любви не надо стыдиться! Это мое правило!

Пенту снова за свое:

– Разве не было у тебя наложниц?

– Но я их не любил.

– И теперь не будешь любить…

– Кого?

– Одну из двух.

Фараон потер лоб. Приложил прохладную чашу к бритому затылку. Холодная глина – точно мед на сердце. Голова почти прошла. Чуть-чуть ноет затылок. Чуть-чуть… Это очень странно: прохлада на затылке, а сердцу приятно…

– Ничего странного, – поясняет Пенту, – все внутренности человеческие соединены меж собою подобно каналам на нашей земле. Вода течет из Хапи в каналы. Во время разлива. Из одного канала можно попасть в другой. Сердце и голова образуют нечто единое. Поэтому не надо возбуждать ни мозга, ни сердца. Ибо возбуждается все вместе. Почти одновременно. Холодок на затылке целебен для сердца. И наоборот.

– Да, это так, Пенту.

– Вернемся, однако же, к нашему разговору. Любовь для фараона, столь великого, как ты, – это его дела. Он вкладывает в них все сердце и весь разум, и ни для кого больше не остается любви…

Фараон покачал головой. Он смотрел на звезды и покачивал головой.

– Пенту, я не могу жить без любви.

Старик этого не понимал. Он не мог уразуметь этого даже во дни своей молодости.

– Государственная власть на то и создана богом, чтобы умерять всплески любви, – сказал Пенту. – Я говорю: всплески. Понял мою мысль, твое величество? Значит, так, каждый любовный порыв, если он выходит за рамки…

– Что значит за рамки, Пенту?

– Если любовь необычайна…

– Разве это плохо?

– Необычайная любовь?

– Да.

– Необычайная – значит, что-то от безумия, – продолжал советник фараона, совершенно убежденный в своей правоте. – А всякое безумие есть предмет заботы государственной власти.

– Как диковинно говоришь! – поморщился фараон. – Предмет государственной заботы! Таких слов не понимаю! Я же просил изъясняться попроще. Забудь ты эти пыльные папирусы. Говори человеческим языком. Тебе приходилось бывать на рынках?

– Где? Где?

– На рынках.

– А зачем? – изумился Пенту. Он снял парик и вытер потную голову.

– Затем хотя бы, чтоб научиться тамошнему говору.

Пенту захохотал.

– Вот так и говорят, – сказал он сквозь хохот.

– Как именно?

– «Хотя бы, чтоб… тамошнему»… Где же красота нашей речи? Такой плавной, чеканной речи?

– Речи времен Снофру? Или Джосера? Или Хуфу?

– Хотя бы! Хотя бы! – вскричал придворный, немножко поуспокоившись после смеха.

– Нет, Пенту, та речь умерла! Только тебе прощаю эти нарушения. Любой другой слуга получил бы десять палочных ударов.

– А я не боюсь, твое величество.

– Ладно, будет. Я не хочу ссориться нынче ночью.

У фараона совсем прошла головная боль. Она начиналась обычно неожиданно. И так же быстро проходила. Иногда и без помощи настоя. Что же это за болезнь? И что бы ни дал фараон, чтобы только избавили от нее!.. Он подумал немного и сказал себе: «Я бы не отдал Кийю. Пусть лучше болит голова. Я стерплю боль. Мне обещают снадобья из Та-Нетер. Посланы гонцы на остров Иси. Нет, уж лучше эта головная боль, но только б не без Кийи! Она – жизнь моя».

«…Весь этот разговор о любви его величество затеял с одной-единственной целью: заручиться моим согласием на объявление соправительницей Кийи. А зачем мое согласие? Разве он посчитается, если скажу „нет“? Все равно сделает то, что задумал! Но мое согласие ему нужно для того, чтобы однажды, проснувшись ночью, сказать себе: „Даже сухой Пенту и тот одобрил мои действия“.

«…Что все-таки думает этот старик? Неужели он уверен, что я домогаюсь его согласия? Дудки! Сказано – сделано! Все земли вселенной – если даже сговорятся против меня, – и те не переубедят! Только негодяй может принести свою любовь в угоду делу…»

– Давай продолжим разговор о любви, – сказал фараон, перекатываясь на левый бок и глядя на старого царедворца из-за плеча.

– А твое величество спать не предполагает?

– Какой сон! Ты видишь, его нет ни в одном глазу! – Его величество протянул руку к медному зеркалу и посмотрел в него. – Словно бы только что проснулся после крепкого сна.

– Да, это верно, твое величество. Ты словно птичка, только что выпорхнувшая из гнезда.

– Так давай же про любовь!

– Как верноподданный твоего величества, как служащий твой, недостойный тебя, я могу лишь выразить мое неудовольствие по поводу всякой любви, которая может смутить хотя бы еще несколько человек в государстве. Ибо не бывает так, что двое любят друг друга или расходятся друг с другом и это никого не касается. А если касается, значит, власть должна иметь свое суждение. Я не могу думать иначе. В противном случае ты мне откажешь

в своей милости.

Его величество не ответил. Он смотрел на потолок, где летали болотные птицы – невысоко в небе, – и в эти мгновения завидовал им. «Им не надо ничьего разрешения на любовь. Не надо знать ничьего мнения по поводу своих подруг». Он покосился на Пенту. Тот сидел ровный, точно юноша. А глаза – тяжелые. И не мудрено: ведь скоро утро! Небо бледнеет за Восточным хребтом…

– Ну что ж, – задумчиво проговорил его величество, – я понял тебя. Я хорошо понял тебя. Дай бог, чтобы все тебя понимали вот так же. И дай бог, чтобы ты не пережил меня!

Старик вздрогнул. Слова фараона прозвучали зловеще в этой комнате, освещенной яркими светильниками, в этой комнате – средоточии вселенной, где каждое слово его величества по весу равно одной – самой большой – глыбе пирамиды Хуфу. Пенту почувствовал, как взмок у него парик.

– Я стар, чтобы пережить тебя, твое величество.

– Я говорю: не дай бог, чтобы пережил.

– Как это понимать? – чуть не возопил старик, учуяв какой-то нехороший смысл в словах фараона.

Но его величество успокоил его:

– Я хочу сказать, что после меня – случись со мной худое – на тебя разом ополчится столько людей, что даже и не счесть.

Пенту свободно вздохнул:

– Я не боюсь их, твое величество.

– Их надо бояться страхом азиатского зайца.

– Не боюсь ни их, ни угроз их!

– Ты слишком самоуверен, Пенту.

Фараон неожиданно признался, что голоден. Пенту отметил это как добрый знак: желание поесть – всегда свидетельство здоровья. Его величество хлопнул в ладоши. Всего один сухой треск…

Дверь отворилась. На пороге появился кто-то, кого не видел Пенту. Фараон молчал. Его светлость Пенту приказал, не поворачивая головы:

– Фруктов и пива… Не надо пива! Фруктов и вина! – И, обратившись к его величеству, сказал: – Я бы не отяжелял желудок грубой едой. И даже легкой. Фрукты утолят голод, а вино приведет в равновесие твои чувства.

Фараон сказал, словно и не расслышал слов Пенту:

– Ее величество переедет в Северный дворец. Не завтра. Не очень скоро. А ты, Пенту, объявишь о вступлении в свои права моего соправителя.

– Когда, твое величество?

– Когда? Это надо обдумать. Не завтра, разумеется. И не послезавтра. Но дело это решенное.

Пенту задал самый тяжелый для себя вопрос. Фараон ждал его.

– Твое величество, а знает ли об этом ее величество, мать твоих детей?

«…Эти утки летают в поднебесье как ни в чем не бывало. Разве вот тот селезень обязан отчитываться перед ними, с кем он разделит этой весной свое сухое ложе?..»

– … Знает ли она?

«Летает себе, поглядывает на нее и дышит полной грудью, которая вся в пуху…»

– Она? – рассеянно спросил фараон.

– Да, она.

– Она узнает… От тебя… Ты это объяснишь ей как нельзя лучше…

Принесли фрукты – свежий виноград, гранат, сушеные плоды сикоморы. В золотом сосуде вино – «Прекрасное дома Атона». Оно словно кровь, точно агат на перстне

фараоновом.

Его величество выпил вина. А к фруктам не притрагивался. Он выпил еще. Повеселел. Глаза его расширились. И фараон приказал пить своему советнику. А потом сказал:

– Пенту, не хотелось бы тебе приятной музыки?

Старик не успел и рта раскрыть, а уж фараон распорядился о том, чтобы музыканты прибыли незамедлительно.

– Пенту, – сказал его величество, – мне хочется веселья. Ведь так редко веселюсь в последнее время! Не так ли?

– Дом Атона стал сумрачным, твое величество.

Они выпили еще. И прикоснулись к винограду. И к плодам сикоморы тоже.

Фараон присел. Высоко поднял чашу, которая из золота.

– Пенту, я должен подкрепиться, ибо скоро дела призовут меня в тронный зал.

И фараон кивнул на бледнеющий восток.

– Ты совсем еще молод, – сказал Пенту, отпивая вино большими глотками. – Совсем молод. Разве тридцать пять – это много? И все-таки гляжу на тебя и дивлюсь: откуда столько силы в твоих жилах?

Вдруг фараон помрачнел. Нос его заострился. А глаза поблекли, точно на месте их появилась вода.

Фараон, проскрежетал:

– Силы дает мне отец мой – великий Атон…

Тяжелые челюсти его шевелились едва заметно. Но шевелились. И это было страшнее всего. Фараон смотрел на царедворца и не видел его. Что-то желтое и тяжелое вставало перед глазами. Точно угасало зрение. Что же это такое?.. Может, прикрыть веки? Вот так, пальцами. Как прикрывают глаза мертвым…

«…Что это с ним? От гнева побледнел. Веки опустились, точно крышки тяжелых ларей. Сейчас самое время глотнуть настоя. Это быстро остудит огонь, согревающий затылочную кость изнутри…»

Пенту бросился к его величеству, поддержал голову и подал ему сосуд с настоем.

– Пей, – попросил он, – пей… Это пройдет.

Фараон отпил, облизнул большие мясистые губы и глубоко вздохнул.

– Я было рассердился на тебя, Пенту. Садись. Гнев мой недолог. Ибо ты – в сердце моем! А глаза застлало мне что-то очень желтое. Наподобие полевых цветов, которых много на берегах Хапи…

К его величеству вернулся обычный цвет лица. Широко открыл глаза и улыбнулся:

– Где же музыканты, Пенту?

– Они ждут твоего приказа.

– Пусть войдут.

Четыре певца вползли на животах, не смея взглянуть на благого бога. Они проползли в угол. Встали на ноги – полусогбенные. Скрестивши руки на груди. Это были мужчины среднего возраста. Крепкие. Склонные к полноте. В одинаковых париках. В одинаковых коротких одеяниях.

Вот снова приоткрылась дверь, и четверо музыкантов показались на пороге: коленопреклоненные, не смея поднять глаза на его величество правителя Верхнего и Нижнего Кеми. Так и прошли в угол – коленопреклоненные. И там застыли. Спиною к певцам, упершись подбородками себе в грудь.

Слева стояли арфисты – с большой двадцатиструнной и малой семиструнной арфами. Рядом с ними – большая и малая флейты. И музыканты тоже в одинаковых одеяниях. Только певцы – в розовых, а музыканты – в белых. А парики у всех как на подбор: не отличишь друг от друга…

– Пенту, – сказал фараон, пробуя от тяжелой виноградной грозди, – музыканты и певцы, когда они готовы исполнить свою обязанность, должны смотреть вперед – гордо, весело улыбаясь.

– Я им это говорил сто раз! – рассердился Пенту и, оборотившись к музыкантам, проворчал: – Что я твержу вам без конца? Не стойте словно каменные! Вы несете радость и наслаждение, так где же на ваших лицах эта радость и обещание усладить слух ваших слушателей?

Пенту говорил словами его величества. Что касается его самого – он давно бы прогнал прочь этих жиреющих бездельников. К чему они? Чтобы петь большую часть суток для собственного удовольствия?

«Он ненавидит их. Этот Пенту. Я не понимаю, почему он так ненавидит? А ведь, казалось бы, человек умный…»

«Я бы этих дармоедов заставил работать на поле – растили бы хлеб! Так же как ваятелей и живописцев, окружающих толпой его величество. Каждый кусочек золота так нужен – позарез нужен! – для оплаты доблести воинов и труда чиновников, а тут какие-то шалопаи набивают себе желудки отборной пищей, заваливают город каменными глыбами и оглушают дворец звуками флейт и арф…»

«…Этот Пенту ненавидит музыку всей душой. Очень трудно его понять. Невозможно понять! Неужели он полагает, что Кеми – великое царство вселенной – может обойтись без песен и живописи, без гимнов и каменных изваяний?»

Фараон спросил с усмешкой:

– Пенту, скажи мне: откуда такая ненависть ко всему изящному?

– Ненависть? – удивился царедворец, а сам подумал: «Он читает мои мысли, как в книге письмена! Он бог! Он бог! Великий и неповторимый бог!..»

– Не ври мне, Пенту. Я вижу все!

Старик аж вспотел:

– Я говорю истинную правду, твое величество.

Фараон махнул рукой, – дескать, ладно, будет тебе. Растянулся на циновке, подперев голову руками. И внимательно пригляделся к музыкантам и певцам.

– Гимн нашему отцу Атону! – приказал он.

Арфисты ударили по струнам. Флейты запели протяжно и нежно. Певцы загудели, точно перед каждым из них стоял пустой глиняный сосуд, отдававший эхом.

«…Где услышит этот Пенту нечто подобное? Неужели у хеттов? Или вавилонян? Или у шумеров? Только великий Кеми способен создать нечто подобное из струн и человеческих голосов да воздуха… Воистину велика страна, родившая таких музыкантов-сочинителей, как Ача, Рамеринта, Снофрунофру…»

А между тем занималась заря. Зубцы Восточного хребта почернели. Они стали подобием огромных углей, которые остаются в очаге. Это верный знак того, что вот-вот покажется Атон – животворный и солнцеликий. Он пошлет первые лучи своему сыну – благому богу, пребывающему в Ахяти.

«…Воистину блаженно мое царство, ибо оно озарено пламенем отца нашего, а дворец мой утопает в сладчайших звуках гимна, которого не знала вселенная…»

Арфа. Флейта. Большая арфа. Большая флейта…

И голоса!

Великие голоса великого Кеми!

– Вина! – вскричал его величество.

И он пил вино, угодное Атону. Он слушал гимн, сложенный в честь Атона.

Пенту рад. Пенту очень доволен. Царедворец всегда рад, когда хорошо его величеству. Это высшая награда для Пенту…

В трущобах

С наступлением сумерек Тахура направился на поиски парасхита. Шел медленно. Маленькими и грязными улочками. Ему не хотелось, чтобы на него удивленно глазели. Азиатская борода и без того выдавала его инородное происхождение. Он направлялся на

восток от Хапи, туда, к скалам – голым и серым, где строился новый некрополь. Он хорошо понял парасхита: надо найти домик, который на самом краю города, если идти по Дороге мертвых.

Горожане сновали от двора ко двору. Мужчины, женщины, старики и дети. Все, казалось, были заняты какими-то неотложными делами. Точно муравьи в муравейнике. И сказать по правде, мало кто обращал внимание на азиатского купца: столица жила большой и сложной жизнью, иноземцы были здесь не в диковину. Совсем не в диковину!

Тахура отдавал должное этой столице, выстроенной за каких-нибудь три года. И где выстроенной? На дикой пустыне, где камень и песок царствовали от сотворения мира.

«…Ведь надо же вот так: выкопать ямы, привезти плодородной земли, насыпать ее в каждую яму и посадить в каждую яму по дереву, по цветку. По одной травинке, считая ее на счет, точно золото. Пожалуй, именно это и следует полагать первейшим чудом Ахя-ти, а не дворцы, и храмы, и дома. Хотя и дворцы, и храмы, и дома достойны удивления и всяческого подражания. Пусть Ниневия все еще мала, но рост ее заметен год от года! Хорошо бы, чтоб Ниневия могла поспорить с Ахяти – городом, возникшим, как мираж перед изумленным путником пустыни…»

В этой части города, по которой шагал Тахура, разумеется, нет той красоты, и стройности, и чистоты, бросающейся в глаза в сердце Ахяти и недалеко от сердца. Здесь живут пекари и сапожники, гончары и кузнецы, каменщики и ремесленники, ткущие нежные ткани из льна. Здесь и деревья пониже – хилые, желтоватые от недостатка воды, ибо поливальщики не так усердны, как там, ближе к берегам Хапи, где сиянье дворцовых камней и тенистые сады вельмож.

Тахура шел, шел, шел: прямо, влево, прямо, влево. Прямо, вправо. Опять прямо. Улочки похожи друг на дружку. По обеим сторонам нагромождены домики, малюсенькие лачуги и просто собачьи конуры, в которых – люди, голоса людей и плач детей. Вот, кажется, подует ветерок и разлетятся все эти постройки. А эти отвратительные кирпичи-сырцы! Они хорошо защищают от зноя, но их, плохо месили за недостатком времени. Песок, который примешан к ним, из рук вон плохо просеян. И вода, сцементировавшая глину и песок, была вонючей, гнилостной жидкостью. Опять же за недостатком времени и сил. И время и силы копились и расходовались только по приказу зодчих, строивших Ахяти. А им было не до лачуг.

Было знойно. Небо горело. Оно походило на синюю жаровню, которую согрели на огне. Да так согрели, что на ней можно рыбу жарить. Удивительно, как это сохранился его яркий цвет, как не вылинял!

Тахура запыхтел. Нести тучное тело сквозь горячий воздух не так-то просто. Может, было бы не худо дождаться вечера? Как-никак попрохладнее будет…

Неожиданно внимание купца привлекли поначалу негромкие крики. Они раздавались впереди, шагах в пятидесяти. И усиливались настолько, что купец почел за благоразумие несколько попридержать шаг.

Кто-то бранился и буянил. Его пытались успокоить. Горластый скандалист, видимо, не очень-то выбирал слова. Сказать по правде, Тахуре не часто приходилось слышать речи разгневанных жителей новой столицы. Здесь особенно не разгуляешься: у столичного семера чуткое ухо, око – всевидящее.

Пока купец раздумывал, куда бы это нырнуть, чтобы убраться подальше от скандала, из ворот вылетел молодой человек. Из носу текла кровь. Лоб его был рассечен, точно ножом. Его вид мог напугать хоть кого: здоровенный, мускулистый, бритоголовый, почти как все в этой стране, молодой человек, доведенный до исступления!

Приметив купца, молодой человек прислонился к глинобитной ограде, чуточку отдышался и высморкался кровью.

– Помоги мне, – сказал он, скрежеща зубами, как волк, пожирающий костлявую овцу.

Со двора выбежали несколько мужчин. Они разговаривали между собою очень громко и не очень понятно. Тахура догадался, что перед ним – подвыпившие люди. Один из них

обратился к тому, что стоял у стены, с довольно-таки миролюбивым предложением:

– Пепи, пойдем, полежим на циновке!

Однако Пепи продолжал сморкаться и плеваться кровью. Тахура волей-неволей оказался совсем рядышком с подвыпившими драчунами.

– Господин, – сказал Пепи, обращаясь к Тахуре, – я не хочу… Никуда не хочу!

– Помолчи, Пепи! – приказали ему.

– Нет, – надрывно выкрикнул Пепи. – Я не стану молчать!

Он отошел от стены и зашатался. Разумеется, и Пепи был пьян.

Высокий, стройный человек – возрастом старше средних лет – подошел к Тахуре. Это был кареглазый, смуглый человек. Но по сравнению с цветом кожи глаза его казались светлыми.

– Н-не из-з-воль бес-покоиться, гос-го-гос-по-дин! – Это был самый неподдельный заика. – Мы – все… все… все… свои люди. Пепи над-над-над-ле-жит ехать на границу с хеттами. А там… А там… А там…

Заика бил ногою землю, размахивал рукой, но никак не мог, что называется, сдвинуться с места. Купец терпеливо ждал, чтобы узнать, где это «а там»…

– А там – война! – пропел заика. – Пе-пе-пи не хочет ех-ех-ех…

– Ехать, – подсказал купец.

– Ех-ех-ехать, – упорно продолжал заика. И вдруг – скороговоркой: – Он привел жену месяц тому назад… Разве это к лицу – так убиваться? Ты должен идти с мечом и щитом против азиатов. А раз должен – иди!

Чужеземцу не следовало совать нос в эти дела. Тахура раздумывал, как бы это улизнуть поскорее от греха подальше.

– Так он – новобранец? – из приличия спросил Тахура.

– Да, ново-ново-ново-бранец. Он неплохой па-па-па-рень. Он не ви-ви-ви-новат: выпил… выпил с горя, а ведь Пепи никогда не пил лишку…

Пепи проговорил плачущим голосом:

– Уж лучше бы я пил! Лучше бы умер от какой-нибудь страшной хворобы… Господин, какая самая страшная болезнь на свете?

Тахура ответил:

– Самая скверная хвороба, пожалуй, проказа. Но зачем тебе она?

– Как зачем? – воскликнул Пепи, рыдая. – Я хочу заболеть ею. И сидеть дома!

– Чу-чу-чу-дак! – сказал заика. – Тебя же из-из-из-из-гонят, и ты будешь, будешь, бу-бу-дешь жить в Зап-зап-зап-адной пустыне…

– Ну и пусть!

– Будешь со-о-о-о-сать камни и же-е-е-е-е-вать су-хие ко-о-о-о-о-лючки…

– И очень хорошо!

Те остальные, квтарые стояли позади заики, возмутились. Что это болтает Пепи? Его надо силой затащить во двор!

– Никуда я не пойду! – твердил Пепи. – Где бы раздобыть эту самую проказу? Скажи мне, господин.

– Господин, не связывайся с ним…

– У него разбит нос.

– Он упал с крыльца…

– Его надо умыть.

– Ты видишь, как он упрям?!

– Пепи, послушайся их…

– Я ненавижу весь мир! И всех вас!

– Пепи, они желают тебе добра, – сказал купец.

– Они трусы – вот кто они! А я не желаю идти умирать. Пропади пропадом все азиаты от мала до велика! Сдались они мне! Что мне – плохо в Ахяти? Что мне – надоела Нефернаи? Зачем мне убегать от нее? – Пепи приблизил к купцу свое лицо, и купец разглядел

прекрасные черты под кровью и пылью. – Я хочу проказы! Я это говорю от всего сердца!

– Ты очень пьян, Пепи!

Его друзья приблизились к нему.

– Уйдите! – завизжал Пепи, пятясь спиною к стене. – Я буду бить! Уйдите, говорю вам добром!

«Это удивительно, – подумал Тахура. – И в великом Кеми народ как народ. Такой же, как в Вавилоне. Как в Ассирии. Неужели здесь, на берегах Хапи, появились люди, которые могут ослушаться фараонова приказа?.. А впрочем, что я говорю? Разве мало было возмущений в Кеми? Разве мало летело благородных голов с плеч на пыльную землю?.. Вот он, Пепи, не желающий ни воевать, ни служить в войсках! Но много ли таких? – вот в чем загвоздка!..»

– Он шагнул с крыльца, – сказал долговязый (остальные молча стали у ворот). – Он шагнул, а пиво ударило ему в голову…

– Так много он выпил?

– Пепи пил вино. Потом пиво. Потом вино. Потом пиво.

Пепи рычанием подтвердил, что все это было именно так. Он лишь добавил, что пива пил немного. Потому что пиво дрянное. Другое дело – вино!

Один из тех, кто стоял поодаль, – такой квадратный, крестьянского вида мужчина, – сказал:

– Господин, это мое вино. Я привез его, чтобы проводить Пепи. Кто знает, что он будет пить у проклятых хеттов?!

Тахура не без тайного злорадства успокоил его:

– Там тоже родится хорошее вино.

– У меня оно особенное.

– Не спорю. В Азии бывают вина светлые, как ранний рассвет, и красные, как вечерняя заря.

Пепи насторожился. Его родственники странно переглянулись.

– Это в Азии такие вина? – спросил долговязый, не скрывая недоумения.

Остальные повторили в один голос:

– В Азии? Такие вина?

Пепи был страшен: кровь запеклась на его лице. Она багровела – грязная, местами удивительно чистая. Он, казалось, позабыл о своем горе…

– Ты сказал – в Азии? – шатаясь, проговорил он. – В Азии? Я скажу тебе, что есть в Азии. Хочешь, скажу?

– Скажи!

– В Азии… – Пьяный попытался улыбнуться. Губы его скривились. Руки сжались в кулаки. – В Азии много вшей… Много грязи… Откуда вино в Азии?

Тахура решил, что благоразумнее всего согласиться с пьяным. Кивком головы подтвердил, что в Азии только вши и грязь. А больше – ничего!..

– Господин, – сказал долговязый, поняв, что имеет дело с азиатом, притом не с простым, судя по пышным одеждам, – господин, ты не слушай его! Ты же знаешь, что пьяный – точно бешеный. У пьяного голова не варит. Пьяный болтает все что угодно!

Пепи спокойно выслушал эти слова. Потом присел на корточки у стгны и горько заплакал. Он рыдал, спрятав лицо в огромные ладони. Эти руки принесли бы много горя врагам, если бы попали в Азию вместе с Пепи.

Долговязому стало стыдно за своего родственника (возможно, за брата). Он подошел к Пепи и тронул его плечо. Пьяный продолжал горько рыдать. Весь содрогался, точно его трясли за ноги и за руки…

– Пепи, перестань! На тебя же смотрит господин. Очень дивится твоему поведению.

Остальные тоже подошли к Пепи. Наклонились над ним.

Тахура сказал себе: «Вот тот самый миг, когда ты должен унести свои ноги…»

Он так и поступил. Прибавил шагу и вскоре скрылся за углом. Отдышавшись, купец

приосанился и спокойно, не торопясь пошел своей дорогой. Случай с пьяным Пепи поразил купца. Конечно, любителей пожить в мире и радостях немало на белом свете. В этом отношении Кеми, по-видимому, не очень-то отличается от других государств. Но вообразить нечто подобное в самой столице? Под боком у фараона, уши которого достигают окраины вселенной, а глаза которого видят под толщей воды и под землею?..

В семейном кругу

– Ушел, – сказал долговязый. – Он повернул за угол.

– С-с-с-с… – просвистел заика. – С-самое время нам убираться отс-отс-отсюда!

Мужчины взяли под руки плачущего Пепи и повели во двор. И заперли за собою ворота.

С крыльца спустилась пожилая женщина. Худая и грустная. Ровная и скорбная. В черной льняной накидке. Она была одета бедно. Но она была горда. Невольно внушала к себе уважение. Такая не старая еще, но много пережившая.

– Усер, – сказала она заике, – что вы делали на улице?

– У-у-у… – загудел заика.

– Понимаю: уговаривали.

– У-у-у… – продолжал заика.

– Помолчи, Усер. Я поняла! Но зачем это надо было на улице? На виду у всех?! Кто это с вами разговаривал?

– Какой… какой-то гос-гос-господин.

Долговязый пояснил:

– Должно быть, азиат. Притом богатый.

– Нет, я не понимаю вас, Ани, – продолжала женщина. Она повернулась к двум другим, помоложе, которые стояли за ее спиною. – Неужели ссору надо выносить на улицу?

Женщины отрицательно покачали головами.

– Не надо, – согласился Ани (который долговязый).

– Так почему же вас понесло за ворота?

– Это Пепи удрал от нас…

Пепи стоял посредине небольшого дворика, в окружении близких. Он присмирел. Перестал плакать.

Пожилая женщина – ее звали Та-Неферт – продолжала взывать к благоразумию:

– Пепи вовсе не маленький. Если ему надо выплакаться, подобно женщине, – пусть он это делает дома. А вам, – она обвела укоризненным взглядом остальных мужчин, – вам не следовало заводить на улице ненужные разговоры. Да еще неизвестно с кем!

У сер пытался оправдаться:

– Я и А-а-а-а-ни… И Ма-а-а-а-ниатон…

Мааниатон – тот самый, квадратный, крестьянского вида – перебил его:

– Дорогая Та-Неферт, твой младший сын вел себя очень странно…

– Не надо было пить, – сказала Та-Неферт. Те – две женщины – дружно кивнули.

– А мы и не пили…

– От вас несет винным духом, как из лавки.

– Верно, – сказал Усер, – мы немножко выпили,

– Вы потеряли голову! Посмотрите вокруг: в какое мы живем время?

Мужчины дружно молчали.

– Ну, в какое мы живем время? Нас никто из посторонних не слышит – говорите же смело!

– В проклятое живем время, – промычал Ани.

– Это сказано мягко! – заметил Мааниатон.

– Ну вот, это вы понимаете! – Та-Неферт вздохнула. – И Пепи обязан понимать!

Пепи молча посапывал.

– Человек в наше время ценится не дороже сырого кирпича…

– Это верно…

– Сдохла кошка. Ей почет! Ее богатые хозяева волокут к парасхиту. Ее мумию торжественно хоронят. А нас? Кто похоронит нас?

Та-Неферт говорила тихо. Неторопливо. Вразумительно. И немного жестоко. Без жалости. К себе. И всем остальным, кто находился во дворе.

Пепи, казалось, осознал свой проступок. Казалось, про себя сетовал на свою неумеренность и горячность. А может быть, давал в душе обет в том, что впредь будет благоразумнее?..

Мужчины чувствовали свою вину. Это было заметно. Они пытались оправдываться перед матерью Усера и Пепи. Ани – зять Та-Неферт, муж одной из женщин, что помоложе. Он тоже понимал, что свалял дурака. Зачем надо было пить вместе с неразумным Пепи? А теперь поди и расхлебывай неминучую неприятность!.. Ведь донесут же властям!

– Неприятности не миновать, – предрекала Та-Неферт. – В наше время ее даже искать не надо! Она сама тебя отыщет! На каждом шагу – фараоновы глаза и уши. Семеры жестоки. Князья наши не знают пощады. А тут еще какой-то иноземец! Ну зачем тебе надо было оголяться перед чужеземцем! Скажи, зачем?

Это она обращалась к Пепи. Вдруг в нем проснулась прежняя озлобленность:

– Я плюю на вашего фараона! На его дворец! На весь род его! Мне он не страшен!

Усер попытался зажать ему рот. Пепи укусил его за руку. Усер выдал ему хорошую затрещину.

– Уйди! – прошипел Пепи. – Хочешь, я употреблю твоего фараона и всю его семью?

– Замолчи, сквернослов! – приказала мать.

– Не замолчу! Мне надоела эта жизнь! Я могу покончить с собой. В одно мгновение. А вы влачите существование. Как волы бессловесные!

– Пепи, отоспись, – посоветовала ему сестра, у которой от страха душа ушла в пятки.

– Не хочу!

– Пепи, ты погубишь и себя и нас!

– Я не хочу воевать!

– Так зачем об этом кричать на улице

– Потому что ненавижу царя!

Ани разозлился:

– Заткнись, несчастный!

Пепи вырвался и побежал в угол двора. Там он, у глинобитной стены, застыл – багровый от гнева. Готовый ко всему…

Мать приказала:

– Иди и отдохни! Не мешай! Слышишь?

– Мне незачем отдыхать! Мне опостылела эта жизнь!

– Твоя жена не похвалит тебя!

– Я не нуждаюсь в похвалах!

– Пепи, сын мой, пожалей нас…

Пепи обвел всех страшным взглядом. Его глаза налились кровью. Он зашипел:

– Вы жалкие твари! И хорошо, что вас давят! Что вас презирают, как собак! Что гоняют с вас семь потов!

– Пепи, сын мой, пожалей нас…

– А мне вас не жалко! И себя тоже… Будь моя власть – я бы сжег этот проклятый город вместе с потрохами!

– Ладно, сжигай. Только помолчи сейчас. Только не губи нас. И себя пожалей немного. И жену молодую пожалей. Князь этого не простит тебе! Слышишь?

– Харкал я на вашего князя!

Пепи разразился такими дикими ругательствами, что женщины принуждены были удалиться. Та-Неферт сказала, уходя:

– Вяжите его! Он потерял рассудок!

– Меня? Вязать? – Пепи обнажил себя. – Вот это для царя! Вот это для царицы!

И грохнулся наземь. Без памяти. От злости. Совсем бездыханный…

Ани сказал:

– Употребляй царя на здоровье, но зачем кричать об этом на весь мир?.. Давайте затащим его в дом. Чтобы от греха подальше.

И он огляделся вокруг: нет ли кого-нибудь чужого? И за ворота выглянул. Нет, они были одни. Своей семьей…

Сеннефер

Тахура добрался-таки до широкой Дороги мертвых. Изрядно проплутав среди улочек и переулков столичных трущоб. Ему показалось, что выбрался из вонючей ямы. И решил идти направо – туда, где скалы, где виднеется голый Восточный хребет. Дорога была вымощена базальтовыми камнями. Швы между ними заделаны вавилонской смолой, посыпанной слоем песка. Такое впечатление, что шагаешь по дворцовой площади. Справа и слева дорога обсажена пальмами, сикоморами. И деревом, именуемым «туаб». Его привезли из Та-Нетер, когда оно не достигло еще одного года. Быстро растет, дерево это неприхотливое – влагу добывает глубокими корнями. «Корни эти, говорят, сверлят землю, подобно бураву, – размышлял Тахура. – Оно бесценно, крона его тениста и очень красива с виду».

В этот час на Дороге мертвых было пустынно. Каменотесы, работающие в усыпальнипах, продолжали свое дело. Навещавшие своих покойников – давно вернулись. А в некрополь кому охота тащиться в эту пору?

Вперед маячили два-три домика. А дальше расстилалась посеревшая, ровная долина. До последнего домика не так уж далеко. Не в той ли покосившейся хибаре обитает Сеннефер?..

Старик словно поджидал гостя. Он сидел на корточках и жевал листья кустарника му. В них сила некрепкого вина. От них темнеют зубы и сердце начинает учащенно биться. Богатые, разумеется, предпочитают крепкое пиво или вино. Однако бедные люди жуют их, и перед глазами их разверзаются небеса, и сытая жизнь является воображению. Тахуре приходилось жевать листья му. Однажды. Когда чуть не заблудился в Ливии. В страшной пустыне этой страны. Листья внушили ему, что вот он, город, – цель его путешествия; что под рукою вода – только черпай ее. Так он пролежал в полусне-полуяви несколько дней. Пока его не подобрал караван. Вот какая сила в этих листьях му!..

Сеннефер приметил купца еще издали. Старик, признаться, подивился тому, что какой-то важный господин в такую пору идет пешком, без провожатых. И уж совсем расширились у старика глаза, когда господин круто свернул к его хижине и очутился на пороге.

Старик привстал, не веря своим глазам.

– Это я, Тахура, – сказал купец. – Мы с тобей виделись в лавке Усерхета. Ты оказал мне большую честь, отведав моего угощения.

Все было сказано слишком ясно и просто, чтобы не понять этих слов и не вспомнить купца Тахуру.

– Я рад, – проговорил старик, сплюнув жеваный лист му, – я рад.

– Я хорошо помню твое имя: ты – Сеннефер.

– А ты – Тахура.

– Верно! – Купец очень обрадовался тому, что старик запомнил его.

– В Кеми полагается пригласить гостя домой, – проговорил Сеннефер.

– Такой обычай – повсюду, где приходилось мне бывать.

– Но для этого надо иметь дом.

Тахура взглянул на дверь хижины. Низенькая, совсем низенькая она. В нее не войдешь, не согнувшись в три погибели. Вот какая дверь! И по ней вся хижина, выложенная из сырого кирпича. Купец решал: протиснется в дверной проем или не протиснется? Старик угадал его мысли:

– Нет, войти мы войдем! Как-никак, а дом! Надо побывать в нем. Не здесь же разговаривать.

– Да, ты прав, Сеннефер, мы, пожалуй, войдем…

Старик прошел первым, как бы подтверждая, что входить сюда безопасно. Маленькое оконце – высота которого равнялась ширине – освещало комнату скудным предвечерним светом. Можно сказать, что здесь было темно. Сеннефер достал уголек из очага и раздул его. При помощи льняной веревочки и этого уголька он зажег глиняный светильник.

– Садись, – пригласил он гостя, продолжая заниматься своим делом. – В углу ты найдешь чистую циновку. Она – для гостей. Бери ее – она чистая.

Светильник замигал неровным красно-желтым светом. Будто внесли сюда медную посуду. И все стало красно-желтым: лица мужчин, циновки на полу, глиняная посуда на полках.

– У меня бедно, – продолжал Сеннефер, устраиваясь на полу, – но чисто. Здесь чище, чем в фараоновых хоромах. Поверь мне: это говорю я, Сеннефер.

Тахура подтвердил, что в хижине опрятно, что даже женщина не в состоянии поддерживать чистоту большую, чем эта. (Купец указал рукою на потолок, пол, стены, посуду.) И в самом деле, в хижине не чувствовался спертый воздух, обычный в жилищах бедняков. Не пахло ни грязью, ни пивом, ни мукой. А вот ароматическими маслами пахло. А вот смолою пахло. И розами пахло. Откуда розы в этом закуте – темном и низком?..

Сеннефер засмеялся – негромко, точно заскулил песик.

– Господин, ты забыл, что я – парасхит. Я имею дело не только с кишками и желчью, легкими и селезенкой. Я не простой парасхит, которого гонят камнями прочь от себя. Когда он вскроет острым камнем живот покойника… Мне доверено и нечто большее…

Старик произнес эти слова гордо, но сдержанно.

– Разумеется, Сеннефер, я далек от мысли о том, что передо мною – обыкновенный парасхит, копающийся в чужих внутренностях…

– Не в чужих, – поправил его старик, – но в мертвых.

– Это одно и то же.

– Э нет, господин, ошибаешься. Мертвый принадлежит богам. О нем нельзя сказать «мой», «твой», «наш», «ваш». Он – божий!

– Да, это так, – из любезности согласился купец. Он не мог понять этого странного обычая – бальзамировать покойников. Зачем это? Разве не проще предать земле? Или сжечь, как это делают далеко на Востоке? Или подвесить к дереву, по примеру народов Севера, что за страною хеттов?..

– Чем угостить тебя? – сказал старик. – Есть у меня зелень му. Так называют ее в Та-Нетер. И мы переняли это слово. На рынках ее тоже называют му.

– Уважаемый Сеннефер, я знаю му. Однако доставь мне удовольствие, на которое могу рассчитывать, как гость.

Старик удивленно уставился на купца.

– Могу ли я, как гость, просить все, что мне заблагорассудится?

– Да, можешь.

– Спасибо, Сеннефер! А прошу я одного: поговори со мной, дай насладиться твоими словами и блеском ума твоего.

– О, азиаты! – воскликнул старик и всплеснул руками. – Какие же вы, однако, хитрецы! Ты обезоружил меня, и я вынужден подчиниться тебе.

– Я только этого и желаю, Сеннефер. Что может быть приятнее беседы с тобой? Я хорошо помню, что ты из Саи. Запомнилось и твое мимолетное замечание о том, что ты знал достаток. Полагаю, что ты был и знатен и богат. Об этом свидетельствуют твой лоб, и нос

твой, и руки твои. Глаз у меня наметан, и я знаю, что такое кровь знатного человека.

Сеннефер выслушал купца и сказал:

– Чужеземец, я помню твое гостеприимство, твою щедрость Поверь мне: я мог бы ответить тем же, если бы не разрушили дом мой, если бы не преследовали меня отец и сын.Я ел песок на Синайском полуострове, добывая медь. Я кочевал в песках Рете-ну, спасаясь от гнева врагов моих.

– Неужели столь могущественны враги твои?

– Мои? – Старик горько усмехнулся. – Мановением мизинца уничтожают они все живое. Их взгляд испепеляет растительность на земле. Дуновение ноздрей их повергает города во прах.

– Сильные, однако же, враги у тебя, Сеннефер, ничего не скажешь.

– И если ты видишь меня таким, как есть, – только потому, что я жив. А жив потому, что не умер. А не умер – ибо гнев питает меня. И месть в сердце моем твердит: «Ты должен жить, Сеннефер! Жить, чтобы отомстить!»

– Я много ездил, Сеннефер. Знаю земли, знаю воды. Те, что лежат далеко на Западе, и те, что – далеко на Востоке. Как бы ни были настроены правители друг против друга, всем хочется торговать. Стекла из Джахи приводят в восторг женщин Кеми. Благовония с острова Иси пленяют прекрасных вавилонянок, чьи глаза с густой поволокой. Я купец – и предо мной открыты границы, и стражи не чинят препятствий.

– Еще бы! Еще бы! – проговорил Сеннефер. – Купец – человек уважаемый.

– К чему я это все говорю? – Тахура понизил голос. – Мне хочется послушать твою красивую речь, исполненную благородства. Я знаю язык вашей страны. Но когда услышал тебя, я сказал себе: «Тахура, вот она, речь, которая достойна избранных».

Старик был доволен. Он улыбался. Человек очень слаб – с трудом противостоит лести. Даже самое крепкое сердце размягчается под действием хорошо взвешенных хвалебных слов. Только пирамида Хуфу противостоит лести, ибо она глуха.

Сеннефер сказал:

– Уважаемый господин, если моя речь приглянулась тебе, то в этом повинны мои родители – знатные люди из чудесного города Саи. Я рос, как цветок, и уши мои внимали словам изящным и мыслям возвышенным. Право же, мало стоит слово, если не выражает оно *нечто,* что западает тебе в душу и живет там подобно птице в гнезде. Это *нечто* рождает новые мысли, и они, как птенчики, слетают с уст твоих. Ибо ты был оплодотворен большой мыслью. Слова – очень удобное обличье. Они должны быть необычными сами по себе. Но за ними, повторяю, должно стоять *нечто* . Ты меня понял?

Тахура молча кивнул.

– Чем хороши, чем неотразимы папирусы древних времен? Тебе их приходилось читать?

– Немного, немного, уважаемый, – проговорил скороговоркой купец.

– А я скажу, чем они хороши. – Старик воодушевился. Он плавно разводил руки в стороны и упирался ими в бедра. Движения эти как бы помогали ему яснее выразить мысль. – В древних свитках я нахожу Слово, которое светит мудростью само по себе. Звезда светит? Вот так же светит слово. Только помни: древнее слово! Тысячу лет тому назад люди не были глупее нас. Они мало говорили, больше думали. И в этом был свой резон. Что толку в том, что иной болтает без устали? Наши древние предки учили нас мыслить. А ныне? Разве не являемся мы свидетелями ужасного падения того самого искусства выражать мысли, которым гордились жрецы Амона еще во времена Нармера и Джосера? С легкой руки фараона, каждый норовит перещеголять рыночного торговца, коверкающего наш божественный язык. С каких это пор зеленщики и сапожники стали нашими учителями? Я спрашиваю: с каких пор?

Тахура повторил, как эхо:

– С каких пор?

– С тех самых пор, как взошел на трон… – Старик еще больше понизил голос. – С тех

пор как царствует этот… с удлиненной головой и лошадиной челюстью.

Купца продрал мороз по коже. Он спросил:

– Почему шепчешь – разве нас подслушивают?

– Все может быть! Ныне и стены имеют уши.

– Что ты говоришь, Сеннефер?

– Да! – решительно подтвердил старик.

Купцу стало не по себе. Он вовсе не был робкого десятка. Но вот так, ни за что ни про что, попасться в лапы стражникам фараона?..

Отнеожиданной робости он встал, вышел во двор, обошел домик вокруг: никого! Вернулся на место. Облегченно вздохнул:

– Никого! Мы с тобой одни.

– Почему одни? – улыбнулся Сеннефер, – А ты?

– Что – я?

– Разве не может быть второй души?

– У меня? Вторая душа?!

Сеннефер успокоил его. Владелец лавки Усерхета предупредил старика о тем, кто такой Тахура. «Доверься ему целиком», – сказал лавочник. Слово Усерхета было для Сеннефера настоящим словом, звучащим как в древних свитках.

– Я пошутил, Тахура. Откуда же у тебя вторая душа? Уважаемый Усерхет говорил о тебе так нежно, что ты – уже в сердце моем.

Купец поклонился с вавилонским изяществом. Надо отдать ему должное – воспитания был хорошего. Аристократический глаз парасхита уловил это еще там, в лавочке Усерхета.

– Что за необходимость коверкать язык, доставшийся от предков? – спросил купец, возвращаясь к прежнему разговору.

– То-то и оно, что никакой! Однако фараон упрям. Он назло всем жрецам Амона настоял на своем: и все торговцы радуются; все, кто не знает языка, радуются. Вот в какое время мы живем!

– Надо ли понимать так, – сказал купец, – что язык – исковерканный язык – тоже является какой-то частью фараоновых замыслов?

– О да! Только так! Все задумано очень хитро. Знает тыквоголовый, куда метить! Фараон ведет дело к тому, чтобы все живое подмять под себя, наподобие гиппопотама необъятных размеров.

– И это ему удается?

– К сожалению, уважаемый, удается. Пока удается.

– А разве некому возвысить голос?’

– Нет!

– Боятся или все согласны с ним?

– Боятся. Трусят. Дрожат по углам!

– И не нашлось ни одного?..

– Почему же? Нашлись! Только одни из них в воде, другие под землей, а третьи гниют в пустыне. Но есть еще…

– Кто же?

– Молчащие. Стиснувшие зубы. Улыбающиеся через силу. Ожидающие.

– Как, и ожидающие, Сеннефер?! Чего же они ждут?

– Своего часа!

– Значит, трусливо ждут?

– Нет, не трусливо. Но ждут! Это рука Амона, карающая невидимым мечом.

Купец раздумывал над словами старика. В глазах его, которые темнее ночи, мигает красно-желтый огонь светильника.

«…Кто может подумать, что в этом государстве, где все подобно железу – от фараона до последнего воина, – где и слово, как железо, находятся люди, думающие иначе, мыслящие по-своему, живущие наперекор благому богу, да еще тайно грозящие ему?..»

Тахура не был поражен этим открытием. Он давно перестал поражаться. Глаза его привыкли видеть необычайное, а уши – слышать удивительное. Разумеется, среди сонмища людей всегда найдутся недовольные. Но разве этот парасхит, поселившийся в самом сердце империи, не есть явление поразительное? Тем более что он совсем не одинок… Почему же не поразит старика молния, исходящая из очей фараона? Где всемогущий семер Ахетатона, который знает, что делается даже на дне Хапи?

«…Надо мыслить, наподобие древних и мудрых. Не надо торопиться. Терпение, терпение, терпение…»

Купец глядит на сморщенное лицо старика. На губы его, сжатые во гневе. И на глаза, острые, как стрелы. Нет, этот старик что-то знает. Он видит дальше, чем это кажется. И неспроста он обосновался здесь, на окраине.

– О Сеннефер, я внимательно слушал твои слова! Позволь задать тебе один вопрос, который исходит из моего незнания, непонимания и темноты.

– Говори, господин.

– Ответь мне, Сеннефер: разве нити, связывающие воедино весь народ Кеми и его правителей, – не железные нити?

Старик ответил, не думая:

– Железные!

– Вот видишь, Сеннефер! – воскликнул купец, точно выиграл крупное пари.

Старик удивился:

– Что я должен видеть, уважаемый господин?

– Железные нити! Железное государство Кеми! Всемогущество фараона!

Сеннефер замотал головой, поднял кверху правую руку, словно требуя тишины и внимания. И эдак таинственно усмехался. Его улыбка была едва заметна, она терялась в многочисленных складках, которых полным-полно вокруг губ. Старик глубоко вздохнул, как бы сожалея о том, что неправильно, совсем неверно понят.

– Господин, вот ты повидал белый свет. Ты плыл за солнцем на Запад. Ты шагал навстречу солнцу в далеких странах. Ты резал путь солнцу, путешествуя по своим делам с Севера на Юг и с Юга на Север.

– Да, это так.

– Уши твои были открыты, и сердце твое стучало, и глаза видели мир.

– Да, это так, – подтверждал Тахура.

Старик скрестил руки на тощей, с обвисшей желтой и дряблой кожей, груди. Поглядел пристальным взглядом на купца и сказал – медленно, медленно, медленно:

– Так как же ты можешь утверждать, не покривив против совести, что все железное прочно и даже вечно?! Железо дорого, очень дорого! Кто этого не знает? Но разве оно долговечно? Разве не съедает его ржа?

– Верно, съедает!

– Железо пригодно на своем месте. Однако государство, каким бы сильным оно ни казалось, закованное в железо, становится слабым.

– Это удивительно! – сказал купец. Неизвестно, сколь искренними были эти его слова. Или ум у него был короток, или нарочно хотел казаться наивным – этого не мог решить Сеннефер. И в том и в другом случае старик, как видно, почитал себя обязанным высказать откровенное мнение. В его сердце клокотал великий гнев, и промолчать не мог. Это было свыше его сил. Тем более что долго-долго молчал, ел землю одну, копался во внутренностях мертвецов и молчал. Сколько же можно молчать?

– Почему ты произнес эти слова, уважаемый господин?

– Какие?

– Ты сказал: «Это удивительно!» Разве я открыл тебе что-нибудь новое? Тебе неведомое?

Купец не юлил:

– Нет, все это не ново!

Теперь уж поразился Сеннефер:

– Скажу тебе по правде: это удивительно! Ты знаешь все сам и удивляешься. Как понимать тебя? Я начинаю путаться в мыслях.

– Сеннефер, меня понять нетрудно. Я знаю, что железо ржавеет. Знаю, что и железное государство может покрыться ржавчиной. Но какое отношение все это имеет к великому и непобедимому Кеми? Как применить твой рассуждения к власти неограниченной, божественной, всемогущей? Я сейчас говорю только о Кеми, которое держит через фараона в страхе весь мир.

Сеннефер откинул назад голову и захохотал. Кадык его взмыл куда-то кверху. Кожа на горле его натянулась, в то время как на затылке собралась она во множество глубоких складок.

«…Что я слышу собственными ушами? Что слышу я, находясь на земле Кеми? Если бы все это знали хетты? Если бы знали они, то двинулись бы прямо сюда. Они бы укрепили сердца свои, которые учащенно бьются при слове „фараон“. Но нет, Тахура, не ошибись: старик – это еще не Кеми… А впрочем, и Пепи тоже не Кеми? Разве возможен его плач в государстве, которому суждено править белым светом?..»

А старик хохотал. Смеялся до упаду. Вот жилы его вздулись от напряжения. Вот покраснело его лицо, а он все не переставал…

«…Он смеется надо мной. Я ему кажусь чудаком. А может быть, дураком. Пусть, пусть он думает что угодно…»

Сеннефер приоткрыл глаза, осушил жесткими кулаками слезы смеха. Купец почтительно дождался того мгновения, когда парасхит поуспокоится и сочтет возможным продолжать разговор.

– Не обижайся на меня, уважаемый господин, – сказал наконец Сеннефер. – Я смеялся не над тобой. Я вдруг подумал о том, что враги Кеми в чем-то уподобляются тебе. Они думают: вот богатырь, призванный править миром…

– Так не думают.

– Вот государство, непобедимое в веках…

– И так не думают.

– Вот правитель Кеми, власть предержащий в руках прочней, чем Хуфу.

– Да, так думают.

– А я говорю… – Старик возвысил голос. – А я говорю: неправда все это! Повторяю еще раз: железо ржавеет! А мы закованы в железо. Но я вижу конец. А ты?

– Я – пришелец из далекой страны. Я почтительно внимаю твоим словам.

– Так слушай: железо или заржавеет – и нити оборвутся сами собой, или смерть унесет правителя – и нити все равно исчезнут.

– Унесет смерть? – спросил купец.

– Да.

– Когда же?

– Этого никто не может сказать.

– И это будет избавлением?

– Да.

«…Злоба застилает глаза и ум старика. Он слишком обездолен фараоном для того, чтобы видеть окружающее таким, как оно есть…»

Старик потряс в воздухе кулаком:

– Попомни мои слова, уважаемый господин: железо обманчиво. Оно недолговечно.

Купец поднял глаза кверху, и взгляд его упал на синий четырехугольник, высота которого равна ширине. Он был очень синий, почти черный, но что-то светилось в глубине его краски. Казалось, какой-то неведомый, но весьма способный к своему ремеслу живописец повесил на стенку свою работу. Однако что изображено на картине, которая висит под потолком?

«…О боги, ведь это же окно! Маленькое окно в маленькой хижине парасхита. А синий

цвет – это цвет неба, по которому волшебной кистью прошелся вечер…»

– Я засиделся, – сказал купец.

– Я тебя ничем не могу угостить, – с грустью проговорил старик.

– А разве беседа твоя не была угощением? Что сравнится с нею? Жареная курица? Она дешево стоит в лавке Усерхета. Дичь на вертеле? И она не дороже. Пирожное? Однако от них слишком сладко становится во рту. Нет, Сеннефер, лучшего угощения, чем беседа, и невозможно придумать!

– Что же, наверное, так следует говорить гостю, который не уносит от тебя ничего в желудке своем.

Засим воспоследствовал взаимный обмен любезностями, после чего купец собрался обратно в город. Старик сказал себе: «Неспроста явился он в мою хижину. Будь что будет: пусть знают и в Ниневии, что происходит в Ахяти…»

Сеннефер, проводив гостя до дороги, вернулся в хижину и поужинал так, как ужинают многие на окраинах Ахетатона, – горестными размышлениями. Потом погасил светильник и улегся. Не спать и смотреть в темную пустоту – что может быть лучше? Сеннефер прислушался: не идут ли за ним фараоновы стражи? Нет, не идут… Значит, и глаза благого бога не всевидящие, и уши не всеслышащие.

Парасхит хихикнул от радости. И вскоре захрапел.

В скульптурной мастерской

Джехутимес смотрел в широкую дверь: вот идет она, чья красота не имеет себе равной во всей вселенной… За спиною его стоял Ахтой. И Тихотеп. Они тоже смотрят на нее. Она же идет ровная, с тихой печалью на челе. С неуловимой улыбкой на губах. Такая небольшая, стройная женщина. С таким маленьким животом. Родившая шестерых девочек.

В чем же тайна ее неотразимой красоты?.. Вот идет она, приближается. А за нею – красавица Ка-Нефер. Ведущая под руку молодую принцессу Анхесенспаатон.

«…Я хочу знать, в чем ее главная сила? В глазах ли, обрамленных густыми ресницами? В губах ли, вычерченных прилежной рукой творца вселенной? В облике ли богини? В чем же главная сила? Ибо невозможно закончить портрет, не угадав ее. Вот идет ее величество, и вместе с нею входит заря. Эта заря освещает мир. Она греет сердца… Вот идет ее величество…»

И никто не встречает ее у крыльца: запретил Джехутимес!

Она поднимается и ступает на порог. Вдруг перед ее глазами возникает, словно видение, иная картина: она приходит сюда же. На это самое место. Много лет назад. Тогда здесь стоял всего-навсего навес. Молодые люди месили глину, тесали камень, отливали гипсовые формы. Тому уже восемь лет: столица только-только отстроилась. Ее зодчие и ваятели работали под временными навесами и жили в матерчатых хижинах-палатках. Она была моложе, и *он* был моложе. Клялся ей в вечной любви и, несомненно, любил вечной любовью. Она ловила на себе восхищенные взоры своих подданных. Но это были не притворные верноподданнические взгляды! Ее облик вызывал восхищение. Не мог не вызывать восхищения! Ум ее сверкал в глазах ее. Красота ее отражалась в его глазах. Ваятели, умеющие ценить истинно прекрасное, падали ниц и с опаской подымали глаза, точно перед ними стояло солнце. Благой бог был с нею. Даже тогда, когда их разделяло расстояние… Вот идет он, слева – она. Он приводит ее на это место и весело кивает молодому скульптору. И говорит: «Это – Джехутимес. Руки его мудры и достойны глаз его, которые видят безошибочно. Ваятель должен иметь мудрые руки. Иметь острые глаза…» И он еще раз повторяет имя. «Джехутимес». Молодой ваятель краснеет, его щеки пылают, и, краснея, простирается на земле, чтобы тут же, по приказу его величества, подняться на ноги. Во весь небольшой рост. Благой бог выговаривает ему – добродушно, уверенный в себе, в Кеми, в ней, во всей вселенной: «Джехутимес, сколько раз говорил я тебе, чтобы не ронял достоинства того чудесного искусства, которым владеешь в совершенстве? Встань же!»

Почему его величество говорил о совершенстве искусства молодого ваятеля, если такого совершенства тогда еще не было? Значит, видел далеко! Значит, разглядел в несовершенных еще формах залог будущего совершенства!..

Тогда его величество водил ее по неотстроенной, неуютной мастерской, держа ее все время слева от себя и поучая ваятелей: «Вы должны делать то, что видит глаз ваш и повелевает сердце ваше». И, улыбаясь, спрашивал: «Джехутимес, что видит твой глаз?» – «Тебя, твое величество». – «А еще?» – «Ее величество, великую госпожу нашу». – «Где ты ее видишь?» – «Рядом с тобой, твое величество. По левую руку». – «Верно, так и изображай нас». Потом его величество снимает парик, и голова его – такая уродливая, как шумерская продолговатая тыква, – блестит, словно медная, на тонкой шее. «А сейчас что ты видишь, Джехутимес?» – «Твою голову, твое величество». – «Так ее изображай. Некрасивою. Ибо я таков». – «Мои уши послушны твоим речам, глаза мои оживают от слов твоих, твое величество». Благой бог улыбается. Он спрашивает: «Джехутимес, всё ли слышали твои помощники?» – «Всё», – отвечает ваятель. «Всё», – говорят его помощники… О, великий бог, как это было давно и как это было недавно!

У нее в глазах плывут круги, подобные тем, которые появляются на водной глади пруда, если бросить камень. Небольшой камень. И бросить не очень сильно… Что же случилось теперь? Почему нет его здесь? И почему никто не встречает ее?..

И тут – в это же самое мгновение – только она подумала! – на самом пороге распростерт ваятель. Лежат лицом к земле его помощники. Ее величество ничего не понимает. Она оборачивается к Ка-Нефер. Пожимает плечами. Недоумевая. Пустыня, истинная пустыня во дворе – и великое благолепие, запрещенное в этом священном месте искусства его величеством!

Ка-Нефер кивает головой, – дескать, так и должно быть: перед величием ее склоняет голову любой житель Кеми. Принцесса забегает вперед и тоже смотрит на лежащих мужчин. Это они и перед нею пали ниц! Так думает Анхесенспаатон.

– Встаньте!

Это говорит ее величество. Не прекрасная дама, но владычица Кеми и вселенной. Ее голосу подчиняются даже мертвые. И ваятели поднялись на ноти, отряхнули прах с одеяний своих.

– Твое величество, – говорит восхищенный Джехутимес, и в глазах его – полуночные звезды, – изволь выслушать меня, прежде чем обрушить на головы наши справедливый гнев. Спроси нас: почему не встречали там, у ворот? Спроси нас: почему нас не было во дворе? Спроси нас, о госпожа наша!

– Спрашиваю, – говорит ее величество. Она говорит так, как говорит всегда: тихо, певуче, грудью, а не губами. От этого голоса стучит сердце, внимающее ей. От этого голоса, наполненного величием ее, быстрее бежит кровь по жилам…

Этого приказа только и ждал он:

– Твое величество, недостойный тебя портрет почти готов. Он там, в том углу. Розовый песчаник готов ожить с мгновения на мгновение. Ахтой обтесал камень, долженствующий служить убором. Он раскрашен с подобающей роскошью и мастерством. Я готов показать портрет твой из розового песчаника, и кажется мне, что в глазах твоих увидим благосклонное одобрение трудам нашим. Но можно ли показывать мертвый камень?

Ее величество обернулась к Ка-Нефер:

– Можно?

– Нет, – ответила Ка-Нефер. – В пустыне много мертвых камней. Больше чем достаточно. Разве их показывают ваятели? Даже если все они из розового песчаника?

– Ты слышал, Джехутимес?

– О, да!

– Это и мой ответ. Камень, оживленный рукою ваятеля, – достойное зрелище! А мертвый претит глазу.

– Истинно так, твое величество!

Принцесса захлопала в ладоши. Ее маленькое лицо сияло лицом ее матери – молодой и красивой. Принцесса сказала:

– Я люблю живые камни!

– Ребенок, – улыбнулась ее величество.

Ахтой и Тихотеп не спускали глаз с царицы – глаз мастеров, знатоков своего дела. Ахтой смотрел на правую сторону лица ее величества, Тихотеп – на левую. Благоговейно и пристально. Влюбленно, но изучающе. И те, что месили глину в соседних комнатах и что толкли гипс и готовили воду, наблюдали за ее величеством. И каждый глаз был равновелик наблюдательности мудреца, изучающего великую книгу тайн.

Джехутимес все еще стоял перед царицей, точно преграждал ей доступ в мастерскую. Да, он не хотел, чтобы вошла она сюда, не выслушав его объяснений.

– Твое величество, как я говорил, в том углу, под белым покрывалом, находится твой портрет. Он готов. Почти готов. Но это еще не твой портрет. Почему он не говорит твоими словами? Твоим голосом? Почему он не улыбается твоей улыбкой? Почему не приказывает нам? Почему не роняет слов, великих и теплых? Ведь это же твой двойник! Что же с того, что ты из плоти и крови, а тот – из розового песчаника? И песчаник столь же бессмертен, как бессмертен твой облик!

– Ка-Нефер, – сказала ее величество, – не наказать ли Джехутимеса за преувеличенное мнение обо мне?

– Нет, – ответила Ка-Нефер и с истинно женской непосредственностью добавила: – Это он о себе преувеличенного мнения. Разве ты не чувствуешь?

– В самом деле? – Она скрестила руки на груди. Так поступала царица, когда хотела быть только женщиной – могучей, всесильной, неотразимой в своей красоте. Впрочем, как всякая женщина…

– Нет, – ответил Джехутимес, – уважаемая Ка-Нефер не права. Не совсем права. Я искал тот единственный штрих, который оживит портрет, который заставит бежать кровь – настоящую, алую кровь – под покровом кожи. Я сказал Ахтою: «Найди этот штрих. Он на лице ее величества». Я сказал Тихотепу: «Найди штрих. Он на лице ее величества». Но я не знаю, где он – в уголках ли губ или на овале век? На лбу или на подбородке? Я не знаю где! Я сказал и тем, кто месит глину, и тем, кто мелет гипс, и тем, кто носит воду: ищите штрих, скажите, где он, ибо портрет все еще мертв, а он должен быть живым. И мы решили: ты, твое величество, пойдешь от ворот до этого порога одна, без нас. Ты будешь думать свое, ты рассердишься за невнимание или обрадуешься тому, что никто из нас не нарушил течения твоих мыслей. Ты будешь сама собою. А мы постараемся подсмотреть этот один-единственный штрих, одну черточку на великом лице, которая увенчает наши труды великим итогом. Не просто итогом, но – великим! Я стоял здесь – и смотрел на тебя. Ахтой и Тихотеп наблюдали за тобой. Вся мастерская, затаив дыхание, смотрела на тебя. Вот и все!

Ее величество поправила тяжелые серьги. Посмотрела в глаза Джехутимесу Да, это были глаза влюбленного. Глаза дикой косули – черные-пречерные и в то же время яркие, будто зеркало. В них можно глядеться, как в воду. Этот молодой ваятель все еще не женат. Говорят, и наложниц нету… Неужели все это из-за той самой клятвы?.. Она помнит это так, словно случилось вчера. Помнит, как сказал он: «Тот, кто держит такую руку, должен быть верен ей всю жизнь». На что ее величество ответила: «Разве кто-нибудь бывает верен всю жизнь?» Джехутимес вскинул на нее вот эти – вот эти глаза напуганной дикой косули. Он был очень обижен. Почему не доверяют искренним словам?! Ясно же – всю жизнь! Ее величество улыбнулась тогда своей таинственной, многозначительной улыбкой. Она как бы говорила: «Добрый, добрый человек! Разве на всю жизнь зарекаются?» И он покраснел. Кровь прилила к глазам его. Стал на колени и клятвенно произнес: «Я слово даю – буду верен всю жизнь!». Неужели он сдержит свое слово, данное в мгновения всплеска, в мгновения необдуманного я несдержанного поведения?

И он повторил: «Всю жизнь!». «Встань!» – повелела она, и он безропотно повиновался…

С той поры прошло пять лет. С того самого случая в мастерской. И ваятель Джехутимес все еще не женат, не обзавелся госпожой дома. Может быть, надо освободить его от той клятвы?

Ее величество говорит:

– Я помню твою клятву, Джехутимес.

И она слегка протягивает правую кисть. (В *тот* вечер он делал слепок ее руки.)

– Я тоже помню, твое величество.

Что же, они поняли друг друга. Ее величество идет туда, к тому углу, где под белым покрывалом портрет из розового песчаника. И на ходу, не оборачиваясь:

– И что же, Джехутимес, ты нашел ту черточку, которую так упорно искал?

Джехутимес обращается с подобным же, но немым вопросом к Ахтою. Тот отрицательно качает головой. Тихотепу кажется, что обнаружил эту черточку, но не очень уверен.

– Твое величество, – вмешивается Ка-Нефер, поспешая за великой госпожой и прижимая к себе принцессу, – они не нашли ее. И тебе еще раз придется побывать в этой мастерской, прежде чем она отыщется.

– Возможно, – соглашается царица, – искусство требует неустанных трудов. Я насмотрелась на это. А раньше мне казалось, что вылепить портрет совсем нетрудно – стоит только захотеть испачкать себе пальцы глиной .

Она стала перед станком. Что же там, под белым покрывалом? Пока она стояла вот так – одно мгновение, – на нее вдруг взглянул его величество. Он был словно бы зол, словно бы негодовал на нее. Но тут же злость его прошла. Отлетела мгновенно. Вспорхнула, как птица. Его величество улыбался, повторяя: «Люблю тебя вечно… Люблю тебя вечно». Она не хотела слышать этих слов. Тогда. А сейчас не могла уже их услышать. Потому что «сейчас» – это уже не «тогда». Вот если бы могли поменяться местами эти два маленьких, коротких слова! Она была моложе «тогда» и все же понимала, что не бывает вечной любви, как не бывает вечной жизни вне набальзамированной мумии, вне саркофага и подземного прибежища для охваченного холодом тела. Сейчас она хочет верить в вечную любовь, хочется думать, что есть такая любовь. Ведь и ваятель клянется в вечной привязанности! Или все это ложь, как и сама жизнь на земле, увенчанная лишь бессмертной правдой потустороннего существования на полях Иалу?..

Джехутимес молча снял покрывало с каменного изваяния. Он передал покрывало Тихотепу. И посмотрел на ее величество. Ка Нефер не сводила с нее своих глаз. Ахтой также… Одна лишь принцесса удивленно разглядывала не эту, а ту, другую мать, у которой розовое, слегка щербатое лицо.

Джехутимес все искал ту черточку. Единственную черточку, которая могла и должна была вдохнуть истинную жизнь в холодный камень. У ее величества слегка вздрагивали губы. Лицо ее было величественно-спокойным. Она смотрела неподвижно. Очень долго. Гляделась, точно в зеркало и словно не понимая, что же случилось…

Она сказала тихо:

– Разве эта работа не окончена?

– Нет, твое величество.

– Что же остается? Надеть каменную шапку?

– Нет.

– А что же?

– Найти черточку. Во что бы то ни стало!

– В противном случае?..

– Портрет останется в этой мастерской, среди неоконченных работ.

– Какой ужас!

– Таково мое правило.

– Жестокое правило! Мне кажется, что он вот-вот заговорит. Этот мой двойник. Неужели он должен раскрыть губы и произнести слова, чтобы поверить, что он живой?

– Нет, – сказал ваятель, – если он пошевелит губами, я прикажу унести его от меня подальше. Ваятель должен вдыхать живую душу в мертвый камень. Однако имеется предел. Переступил его – значит, погиб. Любой отец и любая мать рождают живых людей. Но ведь ваятелями их не назовешь, твое величество!

Она подумала. Повернулась к Ахтою. Потом к Тихотепу. Она сравнила их – совершенно невольно – с Джехутимесом. И сказала себе: «Этот, с коротким рыжеватым париком, – такой небольшой и такой большой – рожден быть ваятелем. Он отмечен судьбой. Особой. Необычной. Он – избранник ее».

Ка-Нефер разглядывала скульптурный портрет с нескрываемым любопытством. Она призналась себе, что не знала прежде царицу. То есть не видела ее такой, какая она, вероятно, есть на самом деле. Сказать, что ее величество лучше, – нельзя. Утверждать, что ваятель сделал портрет красивее, – тоже нельзя. И оригинал, и этот розовый песчаник жили самостоятельно, отдельно друг от друга. Образ, породивший другой образ, жил в этом мире так, как живут взрослые дети вдали от родителей. Сами добывая себе хлеб насущный, радуясь радостям и горюя в горе. Было ли это открытием Ка-Нефер? Разве Ахтой не говорил ей именно об этом? Говорил. И все-таки она только сейчас поняла сердцем, что значит, когда достоверный образ и похож и не похож.

Джехутимес сказал:

– Твое величество, вон там, за занавеской, стоят изваяния принцесс. Не желаешь ли взглянуть на них?

– Да, желаю. И даже очень!

Он подал знак. Невидимые руки приоткрыли завесу из плотной ткани. И царица обрадовалась, увидев дочерей, расположившихся на полке из эбенового дерева. Даже покойная Мактатон стояла здесь – живая среди живых.

– О, бог великий, – проговорила царица, – вот они! Они как бы просятся ко мне. Да, это они. И головки – все до единой – моих дочерей!

С этими словами она погладила принцессу. Ее волосы, смазанные благовониями Ретену и зачесанные назад. И перехваченные тугой лентой.

– Тебе не кажется, – сказала она Джехутимесу, – что головы эти немного странноваты?

– Да, кажется.

– Так почему же чуточку не подправить их? Разве у тебя нет резца? Или мало помощников?

Ваятель покачал головой: нет – всего в достатке!

– Так что же, Джехутимес?

– Его величество забракует их.

– А я? Мое мнение – разве ничто?

Голова его крепко была посажена на шею. Такая четырехугольная голова на грубой крестьянской шее… Он сказал:

– В этом случае его величество прав.

– А я?

Джехутимес заглянул в ее лучистые зрачки, на которых были изображены сотни иероглифов, одно созерцание которых – истинное блаженство для смертного.

– Твое величество, ты не права.

Она резко повернулась. Так резко, что одеяние ее, не будь оно крепко затянуто в талии, полетело бы в сторону. Шагов за десять. Подхваченное ветром.

Ее величество сияла, как утренняя заря над Восточным хребтом. Ноздри ее порозовели и расширились. Брови, подмалеванные древесным углем, добытым в Та-Нетер, уподобились двум крылам.

– Люблю откровенность! – Царица рассмеялась. – Люблю бесстрашие Джехутимеса. –

Она обратилась к Ка-Нефер: – А ты?

Но ведь и Ка-Нефер была женщиной.

– Твое величество, бывают мужчины и побесстрашнее.

– Как ты сказала?

– Побесстрашнее.

– Слово хорошее, хотя и не совсем правильное… Наверное, бывают.

Из-за серой занавески медленно вышел Нефтеруф. Такой могучий, такой сильный, как колонна в храме Атона, подпирающая тяжелую кровлю. Из-под бровей у него вырывались молнии, способные испепелить все живое.

Ее величество первый раз видела его. Совсем не знала его. Он так не походил на этих ваятелей, созидающих живые камни.

Нефтеруф поклонился в глубоком – глубочайшем, невиданно изысканном поклоне.

– Кто он? – спросила царица Джехутимеса.

– Твое величество, – поспешила ответить на ее вопрос Ка-Нефер, – если когда-нибудь вам понадобится раб, то более преданного не найдешь. Он ходил по улицам с маленькой обезьянкой. А сейчас месит глину. У славного Джехутимеса.

Ваятель утвердительно кивнул.

– Не кажется ли, – прошептала царица, – что он слишком статен для раба?

Ка-Нефер оглядела Нефтеруфа с ног до головы: «… В нем бурлит сила. Кипит, как вода, падающая с высоты на каменное ложе…».

– Твое величество, он будет преданней собаки.

– Это он говорил сам?

– Нет.

– Откуда же тебе это знать?

– Посмотри на него: эти глаза, сияющие, как молнии, эти губы, дрожащие от благоговения.

– В самом деле? Губы, дрожащие от благоговения?

– Ах, твое величество, может быть, я и ошибаюсь.

Царица лукаво улыбнулась:

– Я бы об этом сожалела.

«…Царица совсем не рассердилась. Она снисходительно отнеслась к этому дерзкому мужчине, глазеющему на ее величество как на равную…».

Царица прошлась медленным взором по изображениям своих дочерей и на мгновение остановила его на необычной фигуре Нефтеруфа. Тот стоял, скрестив руки и опустив голову на грудь, точно явился с повинной. Ее величество усмехнулась про себя. «В моем положении каждая живая душа – как-никак опора…»

Джехутимес подал знак Нефтеруфу, тот потянул к себе край занавески, и девичьи каменные головы скрылись. И сам Нефтеруф остался за занавеской. Ее величество свободно вздохнула: уж очень сверкали глаза у этого незнакомца.

– Так он водил обезьяну по улицам? – спросила ее величество.

А принцесса сказала:

– Я хочу посмотреть обезьяну.

– Ты посмотришь, – ответила мать.

– Когда?

– Скоро.

– Завтра?

– Нет.

– Послезавтра?

Джехутимес склонился над девочкой. И сказал ей, смеясь:

– Скора – это через три дня.

Принцесса кивнула так, как это подобает дочери благого бога – правителя великого Кеми.

– Джехутимес, вернемся, однако, к моему портрету. Черточка найдена или нет?

Ваятель не торопился отвечать.

Ахтой подошел к портрету и очертил круг возле уст, – дескать, вот здесь эта черточка. Тихотеп указал на брови и глаза. И невиданной красоты ноздри…

Эта подсказка заставила ваятеля задуматься еще больше. Он подпер рукой подбородок. И молчал, молчал, молчал…

Между тем царица осмотрела портрет со всех сторон. Внимательно. И вдруг вообразила себя покойницей. Вот лежит она в рассоле натрона, предварительно выпотрошенная парасхитами. Как рыба… А это каменное изваяние стоит в изголовье. И улыбается. Чуть выкатив глаза… А еще – нечто худшее. Вот она, по наущению ее соперницы Кийи и по приказу фараона, зашита в мешок и нежно опущена в воды Хапи. Опущена живая. Ей нечем дышать… Ее убили!.. А это каменное изваяние стоит на своем месте и улыбается. Чуть выкатив глаза. Изогнув шею изгибом красоты…

У ее величества задрожали колени и чуть не подкосились ноги. Однако быстро совладала с собой: нет, она не выкажет слабости! Ни здесь, ни где-нибудь в другом месте. Ни сегодня, ни позже!

Джехутимес сказал, не отрывая глаз от розового камня:

– Твое величество, мои помощники правы. Но остается решить: искать ли эту черточку под глазами, у верхней губы или у нижней?

Ка-Нефер звонко рассмеялась:

– Я полагаю, что совет Ахтоя и Тихотепа не стоит очень дорого, если надо что-то уточнить. Но пусть они не будут в обиде!

– Разве не простят они шутки такой красивой женщине? – проговорила царица.

– Простят, твое величество! – Джехутимес похлопал по плечу Ахтоя, а потом – Тихотепа. – Они способные, очень способные ваятели. Еели бы не они – не их глаза, не их руки! – Джехутимес запутался бы в сотне странных загадок, которые каждое мгновение задает нам искусство ваяния.

Это были великодушные слова. Ее величество оценила их. У нее перед глазами пронеслись картины прошлого, когда она стояла здесь, рядом с *ним,* среди глины и гипсовой муки. Как счастлива была она и каким долговечным казалось счастье! Даже любовь. И его клятвы.

– Пойдем отсюда, – сказала царица Ка-Нефер, беря за руку принцессу. Какая-то неукротимая сила заставила ее обернуться на занавеску: там, в складках ее, стоял Нефтеруф, прекрасный, как изваяние. С черными молниями в глазах…

Copry, copry, copry…

Что есть человеческая жизнь? Неужели тени на стене, как утверждал некий древний писец? Неужели же блики на воде, как говорил другой? Почему Copry грустна?.. К чему эти мысли о тенях, о смерти?..

Она лежит нагая. Ее груди глядят в стороны, как два упрямых ягненка. У него в глазах качаются тени. Те самые, о которых говорит Copry. Эдак, чуть шевеля губами, говорит. Вроде бы про себя. Она лежит на циновке, и тело ее смуглое, как циновка. А если взять ее пальцы в свои? Что скажет она: неужели и пальцы – тени, круги на воде, миражи в пустыне? Вот эти пальцы, тонкие, как тростинки.

Он говорит ей:

– Я сожму пальцы.

Она молчит.

– Раз ты молчишь – я сожму.

У нее даже брови не качнулись.

– Еще сильнее? Не будет больно?

Глаза ее грустят. Она пьет вино.

– Неужели не больно?

…Разве это вино лучше арамейского? Разве на далекой ее родине не такое же вкусное вино? Даже лучше!..

– Я поломаю твои пальцы…

Как далекий сон, встают воспоминания о рыжей земле и голубых реках. Это же было вчера! Всего пять лет тому назад! Неужели не будет предела этому сну?..

– Они сейчас хрустнут, и ты останешься без руки.

Как это люди сходят с ума? Не те, которых кусают бешеные собаки. Не те, на которых нападают бешеные волки, а люди, которых ничто не кусает, кроме клопов или вшей…

– Нет, мне жалко твоих пальцев. Лучше я их поцелую.

Берут человека и отрывают от родного двора, от крова, от земли и везут далеко-далеко. И там – где далеко-далеко – человек сходит с ума. Или просто теряет рассудок, полагая, что так и должно быть. Такой человек превращается в тень, которая на земле в неяркую погоду…

– Если ты не перестанешь мечтать – я рассержусь.

– Я не мечтаю.

– Ты думаешь о своем возлюбленном?

– О ком?

– О возлюбленном.

– Это еще кто?

– Послушай, Сорру, ты хочешь, чтобы я поверил, что ты ни о ком не думаешь?

– Не хочу!

– Что значит – не хочу?

– Это значит, что я думаю. Именно. Крепко. До сумасшествия.

Тихотеп привстает Немножко отодвигается от нее. Чтобы видеть Сорру получше. Ваятели привыкли отступать на шаг, чтобы лучше примечать разные мелочи на изваяниях из камня или гипса.

– Я спрашиваю: где ты сейчас мысленно? Почему не со мной?

– Сказать тебе правду?

– Да! Да! Да!

Сорру перевернулась на спину. Ее маленькие груди как неспелые груши. Тело ее вроде бы дубленое. Словно в жилах у нее не красная кровь. Розовы только щеки да мочки ушей. И ноги у нее красивые: такие длинные. Ступня тоже совсем розовая. Будто только-только родилась Сорру, будто вовсе не ходила пешком. И ногти на ногах огненные: они накрашены, и они блестят. У нее золотистый лобок. Такой солнечный треугольник под упругим животом. Золото ее подстрижено – жестковатое. Чуть-чуть. Его ладонь ложится на треугольник Прикрывает его. Совсем. И она шепчет: «Не надо. Я не могу думать». Сорру убирает его руку и – снова светит треугольник, такой озорной. Будто нарисованный живописцем…

– Вот ты спрашиваешь меня, Тихотеп, почему я не с тобой. А где-то далеко. Мыслями своими.

– Да, спрашиваю.

– Вот мы лежим с тобою здесь, у тебя. На твоей земле. А если бы было не так?..

– Как так – не так?

– Мой это был бы дом! Моя земля!

Тихотеп удивился:

– Твоя земля?

– Да. Где-нибудь на оазисе арамейской пустыни.

– Я бы так же горячо обнимал тебя, – сказал он.

– А потом?

– Не понимаю.

– Обнял бы. А потом?

– Любил бы тебя. Думал бы о тебе.

– Не верю! У тебя в голове было бы другое.

– Что же, Сорру?

– Твоя страна! Признайся, что было бы так!

– Верно, я бы умер, – сказал молодой ваятель.

– От грусти?

– Да.

– Ты мечтал бы о своем Кеми?

– Да.

– Вот видишь?! – Сорру уставилась на потолок. Глаза у нее тоже были голубые. А там, где зрачки, краска чуть погуще. Он называл ее Синеглазкой. Он прижался щекой к ее щеке.

«…Вот так, с прекрасной женщиной, порхающей, как мотылек, лежишь и вдруг убеждаешься, что она мыслит и полна забот. И горя, горя полна!..»

– Послушай, Сорру, а ты не можешь не напускать грусти на себя? Или ты хочешь, чтобы и я вспомнил все невзгоды? Вспомнил для того, чтобы поплакаться, пожаловаться тебе. Я так жаждал этого часа – ты же смотришь куда-то вдаль. В самое небо.

– Ты должен знать, что я из мяса и костей.

– Знаю

– Что в голове у меня тоже бродят мысли.

– И это знаю.

– Что могу грустить. И даже заплакать.

– Заплакать, Сорру, можешь. Это даже к лицу тебе. Я не люблю хохотуний, которым все трын-трава. Но согласись: грусть не чисто женское дело.

– Мужское?

– Скорее всего!

Он наливает вина и подносит ей. Она не двигается. Тогда он ставит чашу меж грудей. Склоняется над нею и пьет вино. Она говорит:

– Налей и мне.

Он спешит исполнить ее желание. Чаша полна до краев. Ваятель едва держит ее в руках, чтобы не пролить. Сорру живо садится. Вот прильнула к прохладным краям горячими губами. Очень хорошо вино!

Она говорит:

– Еще!

Тихотеп снова наполняет чашу. Она:

– Еще!

Вино – красная кровь – из одного сосуда переходит в другой, более прекрасный. И губы ее точно приросли к чаше.

– Еще!

Тихотеп озадачен: наливать ли?

– Еще!

Надо подчиниться. Не часто же приходится угощать вином такую красавицу, как Сорру. Однако Тихотеп не перестает спрашивать себя: «Что же будет потом?» Пьяный мужчина вызывал в нем чувство брезгливости. А пьяная женщина? Пусть даже красивая? Нет, не мог он представить себе, как будет выглядеть пьяная Сорру. Она совершенно нагая, очаровательная в этой наготе – зачем же еще и вино?

Сорру показала глазами на пустую чашу. Он сказал: «Нет».

Женщина продолжала упрямо смотреть на чашу.

– Нет!

Ваятель был тверд в своем решении. Почти тверд. Сорру погладила его руку мягкой, как детская рука, ладонью, и он подчинился. Размяк. Нельзя не угодить такой красавице, как Сорру…

Она сделала глоток. Еще глоток. Великая сила таилась в этом вине, и зрачки ее делались все темнее и темнее, а в самой середине их разгорался огонь любви. Жаркий огонь!

Сорру не допила. Отстранила его руку:

– Нет. Вино не помогает.

Волосы распущены. Груди обращены в разные стороны. Губы полуоткрыты, и в них голубой луч луны. Зажатый меж гранатовых губ.

– Я не хочу вина. Я хочу говорить. Мужчины не любят лишних слов. Те, которые приходят в задние комнаты лавки Усерхета. Они платят и требуют ласки. Не желают слез. Вот подружке Май очень хорошо. У нее в голове – ветер. Ей все равно, где жить…

– А тебе, Сорру?

– Мне – нет.

– Разве прекрасный Ахяти – «все равно где»?

– Да.

– Тебе здесь не нравится?

– Нет!

– Весь мир мечтает жить в Ахяти.

– Это только кажется тебе. И вашему фараону. Я предпочитаю свой родной оазис в каменистой пустыне.

– И грязь?

– Может быть, и грязь. Родную.

– Накинь на себя платье, Сорру. Я не могу разговаривать. Я начну тебя целовать.

Она оделась. О, эта прозрачная, обтягивающая тело одежда, сотканная из лучей солнца, звезд и луны. Теперь уже все равно: одета она или нет…

Солнце садится за желтыми песками Западной пустыни. Тени ложатся на землю – длинные и мрачные. Здесь, среди тенистых деревьев, под высоким навесом простой, но удобной беседки, казалось, стынет высокая тишина. Такая предзакатная. Открывающая дорогу любви и бурным ласкам. И небо в одну масть с ее глазами. И небо высокое, как шатер над миром. Как сама тишина.

– Я ненавижу вас, – сказала Сорру твердо.

– И меня?

– Не знаю. Кеми – враг своих соседей. Ваш фараон жесток и не прощает обид. Я хочу умереть!

Она не плакала. На глазах ее – ни слезинки.

Он смущен. Не знает, куда девать руки. Всего себя. И краснеет. И бледнеет. Что он слышит? Какие слова?

– Ваш фараон превращает в рабов таких, как я. Он отрезает руки павшим врагам. Он принес горе нашему оазису.

Тихотеп слушает ее речи. Он терпелив. Сносит обиду, которую никогда не причинял другим. Его ругают за то, в чем неповинен. Она дышит ему в лицо. Бросает колкие слова. В ней просыпается азиатская тигрица…

Она говорила долго. Пока не зашло солнце. Не прикасаясь ни к вину, ни к фруктам. Говорила о доброте, о терпимости, о любви к маленьким оазисам и их обитателям. Призывала к пощаде и снисходительности. Но кого? Тихотепа, который не оскорбил ни одно каменное изваяние, не то что живую тварь.

Слова ее казались молитвой, обращенной к богу. Но какому? Богу Кеми или арамейскому? Какому богу? Она говорила о душах, широких, как морг, как Великая Зелень, как небо. О сердцах, гул которых краше звуков флейты, ибо они, эти сердца, очень добрые. Казалось, не замечала его. А может быть, позабыла о его существовании? Эта маленькая женщина из лавки Усерхета…

Прошло много времени. Слова ее текли, как в чистом роднике, – лаская слух, будоража сердце. Он время от времени присматривался к ней – маленькая Сорру превратилась в мудрую женщину. Неожиданно пришла кощунственная мысль сравнить ее с царицей. Он тут же отогнал от себя эту мысль, ибо сравнение не шло на пользу ее величеству.. Эта маленькая женщина из лавки Усерхета…

Она замолчала.

А он ждал.

Сорру сидела, обхватив руками колени. Которые больно давили на непокорные груди.

Тихотеп ждал. Кончила? Не кончила. Собирается с мыслями? Нет, она выговорилась. Сорру опустила глаза. Опустила голову. И волосы ее коснулись земли.

Он начал осторожно. Скорее всего неуверенно. Знал неплохо все, что относилось к ваянию, к искусству вообще. А тут волей-неволей пришлось говорить о войне и мире о людях различных стран. Тихотеп почувствовал скудость своего ума. Нет, он не имел представления об арамейцах, их земле и жизни. Никогда не видел в глаза страну Джахи. Остров Иси знаком ему только понаслышке. Та-Нетер – далеко. И он не подымался выше первого порога. Не воевал. Не был ранен. Что же он мог сказать? Ей, которая оторвана от родного очага, от матери и отца, от братьев и сестер? Которая познала унижение под чужим небом, голод и холод?

И он стал припоминать слова его величества, которые слышал, о которых рассказывали ему. Взял ее руку в свою, поглаживая запястье – нежное, как лепесток полевого цветка.

– Сорру, я хочу сказать тебе нечто, и у тебя откроются глаза. Это слово будет правдивым, ибо не раз слышал от его величества. Постараюсь отметить изъян в твоем рассуждении. Сделаю все, чтобы разумом поняла меня, поняв меня – стала снисходительной к той стране, где обрела кров.

– Какой кров? – едко спросила Сорру,

– Обыкновенный.

– Ты называешь кровом лавку Усерхета?

– А что?

Сорру усмехнулась:

– Что бы сказал ты, если бы на моем месте оказалась твоя сестра?

– Моя сестра?

– Да. Родная. Пусть даже дочь твоего дяди. Что бы ты сказал?

– Я не думал об этом.

– А если поразмыслишь?

Она была настойчивой. Обхватила руками его шею, привлекла к себе Тихотепа – совсем близко, заглядывала ему в глаза, как в щелочки, через которые ей будто мог открыться новый мир.

«…Как же я не сообразил, что люди есть люди во всей вселенной? Вот еще один пример: Сорру! А ведь казалась она беззаботной пташкой…»

– Сорру, я скажу сейчас то, что скажу: вот уж десять лет Кеми не ведет войны…

– Кто тебе сказал? – Она не разжимает рук, которые вокруг его шеи.

– Это знают все.

– А я?

– Что – ты?

– Ты говоришь «все», – значит, и я. Но я свидетельница другому: война не прекращается! Она кипит на границах Кеми…

– На нас нападают… Вот и война, значит…

– За что же ненавидят вас?

– Кто ненавидит?

– Все!

– Я могу сказать одно: ни один наш воин не перешел рубежи по приказу его величества. Кеми подает примеры благородства. Соседи наши уважаемы нами, словно это – народ Кеми. Имеется строжайший приказ о том, чтобы мир и дружба царили на границах Кеми с сопредельными странами. Это хорошо известно – можешь мне поверить!

– Так почему же гибнут люди и не прекращается звон мечей и ржание обезумевших коней?

– На нас идут хетты, князья Ретену, ваши князья, царьки Джахи, князья Эфиопии. Это

они теснят наших воинов. Поверь мне, Сорру! Вот мнение фараона: он не желает войны с соседями!..

– Тогда об этом должны быть уведомлены соседи.

– Это уже сделано!

– Когда?

– Десять лет тому назад. И пять лет назад. И три года назад. И три дня назад.

Она отпустила его. Даже отстранила от себя. Правда, не грубо, ибо он казался сущим младенцем. Который взирает на мир пустыми глазами. Она сказала ему об этом своем ощущении. Тихотеп, к удивлению Сорру, согласился. Ухмыльнулся. Эдак горько. Подумал и сказал:

– Наверно, ты права, Сорру. День и ночь я думаю о своем ваянии. Даже когда сплю, мне кажется, что в руках у меня глина и что мну ее пальцами. Только несколько дней тому назад, увидев тебя, стал думать и о тебе.

– Как о глиняном слепке?

– Почти! – Его ответ был искренен. И это понравилось ей.

– Мне по душе твоя откровенность. Я это почувствовала еще там, в лавке… Так что же ты думаешь обо мне?

– Ты у меня вот здесь! – Тихотеп ткнул пальцем свой лоб

– А Май?

– Что – Май?

– И она там тоже?

– Только ты у меня вот здесь.

– Только, только, только?

– Да.

– Нет, ты отвечай мне: только, только, только?

Он захохотал. Чтобы доставить ей удовольствие, воскликнул:

– Только, только, только, только!

– Вот это в моем вкусе!

Ваятель обнял ее. Потом, скользя по ней, опускался все ниже и ниже и припал губами к ногам. И он пил их, будто воду в Западной пустыне. Жадно, жадно! И он лежал у ее ног, как человек, напуганный воем песчаной бури и ищущий защиты на сухой земле. И, в приливе чувств, прошептал:

– Сорру, я очень люблю тебя. Ты оказалась умнее меня. Глаза твои видят дальше меня. Уж я, уж, живущий в земле!

Она умна, но она – женщина. Сорру говорит:

– Ты правду сказал о Май?

– Сущую!

– Май красива. Она умеет приворожить. Никто не избегнет ее чар, если она того захочет. Девять заклинаний ее способны поразить в самое сердце.

– Не верь этому, Сорру.

– Готова не верить. Всем сердцем. Но я видела все сама. Хочешь, она и тебя приворожит?

– У нее сил недостанет.

– Май училась у одной вавилонянки. Старой такой. Беззубой. Она полюбила Май, как дочь, Ты должен дать слово, что будешь остерегаться ее.

– Даю!

– А клятва? Где же клятва?

Тихотеп поклялся. Хорошее настроение вернулось к нему. Он взял ее за подбородок, повернул голову «в три четверти» и залюбовался. Как ваятель. И как мужчина.

– Вот лицо, которое я хотел бы высечь в камне. И ты будешь стоять рядом с царицей. Я это могу сделать…

– Чтобы я стояла рядом с нею? – перебила Сорру.

– Да.

– С живою?

Ваятель как бы пришел в себя. Прищурил глаза, получше разглядывая Сорру.

– А ты хотела бы стоять рядом с живою?

– Да. Это моя мечта.

– Зачем?

Он поворачивает ее голову чуть вправо, потом – чуть влево.

– Ты создана, чтобы жить в камне… В розовом камне, Сорру… Если свет будет падать с этой стороны, освещая твою левую щеку, красота твоя утроится. И камень будет равен слитку серебра. А может быть, еще дороже.

– Что же может быть дороже серебра?

– Ты! Ты дороже!.. А ты любишь?

– Не поняла – кого?

– Кого-нибудь еще?

– Не знаю..

– Я все вижу… Нет, пожалуй, лучше, если свет будет справа… Слышишь? – я все вижу…

– Я только с тобою могла поговорить о своем горе.

– Правда?

– Да, правда.

– И нос у тебя изумительный. Я такого еще не встречал… Почему со мной? Я внушаю доверие?

– Да.

– Но я же такой, как все…

– Я хотела загрызть тебя, когда ты лежал на мне. Так, как это делают волки.

– Значит, я такой, как все.

– Однако же ты жив. Не загрызла. Ты мужчина, но чуточку не такой. У тебя – душа! И не говори мне больше ни слова. Слышишь? Ни слова! Дай вина… Раздень меня. Можешь порвать одежду. Она как трава. А может, еще дешевле. Я могу ходить нагой. По городу. Если ты прикажешь… Ну, поцелуй…

Соправительница

Маху и Пенту явились к его величеству без промедления. На фараоне была парадная одежда, которая служила ему в особо торжественных случаях. Под бело-красной короной Верхнего и Нижнего Кеми и с золотым уреем на лбу царь казался выше и статней. Как говорили царедворцы, она очень ему шла.

По левую руку от него стояла Кийа – наложница (так называли ее злые языки, правда, втихомолку, шепча на ухо друзьям, весьма доверительно). Взгляд ее больших и чуть раскосых глаз, казалось, застыл в изумлении. Она словно ждала какой-то опасности, но не знала точно, откуда придет эта опасность.

Увидела Кийа царедворцев, и ноздри у нее раздулись то ли от гнева, то ли от внутреннего напряжения, усилившегося оттого, что вошли эти двое – Пенту и Маху

Нет, ничего хорошего не ждала от них. Если бы это зависело от Пенту и Маху – Кийю давным-давно сгноили бы где-нибудь в Синайской пустыне (там, говорят, целые поселения прокаженных). Пенту и Маху в глубине души своей – за царицу, против Кийи и, – кто знает! – может, и против самого фараона. Никто этого не может знать доподлинно, пока пальма здорова и цветет – все с благоговением взирают на нее, но достаточно… Вот именно: что будет потом, когда пальма рухнет в один из несчастнейших, черных дней?

Фараон скрестил руки на груди. Выражение лица его сосредоточенно, словно никого и не замечает в этой комнате.

Маху и Пенту согнулись в глубоком, почтительнейшем поклоне На миг закрыли лица ладонями в знак того, что перед ними – истинное божество, излучающее ослепительный, хотя и невидимый свет.

Его величество выдержал паузу. Она получилась дольше обычной. (Это значит, что дело – нешуточное.) Что же он задумал?

«…Неужели Маху ничего не смыслит? Он сопит, точно гиппопотам в болоте. Затея его величества ясна и не требует лишних объяснений: полная отставка царице! Ее место займет вон та, нахохлившаяся, как воробей в непогоду…»

«.. Пенту или с ума спятил, или притворяется полоумным В самые крутые времена Пенту прикидывается немощным или не сведущим в делах человеком. Однажды прикинулся даже глухим. Это очень выгодно, когда человек все может, когда притворство его не вызывает особых подозрений. Сбылось то самое, что шепотом разносилось по дворцовым коридорам. Фараон только подумал, а уж языки разносят его мысли. Такова премудрость жизни. Пробил час. на смену ее величеству идет другая – ее величество Кийа..»

Фараон поглаживает бороду, которая приклеивается к подбородку в торжественных случаях. Приклеивается или подвязывается – это зависит от прихоти его величества.

«…Вот они прибежали на мой зов, словно собаки. И ни одна из них не уступит другой кости, которую брошу им. Брошу, если на то будет моя воля. Догадались ли они о том, что от них требуется, или придется растолковывать им совершенно очевидное, понятное даже слепцу?»

Только Кийа, казалось, ни о чем не думала Глаза ее были устремлены на двух стариков – толстого и тощего. О боже! – неужели подобные развалины могут приносить пользу такому огромному государству, как Кеми? Зачем его величество держит их возле себя, вместо того, чтобы поставить под свое начало молодых – полных сил и решимости, отчаянных в своем упорстве и трудолюбии?..

Фараон спросил:

– Что слышно на Севере, Маху?

Север – это хетты… Это – Митанни. Это – Ретену. Это – Джахи. Север – это непрерывная война – от сотворения Кеми до этих дней, от фараона Нармера до его величества – жизнь, здоровье, сила! Север нынче – это позор для войск Кеми, отступающих, подобно льву, который на брюхе, с рычаньем, лязганьем зубов. Поэтому разговор о Севере – сугубо конфиденциальный…

– Я спрашиваю, Маху, что на Севере?

Его величество грозно приказывает. Его величество может выйти из себя. Через мгновение. И даже не заметишь этого мгновения. Тогда пеняй на себя!

Маху посматривает на Кийю, эдак многозначительно, – дескать, можно ли при ней?..

– Ты слышал, Маху?

– Да, твое величество.

Кийа скашивает взгляд на него – этого тучного человека, из которого – дай срок! – выпустят лишнее. Вот так: перетопят, словно рыбу на жир, и – все!..

Пенту приходит на выручку неуклюжему Маху:

– Твое величество, в арамейской стороне было совершено нападение на наши крепости…

– Как?! – Его величество, кажется, никого не видит. – Как?! На все крепости сразу?

– Нет, на две. Которые близ горы, называемой Муффа.

– Маленькая или большая гора?

– Она тянется с севера на юг. Здесь – два сехена от подножия к подножию. А с востока на запад – половина сехена.

– Гора небольшая, – говорит Кийа.

Фараон согласен: небольшая, можно сказать – горушка. Он кивает ей.

Маху вроде бы приходит в себя. Дар речи возвращается к нему. И он спешит – очень спешит! – сообщить фараону нечто важное.

– Твое величество, я получил сообщение: наши войска в Ретену отступают. Иные полки бежали… в беспорядке.

– Как это – бежали? – Кийа хмурит густые, жесткие брови.

– Назад бежали.

Его величество обращается к ней:

– Когда речь идет о войске, никогда не говорят: бежали вперед. Если даже воины наступают стремглав. Касаясь вражеских спин острием своих копий.

– Да, твое величество, это теперь я усвоила.

И ее пухлые – немного бесстыжие – губы сжимаются в узкую полоску…

«…Эта буйволица еще покажет себя. И мы помянем добрым словом суровую в соответственное время, но справедливую во все годы царицу нашу Нафтиту…»

«…Так ведет себя царица, которая процарствовала, по крайней мере, десять лет…»

«…Молодчина Кийа! С ними только так и надо обращаться. Слуги любят указующий перст хозяина. Слуги обожают царя, снесшего головы многочисленным подданным. Вот так, только так, дорогая Кийа – услада души моей, опора плоти моей, огонь, согревающий стынущую кровь мою!..»

Маху продолжал с воодушевлением, приходящим к царедворцам не сразу, но понемногу. Такое воодушевление исчезает не скоро. Следы его остаются на годы. Царедворец в этом случае быстро наживает на спине горб от многочисленных знаков преданности господину и полного раболепия.

– Твое величество – жизнь, здоровье, сила! – Небольшой наклон головы и в сторону Кийи. – На самом берегу моря – чуть повыше линии, если ее провести от Кодшу до берега, – наши воины тоже отошли…

– Не устояли под натиском врага?

– Боялись попасть в засаду.

– Хороши вояки!

– Твое величество, здесь пала тысяча воинов.

– Каким образом?

– Хетты наседали

– Как – уже и наседали?! Ты же сказал, что наши опасались засады.

–Засада сопутствовала наступлению врага. Один замысел его тесно переплетался с другим.

У фараона задергался подбородок:

– Маху, сколько раз предупреждал тебя изъясняться простым, ясным языком.

Маху подобострастно склонился.

– Сколько раз? – спрашиваю.

– Много раз.

– Да, именно много раз Я приказывал отбросить язык пыльных свитков. Посмотрите в окно, и вы увидите прекраснейшее из творений Атона – город его солнцеликости, великий Ахяти. Дворцы, построенные так, как никогда не строили их в Кеми: быстро – точно молния блеснула, красиво, будто солнце застыло на его стенах, волшебно, словно лунные лучи превращены в камни – белые молочные. Три года – и город Ахяти царственно смотрится в Хапи! Разве с помощью языка, подобного твоему, одолели бы мы постройку в столь сказочный срок? Тебя бы не поняли строители Ахяти, они засмеяли бы тебя и вместо дворцов и храмов соорудили бы что-нибудь несусветное.

– Твое величество, это истина! – говорит Кийа.

– Истина, истина! – подтверждает Пенту.

Маху вот-вот бросится наземь – где-то между его величеством и Кийей; даже не совсем понятно – перед кем? Еще мгновение, и он облобызает маленькие ноги стройной, горячей, как кусок солнца, женщины…

– Прости, великий владыка Кеми, – прохрипел Маху. – Прости!

Фараон махнул рукой. И, словно бы никого не замечая у себя под ногами, сказал Кийе:

– Не кажется ли тебе, что хетты слишком наглеют?

– Это так, – ответила Кийа.

– Видит светозарный Атон: я сознательно избегал столкновений с хеттами. Я отдал приказ не тревожить набегами Ретену. Я сказал Хоремхебу: с нашей стороны ничто не должно огорчать эфиопов. Ливийцам я протянул руку дружбы. Скажи мне: было все это или мне так кажется?

– Было!

– В таком случае не странно ли, что за всю покладистость платят мне неблагодарностью? – Фараон сохранял внешнее спокойствие, смешанное с торжественностью, словно перед ним стояли не двое – Пенту и Маху, но сотня царедворцев. – Мне понятна ярость жрецов Амона Я не доставил им никакой радости. Никакой! Я разрушил их бога, – куски летели в стороны! Священные камни стали наподобие бараньих рогов – теперь никакой силой их не выпрямишь. Стерто, стерто навсегда ненавистное имя!

Кийа слушала фараона благоговейно – будто впервые увидела его, словно пыталась запечатлеть его лик пред долгой разлукой

«…Она пойдет далеко, эта женщина Маху быстро сообразил, как и когда следует пасть наземь. Маху – человек умный. Искушенный. Он видит, что лежит на глубине трех локтей под землей. Его величество сделал свой выбор. Семнех-ке-рэ придется ждать. Может быть, очень долго – до полей Иалу…»

«…Не могу уразуметь: на что надеется этот Пенту? Ведет себя так, словно сейчас войдет сюда ее величество, чтобы сказать свое слово. Но разве реки текут вспять? Его величество не признает перемен, когда решил что-либо. Он идет напролом, точно бегемот в камышовых зарослях…»

– Я предложил мир соседним народам. Всем! А они воспользовались предложением? Я спрашиваю: воспользовались?

Кого он спрашивал: Кийю, Пенту, Маху? Все трое молчали.

– Я спрашиваю: воспользовались?

Кийа сказала:

– Нет.

– Я спрашиваю: воспользовались? – Фараон возвысил голос.

– Нет, – ответил Маху. – Не все.

– Я спрашиваю: воспользовались? – Фараон сказал еще громче, нетерпеливее.

– Они это сочли твоей слабостью, – проговорил Пенту совсем тихо.

– Слабостью?

– Да.

– Это почему же – слабостью?

Теперь стало ясно, что его величество желал услышать голос Пенту, желал знать его мнение.

– Твое величество, человек устроен так: он хорошо понимает силу и плохо разбирается в доводах

разума. Все государства, кроме Кеми, управляются людьми. Следовательно, человеческие слабости свойственны их правителям. Кнут в руках погонщика – прекрасный довод. Чего нельзя сказать о добрых словах, о хороших побуждениях души. Твои божественные чувства ко всем сопредельным странам должны были быть оценены должным образом. Они должны были внушить уважение, благоговение и страх Но этого не случилось.

– Почему же, Пенту? – На щеках у Кийи вспыхнул румянец ноздри расширились неимоверно, и казалось, дыхание ее стало неожиданно горячим, как огонь.

«…Вот разговаривает Пенту с их величествами, и я имею возможность посмотреть со стороны. Становится очевидным ее величество – та которая в Северном дворце, – уже не ее

величество. Будет ли Семнех-ке-рэ соправителем? До сегодняшнего утра можно было сказать: пожалуй. Теперь же – яснее ясного: нет!. Знает ли об этом Хоремхеб? Если да, то почему не предупредил меня? Если нет, то следует ли предупредить его? Непременно. И поскорее!..»

– Я отвечу тебе, – сказал Пенту с полупоклоном (шея почему-то не сгибалась перед Кийей) – Великодушие и доброе сердце его величества – жизнь, здоровье, сила! – были истолкованы превратно. Да, превратно! И вот враги наши идут вперед… Медленно, но верно.

Фараон дернул плечами Словно его напугали.

– Почему же «верно»? Я понимаю «медленно». Но при чем тут «верно»?

– Я сказал в том смысле, как понимают они.

– Это они тебе сообщили?

– Косвенным образом Кто же об этом станет говорить прямо? Ведь Кеми, ведомый твоим величеством, корабль непобедимый благоденствующий и крепкий остовом своим.

– Да, это так, Пенту.

Маху сказал:

– Они еще не уразумели главного: не надо выводить из себя твое величество.

– О! – воскликнул фараон. – Маху высказал то, что у меня – на самом кончике языка Верно: меня они еще не знают! Но вывести из себя могут. Вот тогда-то я призову к себе Хоремхеба и скажу ему: вот что, мой верный военачальник, бери-ка меч и иди походом на такие-то страны. Сверни шеи их правителям, сровняй с землей города их, сожги нивы, забирай себе их жен и детей! Как вы думаете, что ответит Хоремхеб?

Кийа сказала:

– У него заблестят глаза от радости, ибо руки у него давно чешутся.

Маху добавил к этому:

– Не будет для него приказа милее. Ион измолотит своих врагов по слову твоего величества.

Пенту согласно кивнул:

– Верно, так будет.

У фараона затрясся подбородок, и он поднял вверх правую руку:

– Мои враги поймут свое горе. Увидят его воочию, когда будет дело непоправимо!

«…Что с ним? Что с ним? Его заворожила эта маленькая женщина, полная страсти. Нет, это не тот фараон, который был год назад, полгода назад, даже вчера. Маху стоит, широко раскрыв от удивления глаза. Он ушам своим не верит. Нет уже великой царицы! Она в своем дворце. Она женщина, и не более. Что же теперь будет с Кеми? С кем поговорить об этом? И кто пожелает говорить?..»

«…Пенту молчит. Он удивлен. Поражен, точно из угла этого зала на него налетел лев. Пенту многоопытен. Пенту мудр. Как бы с ним перемолвиться словом? Сегодня же…»

«…Вот стоят два царедворца перед его величеством, и языки у них ворочаются медленно, точно после многих выпитых чарок крепкого пива. С большой неохотой поворачиваются в мою сторону. Но они знают все, только не признаются. Их собачий нюх чует все, но собаки эти не скулят и не визжат от радости. Эти хитроумные царедворцы прикусили языки до поры, до поры, до поры…»

– Что же молчишь ты, Пенту?

– Твое величество, я думаю.

– О чем же?

– О твоем справедливом гневе.

– И – что же?

– Мудрость твоя, о царь, непогрешима, и воля твоя, словно камень базальт. Я бы хотел поразмыслить еще немного, прежде чем скажу то, что хочу сказать.

– А сейчас не можешь?

– Мне надо нанизать песчинки мыслей на невидимую нить моих рассуждений. Чтобы

мог изложить их твоему величеству без запинок, ибо стар становлюсь и слова исчезают из головы, подобно листьям в пору увядания.

Фараон сощурил глаза до предела. Они превратились в одну узкую линию, выведенную рукою скриба, В эти мгновения он обычно сверлил взглядом собеседника, пытаясь проникнуть в тайники его души. Он тряхнул головой:

– Ладно! Перенесем этот разговор на другое время. Ты, Пенту, получше обдумай свою мысль. И посоветуйся с Хоремхебом. – Фараон бросил взгляд на Кийю. – Поговори с ним. Он человек храбрый… Сейчас же – вот что: ее величество Кийа будет моей соправительницей. Когда и как мы сообщим об этом из Окна явлений? Я бы хотел услышать ваш совет.

Пенту склонил голову в знак покорности. И так, не подымая ее, сказал:

– Твое величество, воля твоя безгранична. Одно дуновение уст твоих…

– Перестань! Говори прямо.

– Твое величество…

– Прямо!

Пенту поднял голову, чуть даже запрокинул ее назад. И – будь что будет! – выложил свою краткую мысль:

– Это невозможно, твое величество. Соправительница должна быть объявлена царицей ритуально. Согласно заведенному порядку…

Фараон перебил его:

– Кем и когда заведенному? Я такого порядка не заводил. Ибо впервые назначаю соправительницу.

– Воля твоя.

Фараон остановил его мановением руки:

– Нет, нет, я хочу, Пенту, выслушать все твои доводы, а может быть, и откровенные возражения.

– Для этого, твое величество, я должен знать немного больше того что знаю.

– Ты знаешь все!

– Я?

– Да, ты.

Пенту, по обычаю, перенятому у вавилонян, приложил руку к своему сердцу: дескать, говорю от души, чистосердечно:

– Неужели, твое величество, в таком искусстве, как управление великим государством Кеми, я должен руководствоваться догадками или подсказками моего сердца? Если у меня требуют советов, то не должен ли я досконально разобраться в том деле, которого касаюсь? Наше государство требует железной руки. Однако это вовсе не значит, что должна направляться рука людьми малосведущими. Ты, твое величество, есть светоч, освещающий деяния всех и каждого в отдельности Мы, твои недостойные слуги, призваны сообщить твоим божественным мыслям и повелениям тот единственно возможный смысл, который делает их зримыми и ощутимыми. Короче: мы – землекопы, делающие маленькое, но весьма нужное дело. Согласно слову твоему.

– И что же из этого следует?

– Я, твой верный слуга, обязан понимать своим маленьким умом…

– Разве ты не понимаешь?

– Не все, твое величество, не все.

Кийа неожиданно приняла сторону Пенту:

«…Этот старик не такой уж непонятливый и несчастный слуга, каким представляется. Но в самом деле, почему бы не сказать ему все, чтобы он понял все? Чтобы без оговорок. Как известно, эти оговорки очень важны для чиновников в их игре, которую ведут повседневно…»

– Твое величество, – сказала вслух Кийа, – Пенту прав в одном отношении: он хочет услышать из твоих уст нечто, что рассеет его сомнения.

– Истинно, истинно!

– Ты думаешь? – проговорил фараон, недоверчиво скашивая глаза на царедворцев.

– Да, – твердо ответила Кийа.

Фараон раздумывал всего одно мгновение: как всегда, когда хотел сообщить давно предрешенное, давно дозревшее в его неспокойной голове. Затем порывисто обнял за плечи Кийю и провозгласил тихим, но властным голосом:

– Объявляю вам, Пенту и Маху, что отныне она становится моей женой – притом единственной – и объявляется соправительницей моей на троне священном Верхнего и Нижнего Кеми. Пусть моя безграничная любовь к ней побудит вас обоих, а через вас и всех моих слуг к полному и безоговорочному возвеличению ее величества Кийи. – Фараон передохнул и спросил: – Что я должен сказать еще или сделать для того, чтобы ни ты, Пенту, ни ты, Маху, больше не ссылались на свою неосведомленность?

Фараон и на этот раз показал себя человеком решительным, лишающим себя всех путей для отступления и мгновенно вносящим ясность в любую затею.

Пенту и Маху склонились в знак безграничного повиновения. Его величество выждал немного, а потом сказал:

– Теперь вы знаете все, и вам поручается соответственно обставить появление ее величества – моей соправительницы – в Окне явлений.

Его величество, не выпуская из объятий Кийю, направился к двери, ведущей к внутренним покоям. Когда умолчли шаги, царедворцы стояли еще некоторое время без движения, как бы пораженные величием происшедшего. К тому же они чувствовали на себе тайные взгляды: за ними, несомненно, наблюдали.

Пенту поднял руки вверх, к потолку, и воскликнул:

– О великий Атон, храни для нас всемогущего и мудрого владыку нашего!

В голос ему повторил эти слова и Маху, присовокупив:

– .. Всемогущего, всемудрейшего, благого бога нашего!

И оба поцеловали следы ног его величества и следы ног ее величества. И, счастливые, попятились к выходу, словно бы царь и царица все еще стояли перед ними.

В северном дворце

Принцесса Меритатон нашла царицу тихо грустящей. Она сидела в самом углу любимой комнаты, расписанной по рисункам Бека. Это был сад, благоухающий сад в месяц эпифи. На стонах – сочная зелень На потолке – зелень, сквозь которую проглядывает небесная просинь. А на полу – вода: живая вода, переливающаяся голубыми и бесцветными волночками. Словно кинули камешек в этот чистый пруд. А в воде – рыбы: угри, карпы, сомы, толстомордые и злые, как азиаты, щуки. Даже в знойную пору здесь, в этой комнате, кажется прохладно: так живо, так натурально сработали живописцы этот сад из мертвых красок.

Царица сидела на циновке, поджав ноги и облокотясь на расшитую золотом подушку. Она была красивой, как всегда, и внешне спокойной, как всегда.

Меритатон, которой уже минуло пятнадцать, кивнула мужу, стоявшему за порогом, и они вошли чуть ли не на цыпочках. В комнате было темно – горел всего лишь один светильник. Стояла сумеречная тишина, когда в ушах звенит от тишины и стучит сердце от тишины.

Принцесса обняла мать и опустилась рядом. Семнех-ке-рэ уселся на низенькую скамью. Молодой человек, казалось, только что перенес тяжелую болезнь: лицо его было бледным, глаза – добрые мальчишечьи глаза – лишены блеска. Широкие скулы и правильной формы нос отражали словно бы два начала: мужское и женское, суровое и нежное.

– Мама, – сказала принцесса, касаясь рукой руки царицы, – не надо… Не грусти…

– Не могу, – прошептала мать.

«…Дочь пытается успокоить мать. Кому это под силу? Разве ее величество нуждается в

утешении? Она слишком велика для этого. Она слишком сильна для этого…»

Семнех-ке-рэ припомнил случаи, когда царица сама ободряла других, даже фараона. Именно царица внушала его величеству твердость и решимость, когда порою они покидали болезненного фараона. Неужели же настал черед, чтобы утешать ее величество, говорить ей слова, которым никто не верит и которым нельзя поверить? Сокол всегда должен быть готовым к падению. С самой большой высоты! Падение, а не взлет делает сокола соколам, а иначе это – воробей, купающийся в пыли. О чем говорить с царицей? Или сидеть вот так, точно перед тобой покойник?.. К счастью, – как это бывало не раз – пришла на помощь слабая и могучая женщина. Ее величество. Она спросила:

– Что во дворце? Что говорят?

– О чем, мама?

– Обо мне, например.

Меритатон полагает, это надо держаться только правды, даже в эту тяжкую минуту. Этому учил ее отец. Так воспитывала дочерей царица.

– Многие сочувствуют тебе. Но прилежно падают ниц перед соправительницей…

Ей не хотелось произносить это ненавистное имя: Кийа! Царица уставилась в одну точку – листочек винограда, такой свежий и яркий. Что она читала на нем? Чей ей виделся образ?..

– Нет, – сказала она.

– Что – «нет»?

– Никто мне не сочувствует И мне этого не надо! Гроздь, упавшая наземь, – уже не виноград.

– Мама…

– Выслушай меня до конца. Всякое сочувствие к себе – отвергаю! Сочувствовать надо не мне, но Кеми. Я думаю о том, что дальше. Надо думать о боге, великом Атоне. Он должен жить в сердце всего Кеми незыблемо. Надо думать о том, что будут делать наши воины на границах Кеми. Надо думать о том, что собираются делать служители Амона, не сложившие оружия. И о том – а это главное, – каково течение мыслей его величества. И соправительницы.

– Мама, что бы ни говорили, – дворец на твоей стороне.

– Стены?

– Почему – стены?

– Фундаменты? Лестницы? Окна? Двери?

– Я говорю о вельможах, мама.

– Они как молодая пальма: дунет ветер – и они склоняются. Но так же легко поднимаются и так же легко изгибаются в другую сторону. Нет, дочь моя, не напоминай о вельможах!

– Но я сама слышала от них…

– Они не побоялись сказать об этом?

– Нет.

– Но это очень дурной знак. Поверь мне, ничего хорошего! Кеми испокон веку держится на железной дисциплине. Без этой дисциплины – нас ждет погибель. Слово, сказанное в Ахяти, Мен-Нофере или Уасете, должно звучать так же отчетливо в Та-Нетер, в Ретену или в Ливийской пустыне. Власть фараона непререкаема. Она слишком божественна, чтобы о ней могли иметь суждение – а тем более осуждать ее под любым предлогом – простые смертные. И даже вельможи! Я предупреждала об этом твоего отца. И не раз. Но он, оказывается, слушал другие слова. Эта женщина слишком много на себя берет!

– Что же теперь будет, мама? – Меритатон с сожалением и сочувствием смотрела на царицу. Она ве могла позволить себе большего – это могло бы обидеть мать. Та мужественно переносила удар, который, в общем-то, оказался для нее в какой-то степени неожиданным. Она отдавала себе отчет в том, что отношения с фараоном складывались все хуже и хуже. Частично это приписывала интригам Хоремхеба и его партии. Можно было предположить,

что фараон объявит своим соправителем Семнех-ке-рэ. Весьма вероятно, что отношения их – чисто семейные – тоже подверглись бы каким-то изменениям в сторону ухудшения. Со временем. Но так безрассудно порывать с нею? И так необдуманно объявлять соправительницей эту Кийю? Ведь все это волей-неволей ставит под сомнение всю политику – как внутреннюю, так и внешнюю! И не может не поколебать божественное имя Атона. То есть фараон наносит собственноручно удар, последствия которого скажутся, может быть, не сразу, но скажутся непременно. Или он полагает, что имя Амона окончательно забыто? Или полностью вывелись жрецы, ненавидящие фараона? И жрецы, и их богатые покровители…

Семнех-ке-рэ предложил царице свои услуги. Вроде посредничества, что ли. Как-никак он не очень далек от трона.

– Я переговорю с его величеством. Не поверю, что все это он делает в болезненном припадке. Ведь припадок проходит! Если так, то его величество, наверное, объяснит все происходящее. Мы опрашиваем друг друга: почему Кийа и кто она такая?

– Нехорошо получилось, – сказала принцесса. Она сжала руку матери. Та ответила ей тем же.

– Наша дорогая царица очень хорошо рассуждала только что о делах государственных. Соправительница Кийа – вызов всему миру.

– Не только вызов, – поправила царица. – Это такое действие, которое может подточить государственные устои…

– Притом незаметно.

– Исподволь!

– Тогда, спрашивается, дорогая царица, к чему вся эта невероятная борьба в течение семнадцати лет? Страдания, муки, трата сил, здоровья, если все можно потерять за несколько дней?

Царица скорбно пожала плечами. Она сказала:

– Расскажи мне: что было сегодня?

Семнех-ке-рэ посмотрел на жену. Ему показалось, что она утвердительно кивнула, – дескать, рассказывай. Молодой человек помялся немного: скрывать ли что-либо, приукрашивать ли? Принцесса снова кивнула ему…

– Дорогая царица…

– Я слушаю, – глухо отозвалась ее величество.

– … Его величество, вопреки обычаю, сам объявил…

– Она была тут же? В Окне? – перебила она.

– Его величество обнимал ее за плечи… – Семнех-ке-рэ запнулся.

– Я слушаю. Я жду правды!

– …обнимал за плечи. Они стояли в Окне явлений, и все, кто видел их, лежали распростершись. На земле. Ликовали. Выкликали ее имя и просили милости.

– Это продолжалось долго?

– Не очень. Его величество бросал золото. Много золота!

– А что же она?

– Кийа?..

– Можешь не называть это имя.

– Эта женщина стояла рядом. Вызывающе задрав нос. Словно сам бог только что разговаривал с нею. Она задрала нос высоко!

Принцесса подтвердила это. Да, все обратили внимание на ее нос. И глаза у нее сияли…

– Говорите, говорите…

Царице будто очень хотелось, чтобы истязали ее перечислением самых незначительных, обидных для нее мелочей. Ей будто доставляло удовольствие это унижение. Точно не терпелось испить всю горькую чашу до дна.

– Дорогая царица, он целовал ее при всех…

– Да, это на него похоже…

– Твоя дочь закрыла глаза, чтобы не видеть.

– Зачем?

– Чтобы не видеть.

– Напротив. – Царица вздохнула. – Почему же не видеть? Все это происходит в Ахяти, в Кеми. Зачем же закрывать глаза?! Если бы меня позвали, я бы, напротив, глядела бы широко раскрытыми глазами. Знайте: любая мелочь нанизывается на память народа Кеми, писцы запишут ее на папирусе. Будущие поколения будут знать все и рассудят по-своему…

– Мама, но это очень долго! – Дочь чуть не плакала.

– А потом? – спросила в нетерпении царица. «… За Порогами Хапи много скал. Они крепки, как небо. Если бы наша дорогая царица превратилась в одну из скал – не было бы скалы крепче ее во всем мире…»

– А потом?

– Он сказал, что доволен своими подданными. Сказал, что будет добр и милостив к ним, ибо так желает эта самая женщина.

– Добр и милостив?

– Да. Что новые гимны он посвятит соправительнице и эти гимны будут прекраснейшими из сочиненных им.

– Это возможно.

– А уходя, обернулся и громко сказал: «Маху, сто палочных ударов семеру Ахяти. Я слышал, что в этом городе некий полоумный юноша рвал на себе одежду. Он не желал идти в полк.» И ушел. Обнимая ее. За плечи. И долгое оцепенение охватило придворных.

– А потом?

– Потом мы явились к тебе.

– Зачем он позвал вас к Окну явлений?

Семнех-ке-рэ был вполне определенного мнения на этот счет: чтобы царица узнала обо всем из первых рук. И чтобы досадить ему, Семнех-ке-рэ.

– Да, наверное, – произнесла царица.

Недалеко от нее – всего на локоть – на сочной траве паслась пугливая куропатка. Она подняла правую ножку, повернула голову назад. Глаза ее точно черный песок. В них – чистые домыслы и настороженность. Эту куропатку особенно любила царица. Могла любоваться ею часами. И ей казалось, что птица думает о том же, о чем думает сама. В любое время! В радости. В горе. В тревоге. Какая это чудесная куропатка! Вот и сейчас: кто-то крадется в зарослях, слышен шорох сухих листьев – и куропатка заволновалась. Сердце ее застучало в тревоге. Не так ли сейчас и царица? Не так ли тревожится? И не такие ли у нее глаза?

– Дочь моя, ни ты, ни твой муж не должны показывать вида… Не должны горевать.

– У меня глаза полныслез.

– Осуши их.

– Сердце слишком обижено.

– Успокой его.

– Мы думаем о тебе.

– Не надо. Есть бог! Он встает каждое утро, чтобы обозреть Кеми.

– Да, встает.

– Он решает, что здесь хорошо и что худо.

– Решает, – благоговейно повторила принцесса.

Семнех-ке-рэ слушал царицыны речи, дивясь ее мудрости и беспредельной, воистину мужской выдержке.

– Сейчас каждая ваша слеза и вздох ваш горестный будут развлечением для этой женщины.

– Так что же нам делать?

– Уповать на святого отца нашего, который в небе, в ореоле диска своего.

– Уповаем, – произнесла в порыве благоговения принцесса.

– Он повернет тердца в нужную сторону. И люди обретут прежнюю душу. Светозарный бог наш Атон не оставит Кеми. Он пребудет с нами в эти трудные дни. И в эти, и в грядущие.

Голос у царицы предательски дрожал. Но глаза ее были ясны, и не скажешь, что на сердце ее – тревога, а душа – муторна, как после глотка прокисшего пива. Зять ее почел своим долгом удалиться. Ему казалось, что мать с дочерью найдут для беседы особые слова, которые успокоят их, приведут в некоторое равновесие взбаламученные последними, может быть роковыми, событиями душевные силы. Его высочество осторожно поднялся и медленно вышел в дверь. Осторожно прикрыл ее за собою.

Дворец погружен в темноту. Где-то в конце коридора, словно на краю света, горит светильник. Скорбный дворец со скорбящей царицей! Разное случается в жизни! Бывает и такое: жил веселый, залитый смехом дворец, деятельный, могущественный, а стал гробницей.

Его высочество прошел на балкон. Облокотился о балюстраду, которая в форме цветочных стеблей.

Глядя в темноту, он думал о будущем, точнее, о завтрашнем, о послезавтрашнем дне. Что ожидает их? Что готовит фараон стране? Каковы помыслы Кийи? Неужели фараон предаст забвению вечную любовь к Нафтите, любовь, о которой осведомлены даже последний немху и парасхит, любовь, воспетую в гимнах, отображенную в живописи, увековеченную ваятелями и скрибами? Его высочество понимал, вернее, чувствовал – наступила пора неизвестности, треволнений и борьбы. Но борьбы – с кем? С фараоном? Это невозможно. С Кийей? Это все равно что с фараоном! С Хоремхебом? С Пенту? Кто, какой мудрец скажет: с кем предстоит борьба? Но испытания наверняка предстоят. Надо быть готовым ко всему.

Вот лежит огромная страна. Она простерлась во вселенной: от Верхних Порогов Хапи до моря Великой Зелени, в которое течет Хапи. И дальше: до азиатских владений, до государства бородатых вавилонян. И еще дальше! Огромная страна, огромный народ! Но что все это без божественной головы! Все равно что свет без божества! Если Великий Дом в Ахяти покачнется в глазах мира, то что же тогда, станет с Кеми? Отвернутся друзья, осмелеют враги, которые и так уже теснят фараоновы войска…

Но чем больше задумывался надо всем этим его высочество, тем сильнее ощущал немощь в делах государственных. Он мог ответить совершенно определенно только на один вопрос: между царем и царицей все кончено! Трещину в камне не заделать: она останется трещиной. Фараон не из тех, кто возвращается, вспять он не ходит, решенного дела не меняет. Дай бог, чтобы все окончилось только этим. Изгнание в Северный дворец – не самое худшее, что ожидает высокопоставленных особ. Его величество Аменхотеп Третий, их величества фараоны Кеми подали в свое время прекрасные примеры того, как надо усмирять непокорных: мешок, небольшая веревка, которой стягивается мешок, и – священные воды Хапи! Так приводятся к молчанию те, кто испытывает на себе беспредельный гнев фараона…

У Семнех-ке-рэ пробежали по телу мурашки. Недалеко от дворца Хапи течет медленно, величественно, неся на себе отражение почти полнеба. Звездного. Ясного. Таинственного…

Между тем за дверью, совсем недалеко от Семнех-ке-рэ, плакала царица. Она обнимала дочь, и обе они плакали. Женщина одолела царицу – государственного деятеля. Та, которая много лет, не зная устали, помогала фараону советами и рожала детей – не выдержала! Она дала волю своим чувствам, своим слезам, своему горю.

Так плакали они – две первые женщины Кеми. Первые и прекраснейшие дамы великого града Ахяти.

Напрасно летают в уютной комнате все птицы Хапи и шумят камыши: гробница есть гробница!

С точки зрения пекаря

Недалеко от дома Ка-Нефер, на углу соседней улочки, жил и содержал пекарню уважаемый Мааниатон. (В прежние времена – Мааниамон. Не путать с родственником заики Усера.) Человек лет сорока пяти. С брюшком и практичной головой. С одышкой и острым зрением: знал, что творится даже под землей. Словно только что беседовал с кротами и сусликами. Одним словом, хитрец. В меру плутоватый в делах торговых. И, несомненно, честный семьянин. Он имел обыкновение судить о важных делах чуточку легковесно. Под словом «легковесно» надо понимать некоторую бесшабашность. Одни приписывали это его бездумности, а другие – связям с канцелярией семера Ахетатона. Подозревали в нем доносчика. А доносчики, как известно, испокон веку слыли провокаторами. Если не направишь беседующих с тобой по нужному руслу, то очень часто нечего будет и доносить. Признаться, и Нефтеруф заподозрил в нем доносчика. Остерегался его, покупая хлеб для Ахтоя и Ка-Нефер. (Надо же заниматься некоторыми домашними делами, если ты, можно сказать, сделался нахлебником.) Однако, присмотревшись повнимательнее, беглый каторжник пришел к выводу, что это не так. Мааниатон никакой не доносчик, а просто говорун, каких много на белом свете. Сейчас он мог сказать одно, а через час – совсем другое. Прямо противоположное. Как говорили столичные остряки, в голове у пекаря был несомненный сквозняк. И тем не менее мыслил он подчас оригинально. И даже умно. Он не требовал от своих собеседников активного участия в беседе: был счастлив, если его внимательно слушали и не перебивали.

В тот самый день, когда разнесся слух о новой соправительнице фараона, Нефтеруф ждал выпечки свежего хлеба. Мааниатон пил пиво и угощал Нефтеруфа. Работники возились у печи, бранились негромко, требуя от двух рабов то дров, то воды, то муки.

– Слыхал? – спросил пекарь. Ему не терпелось первым сообщить столичную новость.

– Новость? Нет, не слыхал.

«…Этот пекарь возбужден. Несомненно, новость важная. Я когда-нибудь отблагодарю его, если обрадует. Нет, он очень взволнован. Пьет пиво небольшими глотками. Точно требуется остудить сердце…»

– Значит, так, – сказал пекарь, – его величество сделал выбор. Наконец-то мы знаем, кто его соправитель.

– Как? Разве до сих пор это было неизвестно?

Пекарь тоже удивился:

– А ты что, догадывался, что ли?

– Я? Нет!

– А по-моему, тебе уже все рассказали.

– Ничуть, уважаемый Мааниатон. Я просто полагал, что царица и есть соправительница.

– Послушай, Нефтеруф, это тебе не с обезьянкой дурака валять. Я говорю о вещах более важных. О государственных делах, значит. А ты бог знает куда гнешь. Сразу видать, что ты из болванов.

Нефтеруф чуть не обиделся, да спохватился: разве обижаться человеку маленькому, жалкому по своему положению, какому-то уличному фигляру! (Именно так представился Нефтеруф в свое время с легкой руки паромщика.)

– Почему же я болван, уважаемый Мааниатон?

– Потому что ты – ничто!

– А ты?

– Я, значит, не болван. Потому что кое-что да значу. – Пекарь поразмыслил немножко и сказал: – Но перед семером я – болван. Перед женою его – болван. Перед его величеством – ничтожество, прах его ног. Вот кто я такой!

Пекарь говорил с упоением и о своем ничтожестве, и о своем превосходстве. Это был выходец из немху, из тех самых самодовольных немху, которые почувствовали себя людьми

при его величестве Наф-Ху-ру-Ра. Однако они знали свое место. На это им постоянно указывали. В свою очередь, эти люди довольны тем, что могут запросто осадить другого, который пониже их положением.

Мааниатон выпучил глазища. Засопел. Закашлялся.

– Да, да, Нефтеруф, ты – болван. А если поточнее, то и дурак! Скажи, что не так?

– Ну, видишь ли…

– Что вижу?

– Ты же со мною мало знаком…

– Я?!

Нефтеруф поспешно отступил:

– Я хочу сказать, что ты мало видел, как работаю с обезьяной.

– И это ты называешь работой?

– А почему нет?

Пекарь презрительно сплюнул:

– Нет, ты больше так не должен думать!

– Повинуюсь, господин Мааниатон.

Пекарь внимательно оглядел Нефтеруфа. Да так внимательно, что у того мелькнула мысль: уж не признал ли в нем Мааниатон аристократа из Уасета?

«… Этот хлебных дел мастер так свободно разглагольствует… Он ведет себя так странно. И не боится ушей своих подмастерьев. Или пекарню эту охраняют сами боги, или ахятский семер в родстве с этим домом? Что касается доносительства, то это, по-видимому, исключается. Ибо сей муж никому рта не дает раскрыть…»

– Послушай, Нефтеруф, – сказал пекарь, прикинув кое-что в уме, – почему ты мне так ужасно нравишься?

– Я? – удивился бывший каторжник.

– Да, ты. Воображаю, какой из тебя получился бы помощник. С твоими ручищами. Да с твоим львиным торсом. Если ты пожелаешь бросить своих обезьян – моя пекарня к твоим услугам.

– Из меня – пекарь?! Да я сроду не видывал, как тесто… – Нефтеруф осекся. Он явно поторопился со своим ответом. А куда спешить? Или за углом его ждут обезьяны в клетке?

– Ты не обижайся, Нефтеруф. Я вовсе не хотел обидеть твоих мартышек. Я говорю это к примеру. Если вдруг тебе взбредет в голову эдакое… Я хочу сказать, что мне это было бы приятно. Я готов взять тебя в компаньоны. Учти: не каждому дано держать в столице пекарню. Даже такую захудалую, как моя.

«…Никогда не надо давать волю языку. Забежишь вперед – опозоришься… Сам себя ругать станешь. Ничего плохого этот пекарь не предложил. В моем положении это сущее благо. Подумай, Нефтеруф, дважды и трижды. Ка-Нефер – женщина своенравная. Уж если захотела она что-нибудь – своего добьется. А тебе должно быть известно, Нефтеруф, что измена замужней женщины не остается в тайне. Во всяком случае, рано или поздно она раскрывается. Так что не горячись. Ты же не конь…»

– Ты прав, уважаемый Мааниатон: предложение твое вполне достойное. И хлебопечение ни в какое сравнение с мартышками не идет. Если ты разрешишь, я обдумаю твое предложение, если от него не отказываешься.

– Я? Отказываюсь? – Пекарь возмутился. И крикнул: – Эй ты, Хапу! Поди-ка сюда, Хапу!

Тотчас же появился Хапу. Рыжий подмастерье. Посыпанный мукой. Такой юркий. Лет двадцати пяти.

– Слушаю, хозяин.

– Скажи этому господину: что есть мое слово?

– Сказанное тобой?

– Да, мною!

– О, хозяин, я не видел ничего тверже. Оно выходит из твоих уст чистым золотом. И

оно не темнеет. Оно не приобретает иного смысла. Или разит, как меч, или несет благо, подсобно божеству.

– Ты слышишь, Нефтеруф?

– Да, господин.

– Эй, Нофер! Нофер! Глухой заяц! Поди-ка сюда!

Пекарь позвал другого подмастерья. И тот ввалился в комнату, подобно плохо выпеченному хлебу: тяжело, с притопом. Это был коротышка, притом коротышка толстый. Губастый. Лопоухий. Рот до ушей. С высоким лбом. Издали приметным и помятым носом.

– Вот он, красавчик! – Пекарь брезгливо указал пальцем на урода, чтобы не было никакого сомнения в том, кто есть этот красавчик. – Нофер, что ты можешь сказать о моем слове?

Нофер улыбнулся, точно испробовал патоки: губы зашлепали, точно кто-то прошелся босыми ногами по мокрой земле. И загнусавил:

– М… м… м… твое слово… крепкое… и… и… м с… словно… м… м… м… кость…

– Ладно, убирайтесь! – приказал Мааниатон подмастерьям. – Нефтеруф, ты слышал все сам. Не правда ли? И мы не сговаривались. Хочешь, я позову рабов моих? Это азиаты. Я их помыл и обрил. Они – приличные.

– Верю, верю! – поспешил Нефтеруф. – Ка-Нефер хвалила тебя так, что я позавидовал.

– Ка-Нефер – красавица. – Пекарь облизнулся. – Достойная женщина. Достойная хозяйка дома.

– Разумеется, разумеется.

Мааниатон причмокнул языком и погрозил пальцем Нефтеруфу:

– Скажи, а не приглянулась ли тебе красавица?

Он состроил гримасу, словно догадывался кое о чем…

– Мне?

– Да, тебе.

– Я всего-навсего гость в ее доме.

– Ну и что же?

Нефтеруф развел руками. Что так настойчив этот пекарь? Он будто хочет уличить в чем-то, да ждет, пока признается сам повинный во всем. Повинный? Но в чем же?.. Нет, он просто шутит. У самого на уме скверные мысли. А подозревает другого. Только и всего…

– Я вижу, я вижу, Нефтеруф! Ты не прошел мимо нее. Руки ее ухватили-таки нечто между твоих ног!

И пекарь захохотал. Он отпил пива и продолжал хохотать. Нефтеруф на миг растерялся. Нет, он и в самом деле растерялся.

– Ладно, – сказал Мааниатон, понемногу успокаиваясь, – охотно верю, что ты устоял. Однако я готов спорить с тобой.

– Со мной?

– Да, с тобой. Дай руку!

– О чем спорить?

– Не о чем, а на что. На десять кувшинов отменного пива.

– То есть?

– Я говорю: она пленит тебя. Возьмет тебя силой. А что скажешь ты?

Более дурацкого положения Нефтеруф и не представлял себе. Что за спор? Причем весьма обидный: для нее и для него! Но куда там! Пекарь держал свою волосатую руку на весу.

– Дай свою! Подай свою! – кричал он.

Уж очень сильно желание ударить по морде этого оплывшего жирком пекаря! И уйти… Но разве ради этого прибыл сюда бывший каторжник? Для того чтобы драться с Мааниатоном?

И он подал руку. И они пожали друг другу руку. И Мааниатон «разрезал» руки левой рукой: пари было заключено! И пекарь успокоился. Выдув остаток пива.

Нефтеруф осторожно сказал:

– Но мы начали совсем не с этого.

Пекарь выпучил глаза:

– А с чего?

– Э… э… э… Да! Ты сказал, что его величество – жизнь, здоровье, сила! – выбрал нового соправителя.

– Да, да, да, да, да! – чуть не пропел легкомысленный содержатель пекарни. – Верно ведь! Бывает же вот так – зацепишься за что-нибудь, и – пошло! Его величество Нефер-Хеперу-Ра Уен-Ра – жизнь, здоровье, сила! – действительно избрал себе соправительницу, а царицу Нафтиту он прогнал прочь. Она в Северном дворце проливает слезы.

– Царица плачет?

– А что ей остается делать? Ревность! Его величество вчера утром появился в Окне явлений. Ее величество Кийа, говорят, была что солнце, как бог восходящий. – Пекарь рассказывал об этом со злорадством, непонятным для Нефтеруфа.

– Я вижу, насолила тебе эта Нафтита, господин Мааниатон.

– Разве только мне?! – Пекарь поднял кверху сжатый кулак, словно грозил кому-то. – Я и мои друзья, может быть, и не богаты. Каждый в отдельности. Но мы – сила! Мы не боимся даже вельмож. А кто настраивает фараона против нас? Против немху тоже? Кто?

– Неужели царица?

– Она самая! Пока они там во дворце боролись против Амона и прочей нечисти – мы были им нужны. А когда Амон повержен, а знать поджала хвосты, – видишь ли, мы им стали в тягость. Мы уже не люди. Новая знать растет. Прямо из грязи! А кто строил этот город – Ахяти? Мы! Кто помогал его величеству? Мы! А теперь, когда столица блистает на всю вселенную, нас всех можно и на свалку?! И это все царица! Поверь мне!

«…Пожалуй, мне пора уходить. Дал бы мне хлеба – и я бы убежал отсюда. Этот пекарь раскричался. Не приведи бог, всевидящий Амон-Ра, – заглянет сюда кто-нибудь из этих чиновников!..»

– Уважаемый господин Мааниатон, не готов ли хлеб для госпожи Ка-Нефер?

Пекарь не хотел его отпускать. Он еще не выговорился. Не с этими же скотами беседовать, которые и облика человеческого лишены! Которые хлебы пекут в неимоверном чаду…

– А ты очень торопишься?

– Очень.

– Жаль. Мне столько еще надо сказать! Так много накипело на душе! Когда же ты придешь?

– Не далее как завтра.

– А работать со мною хочешь?

– Позволь поразмыслить ночь.

– Дай ухо! – И пекарь шепнул Нефтеруфу: – Только не испорть свою хозяйку.

И захохотал. Хохоча, пошел за хлебом, вынес две буханки – горячие, пахучие – и всучил их Нефтеруфу:

– Помни мой совет – ты слышишь? Не испорть хозяйку…

Нефтеруф с удовольствием запустил бы этими буханками в негодяя. Но он хорошо помнил о себе: кто он, зачем здесь и во имя чего живет. Только бы не сорваться! На каком-нибудь пустяке.

Хлеб обжигал руки. Свежий пшеничный хлеб…

Часть вторая

В парке южного дворца Мару-Атон

Вечер великолепен, как на панно зодчего Юти: иссиня-черное небо, медно-золотая луна, словно только что отлитая на синайских медных рудниках, черно-зеленые пальмы и сикоморы, неподвижные, как гранитные глыбы, и вода – такая светлая и прозрачная вода.

Здесь, в отдаленном углу дворцового парка, почти пустынно. А там, на пруду, музыка и пение, смех и яркие огни. Фараон отдыхает с Кийей.

Пруд достаточно просторен. Достаточно глубок. В длину – триста шестьдесят локтей и три тот, в ширину – сто восемьдесят локтей и четыре тот. Глубина почти равномерна – семь локтей. Посредине – островок, отдохновенье для взора: с пальмами, шатром пестроцветным, зеленой, подстриженной травою.

Вода – цвета неба. По ночам – чернильная. И огни на ней – как живые.

Царица-мать Тии увела отсюда его высочество Эйе – старинного друга своего покойного мужа. Она сослалась при этом на головную боль. Правда, фараон заметил: «Еще со времен его величества Джосера все знатные дамы ссылаются на головную боль, когда желают удалиться».

Царица выбрала открытое место – подальше от стен, деревьев и кустов. Так вернее уберечься от посторонних ушей.

Они неторопливо осмотрелись вокруг: никого! Вдали звучит музыка. Она подобна пению тысячи птиц, наделенных природой высоким певческим мастерством. Казалось, даже лунные лучи звенели, как струны: таков был вечер, и такова была музыка…

– А мне совсем не весело, – проговорила царица.

– Была бы моя воля – сюда бы вовсе не явился. Не знаю, почему я здесь? Мне кажется, что я долго лежал, сраженный тяжким недугом: все во мне перегорело, ноги едва носят. Голова пуста. Как тыква. Дорогая Тии, у меня нет от тебя тайн: дело очень плохо.

– Я только что то же самое хотела сказать тебе, достопочтенный Эйе. Кому же я скажу, если не тебе? Близкие уходят: одни – на поля Иалу, другие – всё дальше и дальше от сердца. Скажи мне, что случилось? Сын мой избегает меня, словно я прибыла из вражеского стана. Что же будет дальше?

Царица говорила тихо, почти шепотом. Она стояла ровно, такая маленькая рядом с высоким и сухим, как старый тополь, Эйе.

– Пути царице Нафтите отрезаны, – жестко проговорил Эйе. – Больше никогда не появится она ни здесь, ни в Главном дворце. Считай, что посажена под замок. Как птичка в золотую клетку.

– Он так решил?

– Пока нет. Но дело идет к этому.

– Отговорить его невозможно?

– Ты же знаешь его нрав!

Царица глубоко вздохнула. Такая маленькая, со вздернутым носом митаннийка. Аменхотеп Третий сосватал ее у царя Митанни. Однако мира с Митанни она не принесла.

– Увы! – сказала Тии. – Я знаю его хорошо… Когда родился мой сын, нам всем казалось, что не проживет он и дня. Но каким он стал могучим!..

– Духом, – поправил ее Эйе.

– Да, духом. Он поставил на колени врагов своих. Он свергнул великого Амона! Кто бы это сумел сделать?

– Только твой сын!

– Да, только мой сын! И вот когда он достиг вершины, с ним происходит что-то невообразимое… Я спрашиваю: что будет с Кеми?

Эйе ответил:

– То, что суждено.

– Разве в делах государственных полагаются на судьбу? – Царица поправила парик,

поплотнее закуталась в шерстяной платок, как это делают женщины Митанни.

– Нет, – ответил Эйе, – но с некоторых пор – да.

– Как это понимать, Эйе?

Жрец не сразу ответил. Он прислушался к музыке, поглядел на лунные блики, рассыпанные на земле.

– Дело в том, что никто не знает, что собирается делать Кийа. Каковы ее планы? Кто знает? Фараон влюблен в нее по уши…

– Да, но мой сын умеет отделить чувства от дел. Это качество или свойство – как тебе угодно! – характера никогда его не подводило. Вспомни, что ты говорил когда-то.

– Что именно? Что ты имеешь в виду?

– Ты сказал мне однажды: «Твой сын сломает себе шею. Он взялся за непосильное. Сокрушить жречество Амона не так-то просто. Ибо за жрецами – вся знать».

Жрец не стал отрицать: да, действительно, он говорил нечто подобное. Насколько помнится, он хотел тогда предостеречь от непродуманных шагов. Свергнуть Амона в Кеми – это все равно что сбросить луну с неба, эту самую луну, которая так ярко светит. Эйе решил освежить царицыну память.

– Твой сын вознамерился совершить это неслыханное дело в один год. Выслушав мои возражения, он переменил срок: два года! А ушло на это больше десяти лет пота, крови и жизни! Десять лет на то, чтобы можно было наконец сказать: Амон свергнут! Но я спрашиваю тебя: Амон свергнут? Жречество побеждено? Знать, противостоявшая замыслам фараона, низринута в бездну?

– Да, – ответила царица не колеблясь.

– Нет! – в тон ей произнес жрец.

– Ты уверен, Эйе?

– Да.

– У тебя есть доказательства?

– Да. Ты видела, как тлеет огонь в золе? Его не видно глазом. Если поднести ладонь на близкое расстояние, то жар дает о себе знать. Я полагаю, что в Кеми, в глубине его, тлеет нечто подобное. Но сквозь золу увидеть это не так-то просто. Ее величеству не мешало видеть сквозь толщу золы.

– Ты говоришь о…

– Да, о Нафтите… Она помогала, она содействовала кое-что увидеть. То, что ускользало порою от его глаза.

Музыка доносилась отчетливо. Особенно с порывами ветерка, дувшего с Хапи. Заливались флейты. Точно соловьи…

– Я совсем не знаю Кийю, – почти простонала Тии. – Нет, я видела ее, она красива, привлекательна. Но больше ничего не могу добавить к этому. А ведь она – соправительница!

Царица произнесла это последнее слово с таким значением, что Эйе даже насторожился, может, старая царица знает больше того, что говорит? Не делится ли с нею сын заветными мыслями?

«…Да нет же, нет! Старая Тии, милая старая Тии никогда не лгала мне. Я помню, как однажды явилась ко мне, пренебрегая опасностью, чтобы сообщить наиважнейшую фараонову тайну о походе на хеттов. Тайну Аменхотепа Третьего, своего мужа… Тии не станет скрывать от меня и сейчас, если только владеет хотя бы малейшим секретом…»

– Он таится от меня, – пожаловалась Тии на сына. – Он молчит, как сфинксы в храмах Мен-Нофера. И я ни о чем не могу спросить, потому что она все время с ним.

Флейты залились веселой трелью. Только в Кеми способны играть подобным манером и услаждать слух своего владыки. Нет в мире лучше этих флейт!..

– Мне сообщили, Тии, что Нафтита сильно грустит. Она плачет тайком.

– Не поверю!

– Да, да, плачет.

– Нафтита? Эта гордая дама? – Тии посмотрела на Эйе снизу вверх: маленькая, сильная

женщина на мудрого мужчину – высокого и худого. – Если злые языки и сообщили это – ты не придавай никакого значения!

– Не злые языки, Тии, а твоя внучка. Принцесса Меритатон.

– Как? Эта девчонка?! – Тии топнула ногою. – Задам же я ей таску. И не посмотрю, что у нее муж.

Эйе улыбнулся:

– Не надо. Я уже сказал ей все что полагается.

– Сказал?

– И очень даже внушительно.

– И что же она?

– Кажется, уразумела.

– О бог великий наш, Атон! Как все мы малы и как обширен Кеми! Как же управлять им, если вокруг такие болтушки, такие легкомысленные дети!

Эйе не стал ее переубеждать. Напротив: он добавил, что детей, мол, вокруг развелось довольно много. Главная беда заключается в том, что дети эти – царственные. Если случится нечто ужасное, то кто поведет Кеми по дороге благоденствия? Кто?!

– Ты спрашиваешь меня, Эйе?

– Да, тебя.

Ах, эти флейты! И эти арфы, чьи гордые, низкие звуки только что коснулись уха! Сейчас бы слушать да слушать их, вместо того чтобы…

– Тебя спрашиваю, Тии.

Эйе настойчив. Он желает услышать ее ответ. А ведь знает всё наперед. Так зачем это ему? Чтобы в чем-то убедить ее? Или что-то проверить? Упрочить свое мнение или опровергнуть его?

– Кто поведет Кеми? – спрашивает Тии.

– Да. После нас. – Эйе не говорит: «после его величества». Вместо этого он употребил более туманное: «после нас». А кого это «нас»? Царица-мать? Пенту? Хоремхеб? Сам Эйе?

– Не знаю, как тебя, но меня одолевают мрачные предчувствия.

– Какие?

– И сама не могу разобраться. Звери, говорят, предчувствуют землетрясение. Они разбегаются в разные стороны. Прячутся в укромных местах. Кто им сообщает о предстоящем несчастье?

– Не знаю.

– И я не могу сказать кто.

– Ты же не зверь, Тии?

– Я – мать, Эйе.

Оркестр заиграл танцевальную мелодию. К флейтам и арфам присоединились барабаны. «Рабыни исполняют любимый танец фараона, – подумал Эйе. – Не слишком ли сгущаем краски? Его величество не хуже любого зверя чует опасность. Если он находит время для веселья, значит, не все так уж плохо, как кажется…»

– Я верю в него. – Эйе кивнул в сторону пруда.

– А головные боли?

– Он еще молод. Всего тридцать пять, Тии!

– Он – совсем маленький. Для меня. И я должна думать о нем, если это даже и ни к чему. Все, что делал мой покойный муж, все, что делает сын, не может, не должно рассыпаться в один злосчастный день!

Барабаны неистовствовали. Они даже заглушали звуки остальных инструментов.

– Нет, – отрезал Эйе.

– Ты совершенно уверен?

Эйе вытянул вперед свою смуглую, сильную руку:

– Это – рука. Не правда ли? Вот так я уверен!

– Очень, очень?

– Да, очень!

– Я всегда доверяла твоей мудрости. Твоим чувствам.

Эйе поднял руку, протестуя против этого самого – «твоим чувствам». При чем чувства, когда речь идет об управлении государством? Таким, как Кеми: огромным, сильным, процветающим. Дело вовсе не в чувствах. На чем основана сила и крепость государства? На беспрекословном повиновении народа. Пока слово фараона священно и железно – прочность государственной власти обеспечена…

– Да, да. Конечно, – пробормотала Тии, думая о своем.

Эйе продолжал:

– Гранит менее прочен и более податлив разрушению, чем наше государство. Это надо себе представлять совершенно отчетливо, Тии. Допустим на одно мгновение, что его величество не пожелал бы низвергать Амона. – Жрец помолчал. – Я говорю, допустим на одно мгновение. Кто, спрашивается, посмел бы поднять руку на божества Кеми? Кто?

Она пожала плечами. Эйе продолжал:

– Вот именно: и я не знаю – кто?.. Прежде всего, мы должны вознести хвалу нашим предкам: фараонам Нармеру, Джосеру, Хуфу и многим другим. Они породили высочайшее слово, крепкое, как само небо. А что такое слово? Только ли слово? Нет, не только! А палки? А спины, по которым свободно гуляли палки? Воистину уши народа на спине его! Они хорошо слышат палку, когда она на спине. Хорошо понимают ее язык. Слово-палка понемногу сделалось словом-камнем, словом-скалой Кеми держится на этом слове! Если хочешь проверить прочность Кеми, спроси сначала: каким стало слово, наше древнее слово, исходящее из Великого Дома?

– Ты вселяешь уверенность, Эйе.

– Я говорю истину, Тии!.. Слово фараона столь же твердое, каким оно было и в незапамятные времена. Более того: оно еще тверже, ибо со временем это качество усиливается. Ибо палки семеров действуют с большей изощренностью. Ибо сами семеры и все князья научились слушаться его величества так, как никто еще не умел. Ни в какие времена!

«…Мой сын зашел слишком далеко. Его делу нужна прочная основа. А есть ли она?..»

Но Эйе был убежден: основа непоколебима! А может, успокаивал ее? Говорил приличия ради? Его глаза… Они не обманывали. Но можно ли доверять глазам царедворца? Жизнь во дворце как весы: за каждой чашей следят зоркие глаза. Сотни глаз. То алчущих власти людей. То жаждущих богатства, то тщеславных, то завистливых, то враждебных. О, боже, чего только не бывает во дворцах?!

– Скажи мне, Эйе: знаешь ли ты Кийю?

– А зачем ее знать?

– Тебе следовало бы познакомиться со вторым лицом в государстве.

– Зачем?

– Чтобы решить, как вести себя в соответствующее время.

– Разве это зависит от молодой женщины по имени Кийа?

– Но эта молодая женщина – соправительница!

– Ты так думаешь?

Эйе странно, очень странно взглянул на Тии. Трудно сказать, улыбался ли он. Или это была гримаса крайнего злорадства? Губы его дрогнули. Такие мясистые, добрые губы (не злые, во всяком случае)… Эйе покладист. Это несомненно. Эйе предан фараону так же, как был предан его отцу, покойному Аменхотепу Третьему.

– Я не думаю, Эйе: Кийа объявлена соправительницей1 Или это мне приснилось? По-моему, и ты склонился пред нею, когда она показалась в Окне явлений.

– Правда?

– Все шутишь, Эйе?

– Я не шучу, дорогая Тии.

Она медленно зашагала по широкой аллее. Он пошел за нею, чуть сбоку от нее и

немного сзади. Музыка как бы сама приближалась к ним. Словно плыла навстречу. Флейты заливались соловьями. Арфа теперь звучала явственнее. Особенно когда приумолкли барабаны.

Он заговорил снова. Как можно тише. Чтобы только она могла расслышать:

– Тии, вот мое мнение. Надеюсь, оно не расходится с твоим. Я очень сожалею о разрыве с царицей. Нафтита была опорой. Ему. Всем нам. Она была мужчиной, когда дело касалось государственных дел. Это очень важно, Тии, чтобы и в постели мужчине шептали нужные слова. Полезные для Кеми. Я не знаю, что будет шептать Кийа.

– И я тоже.

– Но пока он здоров, меня ничто не пугает.

– Меня тоже.

– Он не свернет.

– А Хоремхеб?

– Что Хоремхеб? Этот солдафон знает свое дело и свое место. Когда нужно – его позовут.

– А я его боюсь. И шрама на лице его боюсь. И роста его. И глаз. И мыслей, которые в его сердце.

– Которого у него нет.

– Верно, сердца нет… Пусть мой сын ушлет его в Та-Нетер. Или в Ретену. Или в Ливию.

Эйе замотал головой:

– Его величество желает, чтобы Хоремхеб оставался на своем посту.

Тии опустила голову.

– В таком случае – бойся Хоремхеба!

– Не так ты выразилась.

– А как надо?

– Да убоимся все мы Хоремхеба!

– Если угодно, Эйе, если угодно…

До конца аллеи было далеко. Но уже виден пруд, островок на нем и плавающие ладьи. На берегах, на островке и на ладьях горят огни. Много огней. Отражаясь на колеблемой волночками поверхности, огни увеличиваются числом. И тогда кажется, что весь мир залит светом.

Эйе и Тии подошли к берегу. Как раз в это время мимо проплывал фараон. На леопардовых шкурах возлежала Кийа. Лежала так, словно родилась царицей. Его величество приметил мать. Поднял руку вверх, приветствуя ее. Судя по всему, фараон веселился бездумно. Как не веселился вот уж давно. Кийа сделала вид, что занята своими мыслями и никого и ничего не замечает…

Музыканты следовали за своим владыкой. На отдельной ладье. Они играли, что называется, от души.

Фараонова личная стража – всегда вооруженная с ног до головы – и сегодня стояла в полной боевой готовности: на островке, на берегах, на стенах, окаймлявших Мару-Атон – Дворец увеселений. Эйе обратил внимание на то, что стражи нынче было больше, чем обычно. И он не преминул указать на это обстоятельство царице-матери.

– Он веселится, – заметил Эйе, – но главного не забывает.

Тии схватила его за руку и прерывающимся голосом спросила:

– Эйе, а от нее уберечься можно?

– От кого, Тии?

– От смерти.

Он деланно засмеялся. Это было слишком явно: через силу засмеялся.

– Тии, ну какие у тебя мысли?! В такой прекрасный вечер! Я…

Она остановила его:

– Добрый, добрый Эйе! Мы с тобою уже не молоды. Я предвижу день, когда мы

порознь уйдем на поля Иалу. Раньше – я, а ты – попозже. Разве не пристало думать о том часе? Как ни говори, Эйе, я всегда предпочитала этот мир полям Иалу. Так думали и мои предки. И они передали мне это ощущение. Вместе со своей кровью. Но оставим в стороне все это. Я думаю о сыне. Он велик. Он могуществен. В зените славы и величия. Даже здесь, на глади этого пруда, он – бог, властитель всего сущего. А я думаю о смерти. Под эту чарующую музыку. Спрашиваю тебя: где его смерть? Он распорядился вырубить в Восточных горах гробницу для Нафтиты. Теперь – для Кийи. Для меня – почти готова. А о себе он не думает. Скажи мне: кто же вместо него позаботится о его вечном жилище? Кто?!

Эйе сказал:

– Соправительница.

Царица недовольно махнула рукой.

– Может быть, его высочество Семнех-ке-рэ?

– Этот мальчик, Эйе?

– Почему бы и нет? – И нетвердо добавил: – Его высочество Тутанхатон, может быть? Когда подрастет…

– Бедный немощный мальчик! Я его очень люблю. Он вырос на моих глазах. Такой хилый и такой слабый!

– Учти, Тии, твой сын тоже не из богатырей. Однако полюбуйся – сколько наворотил! И слово фараоново, как в старину, равняется самуму в пустыне. Когда желтая земля взвивается к небесам. И летит быстрее птицы.

– У него все чаще болит голова. Пенту не напасется снадобий. Нет, не проходит даром ни поверженный Амон, ни посрамленные жрецы его, ни тайная и явная война с Уасетом!

Снова мимо них проплыл фараон вместе с Кийей. На этот раз она улыбнулась царице. Дружелюбно кивнула. И ладья растворилась в темноте и зареве светильников, перемешанных в праздничном беспорядке.

– Она молода и красива, – как бы завидуя, проговорила царица.

«…Нет, я не скажу ей о том, что думаю, что происходит на этом свете. Когда в государстве случается нечто из ряда вон выходящее – к нему следует внимательно присмотреться. На протяжении двух тысячелетий чего только не бывало! С царицами не только расходились, но порою принуждали их к молчанию. Вечному молчанию ка дне Хапи или в волнах Великой Зелени. Однако Нафтита – не просто царица. Она была душою того дела, за которое боролся фараон. Она была и рядом, и в сердце его! И недаром клялся он ей в вечной любви. Когда царица Нафтита, по существу, заточена в Северном дворце, надо повнимательнее осмотреться вокруг и решить, что ушло из Великого Дома вместе с царицей, а что – осталось. Когда на море возникает волна, она никогда не остается одинокой. Рядом уже бегут другие. Какие это волны и в чей борт они ударят?.. Где Пенту? Сейчас очень нужен Пенту…»

– Ты так глубоко задумался, Эйе, что не слышишь моего голоса.

– Неужели, Тии? Почему-то заныла грудь, и я подумал – не от этой ли прохлады?

– Возможно, Эйе. Мне пора домой. Я молю ею величество Атона, чтобы сохранил он Кеми и его владыку.

– И я молю, Тии.

Он подвел ее к носилкам. Тии обернулась к нему и почти умоляюще прошептала:

– Не оставляй меня, Эйе.

Жрец поклонился ей глубоким поклоном. Полог, расшитый золотом, закрылся, и здоровенные рабы-эфиопы, окруженные стражами, плавно понесли тяжелые носилки.

На островке веселья

Возбужденный, с румянцем на щеках, его величество сошел с ладьи и направился под Навес раздумий. На полу лежали новенькие циновки и подушки – жесткие и мягкие. На низеньких столиках – холодные гуси, вино в высоких и тонких сосудах, фрукты. Фараон

любил, чтобы хлеб подавали в последние мгновения перед едой: пахнущий горячей печью хлеб! Кийа заняла место рядом с фараоном. Потребовала холодной воды и фруктов на меду.

Музыканты высадились на берегу против дворца. Стража безмолвно занимала положенное ей место. Царедворцы тихо переговаривались на аллеях.

– Мне показалось, – сказала Кийа, – что ее величество чем-то обеспокоена.

– Тебе это именно показалось.

– Эйе или нездоров, или тоже чем-то обеспокоен.

– Тоже показалось!

Кийа громко рассмеялась. Схватила его руку и горячо поцеловала ее.

– Очень люблю, – призналась ее величество.

Она вся сверкала: и глаза и лицо. Все тело! Кийа излучала свет, точно солнце. Боже, откуда в ней столько мощи – женской неиссякаемой мощи?! Неужели когда-либо суждено иссякнуть этой светочи, несущей сердцу столько радости? Он мысленно сравнивал ее то с пучком золотого луча во тьме, то со сладчайшей песней, то просто с женщиной во плоти и крови, но рожденной небесами, зачатой там где-то, в самых чистых и высоких сферах…

– Тебе показалось, – повторил он. – Напротив, они были веселы за обедом. Разве ты не заметила этого?

– Наверно, я думала только о тебе.

– Это плохо.

– Думать только о тебе?

– Да.

Кийа удивилась. Она задышала часто-часто. Не могла взять в толк, о чем он говорил. Почему же это плохо, если фараон, если муж – в мыслях ее? В положении соправительницы она должна, она обязана понимать все!

– Режь мне руку, – сказала она с улыбкой, протягивая матовую кисть, чуть тронутую загаром, – режь руку, но я не уразумела твоих слов.

Он взял длинную кисть, взял длинные, тонкие пальцы в свою некрасивую, маленькую руку. Нет, он не видел ничего подобного! Никогда!

– Дорогая Кийа, ты обязана размышлять о делах государственных: мы же теперь не на ладье, а под Навесом раздумий. Обо мне – потом…

– Верно! – вскрикнула она, точно маленькая. – А я и позабыла! Обещаю тебе: здесь, на этом месте, выкинуть из головы все, кроме государственных дел.

Он потрепал ее по щеке. И тут же признался себе, что не встречал никогда таких щек: упругих, нежных, здоровых. «Я счастлив», – сказал он про себя. И долго глядел на нее немигающими глазами…

– Хорошо, – сказал он, тряхнув головой, – мы сейчас выясним одно дело. Я за него строго спрошу.

Фараон приказал перевезти на остров начальника, ведавшего делами переписки с иностранными государствами. Тот уже ждал вызова на берегу. Со свитками папирусов в руках. И не без трепета…

Вскоре начальник писцов – немолодой, худощавый мужчина на кривых ногах – повалился наземь перед их величествами. Полежав некоторое время, он поднял голову: медленно, медленно, медленно, чтобы не ослепнуть от сияния божественного лика.

– Встань, Усенинефер! – приказал фараон.

Писец поднялся на ноги и присел в отдалении. Не совсем далеко, – чтобы хорошо было слышно каждое фараоново слово. И мгновенно превратился во внимание.

– Скажи мне, Усенинефер: каков мой приказ насчет переписки с иностранными державами?

– Все письма показывать тебе, твое величество.

– А еще?

– Спрашивать тебя, прежде чем составлять их, твое величество.

– А еще?

«…Что же может быть еще? Его величество допрашивает слишком строго. Это значит, что начальник писцов позабыл самое важное…» Кийа ждала с нетерпением ответа Усенинефера.

– Писать на языке того государства, куда направляется письмо, – проговорил начальник писцов на одном дыхании.

– Верно!.. Почему же в таком случае ты отправил письмо царю Митанни на нашем языке?

Усенинефер пытался вспомнить, когда и какое письмо было отправлено в Митанни. Прекрасная память его величества изумляла всех. Он помнил все. Он знал, сколько мер зерна в закромах, сколько воинов на границах и сколько гарнизонов в чужих пределах. Его величество видел все, ибо был богом. В чем еще и еще раз убедился потеющий от страха начальник писцов Усенинефер.

– Да знаешь ли ты, о каком письме идет речь?

Усенинефера вдруг осенило, и он сказал: да!

– Ее величество хочет услышать твое слово об этом злополучном письме, Усенинефер.

Писец сказал:

– Твое величество, – он смотрел в самые зрачки Кийи, – мы требуем выдачи беглеца, который убил своего начальника в Северном Ретену. Всадил нож в спину, между лопаток, и бежал в Митанни. Согласно договору, царь Митанни обязан вернуть преступника.

Фараон кивнул: дескать, все это так.

– Но скажи мне, Усенинефер, на каком языке ты написал письмо?

Начальник хлопнул себя по лбу:

– Достоин наказания, твое величество! Письмо написано на нашем языке.

– А надо бы?

– На языке Митанни, твое величество.

Фараон помолчал. Встретился взглядом с Кийей. Он предлагал решить ей. Она это поняла.

– Вернуть письмо! – приказала Кийа, – Написать новое.

Усенинефер повалился наземь. Он царапал землю носом. Лизал ее языком, как телок солоноватый камень.

– Оно далеко, твое величество. Гонец его величества мчится быстрее ветра!

Тогда фараон запустил руку себе за пазуху и достал папирус.

– Этот? – спросил он.

Усенинефер не поверил своим глазам! «Это бог! Это бог! Он достает через пустыню. Через Великую Зелень. Через горы. Вот ноги мои совсем ослабли. Колени мои обратились в воду. И кости все обратились в воду…»

Фараон сжал губы. Глаза его стали точно песчинки. В солнечный день. Такие блестящие точки. В них много гнева. Много ярости. И челюсти у него задрожали. Словно бы перед припадком.

Начальник писцов оцарапал землей нос свой. Он плюхнулся лицом на землю, как на воду. И алая кровь показалась на носу. И на левой щеке тоже.

А фараон не сводил с него глаз. Благой бог закипал, как вода в походном котелке воина: медленно, медленно… Тем сильнее охватывало волнение каждого, кто бывал свидетелем его гнева…

Кийа развернула свиток. Вдобавок ко всему он оказался написанным иероглифическим письмом, а не упрощенной скорописью. Его величество ненавидел старинное письмо и мечтал о новом, более простом и доступном каждому. Эта нелюбовь зародилась в нем при жизни отца, еще в те годы, когда старый учитель Ихотеп обучал его премудрости письма. Он говорил своему ученику: «Уши твои – на спине твоей». И колотушки следовали за колотушками. Его величество Аменхотеп Третий приказывал Ихотепу: «Царевич должен быть грамотен, как никто. Ты, Ихотеп, отвечаешь за это головой. Колотушек не жалей. Будь строг, требователен, не давай ученику своему спуску». А ученик был хилым, тщедушным

ребенком…

Фараон Эхнатон торопил ученых мужей: «Сделайте письмо попроще. Сделайте его легким». Но ученые мужи, распластавшись перед ним, твердили свое: «Будет исполнено, твое величество. Однако божественное письмо требует к себе сугубого внимания… Будет исполнено, твое величество». И до сих пор не исполнено! И палки гуляли по спинам ученых мужей. А до сих пор все еще не исполнено!

– О, великий бог наш, дарующий жизнь всему сущему, гневом пылающий, подобно отцу нашему Солнцу, если угодно будет обратить слух свой к гласу послушного воле твоей…

– Будет угодно! – отрезал фараон.

Начальник писцов приободрился… «Его величество обращает ко мне слух свой. И гнев в глазах его проходит, подобно песчаной буре в пустынях Запада. И милость его идет вслед за бурей, как прохлада…»

– Виновный будет строго наказан, твое величество, а глаза и руки мои верно будут служить тебе…

– И ее величеству. – Фараон кивнул на Кийю.

– … и ее величеству. Ни спины, ни шеи, ни пальцев не пожалеем, дабы искупить вину свою. А бумагу сам перепишу на языке Митанни и отправлю с нарочным, как приказывал твое величество.

– Хорошо!

Усенинефер живо поднялся, отряхнул пыль с одеяний своих коротким, едва заметным движением рук. И со свитком попятился назад. До самой воды. Где уселся в лодку. И, не переставая кланяться, отплыл на другой берег.

Следующим на приеме оказался семер Ахетатона его светлость Псару-младший. Сын Псару-охотника. Бесстрашного ловца зверей. Попадавшего в глаза, в уголок воробьиного глаза. С тридцати шагов. Псару-младший глодал кожу в сапожной мастерской, когда его приметил фараон. Псару-младший гнул спину, тачая башмаки, когда его величество приказал ему: «Псару, встань! Отныне ты будешь служить мне». А через четыре года его величество сказал ему: «Псару, ты верно служил мне. Я желаю тебя видеть во главе моей прекрасной столицы, которая точно дитя, недавно родившееся – чистое и ясное». Псару сделался по воле фараона семером столицы, великого Ахяти на берегах животворной Хапи. Псару сам, своими руками клал камни в основание города. Он видел, как тысячи и тысячи рабов – азиатов и эфиопов – строили дома и храмы, рыли пруды и бассейны, сажали деревья и прокладывали дороги. И дороги, покрытые гранитными плитами, и улицы, политые вавилонской смолой, – гладкие, как полы во дворце. Чего только не сажали на городской земле! В огромные лунки, в которые засыпалась привезенная с берегов Хапи плодородная земля, сажали смоковницы, и пальмы дум, и виноград различных сортов, и гранатовые деревья, и пальмы финиковые, и миндальные деревья, и фиги. Тысячи и тысячи рабов и разного ремесленного люда рвали камень у подножия Восточного хребта. Обрабатывали его и привозили в город Ахяти. Каменотесы день и ночь горбились над глыбами. Строители месили глину, гасили известь. Плотники стругали балки и доски. Маляры красили ворота, двери и оконные рамы. Мастера из древнего Мен-Нофера – умельцы златорукие – ставили в окна слюдяные пластинки и дорогие цветные стекла из Джахи. День и ночь трудились зодчие. Ваятели и живописцы соревновались меж собою в своем искусстве, ибо его величество обращал на них особое внимание.

И за три года вырос Ахяти. Была пустыня – и стал сказочной красоты город, не виданный во вселенной. Город осматривали приезжие из соседних и из далеких стран – послы и купцы. И все они диву давались: ибо чудо азиатов Ниневия была по сравнению с Ахяти как бы деревней рядом со столицей. И все это видел Псару-младший сам. Чудо, чудо свершилось: за три года поднялась столица. Как бы из бесплодных песков. Как бы сама собою. Как в сказках времен фараона Хуфу!

Если бы Псару-младший не был сам свидетелем всего по милости его величества, то

едва ли поверил бы в такое чудо. Ведь многие, слушая его рассказы, покачивают недоверчиво головами. Многие – это иноземцы. Многие – это те, которые живут в Уасете и Мен-Нофере и не выезжают оттуда, прикованные к своим любимым городам. Эти древние города, так же как Ей-н-ра, как Саи, овеяны легендами, сказаниями народа. Там каждый кирпич и камень способен пересказать всю древнюю древность Кеми: от основания царства его величеством Нармером и до нынешних дней. Но пускай нету этих сказаний и легенд среди горожан Ахяти! Есть зато сказочная столица, новая, как новорожденное дитя, светлая, как день, и могучая, как сердце льва! Это и есть чудо из чудес. И недаром широко раскрывают глаза хитроумные азиаты, и недаром трепещут враги Кеми, не смея поднять на нее руку. Ибо такова сила Ахяти, в котором и мудрость, и мощь, и красота, и бесстрашие Кеми. А кто поставлен семером во главе этого города? Безвестный Псару-младший! Поднятый из пыли и грязи. Из тесного чулана. Из вонючей мастерской. Оторванный от кожи, которую глодал от голода. И кто это сделал? Его величество! Который не посмотрел на его происхождение. И скорее всего – вопреки этому происхождению. Который желал видеть вокруг себя поменьше знатных и побольше умелых и преданных людей. Потому что так приказал ему отец, великий Атон, гуляющий по небу, как у себя водворе. Ибо Кеми и есть его двор!..

Фараон встретил столичного семера недобрым взглядом. И долго-долго молчал. Ни слова не промолвила и Кийа. Она потупила взор. Несчастный семер трепетал, не зная, в чем провинился перед великим фараоном. В это мгновение он бы с удовольствием перемолол на своих зубах кусок гранита, – лишь бы уйти отсюда подобру-поздорову. Но кто может сказать, что на уме у благого бога, пока не разверзлись уста его и слова его не достигли слуха? Может быть, пожурит он за нерадивость или придумает страшное наказание за то же самое, о котором потом долго будут помнить на земле Кеми? Но самое страшное, когда его величество молчит, когда взгляд его подобен летящей стреле. Тогда вымаливаешь у бога: скорей бы услышать даже самое страшное, скорей бы вонзилась стрела в самое твое сердце!

Фараон заговорил глухим, идущим откуда-то из-под земли голосом:

– Псару, моих ушей коснулись недобрые вести. Город, который дороже для меня сердца моего, выказывает неповиновение…

– О нет, великий царь, этого никогда не будет!

– Я хотел сказать: не весь город. Но недостойные его горожане.

– Это так, твое величество.

– Один из рекрутов плакал подобно женщине. Он не желал поднять меч в защиту своей земли. И еще другой последовал его примеру.

– Твое величество, они не сговаривались.

– Тем хуже!

– Это несмышленыши, влюбившиеся в ляжки девиц.

– Можно ли оправдывать воина, привязанного к женской одежде?

– Никогда, твое величество!

– Если воина ждут ратные подвиги?..

– Никогда, твое величество!

Фараон насторожился:

– Что – никогда, Псару?

– Я хочу сказать, твое величество, что нет оправдания молодому воину, бегающему от службы в войске.

– Только ли эти двое проявили неповиновение?

– Нет, твое величество! Пятьсот палок получил еще некий юноша-каменотес. За то же самое.

– Он жив?

– Он умер, твое величество. Истек кровью.

– И это все происходит в Ахяти?

Семер молчал. Ему было стыдно. Очень стыдно! Почему не расколется земля в это

мгновение и почему не провалится в ее страшный зев семер Псару?

Фараон сказал, обращаясь к Кийе:

– Надо ли приписать все это моей мягкотелости?

Она отрицательно покачала головой.

– Тогда, может быть, – нерадивости семера?

Кийа подумала.

«Вот пришла моя смерть от руки этой прекрасной женщины, пылающей любовью к его величеству». Так сказал про себя Псару-младший.

Кийа сказала:

– Псару неповинен.

Фараон вздрогнул. Будто его самого обвинили в сих грехах. Уставился на Кийю. Непонимающе. И чуточку растерянно.

– Наверно, виноват я сам, Кийа.

– Нет, твое величество.

– Так кто же?

– Только не семер Псару! Разве не он наказал юношу?..

– Юношей, – поправил Псару, дрожащий.

– Ах, вот как! Это еще больше облегчает участь семера. Воистину невозможно во всем подозревать своих слуг. Подозрение ведет ко всеобщей подозрительности. Оно заражает поголовно всех. И тогда даже верховный владыка не останется вне подозрения.

Его величество вообразил себе, что не Кийа, а кто-то другой – более мудрый, многоопытный – говорит за ее спиной. Он сказал:

– Повтори, что ты сказала.

И Кийа – слово в слово:

– Воистину невозможно во всем подозревать своих слуг. Подозрение ведет ко всеобщей подозрительности. Оно заражает поголовно всех. И тогда даже верховный владыка не останется вне подозрения.

Еговеличество весело развел руками, а Псару испугался такой защиты. Готов был вовсе от нее отказаться. Его величество знает, что говорит. Когда говорит. Кому говорит. Сомнениям не должно быть места…

Вот он, его величество, мыслями где-то далеко. В заоблачных сферах, где верховодит его златоогненный отец. Его величество беседует с ним, как всегда в часы раздумий. В мгновения раздумий. Отец небесный никогда не оставляет своего сына без советов. Он не жалеет ни сил, ни времени для благого бога на земле. Не требуя благодарности. Безо всякой корысти. Ибо он – отец фараона.

И благой бог соизволил сказать:

– Кийа права. Она права!

Потом помолчал и добавил:

– А Псару не прав. Он совсем не прав!

И тут холодный пот прошиб моложавого семера. Он стал вроде бы каменный. Ибо слишком тяжелы для сердца слова его величества.

Кийа походила на молодую львицу, готовую вступить в единоборство. Фараона эта прыть забавляла. «Тридцать пять лет прожил я. Видел зло. Видел добро. Собственноручно творил и то и другое. Смотря по тому, что повелевал отец небесный. Я достиг подобия великой пирамиды, и весь мир – у моих ног. И вот сегодня вижу женщину, которой ничего не стоит возразить мне…»

Он был прав. Но почему же забыл он ту, другую?.. Ту, которая не раз противопоставляла ему свое мнение. Точнее, пристегивала к своим мыслям его мысли. И давала понять, что победил он, а не она. И делала она это во имя общего дела. Разве его величество позабыл обо всем этом?

Семер стоял неподвижный. Деревья в саду как бы застыли вместе с ним. И луна на небе. И небо само. И пруд, в котором горели отблески светильников, и царедворцы –

молчаливые и строгие.

Кийа горячилась:

– Я не могу понять, твое величество, твоих слов: одно из них исключает другое. Если одно говорит «да», то другое – «нет». Надо ли доискиваться особого смысла, или смысл их столь ясен, что труден для восприятия смертных? Если – последнее, то молю тебя повторить, дабы могла составить себе ясное представление.

Фараон усмехнулся. Он поднял правую руку и ладонью взялся за собственный затылок. Словно там была боль. Или там мог отыскаться ответ для Кийи.

Он сказал:

– Вот кто-то приложил раскаленную медь и жжет мне затылок. Словно тавром метит меня. А разве я – бездушная скотина, которую метят тавром в чужом стаде? И откуда эта боль? Угодна ли она отцу моему, плывущему в широких сферах, где все чисто и спокойно? Кто мне ответит?

И он застонал.

Кийа испуганно привстала, наклонясь вперед. Пытаясь заглянуть ему в глаза. Однако он остановил ее властным жестом левой руки, не отнимая правую от затылка:

– Не надо, Кийа! Я разговариваю с ним!

Она подала знак семеру, и тот попятился к ладье, стоявшей у низкого причала. И когда кормчий заработал веслом, семер взглянул на луну и мысленно поблагодарил ее. Ему было безразлично, кто это: само божество солнца или злой страж мира. Псару-младший был убежден, что заступник и благодетель его там, наверху. На небе. А каков он – не важно…

Фараон пришел в себя. У него перестал ныть затылок. Боль удалялась к вискам. И на них потерялась. Точно испарилась. Он повеселел. Как всегда после приступа. И только теперь заметил, что семера нет.

– Я приказала ему удалиться, твое величество.

– Какая же ты умница!

– Тебе лучше?

– Да.

И как всегда после болей, он почувствовал великий прилив сил. Фараон привлек к себе Кийю и прошептал:

– Хочу быть с тобой.

Он шептал нежно. Как ветерок среди пальмовой рощи. Где-нибудь в оазисе. Среди песчаной пустыни. Где дуновение ценится особенно. Как и ласка его здесь, в этом огромном городе необъятного царства.

Шери

Это известие поразило Нефтеруфа: в столицу прибыл Шери. Зачем? Когда? Это ему было невдомек. Ничего не сказал по этому поводу молодой человек, сообщивший о приезде Шери самым доверительным образом. Бывший каторжник тотчас передал новость Ка-Нефер.

– Он здесь? – спросила она, крайне удивленная.

– Да.

– Где он остановился?

– В доме одного парасхита…

Ка-Нефер поморщилась. Ко многому она приучила себя. Однако эти потрошители покойников внушали ей отвращение и страх.

– Ничего, ничего, – успокоил ее Нефтеруф, – парасхит – не самое страшное существо. Меня интересует кое-что поважнее.

Нефтеруф прислушался к уличным звукам: там было тихо в этот утренний час. Ахтой спал в своей комнате. Вполне безопасное время для беседы.

Нефтеруф продолжал, как бы проверяя ход своей мысли:

– Что означает это неожиданное появление Шери? Я спрашиваю и тебя и себя. Если бы

я мог безошибочно ответить на этот вопрос, поверь мне, Ка-Нефер, я бы не утруждал ни себя, ни тебя. Как он решился? И что означает этот визит?

Ка-Нефер развела упругими и длинными руками, на концах которых – упругие и длинные пальцы. Нет у нее на это готового ответа. Сама ждет объяснений. От Нефтеруфа. Она особенно красива в это утро. Словно бы и не уставала вчера. Словно бы выспалась как следует. Словно бы и не размышляла полночи над всякой всячиной…

Он прошелся по комнате в крайней растерянности. Для него не существовало красавицы. Все его интересы сходились на этом деле, которое таило в себе так много таинственного. В самом деле: приезд Шери – показатель крайней обостренности положения. Но какова эта обостренность? Что сулит она?

И он заговорил, как бы с самим собой:

– Допустим на одно мгновение, что дело наше оборачивается самым скверным образом. Тогда бы Шери не следовало казать сюда носа. Зачем лезть в пекло? Достаточно было бы подать нам знак. Значит, дело не так уж плохо. Если не плохо, то каково оно на самом деле? Настало время действовать? Возможно. В этом случае вполне резонно его появление в столице. Здесь он может быть полезней, чем где бы то ни было! Я тешу себя мыслью, что все обстоит именно таким образом, а не иначе. – Он остановился, посмотрел на нее просветленным взором, в котором – надежда, надежда, надежда на лучшее! – Итак, я прихожу к окончательному заключению: наша победа близка!

Ка-Нефер подивилась его рассуждениям. В них все как будто гладко. Но ничего определенного. Ничего обоснованного. Всё – от чувств, от сердца, но не от разума! Разве в серьезном предприятии допустимо подобное?

Он угадал ее мысли. Словно кудесник какой-нибудь.

– Ка-Нефер, я – человек с мясом и кровью. Я много ошибался в жизни и, наверное, ошибусь еще не раз. Ты меня слышишь?

Она сказала:

– Да. Слышу.

– Мне показалось, что ты далеко отсюда.

– Нет. Я тоже размышляю.

– Я сказал, что, наверное, ошибусь не раз в своей жизни.

– Если бы не было ошибающихся, Нефтеруф, откуда бы брались мудрецы?

Он рассмеялся:

– Ты права. Я почти выболтался. Теперь твоя очередь.

Ка-Нефер – женщина мудрая. Не по летам. У нее в голове – тысячи змей, и каждая из них – с умом самого умного человека. Ка-Нефер видит дальше, чем кто бы то ни было. Чутье ее тоньше звериного. Это – азиатская тигрица с тигрятами. То есть сама предосторожность и прозорливость. Вот кто такая Ка-Нефер!

– Ты умнеешь день ото дня, – лукаво щурясь, произнесла Ка-Нефер.

– Я?

– Да, ты, Нефтеруф. Ты уже не ругаешь фараона. Ты понял, что ругать – занятие пустое. И не безопасное дело. Дело – вот что больше подобает мужчине.

Нефтеруф сорвал с себя парик и отбросил его в угол.

– Ты права! Мне сказать нечего. Рад, что поумнел. Было бы хуже, если бы я услышал от тебя: поглупел!.. Но это мелочь… Разве не замечаешь, что я – весь внимание?

Женщина не торопилась делиться своими соображениями:

– Ты все узнаешь сегодня, Нефтеруф.

– Мне готовиться к чему-нибудь опасному?

– Возможно. В нашем положении это никогда не мешает.

– Если даже Шери скажет: «Покинь этот город», – я никуда не уйду отсюда.

– Из этого дома или из города?

– Из города!

Ей это было немножко неприятно. Лучше бы он сказал – «из этого дома». Однако она

постаралась отвлечься от сугубо личных желаний. Они заслонялись более величественным и, несомненно, более важным. Ка-Нефер сказала:

– Я знаю Шери. Он – человек, который видит пустыню за горами и за пустыней – оазис. Шери никогда не пойдет прямо, подставляя грудь вражеским стрелам. Он попытается обойти укрепленные места. Он отыщет тропы, по которым никто не хаживал.

– Это очень плохо! – воскликнул Нефтеруф. – Я предпочитаю путь прямой, бесстрашие – окольным тропам.

Ка-Нефер усмехнулась. И Нефтеруф вдруг ощутил ее превосходство над собой, ее мудрость – над своей и глубину ее души. «… Она очень умна, и ум ее может отпугнуть иного мужчину. Если Ахтой еще не знает этого и не соприкоснулся с ее умом, то только потому, что неимоверно занят своим ваянием. Глина для него важнее ее мыслей, глубина ее сердца меньше значит, чем кусок обработанного камня. Ваятель, пожалуй, и не подозревает, с кем делит ложе. И хорошо это! Что бы случилось с ним, если бы ощутил ее превосходство – вот так же, как это ощущаю в эти мгновения я?..»

– Ты не прав, Нефтеруф. Грудь не надо подставлять врагу. Это знает любой воин. Что же сказать о человеке, связанном нитями с судьбами многих людей – близких и дальних? Имеет ли он право идти напролом? Скажи мне: имеет?

Невозможно было противоречить, и он отрицательно покачал головой.

– Вот видишь, и ты согласен! Разговор веду вот к чему: Шери прибыл в столицу неспроста. Я последую за Шери, если даже ему завяжут глаза. Я сделаю все, что он прикажет. Поверь мне: он знает нечто, чего не знаем мы с тобой. Если это так, то скоро-скоро нам придется, может быть, и грудь подставить, и жизнью поплатиться. Или восторжествовать, может быть. Фараон – поверь мне! – осведомлен, но не обо всем. Над дворцом вот уже много лет стоит грозная тень Эйе, того самого Эйе, который рядом с фараоном! Хоремхеб тоже плетет свои интриги. Начальник стражи Маху тоже не дремлет. Пенту старается разгадать вихрь, бушующий вокруг дворца. И фараон этим вихрем отрезан от людей, как пальма, окруженная со всех сторон песками! И это счастье для нас. Чем фараон слабее, тем лучше!

Нефтеруф бросился на колени перед госпожой дома, прижал ее руки к груди своей.

– Скажи мне, о мудрая, – проговорил он шепотом, – неужели качается та ненавистная пальма! Я верю тебе! Я жажду твоих слов!

Она не чуралась похвалы. Приняла ее как должное.

– Да, Нефтеруф, качается. И, пожалуй, сильно.

Он любовался ею, как божеством. Этот суровый человек, изведавший мрак земли. И, еще больше понизив голос, спросил словно пророчицу:

– А цель моей жизни увижу ли? Я увижу пальму, поверженную во прах?

– Да, – без обиняков ответила Ка-Нефер.

Бывший каторжник порывисто встал, отошел от нее на несколько шагов.

– Почему я так верю тебе, Ка-Нефер, я – ничему и никогда не веривший?

И то, что он услышал, заставило поверить ей еще больше. Больше, чем себе. Чем богу. Чем всем божествам Кеми.

– Потому, Нефтеруф, что любишь меня…

– Что ты сказала?

– Любишь… Любишь…

Произнося эти слова – в некотором роде священные для него, она сладко потягивалась. Как дитя. Точно ее никто и не любил никогда. Точно в первый раз испытала она это чувство.

А он еще раз убедился в ее превосходстве. Он походил на мальчика, попавшегося на мелкой шалости: чувствует угрызения совести и тем не менее не желает признать вину за собою…

– Не надо, – сказал он твердо, – не будем спорить. Но я клянусь богами, что напомню тебе это раннее утро и твои слова.

Она прикрыла лицо ладонями. Словно застеснялась чего-то…

Бывший каторжник осторожно подошел к ней и поглядел на нее сверху. Точно на живительный родник, бьющий в пустыне. Но нет, нельзя отвлекаться ни на мгновение! Что-то будет вечером? В домике парасхита Сеннефера. По дороге в Город мертвых. А женщинам – что? У них сердце на первом месте. И душа. А разум часто ютится где-то на задворках. В укромном уголке.

Ка-Нефер обворожительно красива. Настоящая женщина! Телом. Лицом. Руками и длинными, как у серны, ногами…

Он медленно отвернулся от нее, быстро – чуть не бегом – подошел к стене и прислонился к прохладному кирпичу. Чтобы остыть немного… А она, не видя его, но все досконально чувствуя, повторяла:

– Любишь… Любишь… Любишь…

– Замолчи, – взмолился он.

– Любишь.

– Я прошу тебя.

– Любишь.

– Я убегу из этого дома.

– Любишь.

– Будь по-твоему. Только замолчи!

– Хорошо, – согласилась она.

Он зафыркал. Будто вытащили его из воды. Будто успел побывать в пасти крокодила. Его била мелкая, неприятная дрожь. Он сел на пол… И услышал голос, доносившийся с небес:

– Не скрою, Нефтеруф, ты вошел в сердце мое. Ты выжег на нем клеймо свое, и я теперь уже никогда не потеряюсь. Если пожелаешь найти меня. Если пожелаешь шевельнуть пальцем – пойду за тобой и не оглянусь на порог дома своего. Ибо душа моя – с тобой. Вот говорю я, и только боги в свидетелях. И если захотят они внять моей просьбе – я буду счастливейшей из женщин.

Это была речь сильной, рассудительной и любвеобильной. Теперь ему уж не совладать со своим чувством, которое – видят боги! – сдерживал, согласно клятве, данной, там, во глубине гор. Он сказал тогда: «Ты, Нефтеруф, никогда не познаешь никаких радостей – ни духовных, ни телесных, – пока не отомщены твои родные, пока не отомщено оскорбление, нанесенное единственным человеком – фараоном Эхнатоном! До того ты не познаешь ни радостей, ни смеха, ни любви, без которых человек – не человек!» Так говорил себе Нефтеруф, добывая золото для казны владыки Кеми. Может быть, он отступил здесь, в Ахетатоне, от клятвы своей?

– Ка-Нефер, твой дом стал мне кровом и защитой в бедственном положении, когда я вынужден даже имя свое скрывать от людей Я клялся под землей. Я отринут от радостей до поры… Разве изменилось что-нибудь, чтобы нарушить клятву? Разве не продолжает властвовать фараон в Ахяти? Разве по-прежнему не попираются права великого города Амона – Уасета? Все, все по прежнему! Не изменилось ничего, кроме того, что Нефтеруф бежал из заточения, бежал для того, чтобы исполнить волю богов…

Все это он высказал пылко, как юноша, убежденно, как муж многоопытный. Но он ни разу не возвысил голоса. Ни разу не пошевелил рукой, дабы подкрепить жестом свое слово Он говорил так, словно повторял давно заученную, хорошо запомнившуюся молитву. Он уже сидел ровно, как фигурка ушебти. Едва шевелил губами. Ка Нефер с трудом улавливала его слова. И когда Нефтеруф сказал все – на одном дыхании, хозяйка дома молчала долго-долго.

«…Он очень уязвлен. Он очень несчастен в своем положении. Долго мытарился, но верил. Верил в судьбу свою, которую предопределяют боги. Ему предназначена великая судьба, ибо Нефтеруф достоин ее. Пусть тьма окутывает его путь, пусть он пока унижен и принужден скрываться наподобие летучей мыши. Разве сильные не добьются своего? Разве не для них существует земля? Не для робких, но сильных, умеющих идти в потемках и

находить свою дорогу…»

Он ждал ее слов. Что скажет эта прекрасная дама, запечатленная в гипсе и камне многих ваятелей?

Но в это самое мгновение вошел Ахтой – свежий, отоспавшийся, умытый. Он приветствовал госпожу дома и ее гостя. Был полон сил и желания работать.

Ахтой с радостью сообщил (точно об этом шел разговор только что):

– Наш учитель и начальник Джехутимес нашел черточку, которая оживила лицо ее величества. Он взял резец и провел маленькие бороздки в уголках губ. И живой камень – каким и было изваяние, вышедшее из-под его рук, – окончательно ожил. И кто бы ни посмотрел на портрет ее величества, не может не произнести похвальных слов.

– Это хорошо, – бесстрастно сказала его жена.

– Еще бы! Любимая наша царица как бы снова возведена на престол. На этот раз не жрецами, но ваятелями.

– Это так, – подтвердил Нефтеруф. – Я чуть было не выронил из рук сосуд с водой, когда увидел каменное изваяние, подобное живому существу.

За завтраком Ахтой продолжал восторгаться скульптурой. Однако она еще не окончена. Недостает царственной короны, которую мастерит Ахтой. Но пройдет время, и корона будет готова. Мир удивится мастерству Джехутимеса…

– Да? – обронила Ка-Нефер.

– Разумеется! – подтвердил Ахтой. Он поднял высоко кусок жареного гуся. – Я клянусь вот этим сладчайшим куском!

– До того ли сейчас царице, Ахтой?

Ахтой перестал жевать. Вопросительно уставился на Ка-Нефер. И сказал, обращаясь к Нефтеруфу:

– Она, как видно, совсем похоронила царицу.

Нефтеруф пожал плечами: это не его ума дело…

– Ты что-то хотел сказать, Нефтеруф?

– Я? Нет, ничего. И что мне говорить? Мое дело – маленькое: поди принеси воды! Помоги замесить глину. Вот мое дело. И еще: поскорее избавить вас от себя, чтобы самому стать на ноги.

– Слышишь? – обратился к жене Ахтой. – Наш гость, как видно, недоволен нами. Ему не терпится покинуть нас.

– Это правда? – Ка-Нефер сделала вид, что удивлена.

– Правда, но не совсем, – сказал бывший каторжник. – Мне хорошо здесь. И даже слишком. Это и служит причиной…

– Хорошее отношение к тебе – причина?! – вскричал Ахтой.

– Да. Не стоит испытывать терпения милых хозяев…

– Выпьем вина, – предложил Ахтой. – Оно улучшит состояние духа.

Нефтеруф не заставил себя упрашивать. Он прильнул к чарке, точно изжаждавшийся бородатый азиат.

Вскоре Ахтой и Нефтеруф покинули дом: их ждала работа в мастерской Джехутимеса.

Появление Шери в хижине Сеннефера было неожиданным. Парасхит даже не поверил своим глазам. Шери был без парика – пыльный и усталый, как каменотес. Его квадратное лицо, угловатые челюсти, ровный – без выступа – подбородок выдавали прежнего Шери – аристократа, человека воли и ума. Прямо с порога он объявил:

– Сюда явятся двое. Едва ли ты знаешь одного из них. Но при появлении другого ты не должен выказывать ни удивления, ни страха.

– Страха?

– Да.

– Кто же это будет?

– Узнаешь в свое время.

– А тот… другой… кто он?

– Его имя Нефтеруф…

– Нефтеруф. Странное имя. Оно мало известно в долине Хапи.

– Это имя вымышленное. Носящий его сбежал из рудников. Человек из знатного рода был сослан в золотые копи. И сбежал. Он стал нищим. Его сородичи погибли или прозябают в горах. Они питаются ящерицами. И проклинают день своего рождения. Нефтеруф явился сюда для отмщения.

Шери поднял правую руку вверх. Он продолжал:

– Вот так, уважаемый Сеннефер: одни сделались парасхитами, другие – нищими, третьи одичали, как волки. Но всех их объединяет одно: ненависть к фараону, ненависть к имени его и ко всем единомышленникам его.

– И жажда мести, – добавил Сеннефер.

– Истинно сказано, уважаемый!

Парасхит усаживает гостя на циновку. А сам идет во двор.

Уже поздно. Город уснул. Погашены огни на главных воротах дворца. Первая ночная стража обходит опустевшие улицы. К дворцовой пристани уже не пристает ни единая ладья. Столичный перевоз в последний раз принимает запоздалых путников. К полуночи, к полуночи клонится время…

Вокруг хижины парасхита пустынно и темно. Мрачная тишина на земле.

Трижды обходит вокруг хижины Сеннефер. То постоит и прислушается к тишине, то припадет к земле и озирается, точно зверь в камышах Хапи. И, успокоившись, уходит к себе в хижину, чтобы сообщить Шери, что все спокойно. А когда послышались шаги на дороге, Сеннефер тотчас же предупредил:

– Кто-то идет.

Он вышел к порогу. И вскоре ввел Нефтеруфа.

– Я здесь, – сказал вошедший.

– И я здесь, – ответил Шери.

Они обнялись. А Сеннефер старательно закрыл дверь на деревянную щеколду.

– Вот Сеннефер, – сказал без дальних околичностей Шери. – Правда, он не ел землю комьями, но принужден копаться во внутренностях покойников. И это великий Сеннефер из Ей-н-ра! Дом его предан огню, закрома его разграблены, земли присвоены фараоном.

– Рад видеть тебя, Сеннефер, – приветствовал его Нефтеруф. – Нелицеприятный Шери всегда говорит чистую правду. Я привык ему верить. Его слов достаточно, чтобы имя твое сделалось дорогим для меня.

Сеннефер почтительно поклонился:

– Уважаемый Нефтеруф, не побрезгуй, вкуси от скудного ужина и попробуй пива. Я совсем не ждал ни Шери, ни тебя. А желудок мой привык к скудости.

Ради приличия Нефтеруф пожевал вяленой рыбы и запил пивом. Если бы сказали лет десять тому назад там, в Уасете, что придется ему сидеть в обществе заговорщиков в хижине парасхита, то привлек бы болтуна к судебной ответственности. Но нынче он находится именно в положении заговорщика, именно в хижине парасхита! Не удивительно ли это? Один из славных отпрысков знатного уасетского рода и жилище бедняка – не правда ли, нечто невообразимое?! И это произошло по воле одного существа – не важно, божественного или земного он происхождения! Это случилось на цивилизованной и великой земле Кеми! На берегах священной реки Хапи. Ну, не удивительно ли это?!

– Нефтеруф, – сказал Шери, – я предупредил Сеннефера. Хочу то же самое сказать и тебе. Сейчас сюда, в эту хижину, заявится важный господин… Некий царедворец… Ни ты, ни Сеннефер не должны выказывать никакого удивления. Ни словами, ни видом своим, ни выражением глаз своих.

Экспансивный Нефтеруф не выдержал:

– К нам? Царедворец?!

– Тише, тише, Нефтеруф! Никогда не забывай: в столице имеют уши даже стены, и полы, и потолки! Здесь одно огромное ухо. Такое невообразимое. Оно слышит даже шорох в

камышах Дельты. Берегись соглядатаев, Нефтеруф! Умерь свой пыл, будь человеком холодным, как рыба. Это моя большая просьба. А точнее – приказ.

– Повинуюсь, – пробормотал Нефтеруф и с силой прижал ладонь к губам. У наго даже челюсти хрустнули возле ушей.

– С этим самым царедворцем буду говорить только я. А вы слушайте и запоминайте.

– А ежели он обратится к нам?

– Отвечайте коротко. Односложно.

Шери был сосредоточен, сдержан. Словно готовил себя и своих единомышленников к большому испытанию. Он поджал под себя ноги, скрестил на груди руки. Глядел прямо перед собой. Куда-то вдаль. Сквозь стены этой хижины.

Нефтеруф знал его давно. Еще в детстве слышал его имя. Потом они встречались в Уасете. Учились в школе. Вместе заучивали иероглифы. Чуть ли не одновременно получали палочные удары, отпускаемые щедрой рукою ученого жреца. Шери всегда отличался от других. Даже в те годы. А теперь он – признанный вождь невидимой, тщательно запрятанной оппозиции. Верховный глава ее. И в случае необходимости – ее командующий. К нему стекаются все недовольные, все противники фараона. Как и следовало предполагать, один из недовольных обосновался в самом дворце. Очень любопытно узнать – кто же? В конце концов, эго и не важно. Главное – здесь Шери, к которому все единомышленники испытывают безграничное доверие. Без такого доверия невозможно затевать борьбу против фараона…

Сеннефер вышел во двор и снова трижды обошел хижину, зорко всматриваясь в темень, припадая к земле и нюхая ночной воздух. Все тихо. Все спокойно в этом заброшенном уголке столицы. И он вернулся на свое место, бросив короткое:

– Никого!

Шери начал издалека:

– На горе Кеми родились два фараона: Эхнатон и отец его – Аменхотеп Третий. Что было до них? Кеми процветал, повсеместно царили покой и порядок. Люди работали. За них думали фараоны. Например, Тутмос Третий. Он воевал. И каналы строил. Ссылал непокорных за пятый порог и в Ливийскую пустыню. Разве плохо было? Кеми процветал! Враги его трепетали. Бывало, фараон чихнет в Уасете, а ему в Эфиопии и Ретену говорили: «Будь здоров!» А что теперь? Нас теснят. Нам не кланяются в Джахи. Хетты презирают. Митанни смеются. Эфиопы ждут удобного дня, чтобы сокрушить нас. И это спустя очень много лет после того, как наши предки свергли гиксов и на престоле Кеми воцарился его величество Яхмос Первый. Что же теперь? Вместо того чтобы двигаться вперед и держать на почтительном расстоянии наших врагов…

Шери поочередно посмотрел то на Сеннефера, то на Нефтеруфа.

– *Он,* – Шери указал пальцем через левое плечо, в сторону города, – он не нашел ничего лучшего, как разогнаться, подобно драчливому барану, и сокрушить изваяние Амона. Нашего тысячелетнего божества. Который в сердце и в печени у нас, в голове и душе. Он решил, что лоб его все может. Но ведь и носорог – страшное животное юга – расшибает свой лоб. О какое-нибудь прочное дерево или о бивни слона. Можьо стереть имя великого бога Амона со стен храмов и обелисков, но нельзя вырвать его из сердец тысяч и тысяч людей. Можно сгноить в рудниках сотни знатных фамилий Уасета, Мен-Нефера и Ей-н-ра, но невозможно завоевать благосклонность даже немху. А почему? Да очень просто!

Шерп пояснил: потому, что немху требует не гимнов Атону и песнопений, но более существенного. А именно: должностей, земли, участия в прибыльных походах на чужие государства. Вот что надо немху! А что дает фараон? Пока что одни обещания. А ведь прошло целое десятилетие! Обещания, обещания, обещания! И несть конца им. Они повторяются, как молитвы. С той же убежденностью, монотонностью и – увы! – с тем же результатом. То есть протянутая рука немху, рука просящая, не получает ничего, кроме воздуха, который над ладонью. Кого же может удовлетворить воздух, если даже подарить его вместе с небесами?

Нефтеруф и Сеннефер с интересом слушали его рассуждения, резонно полагая, что вслед за ними воспоследствуют важные предложения. Ни того, ни другого не требовалось убеждать в чем-либо Их ненависть к фараону и его царедворцам была непоколебимой. Она родилась не сегодня и даже не вчера. Фараон сам нажил себе врагов, сам собственноручно изготовил их с большим прилежанием, подобно гончару, обжигающему глиняные кувшины. Может быть, Шери сам пытался кое-что освежить в своей памяти? И в памяти своих друзей? Возможно, это были его мысли вслух, раздумья вслух, так необходимые порой человеку, идущему на слишком большой и рискованный шаг. Теперь уже это никто с достоверностью не определит. Однако если мертвая земля способна запоминать слова, высказанные со страстью необыкновенной, то она, несомненно, когда-нибудь воспроизведет спокойную внешне, но горячую по сути своей речь Шери.

– Дальше? – попросил Иефтеруф. – А дальше?

Шери не торопился. Отпил глоток пива и снова скрестил руки на груди.

– Поймите меня: я все веду к тому, чтобы и я и вы точно уяснили себе, что делается в стране Значит, так: недовольны немху, ожесточена знать, бурлит возмущением загнанное в угол жречество Амона. Что еще надо? На то у нас и глаза, и уши, чтобы все видеть, все понимать. Что следует из того, что вы услышали?

Но не дал он слушателям и рта раскрыть. Он сам ответил на этот вопрос:

– А следует вот что: у нашего великого государства глиняные ноги. Вот смастерил их гончар и приделал. Разве на глиняных ногах удержишься?

– До поры до времени…

– Верно, Сеннефер. И эта пора может наступить раньше, чем предполагаем.

– А может, уже настала?

– Нефтеруф, ты это утверждаешь?

– Нет, спрашиваю, размышляя, Шери.

– Я пришел в этот город для того, чтобы сообщить: да, эта пора настала!

Нефтеруф на мгновенье застыл. И Сеннефер тоже. И вдруг беглый каторжник схватил руку Шери и облобызал ее молча, как пес, который по-своему благодарит доброго хозяина.

Сеннефер, воздев руки, горячо молился богам. И повторял про себя: «Неужели?.. Неужели?.. Неужели?..»

Вдруг за дверью послышались шаги.

– Он!

Шери убежден, что это именно *он.*

– Открой, Сеннефер!

Старик быстро поднялся на ноги и подошел к двери, за которой словно поджидала его сугубая опасность.

– Смелей, Сеннефер!

Шери и не допускал мысли о том, что это может быть кто-нибудь иной, кроме *него.* Которого ждали. И Сеннефер осторожно откинул деревянную щеколду и приоткрыл дверь. Узкая полоска неяркого света упала на того, кто стоял за порогом.

В хижину вошел тучный, отдувающийся человек. Точно из воды вылез. Кто же это?

– Добро пожаловать, Маху! – сказал негромко, совсем негромко Шери. И встал навстречу вошедшему.

Да, это был Маху, начальник дворцовой стражи, в чьих руках, если можно сказать, ежемгновенно находилась жизнь его величества. Которому доверялся владыка обеих земель Кеми. Который был глазами, ушами и опорой его величества. Кто не знал Маху? Даже дети слышали его имя. Им пугали непослушных и шаловливых. Им говорили: «Вот придет Маху и задаст тебе трепку», «Маху отрежет тебе уши», «Усни – или заберет тебя страшный Маху». Нет, даже дети были по-своему знакомы с этим Маху, не говоря о взрослых. Ею имя

заставляло трепетать сердца и нагоняло дрожь на каждого, кто находился между Дельтой и Эфиопией. И семеры хорошо понимали, что за птица Маху. Если его светлость Эйе олицетворял, по их разумению, хитрость и коварство, Хоремхеб – оголтелое воинство, то Маху являл собою жестокость беспримерную, о которой, может быть, и не догадывался даже сам фараон. Многие спрашивали себя: «Как может его величество – жизнь, здоровье, сила! – терпеть жестокосердного, неумолимого человека вроде Маху? Или это совершенно необходимо для власти фараоновой?» И вот этот самый Маху является сюда, в эту хижину. Зачем?

«…Если и Маху здесь, – подумал Нефтеруф, – значит, дело значительно серьезнее, чем это можно предположить. Если живая плеть фараонова – а Маху именно плеть – считает возможным покинуть дворец и побеседовать с заговорщиками, то дело наполовину выиграно. Это значит, что власть шатается, очень шатается. Да и Шери не стал бы попросту рисковать ни собой, ни своими единомышленниками…»

Сеннефер:

«…Великий Амон позвал сюда этого Маху, который только таким образом может искупить свою вину перед богом. Этот случай посылает ему Амон-Ра, ибо Маху виновен не меньше самого фараона. Вот так выясняется и проверяется прочность власти, пытавшейся сокрушить тысячелетнее божество, которое во плоти и крови всего Кеми, всех его людей…»

Маху:

«…Вот эти трое. Один из них несчастный парасхит, другой – неизвестный миру человек, но, судя по виду его, довольно решительный. Можно ли опереться на столь жалкую силу в таком невероятно трудном деле, как борьба с фараоном?..»

Он не торопился присаживаться, исподлобья осматривал комнату и ее обитателей.

– Ты здесь среди преданных тебе людей, Маху, – счел необходимым предуведомить его Шери. – Я хочу сказать, что любое твое решение останется между нами. Никто об этом не узнает, кроме стен.

– Стены не менее опасны, чем люди, – изрек Маху. И уселся на низенькую скамеечку.

– Уважаемый Маху, – сказал Сеннефер, – неужели и ты опасаешься соглядатаев?

Маху долго молчал. Потирал руки, точно они озябли. Громко сопел. Бросал любопытствующие взгляды на каждого из троих мужчин. Такие быстрые взгляды. Словно камешки в полете…

– Когда один, – начал он, – устанавливает слежку за другим, приходится набирать соглядатаев. Не одного, не двух и не трех. Много соглядатаев! Потому что один подозреваемый всегда связан со многими другими. Значит, слежка разрастается. Что делать? Приходится следить и за соглядатаями, и за соглядатаями соглядатаев, и за соглядатаями соглядатаев соглядатаев. Что же получается?

Шери покачивал головой. Он-то хорошо знал, что получается.

– Как мастерят корабельные канаты? Берут льняное волокно. Оно не толще волоска. Волокно к волокну. Еще волокно – и уже суровая нить. Суровая нить к суровой – толстая нить. Из тысячи таких нитей, искусно сплетенных, и получается канат – с руку. В обхват! И уж в таком канате найти изначальное волокно, проследить за извивами его пути так же трудно, как найти меченую песчинку в Западной пустыне. К чему я клоню? А вот к чему: когда великий владыка набирает когорту осведомителей, толпу соглядатаев, неимоверно возрастающую числом, то каждый из нас имеет равную возможность попасть во власть к этим крайне любопытствующим людям. И уже болезненно любопытствующим. Не важно, во имя чего были собраны они, кто собирал и куда направлял. Я слежу за тобой, ты – за мной, мы оба – за третьим, втроем – за четвертым. Буду краток: создающий эту силу часто попадает сам в ее сети. Скажи мне, Шери: прав я или нет?

– Прав, – без обиняков согласился Шери.

– Вот почему и я боюсь этих стен, хотя направляю соглядатаев сам и они у меня вот здесь. – Маху сжал руку в кулак – до хруста жирных пальцев.

Нефтеруф спросил:

– И ты сам, уважаемый Маху, вот так же в их власти?

– Именно. Только им много легче, чем мне.

– Я выйду посмотрю, все ли в порядке, – сказал Сеннефер.

Маху ухмыльнулся. Эта усмешка на его багровом лице, подсвеченном светильником, была скорее устрашающей, нежели добродушной.

– Не утруждай себя, Сеннефер, мы все находимся под недреманным оком моих соглядатаев. Они оцепили твою хижину.

Нефтеруф невольно съежился, точно на него замахнулись. Только спокойствие Шери – если только Шери был спокоен – удерживало его от бегства.

Маху сказал:

– Время идет, Шери. Что ты имеешь сообщить мне? И должен ли я слушать в присутствии этих уважаемых господ?

– Да, Маху.

– Что же, я весь внимание.

Шери твердо заявил:

– Каждый из нас готов пожертвовать своей жизнью!

Маху кивнул.

– Все вместе или порознь! Мы сказали себе: жизнь или смерть!

– Достойные слова!

– Больше невозможно терпеть его…

– Ты хочешь сказать – Эхнатона?

– Да! Попранное имя Амона должно быть восстановлено.

– Зачем?

– Как – зачем? – удивился Шери.

– Вот именно: зачем?

– Дабы величие Кеми было вечным…

– Та-ак…

– Дабы униженные знатные фамилии вновь обрели свою прежнюю силу.

– Неплохо бы…

Вдруг раздался зубовный скрежет. Словно лев голодный поднялся из-под земли. И, завидя людей, заскрежетал зубами, предвкушая добычу. Здесь, в этой хижине, действительно пребывал лев, но лев в образе Нефтеруфа.

– Уважаемый Маху, – сказал он, с трудом сдерживая себя, чтобы не возвысить голос до крика, – вот мои руки – они способны разорвать дикого буйвола. Возьми их и прикажи им содеять нечто. Невиданное. Неслыханное. Они долго пребывали в безделье. Они способны нанести удар, от которого содрогнется мир!..

Словно желая удостовериться в этом, Маху через плечо поглядел на руки Нефтеруфа – волосатые, мускулистые, налитые кровью.

– Мало, – буркнул царедворец.

– Чего мало?

– Рук!

Шери сказал:

– У нас есть еще.

– Где?

– Здесь, в этом городе…

– А еще?

– В Уасете.

– Мало!

– В Мен-Нофере.

– Мало!

– В Дельте.

– Недостаточно!

– И во дворце.

Маху вопросительно уставился на Шери:

– Во дворце?

– Да.

– Кто же это? Можно узнать?

– Да.

– Кто же?

– Ты!

Маху усмехнулся:

– Ты считаешь, что этого предостаточно?

– Вполне!

Далеко за полночь

Его разбудили по велению фараона и препроводили во дворец. Бакурро-писец был воистину удивлен: в такой поздний час? И к самому его величеству? Это что-то небывалое! Или к хорошему это. Или к чрезвычайно дурному.

Он посматривал на стражников, вооруженных пиками и легкими щитами, и думал о своем. Небольшого роста, тщедушный писец выглядел жалким по сравнению со здоровенными воинами дворцовой охраны. Со стороны могло показаться, что ведут арестованного.

Вот идут они. Пересекают двор. Еще двор. Сад. Дворик. Еще дворик. Сад. Зал. Еще зал. Зал с колоннами. Открытый дворик. Зал. Комнаты. Коридоры. Коридорчики.

Перед небольшой дверью – заминка. Стража не смеет переступить порога. Они молча указывают на дверную ручку. Бакурро считает удары сердца: один, два, три… Не сосчитать! Он перед спальней его величества. Святая святых, лицезреть которую и не мечтал. Не чаял даже во сне… Будь что будет: он открывает тяжелую дверь.

Царь сидит, подогнув под себя ноги. На мягких подушках. Среди ярких светильников. В легкой одежде. Грудь – нараспашку. Держась за левую сторону груди. Надменный. С первого взгляда надменный. А на самом деле – с выражением тоски на лице и в глазах.

Бакурро припадает лбом к прохладному полу, на котором изображение сочной травы, зеленого папируса и мелких птиц.

– Сядь! – Фараон указывает на длинную, низенькую скамью. – Ты удивлен, Бакурро?

Теперь Бакурро не боится. Почему-то вдруг осмелел. Способен даже отвечать. И ясно мыслить.

– Нет, твое величество.

Вот он, благой бог. Небольшой. Тщедушный. Можно сказать, двойник Бакурро. Если говорить о плечах, животе и ногах.

– Ты не удивлен, что зван так поздно?

– Нет. Потому что, твое величество, Кеми живет и действует и днем и ночью, требует к себе внимания и днем и ночью.

– Это верно, – проговорил фараон. Он направил на писца указательный палец левой руки (правой продолжал растирать сердце). – Почему-то странно ведешь себя, Бакурро?

– Я?

– Да, ты. Я часто наблюдаю за тобой. В тронном зале. Ты не такой, как все. Ты, по-моему, всегда думаешь о чем-то своем. Ты вечно отсутствуешь, хотя находишься вблизи

– Я размышляю, твое величество.

– Это хорошо. Мысль отличает человека от домашнего скота. Мысль, не знающая сна ни ночью, ни днем.

– Истинно так, твое величество.

– Я давно обратил на тебя внимание. И решил поговорить с тобой… Сколько тебе лет?

– Сорок, твое величество.

– Чуть постарше меня.

– Лет на пять, твое величество.

– Разве это много?

– Да, много. Я уже чувствую старость…

– Правда? – обрадовался фараон. – А я – нет!

– Жизнь, здоровье, сила! – воскликнул Бакурро в приливе чувств.

– Я часто слежу за тобой, Бакурро.

– Не замечал этого, твое величество.

– Ты не такой, как остальные. Имеешь ли ты награды?

– Да. И самую высшую.

– Когда и за что ты получил ее?

– Только что. А за что – не ведаю. Эта беседа – высочайшая награда для смертного!

Правду ли он говорит? Правда ли это, Бакурро? А ну-ка подыми глаза на его величество.,. Прямее гляди! Гляди не мигая!..

«…Нет, этот скриб говорит правду. Я был знаком с его отцом. Тоже скрибом. И отец отца был писцом. Но, насколько помнится, они не знатного происхождения. Один из предков Бакурро ходил в азиатские походы с войсками Тутмоса Третьего. Честные, честные люди! И зачем ему лгать? В его черных глазах – одна правда. Они не мигают. Он не прячет их, не отводит в сторону».

– Умеешь ли говорить правду, Бакурро?

Писец не спешит с ответом.

– Прямой ли ты человек, Бакурро?

– Твое величество, тебе я скажу только правду.

– Это очень хорошо! Ты даже не можешь представить себе, как это хорошо! Нельзя жить с человеком под одной кровлей и лгать ему. Это невыносимо! А кровля у нас одна – небо!

– Истинно сказано, твое величество… От детей я требую только правды.

– Что же, Бакурро, ты на правильном пути. А вот скажи мне: что ты думаешь о фараоне? Когда слушаешь его. Или записываешь его слова. В тронном зале… Я многих писцов вижу насквозь, словно слюдяную пластинку. И не раз спрашивал себя: о чем думает в это мгновение этот скриб? То есть какие мысли одолевают тебя?

– Когда записываю слова твоего величества?

– Да. Мои слова. Только правду!

– Никто никогда не интересовался моим мнением.

– Даже твой начальник?

– Да, и он тоже.

– Хотя бы твоим мнением о папирусе, на котором пишешь?

– И это его не интересовало.

– … хотя бы о чернилах?

– Зачем? Он полагает, что все ему известно и без меня.

– … хотя бы о каком-нибудь иероглифе?

– Ни о чем!

Фараон подумал: каково жить на свете, если твое мнение никому не нужно? Он поставил себя на место этого скриба, разбуженного среди ночи. Может быть, он спал в это время с женой? А ведь может быть!..

– Послушай, Бакурро: ты спал один или с женою?

– С женой.

– Она молода?

– Вдвое моложе меня.

– Ты, наверное, проклинаешь меня?

Писец покраснел, как вавилонский индюк.

– Хорошо, – сказал фараон. – Не ты, так твоя жена ворчит.

– Может быть!

– Ты мне нравишься, Бакурро! Неужели она такая горячая, что не может без тебя и часа?

– Не может, твое величество. Особенно ночью.

– Как?! Ты имеешь ее и днем?

– Если выпадает свободный час. Она же наполовину азиатка, а наполовину – негритянка.

– Где же ты нашел такое сочетание двух огней?

– Здесь. В столице.

У фараона озорно засветились глаза, подобно двум звездам Сотис. Его восхитила прямота скриба. У его величества появилось желание выяснить кое-что более серьезное, нежели любовь к молодой и горячей жене.

– Думал ли ты когда-нибудь о Кеми и его владыке?

– Да, твое величество.

– Что же ты думал?

– Я очень боюсь…

– Говори, говори, – подбадривал фараон писца.

– Оглядываюсь назад – и вижу вереницу десятилетий, сотен лет. Они теряются где-то далеко-далеко… Мне кажется, что я попадаю в ночь, у которой нет конца. Так велико время, стоящее позади нас. Потом я смотрю вперед…

– И что же? – нетерпеливо перебил фараон.

Писец пожал плечами. Ему не хотелось огорчать его величество. Особенно в эту позднюю пору. Но фараон ждал. Напряженно. Выставив мощный подбородок.

– Впереди, мне кажется, на нашем пути – туман…

– Что? Что?! – воскликнул фараон.

– Туман.

– Какой такой туман?

– Мрак, твое величество.

– Гм… Мрак… При чем здесь мрак? Не можешь ли ты изъясниться поточнее?

– Могу.

– Так за чем же стало дело? Я жду, Бакурро!

– Твое величество, я спрашиваю себя: что будет с Кеми через сто лет? Слушаю твои слова, записываю их, а сам себе: что будет с Кеми через сто лет? Что будет с Хапи? С нашими внуками и правнуками?

– Разве это входит в твои обязанности, Бакурро?

– В том-то и дело, что – нет! Поэтому храню в сердце свои заветные мысли. Они остаются со мною. Мне с ними и легче… И тяжелей…

Писец замолчал.

«…Любопытная личность! Вот сидит он: записывает чужие слова. А своих немало! Впору бы записать их. Бакурро думает… Бакурро глядит в будущее. А ведь это – прерогатива фараона. И его ближайших помощников. Эти тоже обязаны смотреть вперед. Да кто из них что скажет?! Молчат, а если раскроют рты – непременно солгут. А этот – нет. А этот, как видно, правдив…»

– Бакурро, говори же, говори! – приказал фараон. – Что ты видишь, кроме тумана?

– Разве этого мало?

– Сказать по правде – нет. Но разве туман не кончается? Он имеет обыкновение испаряться…

– Не знаю, – мрачно проговорил Бакурро.

– Но почему же – туман? – допытывался фараон, – Я приказываю договаривать мысль.

Раскрыть ход твоих рассуждений!

Писец неожиданно схватился за голову. Сорвал с себя парик, точно он был из железа и сковывал ему голову.

– Твое величество! – чуть не вскричал он, чуть не плача проговорил он. – Рассуди сам: Кеми охвачен со всех сторон, как обручем винная бочка. Есть такие бочки в Митанни… Они – деревянные. Представь себе: знающий свое дело бондарь изготовил такие прочные и тесные обручи, что каждая составная часть деревянной бочки кричала бы невообразимо, если бы умела кричать.

– Отчего же, Бакурро, кричала бы?

– Оттого, что тесно, оттого, что нельзя вздохнуть посвободнее. Так и Кеми: каждый из его сынов сдавлен со всех сторон, ему заказан путь, обруч не дает ни малейшей возможности сойти с места. Как известно, не все воины выдерживают четкий строй, который требуют военачальники Что же можно сказать о человеке, о каком-нибудь Псару-землепашце, о каком-нибудь Бакурро-лодочнике? Они едва дышат, твое величество. Власть князей жестока: того не смей, этого не смей! Того не говори, этого не молви! Иди вправо, а не влево! Теперь влево, а не прямо! Скажи мне, твое величество, сколько может этого самого «того нельзя, этого нельзя» выдержать даже такой долготерпеливый человек, как наш?

Царь барабанил пальцами по скамье, на которую опирался рукой. Он желал слушать, а не говорить. Слушать, не прерывая своего собеседника. Кивком головы он подбодрил писца.

– Твое величество, отчего песку так много в пустыне? Откуда взялся песок? Раньше, в прежние времена, там были одни камни: большие, средние, маленькие. Но камни. Однако солнце палило нещадно. С утра и до вечера. Едва успевали остыть за ночь, чтобы снова нагреться на нестерпимом солнцепеке. И когда выяснилось, что испытанию этому не предвидится конца, камни стали лопаться один за другим. Они не выдерживали зноя, твое величество. И на месте одного камня появились тысячи песчинок. Они засыпали все живое – каждую травинку, – и отсюда пошла пустыня. Если обруч, о котором я говорил, будет все туже затягиваться, то что получится?

– Ты хочешь сказать – пустыня?

Писец коротко кивнул. И выражение лица его было такое, точно Кеми на его глазах превратился в выжженную солнцем пустыню. Очень ему жаль Кеми, где он родился, вырос и будет погребен с почестями или без них…

– Твое величество, люди государства, подобного нашему, не могут долгое время жить, точно воины в казармах где-нибудь в провинции Гошен или на земле Синайской.

– Ты, стало быть, пророчишь нашей стране погибель?

– Да.

– Скорую?

– Этого я не знаю.

– Ты именно это имел в виду, когда говорил о тумане?

– Да.

Царь опустил большие, тяжелые веки:

– Ты сказал страшную вещь, Бакурро.

– Возможно. Но ты сам повелел быть откровенным,

– Бакурро, скажи мне, как по-твоему: могу ли я сделать что-нибудь, чтобы рассеять туман?

Писец чувствовал себя крайне неловко: пойти против своей совести он не мог, а сказать все до конца – не решался. И в то же время он зашел слишком далеко в своей откровенности, и останавливаться посредине просто бессмысленно. Ибо если уж заслужил гнев его величества, запоздалым молчанием не искупишь вины.

«…Лет шесть я замечаю этого скриба. Что-то необычное в его прилежании и в этой мечтательности, которая прорывалась, может быть, против его воли. Я не раз вспоминал о нем. Но почему же ни разу не удосужился поговорить с ним? Неужели же только Мерира или Пенту, только Эйе или Хоремхеб должны быть моими собеседниками? Впрочем, что я

говорю! Разве мало было разговоров с самыми различными людьми из немху, а то и просто из бедняков? Однако, чтобы найти такого откровенного, как этот Бакурро, надо хорошенечко постараться…»

– Бакурро, продолжай. Доставь удовольствие!

– Изволь, твое величество.

Бакурро совсем успокоился. Сердце билось ровно-ровно. Дыхание ровное-ровное. Словно беседует со своим закадычным другом, а не повелителем вселенной.

Вдруг фараон побледнел. Схватился за сердце. Широко раскрыл рот, словно воздуха недоставало ему. Это продолжалось несколько мгновений. У него на лбу выступил холодный пот. Такой обильный. И улыбнулся.

– Теперь лучше, – сказал он.

– Что с тобой, твое величество?

– Даже не знаю. Ноет вот здесь. – Он взял руку Бакурро и приложил к сердцу. – Вот здесь. Ты не знаешь, Бакурро, что это может быть?

– Твое величество, ты попросту утомился…

– А у тебя сердце болит, Бакурро?

– Вот здесь?

– Да, здесь. Под седьмым ребром.

– Болит.

– И часто?

– По ночам.

– Теперь ты нравишься мне еще больше. У нас с тобой не только одинаковые заботы, но и болезнь… А чем ты лечишься, Бакурро?

– Ничем.

– Ты не пьешь вот такой гадости? – Фараон поднял глиняный сосуд и отпил из него вонючей жидкости. – Это мне советует Мерира. А в том сосуде – лекарство Пенту. Каждый из них называет снадобье «эликсиром жизни» Я пью из обоих сосудов. Поочередно. Вперемежку. Что ты скажешь?

– Не доверяешь им, твое величество?

– Я?

– Да, ты.

– Разве сын Атона может снизойти до этого? Да и что может сотворить даже самая страшная жидкость?

– Отнять жизнь, например.

– Ты думаешь?

Фараон опасливо взглянул на Бакурро, словно бы тот достал нож из-за пояса. Но тут же тряхнул своим коротко подстриженным париком. Громко засмеялся:

– Это невозможно, Бакурро! Невозможно не верить! Иначе вся жизнь превратится в сплошную муку. Ибо даже такой всесильный сын бога Атона, как я, не может обойтись без человеческих рук. А раз не может – должен доверять. Не может не доверять. Хотя бы самым близким.

– А если обманут?

– Ты не так выражаешься, Бакурро. Скажи лучше: а если обманывают?.. В настоящем времени!.. Да, да! Меня нещадно подводят. Где только могут. Поймал – накажи. Не поймал, – значит, верь. Так ведется со времен его величества Нармера… Что бы ты предложил взамен?

– Не знаю, твое величество. Ты уже сделал невозможное, возвеличив великого бога нашего Атона и посрамив Амона. А ведь Амон родился раньше Нармера. Это сделал ты, твое величество! Так неужели же не можешь победить обмана?

– Ты хочешь это знать?

– Очень.

– Так слушай: не могу! Бога победить легче.

Теперь уж схватился за сердце Бакурро:

– Умоляю тебя, твое величество, не надо! Услышать из твоих уст подобное признание – значит потерять веру в себя, в самую жизнь и в бога!

– И тем не менее это так – У фараона сверкнули глаза, он плотно сжал губы. Что-то хищное пробудилось в нем. Ему словно было очень и очень приятно помучить этого маленького, слишком много думающего писца.

Бакурро казался подавленным.

– А теперь, твое величество, я могу сказать лишь одно: туман не только не рассеется, но он окончательно окутает Кеми, и тогда, пользуясь его покровом, нас возьмет под мышки или хетт Суппилулиуме, или митанниец Душратту, или еще какой-нибудь нечестивый азиат. Теперь я это могу повторить даже под пыткой. После того как выслушал тебя.

Фараон махнул рукой. Было что-то безнадежное в этом жесте. А может, это показалось писцу? Все может быть: в этот поздний час, когда болит сердце и тяжесть в голове…

– А кто тебе запретит, Бакурро, повторять правду?

– Может, Эйе?

– Нет.

– Пенту?

– Нет.

– Мерира?

– Нет.

– Хоремхеб?

– Нет.

Писец развел руками: дескать, ничего не понимаю….

– А тут и понимать нечего, Бакурро: все они будут рады-радешеньки, если слова твои сбудутся.

– Разве так ненавидят они Кеми?

– Нет, они ненавидят меня!

Фараон произнес эти слова так равнодушно, будто говорил о преимуществах фиников перед винной ягодой или наоборот. И улыбался при этом. Словно следил за боем баранов из Ретену. Или петухов из Джахи. Он сказал это так, точно это ему было известно давным-давно. А сейчас – только повторил надоевшую истину.

– Ты велик, ты очень велик! – искренне произнес писец.

– Тебя так удивили мои слова, Бакурро?

– Нет.

– А что же?

– Твоя терпимость, твое величество. Это она повергла меня в столь сокрушительное недоумение.

– Плохой стиль, Бакурро. Архаики много. Ну кто говорит в наше время «повергла меня»? Пылью древних папирусов отдает, Бакурро. А ведь ты не просто писец, но царский!

Скриб покраснел. Как мальчик. Он поднял руку до уровня своих ушей, поклонился глубоким поклоном:

– Прости меня, твое величество. Я слишком много копаюсь в древних книгах… Это, наверно, очень плохо.

– Отнюдь, – сказал фараон. – Это совсем неплохо. И тем не менее надо оставаться самим собой. Ты меня понял?

– Да, твое величество, понял.

– А теперь о терпимости. Эти люди, – фараон указал широким жестом на дверь, – мои царедворцы – подобны куклам, которых показывают детям на уличных представлениях. Они – без души и без сердца. Это – то самое, что именуется государственной властью. Без них погибнет Кеми. Без них младшие перестанут уважать и слушаться старших. День превратится в ночь, а ночь – в день.

Голос фараона зазвучал твердо, повелительно.

– Нет, – возразил Бакурро, – это как раз то, что нас погубит.

– Что ты говоришь? Разве Кеми существует один год?

– Нет, не один.

– Благодаря власти!

– Может быть…

– Неслыханной дисциплине…

– Может быть.

– … подобной граниту.

– Может быть,..

– … железу…

– Может быть… Но вспомни, твое величество, об обручах и бочке…

– Ну, вспомнил…

– Бочка держится, пока крепок обруч и пока есть вино или пиво в бочке. Но не дай бог, если иссякнет жидкость: бочка мгновенно рассохнется. Обручи не помогут! И она развалится. Потом и не собирешь ее.

– Но ведь без обруча она развалится еще быстрее.

– Может быть.

– Или ты имеешь в виду не бочку из Митанни?

Скриб сказал тихо, очень тихо и покорно:

– Я имею в виду жизнь, твое величество. Только жизнь.

Фараон медленно встал, держась за сердце. Глубоко вздохнул: раз, другой, третий…

– Пойдем наверх, – предложил он.

Они вышли в коридор и по неширокой лестнице поднялись на плоскую крышу. Здесь было прохладно. Дул ветерок с реки. Небо – высокое, звездное. Великий город давно спал и видел сны. Кто скажет – какие? Этого не угадает даже благой бог. Кто бы заподозрил, какие роятся мысли в голове совсем еще не старого скриба? А вот поди ты: человек оказался незаурядным, воистину откровенным и с любопытными мыслями! Кто бы это подумал, глядя на прилежного Бакурро? Хорошо, что его величество видит зорко, подобно волшебной птице нехебт!.. А тут сны! Сколько людей – столько и снов. Особенно в Ахетатоне, где жизнь бурлит, – неуемная столичная жизнь, где тысячи вельмож, высших чиновников, различных начальников, скрибов, ваятелей, зодчих, виноградарей, садоводов делают свое дело и посылают распоряжения во все концы Кеми. Его величество все еще держался за сердце.

– Здесь хорошо, – сказал он.

– Очень, твое величество.

– И сердцу получше.

– Моему тоже, твое величество.

– Свежий воздух целительней всех заклинаний Пенту.

– Я никогда их не слышал.

– И лучше его снадобий…

– Возможно.

Фараон схватил руку писца – такой нежной, чуть влажной рукою:

– Бакурро, а все-таки нет бога величественней Атона!

– Он наш отец и покровитель, твое величество!

Фараон подвел писца к самому краю площадки:

– Погляди, Бакурро: мир холоден, темен, слеп. А почему? Потому, что отец мой, великий Атон, ушел с небосклона. Вообрази себе на мгновение: что произошло бы, ежели б он ушел совсем? Исчезло бы тепло с полей, каналов, рек и морей. Растения перестали бы расти. Все живое поблекло бы. Сникло. Умерло в конце концов.

Лицо фараона казалось голубым. Совсем бескровным. Луна сделала его таким. А глаза его засверкали в темноте еще сильнее. От них трудно было оторваться.

Его величество подвел скриба к восточной стороне. И указал на горный хребет, который скорее угадывался на расстоянии, нежели улавливался глазами. Царь смотрел на

писца, а руку вытянул вперед, как полководец, призывающий к наступлению.

– Но достаточно отцу моему, Атону, показаться над хребтом и краешком своим взглянуть на Кеми, как все живое тянется к нему, все ликует и возвеличивает имя его. Тепло и свет несет он нам. Жизнь дарует земле! Скажи мне, где, чей и какой бог может взять на себя так много забот о детях своих?

– Нет такого бога! – в экстазе воскликнул писец.

– Верно, Бакурро! И он – отец мой, родивший меня и поставивший у кормила Кеми, над народом большим, могучим, как сама страна, как Хапи несокрушимым и неиссякаемым вовек. – Фараон вдруг заговорил шепотом, очень доверительно, приблизившись близко к своему маленькому, едва заметному подданному: – Бакурро, только мне дано раскрыть тайну его величества отца моего и поведать о ней людям, открыть им глаза и дать им лицезреть деяния его. По ночам, когда все спит, когда спишь и ты, мне является его голос и повелевает сыну своему исполнить волю его в Кеми и во всех землях сопредельных. Да, Бакурро, это говорю я, ибо истинно!

Писца прошиб холодок – такой пронзительный, заставляющий дрожать колени. Его величество вдруг показался огромным, воистину колоссом, упирающимся в небо. Скриб упал на колени и целовал ноги его, и одеяние его, и руки его. Благой бог был милостив: он не отталкивал раба своего, но продолжал говорить:

– Во имя бога моего, отца моего я повергнул во прах множество фальшивых богов. Целое сонмище во главе с нечестивым Амоном, со всеми жрецами их и приспешниками. Я низвел в сточную яму все имена богов Кеми, богов каждого города и всех городов вместе взятых. Растлевавших сердца на протяжении тысячи лет и еще тысячи лет. Я смахнул их, точно старые глиняные чаши, и они разбились вдребезги, и не собрать теперь даже осколков. Это сделал я, вот этой самой рукой, – фараон потряс десницей, – и во веки веков это будет так, а не иначе! Так будет, Бакурро, только так! Сильнее всего свет. И он есть у бога нашего. Горячее всего огонь. И он весь в пламени золота, и золото подобно нестерпимому пламени. – Его величество торжественно прочитал новые стихи:

В сердце его – огонь величавый,
Пламенеющий пламенем вечным.
На челе его – огонь золотой,
Неостывающий,
Неумирающий,
Жизнетворный огонь!..

Он не закончил. Фараон схватился за сердце – уже который раз в этот вечер. Виновато улыбнулся:

– Бакурро, почему болит сердце?

– Ты устал, твое величество. Много трудишься.

– Так велит мне отец…

– Он желает тебе долголетия.

– Знаю.

– Он огорчится, узнав, что болит сердце.

Фараон сделал несколько шагов. Прошелся еще раз – назад. Вздыхал: глубоко, глубоко.

– А теперь – не болит.

Благой бог был доволен: не болит. Скрестил руки на груди. Уперся в кадык тяжелым подбородком. И, медленно повертываясь на каблуках золоченых сандалий, беглым взглядом осматривал город – творение рук своих. Сделав полный оборот, он сказал:

– Спит. Пойдем и мы спать…

Награды

В полдень следующего дня к мосту, перекинутому через Дорогу фараона, стали стекаться сановные люди. Одни из них шли пешком, других несли на носилках.

Военачальники прибывали на боевых колесницах. Очень скоро Дорога фараона оказалась основательно запруженной – ни пройти, ни проехать. Только перед самым мостом – свободное пространство: около десяти шагов в окружности.

Слева и справа от Дороги тянулись кирпичные стены дворца, прерываемые пилонами или небольшими переулками, отделявшими один двор от другого или сад от двора. На пилонах сверкали разноцветные флаги. Воины дворцовой стражи, выстроенные с обеих сторон моста у его оснований, высоко вздымали боевые штандарты. Легкий гул висел над толпою, разодетой пышно, по-праздничному.

Но мало кто знал, почему, по какому поводу собрались придворные. Можно было догадаться, что царь кого-то поблагодарит, наградит наградою или объявит о каком-нибудь важном решении. Давно уже привыкли к тому, что он не советуется с советом старейшин, а выбирает советников каждый раз по своему усмотрению. А все-таки по какому случаю это торжество? Далее Эйе не знал этого. Но делал вид, что в курсе всего…

– Твоя светлость, – обратился к нему Тефнахт, начальник строительства всех царских памятников, – не скажешь ли, что ждет нас через несколько мгновений?

Эйе улыбнулся загадочной улыбкой:

– Ты очень хочешь это знать, Тефнахт?

– Нет, в самом деле, – вмешался Нехемпаатон. (Как начальник царских виноградарей, он по праву находился недалеко от моста, на котором вот-вот покажется его величество.) – В самом деле, что будет? Вероятно, кое-кого ждет награда…

Эйе иронически заметил:

– Неужели же собрали нас для того, чтобы дать взбучку?

И опять на его бесстрастно-мудром челе – загадочная улыбка. «… С нашим царем происходит что-то неладное. Еще совсем недавно он и шагу не делал без того, чтобы не испросить совета. Иное дело, что фараон мог поступить по-иному, вопреки советам. Так сказать, повернуть круто, куда вздумается. А теперь?.. Даже Мерира, преданный беспредельно, начинает обижаться. Тяжело занемогшего Мериру это очень обижает… Но что делать? Его величеству, наверное, виднее…» Мерира Первый, верховный жреп Атона, которого царь «поставил вместо самого себя» в главном храме Пер-Атон-Эм-Ахетатон, – этот Мерира вот уже несколько месяцев тяжело болен. И никто не знает чем. Но и с больным можно было бы посоветоваться. Но нет… Кийа, Кийа, Кийа… Теперь она вершит судьбу Кеми, если только слово «вершит» применимо к кому-либо, кто рядом с фараоном…

К Эйе протиснулись главный ювелир его величества Мериптах, старый зодчий Бек, надутый вельможа Яхмес, огромный жрец Панехси (подлинный негр). Пареннефер, омывающий руки царя… Все они сгорали от любопытства. Эйе делал вид, что все знает, даже то, чего не знает.

Поодаль от них стоял Туту – заносчивый, хитроумный, как азиат, Туту, ведающий иностранными делами, начальник всех царских опахал, начальник обеих сокровищниц царя и начальник всех царских работ. Он глубокомысленно молчал, ничем не выдавая своего неведения. Эйе незаметно следит за ним: может быть, этот льстец осведомлен получше самого Эйе?

К Туту наклонился Хоремхеб и что-то прошептал ему на ухо. Туту кивнул. Хоремхеб оскалился. Еще что-то сказал. Туту снова кивнул…

«…Пройдоха Туту, наверно, давно все пронюхал. Не в пример Хоремхебу. Этому солдафону. Мимо Туту ничего не пройдет. И такие люди всегда в почете. Они нужны. Без них не обходятся. Единственное, чего не умеет Туту, это писать гимны. Зато он льстит царю. С видом знатока. Можно подумать, что всю жизнь только и делал, что гимны строчил…»

– Уважаемый Эйе кое-что скрывает от нас, – сказал Пареннефер. Он картавил, и не всегда было ясно, что он говорит. Когда-то он брил бороды. Из брадобреев попал в большие люди. Но так чурбаном-брадобреем и остался…

– Да, скрываю, – важно ответил Эйе.

– Ручаюсь – и ты не знаешь…

– Как сказать!

Бек – сухощавый, старый, умудренный жизнью ваятель – сказал:

– Право повелителя скрывать свои намерения, Право слуги – доискиваться их.

– Что я и делаю, – проворчал Пареннефер.

– Пока что без успеха. Я же предпочитаю нечто другое…

– Что именно?

– Набраться терпения.

Пареннефер ухмыльнулся А Бек:

– Что, разве не так, Пареннефер?

– Так, только так, уважаемый Бек!

Вдруг громкий шепоток пронесся над великосветской толпой. Заиграл оркестр, укрытый под мостом. Хор жрецов запел торжественную песню. Не прошло мгновения, как вверху, в большом проеме, показался его величество Наф-Хуру-Ра Нефер-Хеперу-Ра Уен-Ра Эхнатон. Позади него на полплеча шагала ее величество Кийа. И каждый, кто стоял перед лицом фараона, склонился в глубоком и долгом поклоне. И не было никого, кто бы не склонился. И не было никого, кто бы не выказал его величеству покорности и безграничной любви. И оркестр играл торжественно и громко..

Фараон прищурил глаза и внимательно оглядел Дорогу. Какое приятное зрелище! Первые люди Кеми изогнулись в верноподданническом поклоне. Спины, спины, спины. Головы где то внизу. Одни спины! А еще – и зады.

Музыка оборвалась. Медленно разгибала спину толпа И тут раздался голос Или, начальника царских покоев. Он читал по свитку. А стоял он позади их величеств.

Эйе подумал:

«. А ведь совсем недавно все было по-иному… Рядом стояла Нафтита. Их окружали прелестные дочери. Никогда бы не получил свитка этот дерущий свою глотку Ипи. Но время летит быстро. Не успеешь оглянуться – и над твоей седой головой появится новый повелитель…»

Эйе оглянулся вокруг – медленно, сановно, с дежурной улыбкой на губах. А глаза – настороженные. А в голове – разные, очень разные мысли. И о том, и о сем. Кстати и о будущем повелителе. Если случится самое худшее с его величеством… «Кто же? Кто?.. Что-то не видно его высочества Семнех-ке-рэ… Мальчик Тутанхатон играет в камешки. У Нафтиты. В Северном дворце… Так кто же?..»

Эйе скользит острым взглядом по лицам: жирным, худым, старым, моложавым, молодым, юношеским… Кто же? Кто?.. Этот? Едва ли. Тот? Никогда! Грузно, как гранитный обелиск, вкопан в Дорогу Хоремхеб. Он ни на кого не смотрит. Ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево… Хоремхеб, Хоремхеб… Эйе говорит «нет» – и взгляд его скользит дальше, дальше, по кругу. Где же все-таки Семнех-ке-рэ? Разве не ему было обещано соправительство? Не он ли истинный престолонаследник?

Ипи оглашает царский указ. Царская милость безгранична. Она отмечает каждого верного слугу, как бы далеко или близко он ни находился. Глаз его величества верен. Щедрость его общеизвестна. Вот и нынче открылось его большое сердце навстречу своим рабам, присутствующим вот здесь, у подножия высокого моста, на Дороге фараона.

Называется имя Эйе. Царь улыбается своему старому наставнику. Руки Кийи сыплют золото. Чистое золото. Сверкающее на солнце, как огонь. Круглое, изогнутое в виде молодого месяца золото. Золото в слитках. Все это падает сверху нескончаемой щедростью. Эйе благодарен. Он ловит награду. А царь улыбается. Дарит ему свою благосклонность и золото. Благой бог простирает над ним свои руки, отмечающие наградой верного слугу.

Называется имя Туту… Имя Хоремхеба… Имя больного, безнадежно больного Мериры Первого… Слышно: Панехси, Пауах, Хотияи, Яхмес, Нехемпаатон, Ипи, Юти, Бек,

Джехутимес, Усер, Пенту, Апи…

Эти и многие другие имена. Знакомые всем. Известные всем. В обеих частях Кеми. Имена разносятся по Дороге. И каждый названный громко возвеличивает его величество, ее величество, весь Великий Дом благого бога… Награды, награды, награды… Очень много наград. Они сыплются, как звезды в звездопад. И весь мир ликуя смотрит на его величество. Фараон простирает благодарственные руки отцу своему. Который вверху. Который в небе. Прямо над головой. Каждый луч которого – анх – жизнь, – дарующий тепло всему сущему на земле.

Голос Ипи называет имя Бакурро.

– Кто это? – спрашивает Хоремхеб.

Туту удивленно пожимает плечами:

– Кто это?

Эйе с трудом вспоминиет это имя. Кто это? Чем заслужил награду, милость его величества? Какой Бакурро? Может, писец? Если нет, так кто же?

На середину круга выходит Бакурро: ровный, бледный, взволнованный. Бросается наземь. Лежит, распластавшись. Пока его величество молчит. Но вот слышится короткое: «Встань».

Писец подымается. Недостойный. Не смеет поднять глаза.

– Бакурро, – слышит Бакурро голос его величества.

– Бакурро, – произносит Кийа.

– Он здесь, твой раб, – говорит Бакурро.

И к его ногам сыплется награда. Он не успевает подбирать золото на земле. Снова и снова падает с неба золото. И все удивленно глядят на это чудо – ибо награду получает безвестный писец. И все спрашивают себя: за что? Одни – с любопытством великим, другие – с завистью.

Бакурро смущен. Подавлен. Не ожидал этого. Но кто же ожидал? Писец пятится назад. Как бы не наступить невзначай на ноги какому-нибудь великому вельможе!.. Снова заиграл оркестр. Хор запел торжественный гимн Атону, взирающему на великих мира сего с необозримой небесной голубизны.

Его величество медленно проходит на западную половину дворца. На полплеча от него – Кийа. Такая прекрасная в этот день. Угодная его величеству и великому богу на небе.

Флейты продолжают заливаться сладчайшими звуками. Арфы приятно раздирают душу. Голоса мужского хора возносят горячую любовь богу Атону.

Высшие сановники медленно движутся к воротам, что направо. Чтобы отобедать с его величеством. На свежем воздухе. Под широким навесом среди широкого двора.

Бакурро остается один. С большой наградой. Очень тяжелой. А ему кажется, что все это во сне. Вернее, продолжение вчерашнего сна, когда он возвратился к себе домой после беседы с его величеством.

Бакурро один.

Совсем один…

Решение

Нефтеруф осторожно переступает порог. Так выходит лев на лесную прогалину: неслышно, готовый ко всему.

– Госпожа, ты одна?

Ка-Нефер кивает: да, одна. Ахтой приглашен на церемонию к Прекрасному мосту, который перекинут через Дорогу фараона.

– Там раздают награды, – сообщил Нефтеруф. – Госпожа, к тебе – гость.

Из-за спины Нефтеруфа показался Шери. Внешне спокойный. Сосредоточенный. Мудрый.

Ка-Нефер протянула ему обе руки. Она была очень рада. Давно не видела Шери. Это ее

наставник. Ее спаситель. Ка-Нефер преклонила колени.

– Добро пожаловать, уважаемый Шери, – сказала она.

Он быстро поднял ее, поцеловал отеческим поцелуем в лоб. Прижал ее к своему сердцу.

– Я знал, что ты станешь красавицей. Но я не думал, что сердце твое будет кремнем и сама ты – вся как кремень.

Она усадила дорогого гостя. Принесла в кувшине прохладного пива, пшеничных лепешек и холодной телятины. Шери не прикоснулся к еде. Мигом перешел к делу. Точно не было у него ни мгновения свободного времени.

– Я хочу говорить, Ка-Нефер.

– Здесь нет никого, кроме нас.

В комнате было сумеречно и оттого прохладно. Все трое сидели на циновках. Легкая занавеска на окне колыхалась под дуновением речного ветерка.

– Ка-Нефер, я хочу, чтобы ты знала мое мнение. Если заметишь в чем-либо неточность – останови меня Слишком дело велико. Оно должно быть обдумано всесторонне. И никто не должен чураться замечаний – крутых ли, доброжелательных ли. Повторяю: слишком велико дело, за которое взялись. На нас с надеждой смотрят наши единомышленники. Позор нам, если мы сплошаем по своему высокомерию или невежеству!

– Ты прав, Шери.

– Трижды прав, – подтвердила Ка-Нефер.

Шери сделал жест – как бы разворачивая папирусный свиток – и заговорил медленно и тихо, словно читая по нему.

– Начну с допущения. Допустим, что в скором времени боги призовут фараона на поля Иалу. Это может случиться. И по воле богов. И по воле людей. Вроде нас с вами. Итак, фараона не стало. Я говорю: допустим! Кто может прийти на смену? Так сказать, на законном основании? Кто?

– Его высочество Семнех-ке-рэ, – ответила Ка-Не-фер.

– А Тутанхатон? – сказал Нефтеруф.

Действительно, эти два лица казались главными претендентами на царский престол Кеми. И не только беседующим в доме Ка-Нефер. Знатоки династической преемственности тоже держались такого же мнения. Но Шери почему-то повторял: «Допустим. Допустим».

– Допустим, случится по-вашему: Семнех-ке-рэ или Тутанхатон. Первый хотя и молод, но кое-что собой представляет, а второй совсем уж мальчик. Сколько ему лет? Семь?

– Девять, – ответила Ка-Нефер.

– Пускай все одиннадцать! Пусть пятнадцать! Это же не правитель! Семнех-ке-рэ – тоже не муж многоопытный. Ему, наверно, не больше двадцати трех.

– Учти, – заметил Нефтеруф, – этот, нынешний, вступил на престол… Когда вступил?..

– В семнадцать.

– Вот видишь! Значит, не следует пренебрегать молодыми годами.

– Это верно, – согласился Шери. – И тем не менее – не мужи! Мальчики! А изверг, подобный этому, рождается раз в сто лет. Согласны?

Ка-Нефер кивнула.

– В таком случае, – продолжал Шери, еще больше сбавляя голос, – остается выяснить: кто же будет стоять за их спиной? Кто? – Он остановился. Поглядел на Нефтеруфа. На Ка-Нефер. – Кто! Эйе?! Туту? Хоремхеб? Пенту?.. Может, Мерира Первый? Впрочем, этот тяжело занемог и едва ли подымется… Вон их сколько! Эйе очень хитер. Двуличен. Опасен. Себе на уме. Может молиться Атону. Но не только. Если нужно – земным поклоном поклонится Амону. Поверьте мне, это так…

Но с ним никто не собирался спорить.

– Туту… Когда речь идет о дворцовых интригах – не надо упускать из виду никого. Даже пройдоху, каким, несомненно, является Туту. Он знает инородные языки. Лопочет по-хеттски. Изъясняется на митанни. Арамейцы понимают его. И эфиопы тоже. Ему нельзя

отказать в способностях. Способен, я бы сказал, на все. Его приход был бы равносилен гибели Кеми. Но у него много недоброжелателей. Путь к трону ему заказан!

– Если только не сговорится с Хоремхебом или еще с кем-нибудь.

– Это, я думаю, исключено, Нефтеруф. Но как вам нравится Хоремхеб, этот военачальник в соку, забияка, задира, бездушный солдафон?

Ка-Нефер хорошо была знакома с ним. Даже нравилась ему, и они встречались (об этом Ка-Нефер, разумеется, умолчала). Он груб и в отношениях с женщинами. Силища из него, как выражаются продавцы пива, так и прет. Это бык необузданный! Это лев на ловле! Не мужчина, а дьявол! Ка-Нефер невольно улыбнулась. Улыбка эта не прошла незамеченной Нефтеруфом.

«…Неспроста у красавицы дрогнули губы. При имени Хоремхеба. Я могу понять его вкус. Впрочем, так же, как и ее. Такие женщинам нравятся. Грубая сила привлекает… К тому же – военный! На боевой колеснице. Чего еще надобно?»

Шери сказал:

– Вот кто опасен! Он! В случае каких-либо колебаний, которые могут произойти в дворцовых стенах, бравый военачальник и полк тяжело вооруженных могут посадить на престол совершенно неожиданное лицо. Поэтому я хочу, чтобы Хоремхеб не выпадал из нашего поля зрения. Дальше – Пенту. Но он слишком стар. Склонен мудрствовать. Часто витает за облаками. В общем, человеколюбив. Такие не умеют захватывать власть.

Ка-Нефер была поражена осведомленностью Шери, который живет далеко от столицы и бывает здесь лишь кратковременными наездами Стало быть, у него имеются осведомители. И, наверное, не один и не два. А иначе откуда бы черпал он свои познания о дворцовой жизни?..

– Вы понимаете? – продолжал Шери. – Скажем, отправляется на поля Иалу фараон, которому давно надлежало бы оставить в покое страну и народ. На его место садится, скажем, Семнех-ке-рэ. Зная его, мы должны предупредить себя: истинным правителем будет… ну, хотя бы Эйе, или Хоремхеб, или Туту. На что мы можем рассчитывать в этом случае!

Нефтеруф сжал кулаки:

– Я готов ко всему, и мне безразлично, кто будет после! Лишь бы не этот, пустивший нас по миру, сделавший нас нищими, бродягами, голодными шакалами пустыни! Неужели это важно – кто?! По-моему, самое главное, чтобы не он! Одно воспоминание об этом тонколицем чудовище об этом женоподобном сущестзе приводит меня в бешенство. Курва он – вот кто!.. На надо рассуждать, что будет после! Скажи: что делать сейчас? Скажи: как поступать мне? Жизни своей мне не жалко! Я отдаю ее вам! Скажите только: что делать мне?! Вложите меч в мою руку и укажите, когда и куда идти!.. Курва он – вот кто!..

Гнев его был огнеподобен. Решимость несокрушима… Шери положил ему руку на плечо. Подержал ее. Помолчал. Успокоил друга:

– Нефтеруф, ярость твоя благородна и уместна вполне. Однако прошу тебя, выслушай до конца, порассуждай вместе со мной. Поспокойнее. Поспокойнее…

– Я здесь целый месяц, и мне надоело безделье!

– Согласен: надоело. Но разве ты полагал, что все совершится в один день?

– Нет, не в один…

– Малейший промах – и мы погибли! Погибло дело, ради которого мы здесь, ради которого мы готовы отказаться от жизни!

– Я все понимаю, Шери. Я хочу сказать одно: меня не интересует, что будет потом. – Нефтеруф подчеркнул интонацией слово «потом». – Важно, чтобы не было его! – Он подчеркнул и это местоимение. – Послушай, Шери, кто бы ни явился после… после, хуже этого не может быть! Никогда! Согласен?

– Ты, пожалуй, прав.

Ка-Нефер сказала:

– Уважаемый Шери, Нефтеруф, несомненно, прав. Он говорит чистую правду. Кто

сокрушил наше влияние в Азии? Фараон. Кто довел виднейших людей Кеми до разорения? Фараон. Кто попытался замахнуться на великое божество, кто стер имя всеблагого Амона в храмах? Фараон. Нет, Шери, трудно вообразить себе что-либо худшее!

Шери нетерпеливо махнул рукой. Замотал головой, давая понять, что все это давно известно и надоело ему.

– Клянусь богами, вы ломитесь в открытую дверь. Оба! И ты, Ка-Нефер, и ты, Нефтеруф. Верно, очень важно избавиться от него. Но все-таки надо думать о будущем. Или по-прежнему будем влачить жалкое существование? Представим себе, что явится некий Хоремхеб и потопит всех нас и всех единомышленников наших в водах Хапи. Должны мы это иметь в виду или нет?

Вопросительным взглядом, полным укоризны, он уставился на Нефтеруфа. Он ждал ответа. Ждал выражения доверия к себе.

– Шери, ты многое видишь, а еще больше знаешь. Я и Ка-Нефер не нахвалимся тобой. Но ты должен понять и мое нетерпение.

– Понимаю.

– Мои муки, которые терпел в горах… Под землею.

– Сочувствую. Глубоко.

– Скажи мне слово… Прикажи… Укажи пальцем на дорогу, и я пойду по ней. Не размышляя. С мечом в руке!

Шери был непреклонен:

– Нет, Нефтеруф, я не буду приказывать. Не буду указывать пальцем прежде времени. А почему? Потому, что неудача – значит конец всему…

– Главное, чтобы конец этот настал и для него!

– Будь мудрее. И можешь не сомневаться: победа придет…

– Сама?

– С тобой! С нею! Со мной! С нами! – проговорил Шери, указывая пальцем на Ка-Нефер, на Нефтеруфа, на свою грудь и широко обведя вокруг себя обеими руками. – Ясно?

– Это – да, – сказал бывший каторжник.

– Теперь – два слова, и я перехожу к тому, что интересует тебя более всего, Нефтеруф. Значит, так: наиболее вероятно, что предъявят свои права на престол Семнех-ке-рэ и Тутанхатон. Повторяю еще раз: и тот и другой сами по себе не представляют большой силы. Даже в качестве фараонов. И нам придется иметь дело или с Эйе, или с Хоремхебом. Или с Туту и Пенту…

Нефтеруф был посвящен в это самое «нам». Речь шла о крупной оппозиционной партии, действующей в глубокой тайне. Впрочем, об ее существовании фараон и его окружение не только догадывались, но в какой-то мере были осведомлены. Однако в самом окружении фараона находились люди, в той или иной мере поддерживавшие партию знати и жрецов Амона, Как мы видели, Маху сделал свой выбор. Что же до таких вельмож-семеров, как Эйе и Хоремхеб, – они не проявляли особого рвения в борьбе против знати и жрецов Амона. С каждым годом убеждались они, что фараон заходит слишком далеко, что фараон все чаще обходится без их советов, все делает по-своему. Каждый из семеров не мог не замечать, что фараон взвалил на себя почти непосильную тяжесть, которая могла бы раздавить любого крепыша. Сколько же можно выносить эту муку, связанную с борьбой против бога и против знати? Союз старого бога Амона и старой знати, изощренной в интригах, слишком крепкий орешек, чтобы можно было расколоть его просто. Даже обладая властью фараона обеих земель Кеми. Даже понукая слаженной армией чиновников… Шери учитывал все это. Он не торопился. Что такое год в таком деле, как борьба не на жизнь, а на смерть? Одно мгновение! И надо действовать здесь наверняка. И людей, подобных Нефтеруфу, – безусловно, полезных в определенное время, надо держать в узде. Они злы – и это очень хорошо. Но злость – не всегда добрый советчик. Скорее всего наоборот…

– В чем же заключается «главное»? – продолжал Шери неторопливо, словно рассказывал детям сказку о Синехуте и страшной змее, понимавшей человеческий язык. –

Слушайте меня внимательно. То, что скажу я, не повторяйте даже про себя. Забудьте об этом. До особого условленного знака. Это не должны слышать ни стены, ни окна, ни двери, ни пол, ни потолок. Я уж не говорю о человеческих ушах.

Он попросил чистой воды. Не вина, не пива, но воды.

«Значит, внутри у него – огонь, – подумал Нефтеруф. – Сердце у него словно камень на солнцепеке – вот-вот треснет. Он хладнокровен только внешне. Забота и страх у него спрятаны глубоко. И оттого, может быть, хуже ему, чем нам…»

Шери отпил несколько глотков воды, поставил чарку на скамеечку. И тут Ка-Нефер заметила, что пальцы у него дрожат. Едва-едва. Почти невидимо. Но дрожат. Вода в этом отношении свидетельствует лучше глаза.

Шери говорил так тихо, что казалось, говорит только для себя. А сказал он вот что:

– Я бы не взял за себя и сломанного горшка, если бы не подумал о том, как быть с фараоном. Он должен уйти! Куда угодно. На поля Иалу. Или еще куда-нибудь подальше! Правитель, не пощадивший божества, не пощадивший знатных людей Кеми и его славного града Уасета, не должен вызывать сожаления. Что бы с ним ни случилось… Давайте подумаем: что же может случиться с ним?..

Шери загнул большой палец.

– Умрет своей смертью, – сказала Ка-Нефер, и ноздри у нее раздулись. О, как она ненавидела фараона! И ненависть эта – от Шери, воспитавшего ее…

– Верно, Ка-Нефер.

– Почему он должен умереть? – спросил Нефтеруф хозяйку дома.

– Как всякий живой. В свое время.

– Когда? Сегодня или через десять лет?

– Этого никто не скажет.

– Почему же? – сказал Шери. – Фараон – не камень. Нефтеруф, ты видел фараона?

– Давно не видел.

– Он болен. Он, может быть, умирает в эти мгновения.

Нефтеруф чуть не подскочил. От удивления. От радости. Он готов расцеловать Шери.

– Нет, нет, – остановил его Шери, – он и не помышляет об этом. Но, как всякий, может умереть в любой день и час. Сегодня, завтра или через десять лет…

Нефтеруф недовольно засопел. Ка-Нефер выпила вина – уж слишком напряглось ее сердце…

– …или через десять лет. К чему я это говорю? К тому, чтобы не слишком надеяться на естественную смерть, а действовать самим. Вспомним, как был убит его величество Тети…

– Его спровадили на поля Иалу телохранители, – проворчал Нефтеруф.

– Верно. А его величество Аменемхет Первый?

– Убит в собственных покоях.

– Это так!

– Ты удалился в седую древность, Шери. А мы живем в новые времена. Я полагаю, что фараон более предусмотрителен.

– Возможно. Но я полагаю…

Нефтеруф остановил его:

– Не продолжай, Шери. Выслушай меня. Приспела моя пора. Дай и мне сказать слово… Я отвечу – как?.. Смотри сюда: видишь мою руку? Я ею могу уложить быка. Дикого. Любого возраста. А теперь гляди! – Нефтеруф выхватил кинжальчик из-за пояса – искусно спрятанный кинжальчик, сверкающий, как звезда в ночи – Вот он! Он достает до сердца, как пчела до цветка. Он вынет душу из груди в одно мгновение. Он может все… В моих руках. Вот он, вот моя рука и вот – я!

Глаза Нефтеруфа сделались алыми от злобы. Пальцы, сжатые в кулаки, побелели от

напряжения. Кинжальчик, подобно змее, извивался во все стороны.

Шери очень доволен. Шери потирает руки. Ка-Нефер залпом пьет вино. О, какой герой этот Нефтеруф!..

– Друг мой, Нефтеруф, ты показал нам «как». Но ты ничего не сказал о том, когда и где…

– Об этом следует подумать сообща… Я слышал, что фараон бывает в мастерских ваятелей.

– Да, это так, – подтвердила Ка-Нефер.

– В мастерской Джехутимеса я таскаю воду в горшках и замешиваю глину. Готов месить навоз и всяческое дерьмо. Вы знаете, ради чего я готов на многое. Я жду его. Руки в глине, а я жду. Таскаю воду – и жду. Подметаю полы – и жду. Я все-таки его дождусь!

– Это ты устроила Нефтеруфа в мастерской?

Ка-Нефер утвердительно кивнула.

– Очень хорошо, Ка-Нефер!

– Шери, я полагаю, что именно в мастерской проще всего встретить его величество.

– Не только в мастерской, – заметил Шери. – А во дворце?

– Туда сложнее проникнуть.

– Кому? – Шери повторил свой вопрос: – Кому?

– Я имела в виду Нефтеруфа…

«…Старик все предусмотрел. Умница, умница, умница! В таком деле надо смотреть в оба, а думать за семерых. Видеть сквозь стены. Слышать то, чего не слышат другие. Я не удивлюсь, если фараон отправится к своим предкам сегодня же. Разве Маху сидит сложа руки? И неизвестно, что собирается делать Эйе. Или Хоремхеб. Ясно одно: недоброжелателей у фараона немало. Это так! Но что толку? Нельзя же тянуть без конца…»

И Нефтеруф говорит вслух:

– Если волк обложен со всех сторон – это еще не значит, что он пойман и что охотники могут предаваться отдыху и веселью.

– Не значит, Нефтеруф, – согласился Шери.

– Волки имеют привычку огрызаться. Даже в предсмертные мгновения. Я это знаю хорошо. Особенно волки матерые.

– Тоже верно.

– Мне придется снова повторить свое: не слишком ли мы медлительны? Не очень ли уповаем на всякие чрезмерно благоприятные обстоятельства, которые заставляют себя ждать?

– А что делать?

– Я говорил: действовать, Шери!

Ка-Нефер сказала:

– В поспешности есть свои недостатки. В промедлениях – свои. Где же середина, та самая верная середина, которая нам необходима? Имейте в виду: у фараона чуткий слух и длинные руки. Кто может утверждать, что он пребывает в полном неведении? Кто скажет, что ничего не знает о нас? А этот Маху? Разве он бог? Он тоже человек. И ему тоже не чуждо предательство. Если, не дай бог. смекнет, что дело наше обречено.

Но Шери решительно отмел это подозрение. Кто-кто, а Маху сказал свое слово. Предательство дорого ему обойдется. Это ему доподлинно известно… Шери обратился к бывшему каторжнику:

– Я прошу одного, приказываю об одном: ты не должен предпринимать ничего такого… Понимаешь? – ничего! – пока не известишь нас – меня или Ка-Нефер. Если фараон явится в мастерскую – присмотрись к нему, прикинь все, будь хладнокровным. Возьми себя в руки!

Нефтеруф что-то промычал.

– Что ты сказал, Нефтеруф?

– Ничего.

– Ты меня понял?

– Да.

– Не торопись. Если это говорю я, значит, знаю, что говорю. Ты слышишь, Нефтеруф?

«…Он слишком озлоблен. Он – словно зверь. Ничего не слышит. Да и не может слышать…»

Шери поглядел на бывшего каторжника долгим взглядом. Велика обида этого отпрыска виднейшего рода Уасета. Нефтеруф сделает свое дело. Наверное сделает… Будь что будет!..

Любимые семеры

Хоремхеб подъехал к дому Эйе на боевой колеснице. Огнедышащие кони не то чтобы довезли его, а буквально домчали на крыльях. Точно птицы из древних сказок.

Военачальника провели через сад, разросшийся бурно, словно рос он целое столетие. Сикоморы были необычайно тенисты. А гранаты? Где найдешь лучше этих? Пальмы – тоже одна краше другой. А клетки с обезьянами? Где клетки с обезьянами? Ему показали клетки. Каких тут нет обезьян! И маленьких, точно собачки, и пушистых, как кошечки, и краснозадых, с гривою, как у льва. Правда ли, что собранию этих обезьян может позавидовать зверинец его величества?

Начальник покоев, встретивший Хоремхеба, подтвердил, что обезьяны, принадлежащие Эйе, превосходят разнообразием обезьян фараона.

– Как ты сказал? – переспросил Хоремхеб.

– Твоя светлость, я сказал «обезьян фараона».

Начальник покоев Эйе был молод, хромоног. Он изрядно покраснел, сообразив, что сказал нечто двусмысленное. Хоремхеб зычно рассмеялся, ткнул молодого человека кулачищем в живот.

– Хорошо сказано – обезьяны фараона! Клянусь богом, хорошо! Как тебя звать?

– Нахтиу, твоя светлость.

– Прекрасно, прекрасно, Нахтиу! Ты прав: мы все обезьяны фараона! Обезьяны его величества. Ха, ха, ха, ха! Ведь и ты тоже обезьяна!

Нахтиу стоял багровый от смущения. Как понимать этого грубого военачальника? «… Им хорошо шутить да посмеиваться. А вдруг этот разговор дойдет до ушей царя! Что это значит – обезьяны фараона? Это можно понять как самоунижение. Но можно и совсем иначе… Хоремхебу – что? С него спроса не будет. Палки могут запрыгать по спине Нахтиу. И совсем даже просто…»

– Твоя светлость, я имел в виду настоящих обезьян. Тех, которые в зверинце его величества.

Хоремхеб расставил ноги шире плеч, оперся руками на бедра, выставил вперед могучую грудь. Смешно вертел большими глазами и беззвучно смеялся.

– Нахтиу, а что же имел в виду я?

– Твой несчастный слуга не может этого знать.

– А ну посмотри мне в глаза!

«…Хоремхеб – любимый семер его величества. Так же как Эйе. Только Эйе стар, а Хоремхеб – в расцвете сил. Одно слово его светлости – и Нахтиу костей своих не соберет! Почему он с таким пристрастием допрашивает об обезьянах?..»

– Смотри мне в глаза, смотри!

«…Малый, как видно, из трусоватых. Это очень смешно – обезьяны фараона! А разве это не так? Мы и есть обезьяны его величества. Бегаем, словно в клетке. Кувыркаемся. Потрясаем задами – кто красным, кто костлявым…»

Лицо у Нахтиу – квадратное. Почти луна, которая на небесах: от ушей и до ушей – то же, что от лба до подбородка. В общем, настоящий сын Кеми. Только хром. Это большой недостаток. Для воина. А для начальника покоев, наверное, достоинство. Не напрасно же держит его Эйе… А глаза у Нахтиу – черные-черные. Как уголь. Почти навыкате.

Немигающие. Как у честного человека.

– Что – испугался, Нахтиу?

– Н-нет, – с трудом выговорил Нахтиу.

Хоремхеб взял его за подбородок, как мальчика:

– Ты обозвал нас обезьянами. И правильно сделал!

– Нет, нет! – воскликнул Нахтиу в тревоге.

Но Хоремхеб не слышал его. Он шагнул к широкому крыльцу. А Нахтиу стоял растерянный, не понимая толком, что же случилось и какой смысл вложил этот грубый военачальник в эти невинные слова: «обезьян фараона». А что, ежели Хоремхеб передаст это выражение господину Эйе, да еще с каким-нибудь особым значением? Нет, надо подслушать, что скажет Хоремхеб хозяину.

Нахтиу бросился к северному крыльцу, к кустам, которые там росли…

Эйе встретил знатного гостя в большом зале и провел на крыльцо – тихий, укрытый от речной прохлады уголок.

– А у тебя занятный слуга, – сказал Хоремхеб.

– Который? – спросил Эйе.

– Нахтиу.

– Да, он малый с головой.

– Я это тотчас же уразумел. Он обозвал нас обезьянами фараона.

– Как? – Эйе насторожился.

– Обезьянами фараона…

Нахтиу больше ничего не слышал. И этого вполне достаточно. Он осторожно вышел из кустов и со всех ног – насколько ему позволяла хромота – бросился прочь: надо же посоветоваться о том, как быть. Как быть, если Хоремхеб ни с того ни с сего обвинит его в тяжком грехе – болтливости?..

А Эйе и Хоремхеб продолжали беседу, позабыв про «обезьян фараона».

– Глубокочтимый Эйе, я пришел за советом. За дружеским советом, – подчеркнул военачальник. – Нас так сильно теснят в Азии, что скоро не останется там ни одного клочка из наших стародавних владений.

– Теснят, говоришь?

– Да, достопочтеннейший. Никогда еще не были мы так унижены этими азиатами.

– Да?

– Это совершенно достоверно.

– Какой ужас!

«…Старик ловко притворяется, что ведать ничего не ведает. А между тем все известно ему. Причем из первых рук. Его людьми кишмя кишит Кеми от Дельты до Скалистых гор. А делает вид, что только что проснулся…»

– Да, достопочтенный Эйе, я неоднократно докладывал об этом его величеству…

– И что же?

– Я ничего не уразумел из его ответов.

– Они были так глубокомысленны?

«…Старик хочет подловить меня на слове. Но из этого ничего не получится…»

«…Этот военачальник из тех, которому палец в рот не клади – откусит. И не извинится при этом. Не могу понять фараона: зачем он держит при себе этого вояку? Не лучше ли отправить его куда-нибудь подальше? Например, в Джахи. Пусть там и воюет с хеттами…»

– Возможно, что слова его величества были столь же образны и глубоки, как и гимны его. Но я человек грубый. Я понимаю только приказы.

Эйе скосил на него глаза: дескать, не прикидывайся младенцем, не пытайся дурачить старого буйвола.

– Да, разумеется, слова его величества не всегда доступны нашему пониманию. Его устами говорит божество – сияющее и согревающее нас. Приходится напрягаться, чтобы уяснить полностью смысл его слов.

– Досточтимый Эйе, слова, которые изволит произносить его величество, – жизнь, здоровье, сила! – никогда не будут полностью осознаны нами. Ибо что мы по сравнению с сыном бога? Воистину обезьяны, о которых говорил Нахтиу. Его величество – жизнь, здоровье, сила! – видит вселенную, слышит биение наших сердец. Он здесь, на пороге, и говорит нам: мир вам, слуги мои, рабы мои!..

– … Обезьяны мои.

– Как?

Эйе преспокойно повторил:

– Обезьяны мои.

Хоремхеб так и остался с открытым ртом. От удивления.

Эйе сказал:

– Вот что, уважаемый Хоремхеб: или мы будем лицемерить и терять время даром, или поговорим как люди, кровно заинтересованные в процветании Кеми. Я так думаю. Знаю: и ты рассуждаешь так же. Не можешь иначе. Не так ли?

Хоремхеб махнул рукой: дескать, верно – пора перестать дурака валять, пора поговорить откровенно.

– Давно пора, – заметил Эйе.

«…Или Эйе предаст меня, или он и в самом деле чем-то недоволен. На всякий случай буду осмотрителен. Этот старик не из тех, которые говорят прямо. За каждой высказанной мыслью в запасе у него две: одна – для собственного оправдания, если это нужно будет, а другая – для нанесения удара. Итак, три мысли разом. Это более чем достаточно…»

«…Рубака? Драчун? Грубиян? Этот молодец далеко пойдет, ежели вовремя не обкорнать ему крылья. Мне говорили – и, как видно, неспроста, – что смотрит он несколько дальше, чем на Эфиопию или Синайский полуостров. Тщеславие полководцев не имеет предела, если почувствуют, что дают им волю, что разрешают действовать по их усмотрению. Такой полководец избирает своим врагом не столько Душратту или Суппилулиуме, сколько своих друзей, до которых он может легче достать…»

Эйе сказал:

– Да, ты прав, Хоремхеб: Азию мы теряем. Правда, не окончательно. Есть еще возможность спасти тамошние владения.

– Есть, твоя светлость, есть!

Учтивый Эйе спросил гостя, что бы он желал испробовать: жареного гуся или курицу, кусок говядины на вертеле или телячье сердце на кизиловой палочке? Хоремхеб нарочито задумался. Он сказал, что Пенту не советует злоупотреблять мясом. Пенту говорит: поменьше мяса и побольше зелени – любой зелени, вплоть до обычной травы. На вопрос Эйе, не превратится ли человек в этом случае в жвачное животное? – Хоремхеб ответил, что Пенту оставляет этот вопрос открытым. Оказывается, в Митанни прекрасный обычай, есть мясо только в вареном виде и только в крайнем случае – поджаренным на вертеле. Эйе сказал, что это и в самом деле прекрасный обычай. По-видимому, вода – кипящая вода – вымывает из мяса какие-то вредные частицы. И тогда мясо предстает в самом чистом, натуральном виде… Но если слушаться Пенту до конца – до его мельчайших советов, сказал Хоремхеб, то совершенно нельзя пить воду, обыкновенную воду из благословенной Хапи, дарующую жизнь, и воду из оазиса в пустыне. А почему, спрашивается? Потому, утверждает Пенту, что человек состоит из воды и огня. Между водой и огнем – вечное противоборство – то побеждает огонь – и тогда человек жаждет воды, то побеждает вода – и тогда человек тучнеет. Нет нужды добавлять воду к воде. Что скажет на это уважаемый Эйе?

Семер усмехнулся, таинственно подмигнул военачальнику. Разве это требует особых пояснений? Если стоит вопрос: можно ли воду пить или нельзя, то лучше всего – во избежание душевных переживаний – пить вино или пиво.

– Го! – воскликнул военачальник, хлопнув в ладоши. – К твоей мудрости, Эйе, не подкопаешься. Если вода вызывает смущение, то вино или пиво – напитки, не допускающие двух толкований. А раз это так, то пить вино – есть истинное благо для мужчины. Вода и

огонь, содержащиеся в вине – особенно в хорошем вине, – так сдружились, что никогда не повредят человеку.

Эти слова гостеприимный хозяин расценил по-своему и приказал слугам вскрыть лучшие амфоры с прошлогодним вином – белым и красным – и доставить сюда в нескольких кувшинчиках. Если вино было выбрано довольно быстро, то с выбором еды гость явно мешкал.

– Гусь – жирный, – сказал он.

– Курица устранит этот недостаток гуся.

– Я ел ее нынче утром.

– Тогда – говядина. Тот самый кусок, где располагаются почки.

Хоремхеб расхохотался:

– Который поближе к моче?

– Если угодно, к моче.

– Не могу понять: почему лучшие куски именно те, которые поближе к почкам?

– Очевидно, поэтому и человек зарождается где-то между мочой и калом.

– Верно! – гаркнул военачальник. – Если прекрасные создания, каковыми я почитаю женщин, зарождаются недалеко от мочи, то я без колебаний выбираю почечную часть говядины!

«…Этот человек – воистину мужлан – ограничен в своих возможностях щегольнуть более тонкой шуткой. Бедный Хоремхеб! Палатки, бивуачная жизнь и муштра воинов не могли привить ему тонкого вкуса. Впрочем, может, это и лучше. Моча – тоже неплохая мишень для солдатского юмора. Вот он напьется немного, и тогда пойдет в ход всякое дерьмо. Что может быть, например, веселее такого рассказа? – митанниец вымазал хетта своим дерьмом, хетт в отместку обмочил митаннийца с головы до ног… Весь лагерь ржет от удовольствия и требует новых рассказов подобного же рода. Или вот еще излюбленная тема: десять ассирийских воинов насилуют пленную вавилонянку, а той – недостаточно, и бородатые ассирийцы с позором разбегаются…»

Эйе не ошибся: достаточно было Хоремхебу осушить две чарки вина, как он принялся рассказывать бесконечную историю про одного арамейца, который для начала вымазался в дерьме, потом обмочился, не сумев употребить молоденькую пленницу… И так далее…

Однако Хоремхеб не так уж прост, как это может показаться. Своим продвижением по службе он целиком обязан его величеству. Род его, скажем прямо, не выдается ни знатностью своей, ни подвигами. Его величество приметил в нем нечто и сказал: быть Хоремхебу военачальником! И стало по сему. Малозаметный офицер превратился в любимого семера. Разумеется, всего этого не заслуживают одними только грубыми шутками. Нельзя отрицать: Хоремхеб способен на многое. Если нужно – пойдет по головам друзей. Угрызений совести не почувствует – в этом можно быть уверенным. Что еще? Смел. Напорист. Храбр. И груб, как всякий солдафон. Не считаться с ним – просто невозможно. У него реальная сила – полки! В руках у него меч!

Хоремхеб разжевал мясо подобно волку, пожирающему антилопу. И очень скоро обрел пристойное и благодушное настроение.

Эйе – этот многоопытный и хитроумный муж, поседевший в дворцовых интригах, – ожидал главной темы разговора, ради которой навестил его Хоремхеб. Однако паук не торопился: он чувствовал по едва заметному дрожанию паутинок, что время приближается…

Шутки Хоремхеба неожиданно оборвались, его взгляд задержался на чарке с вином. Затем вскинул вверх две черные-пречерные сливы, которые служили ему глазами, и сказал:

– Эйе, не объяснишь ли мне, что это делается с его величеством? – жизнь, здоровье, сила!

Эйе безмолвно покачал головой. Разве сам Хоремхеб понимает хуже, что делается с его величеством? И в то же время старый семер чувствовал, что военачальник пытается завязать откровенный разговор. Его, несомненно, что-то тревожит. Эйе очень хотелось бы знать, что это за тревоги. Очень бы хотелось! Но слов поощрения Хоремхеб не услышит. Эйе будет

только и только слушать… Молчать и слушать…

«…Старая лиса – всезнайка. Но делает вид, что только-только народился на свет. Эйе много потрудился на благо фараона. Его советы были главными во всех делах его величества. Его и Мериры, который, кажется, испускает дух (что, несомненно, к лучшему). Он ждет, чтобы я все выболтал, Я, значит, буду изливаться, а он – неопределенно кивать головой. Если вдруг его величество пронюхает о нашем разговоре – Эйе, как всегда, окажется в стороне… Нет, как бы не так! Дай-ка я его помучаю…»

Хоремхеб отпил глоток вина:

– Меня беспокоит его здоровье…

– Меня тоже, уважаемый Хоремхеб.

– Нельзя ли убедить его величество, чтобы больше предавался отдыху, нежели государственным делам?

– Мне это не удалось. Попробуй ты.

«…Значит, молчишь, Эйе?.. Что же, попробуем с другого конца. Пощекотал тебя под мышками – ничего не вышло. А что, ежели попробовать пятки?..»

– Уважаемый Эйе, ее величество Кийа очень всем понравилась в день раздачи наград.

– Да?

– Очень, очень! Она держалась с подобающим величием и очень даже скромно.

– Что же, Хоремхеб, скромности у нее не отнимешь.

– Она была неимоверно ярка в своем пурпурном одеянии, и золотой урей к лицу ей.

– Справедливо, Хоремхеб, справедливо.

«…Этот семер стоял чуть ли не у колыбели Нафтиты. И он вовсе не чужой старой царице Тии. И он приложил немалое усилие к тому, чтобы его величество стал тем, кем является сейчас. Он всегда соглашался с его величеством, при любых обстоятельствах, неизменно утвердительно кивал ему. Поддакивал. Но надо отдать справедливость этому Эйе – ни один суд не выявит его причастия ни к одному делу: ни к худому, ни к доброму. Ведь это надо суметь! Надо обладать для этого особым характером!..»

– Со всех сторон, уважаемый Эйе, я слышал одно: его величество сделал свой выбор! Его величество остановил свой взор на достойнейшей!

– Возможно, Хоремхеб, возможно.

– Родить шесть девочек и ни одного мальчика – это тоже никуда не годится! Несчастная Нафтита, уединившаяся в Северном дворце, должна понимать это.

– Разумеется, разумеется.

– Его величество день и ночь мечтал о сыне. Любя ее.

– Да, да, да…

– Но сына так и нет…

– Да, да, да…

– Его величество сделал свой выбор…

– Он сделал. Сделал свой выбор, Хоремхеб.

Эйе предложил гостю кусок поджаренного мясаг воистину львиный кусок: огромный, ало-коричневатый, чуть с кровью, исходящий дымком. У Хоремхеба разгорелись глаза, как у зверя, пересекшего Восточную пустыню.

– Клади, уважаемый Эйе, так и быть – клади.

Огромный слуга осклабился и по знаку Эйе ловким движением высвободил вертел. Мясо шлепнулось на огромное глиняное блюдо.

– Возьми себе этой заморской зелени. Ее привезли мне с острова Иси. Ее, говорят, хетты обожают.

– А чего только они не обожают?! – спросил Хоремхеб. – Они все сжуют. Как ни говори, а все-таки – азиаты. Хотя и чуть получше и почище этих жителей Ретену и вавилонян.

– Митаннийцы тоже любят зелень.

– Да. Она у них пахучая. Чуть острая. Чуть кисленькая.

– И даже горькая имеется.

– Ты меня убедил. Эйе: беру себе этот сноп зелени. Если только превращусь в телка – грех на твоей душе.

Они выпили за здоровье его величества, за процветание великого дома в Ахетатоне и всего Кеми. Хоремхеб сказал несколько слов, а Эйе – в три раза больше и цветистее. Словно за спиной их стоял сам фараон или главарь его соглядатаев – Маху. Поразмысливши, Хоремхеб разразился похвальным словом, обращенным к земному божеству. Эйе слушал его, набравшись терпения (этого у него хватало).

– Верно, Хоремхеб, верно, – поддакивал он.

Хоремхеб, распалясь, стал превозносить военные начинания его величества, которых, как полагал про себя военачальник, вовсе не существовало, если не считать позорного отступления в Азии, в Ливийской пустыне и Эфиопии. Что же, собственно, остается? Военные парады на дворцовом плацу?

Эйе прикинулся несмышленым барашком. Он все кивал да кивал, попивая вино. Только раз вставил слово в нескончаемую речь Хоремхеба. Гений фараона недосягаем и необозрим, говорил Эйе. Но лучшее из творений – армию – воистину увековечил ратными подвигами…

– Чем? – спросил настороженно Хоремхеб.

– Подвигами.

– Какими, Эйе?

– Ратными. Ратными.

У военачальника вздулись на шее жилы. Покраснел и раздавил на зубах кость. Эйе даже вздрогнул от хруста.

«…Эйе издевается. Явно издевается. Только – над кем? Над его величеством или надо мною?..»

– Эйе, под ратными подвигами твой светлый и глубокий ум разумеет отступления?

– И отступления тоже.

– Такое беспорядочное бегство, Эйе?

– А почему бы и нет?! Если нет другого выхода.

– Оставление своей земли врагу, Эйе?

– Да.

– И скота, Эйе?

– К сожалению, да.

– И людей, Эйе?

– Все бывает, Хоремхеб, все бывает. Только величайший человек, превосходящий умом его величество, мог бы охватить единым взором его деяния, кои суть наши победы.

«…Здесь определенно кто-то сидит. В этих кустах. Или за занавеской, скрывающей дверь. Иначе невозможно черное называть белым. Не иначе как Эйе задумал подвох. Но какой? И к чему? Чтобы навредить мне?»

Сумерки, сумерки надвигались. Эйе приказал принести светильников. Тех, что покрупнее. Алебастровых. Не столько для того, чтобы усиливать свет, сколько для обогрева: он не любил прохладу месяца паони. Лучше – эпифи, со зноем, пряными запахами лугов и полей, скрипом телег, увозящих урожай. В месяц эпифи можно пустить в ход опахала, холодное пиво прогонит зной. А паони требует теплых одеяний, ночи слишком прохладные, а со стороны Дельты веет настоящим холодом. Пусть паони чуточку лучше предыдущего – фармути. Все равно – оба плохи.

Три светильника поставлены вокруг обедающих. С ними пришел уют. И тепло. Хоремхеб попросил, чтобы светильники поставили подальше от него. Ему не только не зябко, но просто жарко. Огонь в достаточном количестве содержится в вине. Для чего светильники?

Эйе обложился мерлушковыми шкурами. Укрыл ноги шкурой леопарда.

– Человек должен беречься в месяцы фармути и паони, – сказал он.

Хоремхеб весело добавил:

– И в эпифи – от зноя, и в тот – от воды, и в хойяк – от болезней легких. Словом, весь год!

– И все-таки – фармути и паони! Когда вода в человеке побеждает огонь. Так учит Пенту.

Хоремхеб махнул рукой:

– Если послушать мудрецов, то впору ложиться в саркофаг с самого дня нашего рождения! Я плохо знаю древние книги, а нынешних вовсе не читаю. Однако сказывают, что есть умные люди, которые говорят: делай только то, что приятно, что доставляет тебе удовольствие. Я держусь этого правила.

– Люди, живущие на запад от хеттов, как утверждают наши моряки, – люди умные. Они как раз и следуют твоему правилу, Хоремхеб. Неизвестно только – все ли? Или есть среди них и умные и глупые? Потому что в каждом народе поровну и тех и других.

– Глупых больше, Эйе!

– Не спорю. Мне попалась очень старая книга. Ее отобрали у одного могильного вора. Этот негодяй залез в гробницу, затерявшуюся в песках, разграбил ее, причем одного золота унес на двадцать дебенов. А может, и больше. У него отобрали хорошо сохранившийся свиток. Хаке-хесеп той местности, где был пойман вор, подарил мне свиток. В нем сказано, что глупцы рождаются вперемежку с умными, как мальчики и девочки. Дети, зачатые в месяц эпифи, глупее тех, кто зачат в мехире.

– О, великий Атон! – воскликнул Хоремхеб. – Это большая для меня радость.

– Почему, Хоремхеб?

– Его величество родился в месяц хойяк, – значит, зачат их величествами в месяце мехир.

Эйе улыбнулся. Но Хоремхеб казался серьезным. Настолько, что Эйе захотелось от души посмеяться. Однако благоразумие, как всегда, взяло верх.

– О да, Хоремхеб, это радует и меня. – Подумал немножко Эйе и спросил: – Когда же родился ты, Хоремхеб?

– В месяц месоре. В самый разлив Хапи.

– Счастливчик!

– Да, на свой месяц не жалуюсь. А ты, Эйе, когда зачат? Или твоя мать скрывала это?

– Нет, я все знаю. Увы, в месяц эпифи!

Хоремхеб расхохотался. Потряс за плечо семера:

– Не верь, Эйе, старой книге. Лучше поверь мне – ты всех умнее, рожденных во все месяцы года: и в месоре, и в хойяк, и в тот. Словом, во все, во все месяцы!

– Ты скрашиваешь мою обиду на месяц эпифи.

– И не бывало! – ответил солдафон, не поняв иронии. – Я бы тоже хотел родиться в один месяц с тобой!

– Благодарю тебя.

Хоремхеб спросил хозяина: не будет чего сладкого? Лучше всего засахаренных фиников. И хорошо бы пирожное – ак. Которое с орехом, а тесто замешено на меду.

– Будет и ак, будет еще кое-что.

– После мяса жареного всегда хочется сладкого, – признался военачальник. Его сильная плоть могла бы потребовать и еще кое-что, от чего некоторых валит тотчас же наземь. Например, напитка уа-ам. Его готовят так: красное вино смешивают с белым. К ним добавляют крепкого пива и несколько ложек меда, настоящего, чисто пчелиного – бийт. В сосуд с этой смесью нарезают персиков, яблок или груш. Хлебать этот напиток истинное удовольствие, особенно если плоть крепка и совершенно здорова…

За сладким Хоремхеб спросил в упор:

– Что собирается делать новая госпожа Большого Дома?

Эйе развел руками.

– А я знаю, – не без грубого лукавства сообщил Хоремхеб.

– Что?

Эйе отстранил пирожное, к которому и не притрагивался.

– Знаю, – повторил военачальник.

– Я слушаю тебя.

– Откровенно?

– Да. Откровенно.

Хоремхеб сказал так, словно речь шла еще об одном куске пирожного ак, которое оказалось особенно вкусным:

– Отрывать головы. Как цыплятам. Сначала – тебе. Потом – мне. Потом Маху. И еще Туту. И еще…

– Постой, постой, – остановил его Эйе, – это что-то из сказок.

– Каких еще сказок?

– Самых обыкновенных. Которые для детей.

– Прости, уважаемый Эйе, если чем-нибудь не потрафил тебе. Но мой долг – всегда говорить правду. Особенно тебе. Впрочем… – Хоремхеб поднял чарку. Поглядел на донышко. – Впрочем, может быть, все это сказки. Я же знаю, как любит тебя его величество. Он никогда не даст в обиду своего любимого семера.

Эйе помрачнел:

– Он любит не только меня. Не менее горячо относится он и к тебе. Уж мне-то все хорошо известно, уважаемый Хоремхеб.

– Что делают два любимых семера его величества, когда они вместе? – Хоремхеб высоко поднял чарку. – Они пьют за его величество – жизнь, здоровье, сила! Пусть благой бог царствует сто лет в своем Большом Доме! Только сто лет! Не меньше!

Они выпили.

«…Хоремхеб выдержал характер: ни словом не обмолвился о цели своего прихода. Однако догадываться кое о чем можно. Солдафону кажется – и не без основания, – что в Большом Доме что-то не ладится. В Большом Доме – большие недоразумения. Это ясно. Вознамерился ли Хоремхеб заручиться моей поддержкой или предлагает мне свою дружбу? Или предупреждает о какой-то опасности? Но какой? С ним ухо надо держать востро. Предаст тебя – и бровью не поведет. Всадит кинжал, не переставая улыбаться… И все-таки он чем-то серьезно обеспокоен…»

«…Этот Эйе притворяется сфинксом. Одним из тех, что торчат среди песков недалеко от Мен-Нофера. У меня совесть чиста: приехал к нему с открытым сердцем. А он?..»

– Уважаемый Эйе, мудрость твоя известна в обеих землях Кеми. Люди неспроста говорят: вот человек, думающий мудро. Неспроста говорят: вот человек, достойный быть первым семером. Неспроста говорят, вот человек, рука которого знает все тайны письма, великий писец настоящий! Ухо его величества внимает тебе, ибо ты есть ум и совесть Кеми. Семеры внимают тебе, говоря: вот он, наставник наш. Поверь мне, уважаемый Эйе, не потому говорю, что вкусил от твоей трапезы и испробовал твоего прекрасного вина, а потому, что это – потребность сердца моего и языка моего.

«…О боги, попротиводействуйте силам земным, которые укрепили бы власть этого Хоремхеба перед лицом любых испытаний Большого Дома…»

«…Старик, когда же наконец ты избавишь нас от своего лукавства и вечного ни „да“ ни „нет“? Неужели так мало места за гробом? Или оскудели просторы полей Налу?..»

Так беседовали в этот сумеречный час два великих семера, два любимца его величества. И ни один провидец в Кеми, ни один смертный или бессмертный не мог бы предсказать, что в этот вечер месяца паони сидят друг против друга будущие фараоны великой империи.

Их тщеславие явно изжаждалось. Однако сами они оказались слабее своей судьбы. И еще слабее – обстоятельств.

Любовь, любовь, любовь…

Тихотеп не мог без нее. И Сорру чего-то недоставало, если не видела Тихотепа хотя бы издали. Одного или обедающим в лавке Усерхета в кругу друзей-ваятелей. Он подумывал о том, чтобы сделать ее госпожой в своем доме. По-видимому, Усерхет потребует выкупа. И немалого… Верно сказано, что нет жены более скромной и послушной, чем арамеянка. Шутники рассказывают, что ежели хочешь быть счастливым, то надо взять трех жен: египтянку, которая будет экономно вести хозяйство, арамеянку, на которой безнаказанно можно вымещать злобу, и митаннийку, веселей которой нет женщин в целом свете.

Друзья советовали Тихотепу решаться поскорее. Они предлагали свои услуги для переговоров с лавочником. «Сорру прошла сквозь огонь и воду – не будет лучшей жены». В этот вечер она явилась к нему одетая в лучший наряд: платье тончайшего вавилонского шелка, новый парик каштанового цвета, вокруг шеи – бусы из Джахи и дорогие браслеты из «небесного железа». Она была прохладна, как чистая вода в лучшем из оазисов. Приникни к ней, испей хотя бы малую толику – и ты поймешь, какое это чудо!

Он смерил ее с головы до ног, словно видел ее впервые. Эдfк восхищенно. И вдруг ощутил глубокое уважение к богу, который создал вместе с этим миром и все сущее, и несравненную Сорру. Почему она день ото дня становится все краше, прозрачней, невесомей, выше, тоньше, нежнее, ровнее, горячее, притягательнее? Какая такая сила бушует в ней, превращая ее из создания греховного, земного в существо, спустившееся с неба?

Тихотеп был наслышан о старухах, которые чарами своими способны сотворить несказанное чудо. Они превращают мужчин в ослов, красавиц в дурнушек, уродливых – в неписаных красавиц, здоровых – в больных и прокаженных – в цветущих людей. Сорру не нуждается в услугах подобных старух. Это несомненно! И все-таки невероятно: она цветет, все цветет, поражая красой.

Он казался удивленным, подавленным, растерянным в одно и то же время. Ей вдруг почудилось, что он не признает ее. Или позабыл ее. Это случается с теми, кто поражен дурным глазом. Может, это завистницы? И они неизведанными путями застлали глаза подобием тумана?..

Так стоят они друг против друга. За его порогом. В его доме. Среди светильников, освещающих небольшую комнату неверным светом.

– Скажи же слово, – просит она. Он говорит:

– Это ты? Сорру?

– Я! Только я!

– Скажи мне, кто сотворил тебя такой красивой?

– Разве я красива?

– Ты – несравненная красавица! И хорошеешь с каждым днем!

Сорру чуть не плачет от радости. Да нет же, плачет она. Слезинки скатываются по розовым, розово-матовым щекам.

– Кто же этот чародей?

– Сказать?

Она счастлива. Она плачет от радости. Она словно бы готова взлететь.

– Скажи.

И она шепчет:

– Любовь.

– Кто?

– Любовь, любовь, – повторяет она. – Твоя любовь!

Тихотеп стоит грустный. Молодое лицо, точно позаимствованное из лучших набросков Джехутимеса и Юти**,** немножко расслабло, немножко вытянулось, немножко побледнело,

– Что с тобой? – шепчет Сорру. Делает два шажка иповисает у него на плечах. Осторожно. Не отрывая носков от пола.

Он тряхнул головой. Как сонная лошадь, отгоняющая сон. Как птица, расправляющая крылья. И он увидел ее во всех красках ее, во всей живости ее, как радугу над морем, как живой блеск самоцветов из Та-Нетер. Обнял ее, поднял на руки, отнес на ложе,

благоухающее листьями диковинных деревьев Юга.

Ониулеглись рядышком. И он взял ее пальцы в свои и рассматривал так внимательно, словно желал уличить в чем-то недозволенном. Пальцы были тонки и нежны. Он подивился им.

«…Это пальцы принцессы. Пальцы, созданные для тончайшего рукоделья и любви. Их первое призвание – ласка. Их дело – ласкать любовников, то нежно, то грубо. Вдыхать новые силы в мужчину, изнемогшего от бурной страсти… И бурной и необузданной. В меру извращенной. Но непременно извращенной…»

Он смотрел в потолок. По-прежнему грустный. Машинально перебирал ее пальцы. Сорру чувствовала, что он где-то в другом месте. Не могла не чувствовать, ибо научилась наблюдать за мужчинами и по незначительным изменениям выражения лица определять настроения. Научилась этому против своей воли, как учится молодая львица добывать пищу, развивая в себе нюх и величайшую чуткость ко всякого рода шорохам ипискам.

Она не выдержала и спросила его:

– Ты, кажется, недоволен, что я пришла сюда… Может, нездоров?

– Угадала.

– Нездоров, значит?

– Да. Но это – особая болезнь.

– Какая же?

– Даже не болезнь.

– А что же?

– Как объяснить тебе, Сорру? Особое состояние души, когда вроде бы ничего и не болит, но все тело ноет.

– От этого есть хорошее средство, Тихотеп.

– Вино?

– Да.

– Нет, Сорру, оно не поможет.

– Почему?

Он прикрыл глаза, не переставая перебирать ее пальцы. Потом сжал их немного… Чуть сильнее. Еще сильнее.

– Не больно, – сказала Сорру. Ваятель тотчас выпустил руку.

– Я же сказала – не больно.

Сорру прижалась к нему. Приподнялась – и прильнула губами к его губам. Они казались холодными, чуть одеревеневшими. Ей однажды сказал ливийский купец: «Сорру, твои поцелуи могут и мертвого оживить». Это хорошо запомнила Сорру. Много еще лестного говорили ей самые разные мужчины – молодые и пожилые, юнцы и старики… Но на сей раз искусство ее оказалось бессильным.

Сорру не спускала глаз с Тихотепа. Его взгляд, всегда такой бездонный, нынче вдруг обмелел, поблек его густой цвет. Она была раздосадована: неужели вот так кончается любовь?

Он обнял ее, прижал уста к ее уху и зашептал:

– Не сердись, Сорру. Это настроение такое…

– И виною этому…

– Не ты.

– Кто же?

Тихотеп привстал. Усадил ее рядом с собою, обхватил ее за талию.

– Виноват, может быть, сам бог.

– Бог?

– Да, Сорру. А больше виновных и не вижу. Это он располагает и добром и злом. Он творит милость и отвращает одних от других.

Сорру сказала:

– Тебе не нравилась моя задумчивость. Теперь мы поменялись ролями. Я стала

легкомысленной от любви. А ты грустишь…

Молодой ваятель покачал головой:

– Каждый, кто любит Кеми и предан его величеству, не может не грустить. – Судя по ее недоуменному взгляду, Тихотеп понял, что требуется некое более подробное пояснение, на которое у него не было ни сил, ни желания. Поэтому проговорил вполголоса и скороговоркой: – Разрыв между его величеством и Нафтитой – нечто большее, чем это казалось. Когда дом дает трещину, надо проследить, куда эта трещина тянется…

– Куда же тянется, Тихотеп?

– Она не просто тянется, но боюсь, что обнаруживает зияющую, мрачную пустоту.

– Это что-то страшное?

– Пустота, которая может поглотить всех нас. Пророчество, разумеется, не из самых приятных.

Сорру не сразу сообразила, что же такое может произойти.

– О какой пустоте ты говоришь, Тихотеп?

Как?! Надо еще и объяснять, о какой пустоте идет речь? А беспокоит ли ее что-либо, что не имеет прямого отношения к ее родине или любви? Например, судьба Кеми.

– Что? Что? – удивилась Сорру.

– Судьба Кеми, – повторил он.

– Милый, милый, – проворковала она, – ты меня путаешь с царицей. Или с самим фараоном. Скажи мне: правда, ты спутал?

– Так, стало быть, ты не забиваешь себе голову подобной мелочью?

– Откровенно говоря, нет. При чем здесь я? С меня вполне достаточно моих забот. А я тебя не узнаю. Всегда такой веселый. А нынче? Послушай, Тихотеп: если не фараоном, то семером ты быть вполне достоин. А я подумала, что ты влюбился в какую-нибудь красавицу. Скажи: не влюбился? Поклянись, что нет!

– Неужели, Сорру, ты никогда не пытаешься заглянуть в будущее той страны, в которой живешь?

– Куда? Куда?

– В будущее.

– Кто об этом просит меня? И кто я здесь? И какое имеет значение, заглядываю или нет?

У нее такое детски нежное, такое наивное выражение липа, что ему стало вдруг весело. Он упал на ложе и беззвучно рассмеялся.

– Что с тобой? – сказала она. – Чему ты теперь смеешься?

– Просто так… Или ты очень умна?.. – Он осекся.

– Или… Продолжай… Договаривай, Тихотеп.

– Или очень глупа?

Сорру не обиделась:

– Правда? Ты так уверен в этом?

– В чем?

– Что я глупа!

– Совсем не уверен. Я задаю вопрос. Или – или?..

Она надула губы…

– Пусть буду дурой! Мне это все равно. Лишь бы любил меня! Когда я люблю – только люблю! Я забываю о невзгодах. Мне кажется, что я счастлива.

Ну, что ей сказать? Ведь известно же: женщины что зелень, растущая на лугах. Траве нужны соки, нужны свет и тепло солнца. Может быть, еще и чириканье птиц. А до остального ей нет никакого дела. Любовь для женщины – все. Она не может без любви. С любовью она вынесет любые испытания. Посади ее с милым на пустой кораблик, и она

поплывет в Та-Нетер. А то и еше дальше! А Западная пустыня? Разве она преграда для влюбленной женщины, сердце которой притягивается другим сердцем?

– Послушай, Сорру, есть в жизни вещи, которые важнее любви?

– Не знаю. Может, ты назовешь, что именно важнее?

– Назову.

– Я слушаю.

– Государственные дела, например.

– О них заботится фараон.

– Допустим.

– И семеры его.

– Хорошо!

– И хаке-хесепы.

– Тоже верно!

– Вот видишь! – заключила Сорру. – Есть кому подумать о делах государственных.

– Ты совсем-совсем не о том! Дай-ка поясню по-своему… Представь себе, что мы завтра лишаемся крова…

Он подождал: что она скажет? Сорру ничуть не удивилась этому:

– Разве у всех над головою крыша? Я знаю немху, которые живут в норах, как крысы. Они зажимают рукою рты – чтобы негромко – и клянут фараона и его семеров.

– Вот как! Почему же они клянут?

– Потому что живут, как под крокодилом. Знаешь? – как человек, попавший под это чудовище. Правда, немху полагали, что пришло их время, что знать повержена и настало их время. Оказывается, не так! Совсем не так! Они – все эти немху, вся эта голодающая чернь – сосут кожу. Сырую кожу вместо мяса. Разве это жизнь?! А ты говоришь – крыша! Без нее можно еще обойтись. А вот без хлеба – как?

Тихотеп посерел:

– Послушай, Сорру, ты, по-моему, живешь вполне сытно. Откуда эти сведения?

– Разве у меня нету глаз?

– Они есть и у меня.

– Значит, плохо видят.

– Я же не слепой!

– Можно не быть слепым и не видеть.

– Ты меня удивляешь!

Сорру обхватила реками его шею. Приблизилась к нему близко-близко. Совсем близко: глаза в глаза.

– Скажи мне, Тихотеп, только откровенно: что ты знаешь о жизни немху? Что знаешь о жизни других городов? Разных деревень и поселений – дальних и близких?

Она показалась ему сильной, упорной. Трясла его, точно спал он непробудным сном.

– Ты скажешь мне что-нибудь?

Тихотеп улыбнулся:

– Я люблю тебя.

– Нет! Этого уже мало! Ты сам снова пробудил во мне маленького мудреца. Отвечай: может ли жить немху хуже, чем он живет?

Он молчал.

– Собака тоже существует. И скот домашний. И звери в пустыне. Точно так же, как существуют немху: от зари до зари – в трудах и заботах, с надеждой на лучшую жизнь после смерти. Не так ли?

– Тебе лучше знать.

Она надула губы. Уронила руки на колени, опустила голову:

– Тихотеп, ты весь ушел в свои каменные изваяния.

Он расхохотался.

– Для тебя камень – это жизнь.

Тихотеп не переставал смеяться.

– Ты живешь при дворце, как семер.

Он чуть не захлебнулся в смехе. Упал на ложе. Содрогаясь всем телом.

Она все больше и больше злилась:

– Оглянись вокруг: сколько нищеты! Сколько горя!

Ваятель слушал ее, продолжая смеяться.

– И самая несчастная из всех – я!

В одно мгновение Тихотеп поднялся, осторожно обнял ее. Как истинный художник, он оценил Сорру.

– Любимая, – сказал он, – если бы не ее величество Нафтита, я бы сказал, что из всех женшин мира ты – самая истая женщина.

– Ты говоришь слишком по-ученому. Я не очень хорошо понимаю тебя.

– И не тщись понимать! Я сам не всегда разумею собственные речи. Я хочу сказать, что неожиданными поворотами мыслей, настроения ты являешь саму женственность.

– Являю? – удивилась Сорру.

– Женщину со всеми достоинствами и недостатками.

«…Тихотеп грамотен, умен, сведущ во многих делах. Недаром приблизил его Джехутимес, который, говорят, великий ваятель. Он в нашей лавке – всегда на почетном месте. Его уважают. Тихотеп – его близкий друг. И почему-то удручен…»

– Ты любишь Нафтиту?

Ваятель всплеснул руками:

– Что ты мелешь?

– Ты же сам сказал.

– Что я сказал?

– Что Нафтита дороже, чем я. Поэтому ты в плохом настроении.

Тихотеп сказал:

– Чтобы твои собственные кривотолки не сбили тебя, я кое-что объясню. Представь себе, что человек садится в ладью, чтобы переплыть Хапи в том месте, где особенно много крокодилов. Садится в ладью и – о, ужас! – обнаруживает сильнейшую течь. Борта рассохлись, смола отстала, и вода бежит, словно по оросительному каналу в месяц месоре. А на том берегу – прекраснейшая из женщин. Возлюбленная его. Преданнейшая ему. И он хотел бы взять ее в жены. Но ладье не доплыть до берега. Она неумолимо идет ко дну. И прожорливые пасти крокодилов тянутся к нему. – Тихотеп замолчал. А потом спросил: – Что ты на это скажешь?

Вдруг она сделалась ни жива ни мертва. Сорру живо представила себе несчастную женщину, которая ждет возлюбленного. О, бедная, бедная женщина на том берегу Хапи! Неужели она явится свидетельницей его погибели?.. Сорру прикрыла лицо руками. Ей почудились вопли – душераздирающие, громогласные: живой плач женщины, теряющей любимого… Когда он, применив небольшое усилие, отнял руки от лица ее, по щекам Сорру катились крупные слезы, как дождинки в Саи или на острове Иси.

– Ты плачешь, Сорру?

Она, всхлипывая, кивнула.

– Не расстраивайся, прошу тебя.

– Мне жаль ее.

– А его?

Сорру не ответила. Наивность ее была беспредельна и натуральна. Душа ее чиста, как только что изготовленный и высушенный папирус: пиши на ней любые письмена! Тихотеп попытался смягчить впечатление, произведенное на молодую женщину неприхотливым рассказом.

– Сорру, я имел в виду наш Кеми, когда говорил о ладье. В образе плывущего на ладье представил себя…

– А та, которая на берегу?

– Это – ты.

При этих словах она разрыдалась. Ему стоило больших усилий слегка успокоить ее. Помогло простейшее и испытаннейшее средство: долгий, горячий поцелуй. После этого он смог продолжить свой рассказ:

– Если с Кеми случится худшее, разве избегнем ее судьбы и мы? И что значат все песни любви по сравнению с этой катастрофой? Я это вдруг ощутил вчера. Когда узнал о грозящей опасности.

– Любовь ни с чем нельзя сравнивать. Она выше бога.

– Не богохульствуй!

– А я говорю – выше, – упрямо повторила Сорру.

– Для вас, азиатов, все равно – что бог, что любовь!

– Нет, не все равно, Тихотеп: любовь превыше всего! А вы здесь, в Кеми, слишком начитались старинных книг и слишком завозились со своими письменами. Между тем лучшие письмена – письмена любви!

Она произнесла эти слова с глубокой верою в них, со всей страстью и горячностью.

– Вы слишком расчетливы, – продолжала она, – ваши познания заслоняют от вас самые благороднейшие чувства. Не далее как сегодня утром два господина поспорили в лавке. Дошло до оскорблений. Но не до драки! Они расселись по разным углам и принялись строчить жалобы судье. Да разве так поступают мужчины!

– А как же, Сорру?

– Они решают спор в рукопашной схватке.

Тихотеп подумал, что вдобавок ко всему – перед ним дитя несмышленое. Неужели же драку возможно предпочесть судебному разбирательству? О, великий боже, как отстали эти азиаты, сколь они невежественны! Даже прекрасная Сорру готова разрешать споры своими кулачками.

Она была полна, презрения к тем двум спорщикам:

– Нахохлились, как воробьи, добыли письменные приборы и папирус – и давай писать жалобы. Быстро-быстро. А потом кинулись к судье искать справедливости!

– Сорру, они поступили разумно.

– Да?

– Вполне!

– И ты бы вот так строчил жалобу?

– Если бы оказалась в том необходимость.

– Некий муж застал у своей жены любовника….

– Прискорбно.

– Как же он поступил, Тихотеп?

– Не знаю.

– А я знаю.

– Так расскажи, Сорру.

– Он привлек любовника к судебной ответственности. Собрал свидетелей и уличил того в подлости.

– Сорру, он поступил по закону. Разве – нет?

Нет, это выше ее представлений о ревности и верности. Мужу следовало отрубить голову и ей и любовнику!..

– Какая жестокость! – воскликнул ваятель.

– Нет, – решительно возразила Сорру, – если любишь – пойдешь на все! Что такое человек без любви? Просто камень на дороге. Булыжник. Кремень, из которого высекают искру посредством кресала. Небесного железа. Я всей душой ненавижу бесчувственных.

«…Львица, львица эта женщина! Она с одинаковой страстью растерзает врага и приласкает возлюбленного. Такая никогда не оценит ни пирамиды Хуфу, величайшего творения Хемиуна, ни изваяний Иртисена, ибо они не имеют даже косвенного отношения к тем чувствам, которые обуревают Сорру. Я раньше сравнивал ее, как и всех женщин, с

травой. Нет, она львица – и мысли, и поступки ее необузданны, как у львицы. Вот что!..»

– Хорошо, – сказал он примирительно, – пусть мы, жители Кеми, слишком расчетливы, не ревнивы, мало воинственны и чрезмерно привержены к законам.

– Вы просто сутяги, – добродушно заметила Сорру.

– Сказано довольно-таки крепко.

– Вас хлебом не корми, а дай возможность пописать жалобы, по судам побродить. Отбери у вас земли немножко, сотую долю аруры[24] – в суд! Изменила жена – в суд! Оскорбил сосед – в суд! Раб ушел – в суд!

Тихотеп схватился за голову.

– Сорру! – вскрикнул он. – А что бы делала ты, будь мужчиной?

– Что? – Глаза у Сорру зловеще сверкнули. – Я бы прирезала обидчика. Собственноручно!

– Да, Сорру, скажу тебе по правде: Изидой тебя не назовешь.

– Я и не прошу.

– И ни Изида, и ни Ашторет…

– Я же сказала тебе, не стремлюсь походить на них…

– Впрочем… – Он легким нежным движением коснулся ее соска. – Пожалуй, есть в тебе кое-что от Ашторет.

Она оттолкнула его руку, подбоченилась, высоко подняла голову:

– А я и не стыжусь! Да, я женщина, подобно Ашторет. Я служу Ашторет и предаюсь прелюбодеянию во имя Ашторет.

– А я обожаю тебя именно за это, – сказал Тихотеп.

И, как все их встречи, закончилась тем же и эта. Она медленно скинула с себя шелковые одеяния. Обнажилась. И он прильнул к пупку ее – такому тугому и маленькому, как у детей. Живот ее теплый и упругий, словно только что выпеченный хлеб. Покрыт ровным загаром.

Он разделся. Стал к ней спиной, будто сопоставлял рост ее со своим. По сравнению с ним была она маленькой и хрупкой. Обхватила бедра его. И застонала…

Он поднял ее на руки. Обошел комнату вокруг три раза. Целуя ее. Не переставая целовать.

– Я несу тебя, как свет, – сказал он.

– У тебя большие руки.

– Несу, как аромат таинственный, невообразимо прекрасный.

– Ты соткан из жил, Тихотеп.

– И груди у тебя как две птички: вдруг вспорхнут, как сказано в одной старинной книге.

– Они жаждут тебя.

– И ты горячая, как камень посреди пустыни.

– Так остуди же меня!

– Чем? – спросил он дрожащим голосом.

– Ты знаешь сам…

Он искал губами ее губы. Она их прятала. Прятала, изнемогая и шепча:

– Любовь… Любовь… Любовь…

Среди ваятелей

Юти и Бек находились в мастерской Джехутимеса, когда неожиданно появился фараон вместе с Кийей. Джехутимес показывал своим друзьям набросок рельефа на плите: царь протягивает руки к его величеству Атону, как бы читая торжественный гимн в честь божества света и тепла. Ахтой и Тихотеп стояли сзади гостей, почтительно слушая

[24] Арура – мера земли. Около 0,27 гектара.

объяснения Джехутимеса. В это время и появился фараон вместе с Кийей. Их сопровождал эскорт из дворцовой охраны.

Ваятели не сразу заметили высоких гостей. Послышался нетерпеливый топот коней, впряженных в колесницу его величества. И тут же показался его величество. Самолично. А за ним – Кийа. Старый Бек проворнее других опустился на колени, приветствуя благого бога. Остальные последовали его примеру.

– Он! – сказал громко один из тех, кто в соседней комнате замешивал глину. Было произнесено весьма выразительно это самое «он». Не требовалось даже переспрашивать, кто такой «он».

Нефтеруф кинулся к занавеске, чтобы удостовериться, на самом ли деле «он». Бывший каторжник осторожно раздвинул занавеску, которая вся в тяжелых складках. И он увидел то, что увидел: благой бог царственно улыбался, оглядывая мастерскую и коленопреклоненных ваятелей. Было что-то особенное в этой невзрачной фигуре, в этом остром, как кинжал, лице, в его глазах, во всей осанке. Божественность? Пожалуй. Уверенность? Пожалуй. И даже сила. Все вместе – и одно, и другое, и третье, пожалуй.

Кийа держалась скромно. Как бы в стороне. И в ней было что-то возвышенное. Надо отдать ей справедливость. Или это, может, от близости к его величеству? Так или иначе, она – царица. К ней можно относиться как угодно, однако в величии Кийе не откажешь…

Нефтеруф снова перевел взгляд на фараона. Так вот он! И вот он каков теперь! Одного его слова оказалось достаточно, чтобы весь блистательный род Нефтеруфа пошел прахом! Дуновение уст его – и Нефтеруф очутился в недрах земли. Глубоко под землей! Чтобы копать землю, подобно кроту. И добывать золото для него…

Рука бывшего каторжника невольно потянулась к кинжальчику, с которым Нефтеруф не расставался ни днем, ни ночью… Вот так, вот: один прыжок! Подобно зверю. И все сомнения кончаются. Месть совершается. В мгновение ока Кеми обретет нового правителя. А с новым правителем…

Лоб у Нефтеруфа вспотел. От напряжения. Бывший каторжник неотрывно глядел на фараона. До боли в висках. Что отделяло его от верховного правителя Кеми? Десять локтей да занавески? Разве это преграда? Это один… всего-навсего один прыжок…

«…Восемь лет мечтал об этой встрече… И днем и ночью думал. Давно решил, как поступлю я в эти мгновения. Я говорил себе: не буду думать. Я говорил себе: это будет удар молнии. Я говорил себе…»

В это время кто-то мягко положил руку на плечо Нефтеруфа. Очень мягко положил. Но рука тяжелая. Тяжелей и не придумаешь. И услышал за собой сопение. Так сопит носорог, почуявший опасность.

Нефтеруф резко поворотился назад. И увидел перед собой то, что увидел: увидел черное лицо и белые зубы. Красные губы и белые глаза. Негра увидел Нефтеруф. Такого огромного. Рукастого. Мускулистого. Курчавого. Улыбался негр улыбкой и доброй и недоброй. Нефтеруф не сразу разобрался, что же здесь происходит.

Чернокожий сказал тихо, тихо, тихо:

– Его величество выглядит очень хорошо.

– Да, – вырвалось у Нефтеруфа.

Чернокожий продолжал:

– Я видел, господин, с какой любовью взирал ты на нашего властителя – жизнь, здоровье, сила! Я тоже люблю его. Очень люблю. Мы все любим его. Он – словно Хапи. Такой великий.

От негра пахло чесноком. И мясом. Негр шепелявил. Негр был косноязычен. С трудом понимал его Нефтеруф К тему же негр шептал. Тихо, тихо…

– Да, да – сказал Нефтеруф.

– Смотри, смотри, – советовал негр, не отнимая руки от плеча. Нефтеруф хорошо уразумел одно: он в прочных объятиях этого негра. По-видимому, телохранителя его величества. Нефтеруф понял очень хорошо: фараон далек от него, как звезда Сотис,

управляющая разливом Хапи. Это он понял! И еще понял: не надо двигаться. Ни вперед, ни назад. Ни вправо, ни влево… Прощай, мечта!..

– Смотри, смотри, – шептал зловеще чернокожий.

Его величество эдак внимательно, внимательно присматривался к коленопреклоненным. Немножко придирчиво: может, не нравилось ему что-нибудь? Но что? Фараона ведь не ждали. Естественно, ваятели не приоделись подобающим образом. За исключением Бека и Юти, которые были гостями. Джехутимес – в пыли. Ахтой – в глине. Тихотеп – желтый от пыли. Фараон полуобернулся к Кийе и сказал:

– Вот эти люди – ваятели. Подобных им не знает Кеми. Все ваятели мира недостойны стоять рядом с ними.

Он как бы говорил: вот каковы они, и все они – прах передо мною.

Она кивнула ему. И, чуточку сощурив глаза, по-прежнему стояла безмолвно. И весь вид ее свидетельствовал о том, что благоговела она перед этими знаменитыми людьми Кеми. Которые верноподданные и ее величества. Рабы ее. Послушные слову ее.

Потом его величество обратился к ваятелям. Он говорил вполголоса. С укоризной. Как бы с обидой на них. Медленно сгибая правую руку в локте и прикладывая ее к груди. И снова опуская. Неторопливо. Плавно. И речь его была ясной и неторопливой. Он дважды или трижды оборачивался к Кийе, как бы доводя свои мысли до ее сведения. Словно говорил главным образом для нее. Пожалуй, не было другого правителя в Кеми, который лучше подходил бы для этой высокой, божественной должности, чем его величество. Ему чутко внимали все ваятели, которые ждали знака, чтобы подняться на ноги. Поскольку знак не подан – то ли нарочно, то ли по рассеянности его величества, – они продолжали пребывать коленопреклоненными. Однако вскоре выяснилось, что фараон не был рассеянным, но действовал обдуманно, как во всех своих делах.

Он сказал доподлинно:

– Все мы созданы его величеством Атоном, и благословение его с нами! Ибо он есть бог-владыка всего сущего на земле и созданного им. Его величество, отец мой небесный, говорит со мной, и мои слова – суть высказанные им в его священных и тайных беседах. Кеми – лучшее творение бога всесветного, и всевидящего, и всетворящего. А лучшее в Кеми – ваятели и писцы его, зодчие и музыканты. Ибо созданное ими – бесценно. Я заявляю вам от имени отца моего, несущегося в золотой колеснице через голубое поле неба, что негоже вам, достойным сынам, на коленях стоять вот так, даже в моем присутствии. Это говорю я. Надеюсь, в последний раз. Бек, мудрейший и почтеннейший, который здесь, и все остальные, которые здесь, должны подняться гордо. Во весь рост. Потому что на них благодать царя их и отца царя ихнего, бегущего по небесам.

Сказал его величество, и рабы его поднялись с земли. Согласно его пожеланию. Ибо желание его величества – закон для рабов его. Тогда Кийа сделала несколько шагов вперед и оказалась как бы окруженной прославленными ваятелями. И, обращаясь к его величеству, сказала:

– В уши мои проникла речь проникновенная, исполненная справедливости и мудрости. Пусть отныне так и будет под этими сводами, где каждая рука неоценима и прославляет государство наше, и Великий Дом – прибежище благого бога.

– Джехутимес, – сказал его величество, – показывай твои работы, которые не успел посмотреть. Услади глаза мои, потому что камни оживают под ударами твоего молотка.

Джехутимес хорошо умел слушать наставления его величества. Впрочем, как Бек и как Юти. А тот, кто не очень это умел – наподобие Май, – нынче в далекой пустыне пьет из бурдюка вонючую воду, и снится ему по ночам этот прекрасный город. И мастерские. Где власть фараона имеет пределы. Потому что фараоны могут завоевать Ретену или Ливию. Но нет силы, кроме силы ваятеля, которая в состоянии изваять нечто прекрасное. Это не раз выражал в своих суждениях фараон. А нынче он высказал это в столь определенной форме, что нельзя допустить в отношении каждого его слова двух толкований…

Джехутимес показывал свои камни и гипсовые слепки. Он переходил от одной работы

к другой. Его величество осматривал каждое изваяние придирчиво, с величайшим вниманием.

А негр не отступал от Нефтеруфа. Он дышал жарким дыханием. Прямо в затылок. И бывший каторжник понимал, что не уйти от этого верзилы. Нефтеруф приметил еще нескольких человек, настороженно дежуривших по разным углам мастерской. И не понимал, откуда взялись они. Однако было ясно: охрана фараона достаточно надежна. Всякая мысль о покушении – сущее безумие… И с этого мгновения Нефтеруф изображал верноподданного. Он восхищался его величеством сверх меры. Подобострастно вздыхал. И повторял, обращаясь к негру:

– О, как он велик! О, как он мудр!

Негр кивал ему, тараща глаза. И говорил:

– Да. Да. Да…

Его величество подошел к одному из изваяний, явно не оконченных и потому покрытых грубым холстом. Джехутимес решил, что фараон прикажет снять покрывало.

Проницательный фараон словно бы увидел сквозь покрывало то, что скрывало оно от посторонних. Он круто повернулся на месте и сказал:

– Не следует ли сильнее подчеркивать формы лица и тела, имеющие своеобразность? Не похожие на других. И полностью отказаться от приукрашивания.

Неизвестно, к кому из ваятелей был обращен этот вопрос. Бек, как самый старший из них, отвечал:

– Твое величество, это и есть самый жгучий вопрос всех времен. Насколько мне известно, даже в незапамятные времена – во времена, скажем, Имхотепа – находились умные люди, полагавшие, что надо схватывать самое главное.

Его величество заметил с усмешкой:

– И все-таки всех изображали похожими на Осириса или на Тота.

– Да, так было.

– Почему?

– Потому что, твое величество, не нашлось человека, который до конца мог бы понять эту истину и рассказать о ней другим. Подобно тому как это делаешь ты.

Фараон попытался разобраться в словах старого ваятеля: каково в них соотношение истины и лести? Зная Бека, его величество не допускал подобного исследования. Это было бы оскорбительно для Бека и мало приятно для самого фараона Значит, в словах Бека – сущая правда. Говоря откровенно, разве не он, Эхнатон, неустанно требовал одного: не раболепного сходства, но соответствия натуре, подчеркивания отличительного, опуская частности? Нет, Бек не льстит. И зачем нужна старому ваятелю эта лесть на пороге смерти? Даже устрашающий случай с ваятелем Май, сосланным под благовидным предлогом на каменоломни в качестве начальника, не может оказать действия на смелого Бека…

Таким образом, его величество убедил себя, что Бек говорит правду, говорит искренне и ему должно оказываться полное доверие.

– А если бы нашелся такой человек? – спросил фараон, возвращаясь к словам Бека.

– Тогда бы, твое величество, Джехутимес родился бы на тысячу лет раньше.

– И не было бы его с нами?

– Да, твое величество.

Фараон воздел руки к небу:

– Благодарю тебя, отец мой, что Джехутимес живет именно в мое время! – Он обвел присутствующих пытливым взглядом. Сказал: – И ты, Бек. И ты, Юти. И ты, Ахтой. И ты…

Его величество запнулся.

– Тихотеп, – подсказал Джехутимес.

– И ты, Тихотеп! Хорошо, что вы живете сейчас, в этом славном городе Ахяти! – За подтверждением сей мысли фараон обратился к Кийе.

– Верно! – сказала она. – Это очень хорошо!

– Кстати о столице, – продолжал фараон. – Будем откровенны: она построена не то

чтобы на живую нитку, но не очень прочно. И не очень тщательно…

– Ты требовал быстроты, – сказал Юти.

– Верно.

– Город поднялся за три года, – добавил Бек.

– Верно. И не столь уж прочен.

Джехутимес сказал:

– Истинно так.

– Доказательства ни к чему, – сказал фараон. – Пойдемте, и я покажу следы спешки. На каждом шагу. Почти на каждом. Что? Не так?

Опять же неизвестно, к кому обращен вопрос.

– Так, подтвердил Джехутимес. – Это так!

А про себя:

«…Его величество видит сквозь землю. Он знает, что делается в небесах. Неужели же не знать ему города, возведенного им самим?..»

Фараон прислонился к стене. А мыслями – где-то далеко, далеко…

Кийа спросила Джехутимеса:

– А что под тем покрывалом?

Ваятель ответил не сразу. Все опустили глаза, кроме его величества, который был где-то далеко.

– Твое величество, это голова одной дамы…

– В самом деле? – Кийа загорелась любопытством. – А нельзя ли посмотреть?

– Работа еще не окончена…

– И очень хорошо… Хотелось бы знать, как выглядят неоконченные работы.

Не смея ослушаться, не смея перечить ей, ваятель сорвал покрывало. И Кийа загляделась. На нее, очень хорошо знакомую… Вдруг почувствовала себя неловко под умным, снисходительным и веселым взглядом этой дамы…

Потом обернулась к Джехутимесу:

– А по-моему, работа готова. Вы ничуть не польстили этой даме. Она и в самом деле прекрасна.

Фараон как бы пришел в себя. Присмотрелся к изваянию.

– Надо закончить его, – посоветовал он. – Надо увенчать головным убором.

Это он произнес бесстрастным, вялым голосом. Казалось, устал фараон. Или по-прежнему мыслями был где-то далеко.

– Да, – ответил Джехутимес, – сейчас работается головной убор. Мы нашли наконец подходящий материал. Нам нужны и камни для глаз. Не простые, но особенной прозрачности.

– Надо закончить… Надо закончить… – повторил его величество и направился к выходу. И в это самое время, когда поворачивался лицом к выходу, – встретился с глазами Нефтеруфа. Сверкавшими в складках занавески. Бывший каторжник увидел его глаза – темно-карие, немножко задумчивые, немножко болезненные, немножко испуганные. Много можно было прочесть в этих глазах!.. Фараон не обратил внимания на Нефтеруфа: мало ли кто смотрит на его величество?!

Царь шел медленно. По-видимому, дожидаясь Кийю, которая разговаривала с ваятелями. Все о том же, незавершенном, по мнению Джехутимеса, портрете Нефертити. Джехутимес был поражен ее доброжелательным тоном. Словно Нефертити и вовсе не было в живых: эдак почтительно, без тени раздражения или ревности.

Бек подумал:

«…Эта женщина пошла далеко. Но она пойдет еще дальше…»

Джехутимес отдал ей должное: так может вести себя только великая женщина, умудренная жизнью, сумевшая подняться над мелочами, над очагом и над горшками для варки похлебки. Так могла бы вести себя одна-единственная женщина в мире: ее величество Нефертити…

Фараон нетерпеливо кашлянул. И Кийа заторопилась к нему. И они вышли оба, между тем как за ними в почтительнейших позах следовали ваятели. Перед тем как подняться на боевую колесницу с позолоченными спицами, его величество сказал Джехутимесу:

– Больше гордости. Учтите: вы – фараоны в своем деле. – Поднявшись, он закончил свою мысль: – Ни один фараон Кеми, начиная с Хуфу, не может сделать то, что делаете вы.

Он положил руку на плечи Кийи, стоявшей рядом с ним. И подал знак трогаться.

Ваятели склонились в глубочайшем поклоне.

Письмо в Хаттушаш[25]

Поздно ночью Тахура закончил письмо. Оно получилось достаточно большим. Но ведь и дело не маленькое. Если говорить скромно. Барыши Тахуры не исчисляются талантами. Золото здесь присутствует как бы незримо. Потому что это – много золота, много талантов, огромное количество дебенов. Их сейчас нет. Но они будут. Для этого нужна победа хеттов, его величества Суппилулиуме. Вот это настоящий барыш! А караван товаров и мешок золота – мелочь! Сущая мелочь, недостойная Тахуры, которого ценит лично царь Суппилулиуме.

Тахура отправит это письмо нарочным. Но не хеттам. А в Вавилон. К себе на родину. Оттуда оно попадет в руки его величества, и он скажет: «Не дремлет, не дремлет Тахура – верный мой слуга, чутко слушающий мои речи». Так скажет великий Суппилулиуме. Ибо победу ему, точнее, ключи к победе добудет Тахура, который здесь в обличье купца…

Он писал арамейскими письменами на папирусе. И когда поставил в конце свою подпись, позвал Усерхета. Лавочника, у которого снимал комнату этот заезжий вавилонский купец. Лавочник поразился размеру письма. По его мнению, это была целая книга.

– Торговый отчех должен быть подробным, – со значением произнес Тахура

– Понимаю.

– Чтобы хозяин мой – главный хозяин – узрел все таким, как оно есть на самом деле.

– Разумеется, разумеется.

– А иначе какой прок разъезжать с товаром?

– Никакого нет проку.

– Послушай, Усерхет, я хочу прочесть тебе – нет, нет! – не все письмо! Это было бы утомительно и для меня и для тебя! Но не сверить с твоим мнением главные мысли – не могу.

Лавочник кивнул. Уселся на циновку. А купец приблизил к себе светильник. Глянул вопросительно на Усерхета.

– Все спят. Все спокойно, – сказал лавочник. И Тахура прочитал:

«Уважаемый хозяин мой Ташшут, пишет тебе работник твой, преданный тебе и усердный в своем деле Тахура из великого города великого Кеми, что на священной реке Хапи. Пишет, моля богов ниспослать…» Это пропустим. Дальше: «Город Ахетатон красив и удобен для жителей. Это столица вселенной, достойная его правителя. Его величество Нефер-Хеперу-Ра Уен-Ра Эхнатон здоров – да ниспошлет ему великий Атон сто лет счастливой жизни!..» Это для порядка, Усерхет. На случай, если перехватят письмо. Сейчас перейду к главному. Вот здесь. (Купец молчаливо пробежал папирус.) Слушай, Усерхет: «Что касается цены на золото, то оно нельзя сказать, что очень дорого или очень дешево. Блестит не очень ярко. И это понятно почему: вокруг мало золота, все больше хрупких глиняных горшков. В одном ларце не умещаются. Или побьются горшки, или вывалится золото». – Купец спросил лавочника: – Будет ли это ясно для читающих в Хаттушаше?

– По-моему, да.

– В таком случае послушай и это место. Оно очень важное. «Золото всегда в цене, даже если оно и потемнело слегка от пыли или отгрязи. Но ведь неизвестно, сколько оно будет блистать. Учти, мой хозяин, ветры здесь дуют знойные и песчаные, особенно летом, и

---

[25] Хаттушаш – столица Хетсского государства.

надеяться на то, что слиток будет сверкать при любых обстоятельствах, – невозможно. То же самое следует сказать и о горшках. Я бы с удовольствием купил их для тебя, да больно уж дорогие. В Ниневии или Вавилоне они значительно дешевле. И в Митанни тоже. На всякий случай готовь деньги, побольше денег. Они, наверное, будут нужны в ярмарочный день…»

Купец уставился на Усерхета;

– Ну?

– Все очень верно.

– Уверен?

– Вполне. Уверен, потому что это так. Неиначе. Доверенные люди мне сказали: его величество – золото – среди хрупких горшков. Иметь дело с горшками плохо. Горшки бьются на суше или тонут в воде. Нафтита не просто жена. И Кийа не просто наложница сженской половины дворца. Это две силы. Противоборствующие. Значит, насчет воза – все правильно. От слова до слова. От начала и до конца.

– И я так думаю, Усерхет. Я тут тоже нюхал. Подобно неутомимой крысе. Мы с тобою одного мнения. Не так ли?

– Истинно, Тахура!

– Вот еще одно место в письме, которое я хотел бы прочесть тебе. Слушай, Усерхет: «Я предлагал свой товар многим немху. Но они отказались покупать. Не потому, что цена дорога. А потому, что нету у них золота. Один дебен – это состояние. Так живут немху. Они просили отдать товар с тем, что заплатят за него в будущем году. Но я не согласился». Что скажешь, Усерхет?

– Скажу, что и это правда. Потому что немху уже голодают. Обещанное фараоном не выполнено. Его величество уже повернулся к ним задом.

Купец был рад: хорошо, что у них одинаковые мнения. Это очень хорошо! Ибо его величество Суппилулиуме имеет здесь и глаза и уши. Много глаз и ушей! И он будет слагать все услышанное от Тахуры и слышанное от других, имен которых купец не знает и никогда не узнает…

– А теперь скажи мне, Усерхет: вот письмо досталось писцам фараона.

– Так что же?

– Что скажут писцы?

– Они прочтут твое письмо.

– Это верно.

– Они скажут: вот купец, преданный торговым делам. Что еще скажут?

– Не знаю.

– А больше и ничего, Тахура! – Усерхет приложил ладони ко лбу, точно голова пылала от жара. Помедлил и сказал. – Я бы добавил нечто…

И замолчал. Купец не стал торопить его. Налил себе прохладной воды и прополоскал горло. Еще раз налил и снова прополоскал.

– Холодная вода полезна, – сказал он.

Усерхет продолжал молчать.

– Могу приписать, Усерхет. На свитке есть место.

– Да, да, Тахура…

И опять замолчал.

«…Этот лавочник умен. В Хаттушаше умеют находить людей. Неглупых. Преданных за большие деньги. Лавка приносит меньше прибыли Усерхету, чем золото, текущее к нему из Хаттушаша. Его величество Суппилулиуме не скупится на золото, если оно идет на пользу ему. Усерхет, несомненно, весьма умный и полезный человек…»

– Тахура, – проговорил лавочник, словно только что пробудился от глубокого сна. – Хочу посоветовать нечто. Если будешь согласен, то сделаешь приписку. А если нет, то скажешь мне об этом.

Купец кивнул в знак согласия.

– Если, прочитав твое письмо, его величество в Хаттушаше спросит: «А что случится с

Кеми, если боги призовут к себе его фараона? Кто станет у кормила великого Кеми?» – что ответишь, Тахура?

Купец был поставлен в затруднительное положение…

«…Этот лавочник далеко смотрит. У него не глаза, а магические стекла, которые выплавляются в Джахи и способны показывать и увеличивать малозаметные вещи. Он прав, он трижды прав, этот лавочник!..»

– Усерхет, если предложишь ответ на этот вопрос, – я тотчас же припишу его.

Купец развернул свиток, достал с полочки чернильный прибор, заключенный в пенал из черного дерева. Лавочник сказал:

– Кийа объявлена соправительницей. Ты это знаешь, Тахура. Когда умирает правитель – случается многое. Часто – самое непредвиденное. Вместо подготовленного заранее правителя приходит другой. Царица Хатшепсут наследовала престол своего супруга. А как будет с Кийей?

Купец пожал плечами.

– Поэтому, Тахура, надо предусмотреть нечто. Что именно?.. Допустим, не Кийа. Так кто же? – Лавочник загнул большой палец на левой руке. – Первое: Семнех-ке-рэ может сесть на престол. Вполне может. Ну, а если не Семнех-ке-рэ? Кто же, если не он? Принц Тутанхатон? Возможно! Вот теперь и суди: Кийа, Семнех-ке-рэ, Тутанхатон… Я бы сказал так: эта женщина посильнее обоих мужчин. Я бы сказал больше: боги ошиблись, создав Кийю женщиной, а этих двух – мужчинами. Следовало бы – наоборот.

– Твоя мысль мне по душе, Усерхет.

И Тахура без дальних слов сделал в своем письме такую приписку:

«Купец, давший обещание купить все масло для умащения, сказал: „Если почему-либо я не куплю масло, то обяжу купить его своих помощников. Или жену, которая ведает моим хозяйством, или моих двух близких родственников. Они, правда, молоды, неопытны еще, однако надеюсь, что товар понравится и им“.

– Настоящий муж должен все предусмотреть, – сказал Тахура, довольный припиской. Потирая от удовольствия руки, он шумно прополоскал горло.

Лавочник молчал. Морщил лоб сверх меры: как всегда, Усерхет много и напряженно думал…

«Как в гробнице»

Его высочество Семнех-ке-рэ осторожно приоткрыл дверь. Комната казалась пустою. Было сумеречно в ней, неуютно. И он собирался было прикрыть дверь. Но его позвали. Это был ее голос.

Семнех-ке-рэ не сразу приметил Нефертити. Она сидела в углу. На высокой скамье. Ровная. Как на троне.

– Ты один? – спросила Нефертити.

– Один.

– А где Меритатон?

– У себя. Отдыхает. Как чувствуешь себя, твое величество?

– Я? – Нефертити скрестила руки на груди. Эдак энергично. – Откровенно?

– Если это не тяжело для твоего сердца.

– Как в гробнице, милый Семнех-ке-рэ.

– Как в гробнице? – повторил он. Он казался грустным, усталым, растерянным.

– Да.

Он не знал, что и сказать. Почему же как в гробнице? Живой человек никогда не должен закапывать себя прежде времени. Это только на радость врагам…

– Кому, Семнех-ке-рэ? Врагам?

– Да. Врагам.

– А где они?

Его высочество еще больше смутился. Теперь он в полумраке разглядел все: ее, высокий стул со спинкой, скамьи и погасшие светильники из алебастра. В маленькие, расположенные чуть ли не под потолком окна пробивался сине-фиолетовый вечерний свет. Точнее, это было небо сине-фиолетового цвета. А еще точнее – куски неба. По размеру окон, коих было три. Каждое окно – квадратное: три локтя на три.

Семнех-ке-рэ присел на скамью. Слева от ее величества. И он ответил на ее вопрос:

– Враги – это вчерашние друзья.

Она была бледная. Сосредоточенная. И бесконечно усталая. Будто долго-долго болела лихорадкой. Страшной и цепкой лихорадкой, которая выжимает из человека последние соки. Увы! – она осунулась, хотя и сохраняла прежнюю осанку. И даже состарилась. О, бог великий и милосердный, прекрасная Нефертити состарилась! Как не идет к ней это страшное слово! Состарилась за какой-нибудь месяц!

– Ты это хорошо сказал, Семнех-ке-рэ. Врагов надо искать среди близких друзей. Такова правда о власть предержащих. Разве может сделаться твоим кровным врагом какой-нибудь житель Та-Нетер или кто-нибудь из шарданов? Твои первые враги – твои помощники. Ежедневно принимающие пищу вместе с тобой и готовые на лесть сотни раз на день. Вот где надо врагов искать! Даже хетты ни причем! Разве они заперли меня в этих холодных покоях? Разве враги мои пришли из Митанни или Ретену? Или из Вавилона? Арамейцы – враги? Ливийцы или эфиопы?

Семнех-ке-рэ съежился. И шея его ушла куда-то в грудь. Великаном, правда, никогда не был. А тут он стал совсем небольшим. Маленьким. Малюсеньким.

– Как чувствуешь себя? – спросила Нефертити. – Я не видела тебя целых две недели.

– Плохо, – признался он.

– Почему плохо?

– А почему должно быть хорошо? Разве есть основания для радостей? Я не могу видеть *эту* женщину. А приходится!

Нефертити вздохнула:

– Я ей не завидую.

– У тебя душа тонкая и благородная.

– Нет.

– Что – нет?

– Не в душе дело. Я просто кое-чему научилась. Нагляделась. Кое-что уразумела. Наше счастье, что мы, люди, можем кое-чему поучиться. В отличие от холодных камней. И сказать по правде, мне даже жаль не себя. Даже совсем не жаль! Но дело великое, которому отдала бы жизнь, будет ли жить?

Она приподнялась на руках. Подалась вперед, готовая совершить прыжок. Подобно серне.

Семнех-ке-рэ не мог ответить односложно – «да» или «нет». Дело зависит от людей. Люди зависят от смерти. Их время строго отмерено. И человек во времени – как цыпленок в скорлупе: за грань не перешагнуть!

Она подняла правую руку. И решительно возразила:

– Я не говорю о маленьком, личном деле. Но о деле, которое в сердце многих. Которое ведет страну. Куда? По определенному избранному пути. Если этот путь зависит только от одного человека, от одной жизни, от количества дней его жизни, – значит, дело его маленькое, других мало касающееся. Скажи мне: права я или нет?

Семнех-ке-рэ и тут не мог ответить односложно – «да» или «нет». Это очень сложный вопрос. Можно сказать, запутанный. Мало, чтобы за тобою шли тысячи и тысячи с открытыми глазами и сердцами. Но и враги твои должны быть бессильными. Не потому, что их мало. Или оттого, что они подавлены. Или стерты в порошок. Или загнаны в пустыни. Или зарыты живьем в землю. Где-нибудь на границе с Эфиопией. Враги должны обессилеть. Сами по себе. Обессилеть оттого, что им нечего противопоставить тебе, твоим мыслям, твоим действиям, твоей мудрости.

На свете немало любителей бараньих битв. На этих битвах все происходит как по уговору: бараны разбегаются и честно сшибаются лбами. Кто победит? Тот, чей покрепче лоб! Да, только он и победит! Но люди – не бараны. И никогда баранами не будут, хотя, наверное, когда-то и походили на скотов. Мысль должна сшибиться с мыслью. Чья победит? Чья мысль восторжествует? Боевая колесница, какой бы тяжелой ни была, никогда не докажет правоты, если рядом с нею, точнее, впереди ее не летит мысль. Яркая, правдолюбивая, хватающая за сердце прекрасная Мысль.

Семнех-ке-рэ говорит горячо. Убежденно. Чуть даже сердито. Милейший Семнех-ке-рэ – и вдруг сердито! Она почему-то всегда относилась к нему по-матерински – снисходительно и нежно. Может, потому, что вырос на ее глазах? И уж, конечно же, совсем не представляла его на троне. Властолюбия у него, наверное, хватает. Как у многих из тех, которые окружают трон. Но достанет ли ума? Правда, никто из фараонов никогда не жаловался на недостаток ума. Но это ровным счетом ничего не значит. Эхнатону никто из близких его и в подметки не годится. У него – и воля и ум. Это царь по призванию. Царь по рождению. Царь по образу мышления и по рукам своим царь! Надо отдать ему справедливость. Было бы хорошо, если бы и здоровьем он был настоящий царь. Царь без здоровья все равно что бесплодная жена…

Человек, к несчастью, недолговечен. Он приходит – и не спрашивают на это его согласия. Он уходит. И тоже не спрашивают согласия. Даже не интересуются его мнением на этот счет: все ли успел сделать в жизни? Построил ли себе гробницу? Достаточно ли ее украсил? Эхнатон подчинен общему закону. Закон этот столь же бесчеловечен, сколь и человечен. С ним приходится считаться, что Эхнатон и делает. Но благоразумен ли он? Можно предположить, что на троне останется Кийа. Что это? Новейшая царица Хатшепсут? Она поведет Кеми? И куда поведет? Вокруг нее останутся Эйе, Хоремхеб, Маху, Туту… Останутся ли? Кто же будет править на самом деле? Если не Кийа, то Семнех-ке-рэ. Или мальчик, милый мальчик – Тутанхатон. Допустим. В том же окружении? Кто же будет подлинным правителем: Семнех-ке-рэ, Тутанхатон или это самое Окружение? Как пожелает повернуть судьбу Кеми и Великого Дома бог единый и милосердный, Атон, сияющий в небе?..

О Семнех-ке-рэ с юных лет говорили, что он симпатичен, вдумчив, внимателен к окружающим. Во дворце его любили почти все. Его высочество не был заносчивым, тщеславие его проявлялось достаточно умеренно. Мягкий характер Семнех-ке-рэ устроил бы всех: сторонники и ярые приверженцы бога Атона были уверены, что его высочество будет в их цепких руках, а приверженцы Амона надеялись с помощью Семнех-ке-рэ – буде он когда-либо станет фараоном – вновь восстановить величие Амона, его жрецов и смертельно обиженной знати.

Источником мягкости его характера Пенту, например, считал образованность. Семнех-ке-рэ был начитан. В десять лет он свободно писал и читал. В пятнадцать – прекрасно разбирался в старинных текстах, начертанных на заброшенных гробницах и разграбленных пирамидах. В двадцать лет женился на умной Меритатон, и с этого дня его прочили в фараоны. Эхнатон никогда не опровергал этого утверждения. Недавно чуть было не объявил своим соправителем. Но и после женитьбы на Кийе фараон всячески подчеркивал свою благосклонность к Семнех-ке-рэ.

Любые резкие перемены в Большом Доме всегда потрясают. Особенно – обитателей его. В редких случаях это чувствует народ. Говоря откровенно, Семнех-ке-рэ был убежден, что разрыв его величества с Нефертити будет подобен землетрясению или затмению солнца. Однако ничего похожего не произошло. Все оказалось значительно проще. До обидного просто! Словно бы ничего и не шелохнулось, словно бы прекрасная царица не оказалась в «гробнице». Впрочем, его высочество и до сих пор уверен, что в Кеми все спокойно лишь только потому, что народ не знает всей правды о любимой царице. И эту мысль он довольно пылко высказал Нефертити.

Царица поразилась его наивности. Какое дело народу до дворцовых переворотов и интриг? Кто знает, что происходит за этими высокими стенами, в Ахетатоне? Кто правит

сейчас? Кто будет править через час? Пленные шарданы[26] рассказывают, что где-то на Западе, на островах Великой Зелени, царей выбирают всенародно. Но это больше похоже на сказку. Кеми испокон веку держится на незыблемой власти фараонов. Народ здесь ни при чем. И не было еще силы, которая сокрушила бы Кеми…

– А гиксы? – спросил Семнех-ке-рэ.

– Что – гиксы?

– Разве мало они правили нашей страной?

– Нет, почему мало? Двести лет. Так пишут в старых книгах.

– А ты говоришь – незыблемо!

– Двести лет – не вечность! А власть фараона – преемственная и единая, достославная во веки веков!

Семнех-ке-рэ вернулся к россказням шарданов

– Они болтают многое, – заметил он небрежно.

– Все это сущая ерунда! Кто согласится сложить свою власть? Кто?! Царь?!

– Да, царь. Так говорят шарданы, Нафтита.

Ее величество сказала, что в Кеми происходит нечто странное. Молодые люди, говорят, верят некоторым россказням иноземцев. Не подозревая того, что пленные из самых злостных побуждений могут обманывать несмышленых.

– Да нет же! – возразил его высочество. – Мне доподлинно известно, что за Ливийской пустыней живут некие люди. Эти люди знамениты тем, что выбирают царя.

– Выбирают? – поразилась царица. – На какой же срок?

– Три по три года.

– На девять лет?

– Они говорят: три по три! Каждые три года они устраивают как бы проверку. Подобно тому как некогда праздновали у вас хебсед.

– Тогда, говорят, убивали царя.

– В праздник хебсед?

– Да.

– Увы, убивали! И выбирали себе нового.

– Какой ужас!

Царицу вдруг пробрал холод.

– Так было некогда у нас, – продолжал Семнех-ке-рэ. – Те, которые живут за Ливийской гауетыней, не убивают царей. Не выдержавших проверку – просто изгоняют.

– А потом?

– Выбирают другого.

– Они погибнут! – проговорила царица, насупив брови.

– Напротив, они процветают.

– Ты это видел сам, Семнех-ке-рэ?

– Нет, я слышал рассказы. Всего-навсего.

Нефертити покачала головой. Она вытянула перед собою руку и указательным жальцем дала понять: «Нет!» Так, как это делают немые на рынке Ахетатона.

– Семнех-ке-рэ, – еказала царица опечаленно, – я полагаю, что все это – не твое мнение.

– Что именно?

– Насчет выборных царей.

– Я же сказал: все это слышал от чужеземцев.

– Ты должен позабыть об этом!

– Я-то позабуду, глубокочтимая Нафтита, но сделают ли то же самое и другие?

---

[26] Шарданы – морские разбойники с Крита, Кипра и других средиземноморских островов.

– К твоим словам прислушиваются.

Семнех-ке-рэ улыбнулся. Мягкой, чуть болезненной улыбкой. Откуда эта болезненность у двадцатипятилетнего молодого человека? Ничем особенным, кажется, не болен. Так откуда же она?

Как жаль, что Нефертити не могла подарить его величеству ни одного мальчика. Шесть девочек! Всё девочки да девочки! А как он желал мальчика! Как надеялся каждый раз, когда узнавал о ее беременности. Всё девочки да девочки! Хорошие, славные, но девочки: Меритатон, покойная Мактатон, Нефернефру-Атон-Ташери, Анхесенспаатон, Нефернеферура, Сетепенра… Хорошие, милые, любимые, хрупкие… Девочки, девочки, девочки… На кого же полагаться из близких? На слабенького Семнех-ке-рэ и маленького Тутанхатона?..

Нефертити стоило большого усилия, чтобы не разреветься. Нет, ее слез не должны видеть! Даже знать об этом не должен Семнех-ке-рэ! Ни он, ни кто-либо другой! Не важно – близкий или далекий… Разве что дочери?.. Разве что они?..

– Я хочу одного, – проговорил Семнех-ке-рэ, – хочу, чтобы подольше жил его величество. Чтобы болезнь поскорее оставила его…

– Какая болезнь? – спросила Нефертити.

– Его болезнь…

– Он здоров… Он очень здоров, – резко сказала Нефертити. – Царь не щадит себя. Он весь в думах. И днем и ночью… Один радеет за всех. А у него всего-навсего одно сердце!

Семнех-ке-рэ немного поразился. Разве женщины – брошенные мужьями женщины – не становятся азиатскими тигрицами? Разве великая злоба не зарождается в их душе? Злоба против мужа, бросившего ее…

– Нафтита! Ты удивляешь меня, Нафтита!

– Чем же?

– Я не могу сказать…

– А ты – обязан.

Семнех-ке-рэ встал. Прошелся перед нею. Стал перед нею. В комнате – показалось – совсем не темно. Или его осветила сама Нефертити? Или небеса засветились ярче?.. Небеса, которые изливаются сюда через окна…

Он был совсем небольшой. Точнее, большой отрок. Телосложением. Ростом. «… О, Кеми многострадальный! Те, которые опора тебе, сами нуждаются в крепкой опоре…» Нефертити видела его – своего зятя – во весь рост С головы до ног. От тонких ног до хрупких плеч…

– Нафтита, – прошептал он.

– Слушаю…

– Ты – великая царица.

Ей стало смешно.

– Откуда ты это взял, Семнех-ке-рэ?

Но ему было не до смеха. Он сказал:

– Несмотря ни на что, ты любишь его величество!

Нефертити сказала твердо, решительно:

– Мы должны его любить, Семнех-ке-рэ. Потому что все мы – дети Кеми и бога единого и мудрого Атона!

– Воистину, Нафтита!

Он поклонился ей. Церемонным поклоном. Каким кланяются только истинной и великой царице.

Просьба Джехутимеса

В поздний час, когда лавка Усерхета обычно пустует, неожиданно заявился… Как бы вы думали – кто? Сам Джехутимес. Начальник ваятелей. Любимец его величества. Зашел

один. Без друзей. В этот очень поздний час.

Первейший закон лавочника: ничему не удивляться. Мало ли кому вздумается забрести к нему? В лавке – вкусная еда. Здесь – красивейшие девушки. Здесь каждого почитают. Здесь внимание, услужливость крайняя. Не важно, что сменилась в городе первая стража. Не важно, что звезды устало светят. Небесное вращение идет своим чередом. Земная жизнь – своим. Что же до Усерхета, – он может и вовсе не спать. Прикорнет на час – и отдохнул. Так он провел всю жизнь и достиг уважения. Некоторого богатства. Собственными трудами и стараниями. И голова у него – своя. Он всегда думает ею. Без посторонней помощи…

Лавочник встретил ваятеля радушно. То горбясь в поклоне, то выпрямляясь с улыбкой.

– Я работал целый день, – сказал Джехутимес. – Я работал, и глаза мои не видели ничего, кроме камня. Даже и не заметил, как ушли мои помощники.

– Разве они не простились с тобой?

– Возможно… Я ничего не слышал…

– Как это так? – Лавочник был изумлен. Как это человек может ничего не слышать и ничего не видеть, погруженный в работу? Разве так работают?

– Всякое бывает, Усерхет. Вот иду и думаю: зайду-ка в лавку, – может, найдется кусочек гуся у доброго хозяина?

Лавочник усадил Джехутимеса. В лавке было совсем пусто, если не считать некоего мужчину, доедавшего ужин. То был рослый, средних лет человек. На вид – крепыш. На вид – самый обвгкновенный крестьянин, который месит грязь на поле своем. Под палящими лучами. Обвязав голову льняным платком. И месит, и месит, и месит грязь…

Откуда этот усталый с дороги и не успевший помыться крестьянин?.. Джехутимес, признаться, рассчитывал, что нынче, в это позднее время, сумеет поговорить с Усерхетом с глазу на глаз.

Лавочник сообразил, в чем дело. Его профессия – явная и тайная – научила его читать в душах, догадываться о большом по незначительным признакам, увидеть то, что неведомо другим. И он поспешил с разъяснениями:

– Досточтимый Джехутимес, этот человек, поедающий мясо с превеликим удовольствием, – мой родственник. Он живет в хесепе Эмсух. У него там небольшой надел, земли. Зовут его Ипи.

– Ипи?

– Да, так же, как начальника царских покоев. Однако этот Ипи живет много хуже того Ипи.

– Наверное, Усерхет, наверное, – согласился ваятель.

– Да что я говорю?! Этот Ипи ест глину и песок. А того Ипи, царского, грязь не касается, даже золоченой обуви.

– Возможно, Усерхет, возможно.

– Да что я говорю, Джехутимес?! Этот Ипи спит на соломе, и блохи пьют из него кровь и зимой и ла том. А тот, царский Ипи не знает, что такое блоха – ездят ли на ней верхом или же охотятся за нею в камышах!

– Пожалуй, это так. Пожалуй.

– Да что я говорю, Джехутимес?! Этот Ипи привык слушать музыку своего живота. А тот Ипи услаждает слух свой только арфой, только флейтой, только пением голосистых певцов и певиц!

– Все может быть, Усерхет.

Лавочник не на шутку распалился. Он сжал кулаки. Жилы на шее его вздулись. Пот выступил от напряжения у него на лбу.

– Да что я говорю, Джехутимес?! Не только это! Ипи и вся его семья ест грязь и молотый камень, который стачивает зубы. А тот Ипи угощает свою семью дикой уткой, куропаткой и мясом домашней птицы.

Джехутимес молчал.

– Да что я говорю?! Смотри, сколько детей у этого Ипи! – И лавочник начал счет: – Уа,

сон, хемет, афт, туа, сас, сехеф…

– Сесенну, – подсказал крестьянин.

– Да! Сесенну!.. Восемь, восемь, восемь! Восемь ртов. Восемь желудков. И все хотят есть. Хотят хлеба. И мяса. И жира. – Усерхет обратился к крестьянину: – Ипи, поклонись этому великому господину, который ежедневно видит царя, как ты меня сейчас.

Ипи встал, сделал шаг вперед и чуть было не расшиб в поклоне лоб.

– Великий господин, – сказал он, – все, что говорил Усерхет, – истинная правда. Пять десятилетий я живу на свете. Конечно, это удивительно, что я живу. О чем это говорит? О том, что живу. А еще? О том, что человек – существо препротивное, Он может жить. Он создан только для этого. Набей желудок любым дерьмом – и ты будешь существовать. Мы собираем целый день травы. Всей семьей. Мы собираем крапиву. Мы собираем траву миу и траву уму. Мы собираем даже уад-уад, от которой дохнут мухи.

– Что это за травы? – спросил ваятель. – Я не слыхал о них ни плохого, ни хорошего.

Крестьянин пояснил:

– Это так называем мы, неграмотные люди. Они растут на болотах. Наш просвещенный хаке-хесеп смеется, когда слышит эти слова. Он прибыл к нам из Мен-Нофера. Этот город славится своей ученостью испокон веку. И наших трав не разбирает… Но я совсем не о том, господин великий. Если бы твоя милость снизошла на нас и ты бы выхлопотал для меня пол-аруры земли. Рядом с моим полем есть такой свободный участок. И мы с семьей кое-как прожили бы свой век. Не умерли бы с голоду.

Лавочник сказал:

– Теперь ты слышал все сам, Джехутимес.

Ваятель присел на скамью. Он и в самом деле был очень утомлен. А тут еще этот крестьянин, расстроивший вконец своим рассказом. О, бог милосердный, какая нищета в этом великом государстве, где чудесные города подымаются в мгновение ока на голом месте!

– Как называется твоя деревня, Ипи?

– Моя? Там, где я живу с семьей?

– Да. Твоя.

– Она называется, господин великий, просто: Лягушечий Помет.

– Как?

– Господин великий, Лягушечий Помет!

Ваятель недоверчиво взглянул на лавочника. Но тот кивнул:

– Да, Джехутимес, так и называется эта деревня, потому что достойна только этого имени. А как еще называть деревню, где жители ее, подобно кротам, живут в земле и гложут землю? Сухую и твердую.

– А ты видел, Ипи, лягушечий помет?

– Нет, господин великий.

– Он что – зеленоватый?

– Не могу знать.

– А может, коричневый? Наподобие земли.

– Не знаю. Чего не знаю, того не знаю! Но какое это имеет значение, господин великий?

– Ровно никакого! Мне никогда не приходил в голову лягушечий помет.

Крестьянин уселся на свое место, обсосал свои пальцы, испачканные жиром.

– Ипи, – сказал Джехутимес, – я могу изваять тебя. В камне или гипсе. Могу подарить тебе глыбу базальта. Но я не могу передать тебе ни клочка земли.

– А попросить? – с надеждой спросил крестьянин.

– Кого попросить?

– Все равно кого: его величество – жизнь, здоровье, сила! Носителя опахала справа от царя, начальника всех земель. Да мало ли кого? Милости – для меня. Только и всего.

– Ипи, вся ли твоя деревня голодает?

– Почти вся, господин великий!

– Им земля не нужна, твоим соседям?

– Наверное, нужна.

– Допустим, ты получишь, а – они?

Крестьянин задумался. Вернее, не мог уразуметь, при чем – он и при чем – они? Но вдруг смекнул:

– Господин великий, дни моей жизни исчисляются днями, а их – месяцами. Вот и заключи отсюда: кто в самом бедственном положении в деревне Лягушечий Помет?

– Ты! – крикнул лавочник. – Ты! Я знаю все. Я знаю все!

– Наверное, так, – пробормотал удрученный ваятель. – Наверное, так…

Крестьянин бросился на колени перед Джехутимесом. Ваятель попытался поставить его на ноги, но тщетно. Этот костлявый крестьянин оказался очень тяжелым. К тому же сопротивлялся этому.

– Господин великий, – продолжал Ипи, чуть не плача, – скажи мне, ответь мне на мой один вопрос: почему мы, пашущие, возделывающие злаки, вскармливающие скот и посылающие наших детей умирать в далеких походах, должны дохнуть с голоду? Почему нет у нас земли, когда мы без нее не можем? Это все равно что жреца оставить без жертвенника, сапожника – без молотка, рыболова – без сетей.

– У вас должна быть земля, – сказал ваятель. – Это я могу обойтись без земли.

– Это правда! Это правда! – воскликнул крестьянин. – Наш фараон – жизнь, здоровье, сила! – говорил то же самое. Правда, давно говорил. Но мы не видим земли! Где она?

– Я завтра же навещу его светлость Туту, – пообещал Джехутимес. – Я скажу ему: вот крестьянин Ини, у него нет земли…

– Есть, но очень мало, – поправил его дотошный Ипи.

– Есть, но очень мало…

– Если стою на ней, то уж курице негде ступить.

– Я все это расскажу его светлости Туту. А потом я зайду сюда и передам его слова Усерхету.

Крестьянин достал, из дорожной сумки кусок грязного папируса. Протянул его ваятелю:

– Вот здесь все сказано. Это писал наш деревенский писец.

– Хорошо, Ипи, я оставлю твою жалобу у себя.

Крестьянин бросился целовать ваятелю ноги. Смущенный Джехутимес с мольбою смотрел на лавочника, давая понять, что ему неловко, очень тяжело.

– Почему же? – возразил лавочник. – Пускай Ипи изольет душу. Его не убудет, если поцелует ноги такому великому человеку.

Наконец Ипи встал, попятился к столику. Ваятель попросил вина: для себя и для Ипи. Выпив чарку, Джехутимес сказал лавочнику:

– Усерхет, мне надо поговорить с тобой.

– Я весь внимание…

– Где же мы поговорим?

– Здесь же!

Пока они обменялись этими словами, крестьянин исчез. Ваятель так и не понял: сам ли Ипи догадался или ему подал знак лавочник.

– Усерхет, сядь вот здесь, напротив меня. Так удобнее… Я пришел к тебе неспроста.

– Я слушаю, Джехутимес, внимательней, чем слушает ягненок зов своей матки. Я слушаю тебя так, как слушает прилежный сын наставления отца.

– Спасибо, Усерхет. Я пришел, чтобы сказать нечто и попросить тебя, чтобы сердце свое обратил к этому делу и сделал добро. Добро для человека, которого люблю. Ибо он мне как бы младший брат.

– О Джехутимес! – воскликнул лавочник. – Мне приятно слышать эти слова. И тебе достаточно выразить желание, чтобы оно было исполнено твоим слугою. Ибо нет для меня

большей радости, чем служить тебе, великому господину.

Джехутимес уподобился камышу, который прислушивается к плесканию разливающейся Хапи. «… Лавочник чрезмерно предупредителен, лавочник обещает, не зная, о чем буду просить. Это значит, что разговор будет слишком долгим.»

– Усерхет, – торжественно начал ваятель, – у меня работает молодой друг. По имени Тихотеп. Ты его знаешь. Он тебя знает. Ты его уважаешь. И он тебя уважает.

– Истинно! Истинно! – горячо отозвался лавочник. – Я и в самом деле уважаю его, потому что он достоин этого. А гневаться ему на меня не из-за чего… Он аккуратно погашает долги. Мне не приходится бегать к судье. Мне не приходится писать жалобы. Тихотеп исправен. И он – в сердце моем.

«…Ладно, уважаемый Усерхет, художник кухни, мастер половника и вертела! Посмотрим, как заговоришь ты после… После моего предложения…»

«…Ну-с, уважаемый ваятель, не думай, что имеешь дело с глыбой дикого камня. Мы тоже кое-что понимаем, хоть и не ваятели и не тремся возле его величества. Выкладывай, выкладывай свои мысли, говори, чего тебе надобно. И мы с тобой хорошенечко поторгуемся. Ведь не приходят же такие великие люди с простым делом!..»

– У тебя в лавке служит девушка. По имени Сорру.

– Верно, Джехутимес, верно! Эта девушка из тех, у которых работа горит под руками. Она с детства привычна к работе. Но не только. Она обходительная девушка. Все, кто бывает у меня, твердят в один голос: вот истинно прекрасная девушка! Я за нее заплатил кучу золота. Арамейские купцы – большие скряги. У них песка не выпросишь в пустыне.

«…Ну а ты! Ну а ты, господин лавочник, достойный сын Кеми, двоюродный брат Хапи, плоть от плоти торгашей и скупердяев?! Мы посмотрим сейчас, сколь широка душа твоя и насколько щедро сердце твое…»

– Так вот, Усерхет: мой друг и брат младший – так я называю Тихотепа – полюбил Сорру. И Сорру полюбила Тихотепа, тебе хорошо знакомого.

Лавочник сделал вид, что крайне удивлен этим сообщением. Как, этот Тихотеп любит эту Сорру, а эта Сорру?! Когда это они успели влюбиться? Они объяснялись? Они переписывались? Они сносились через какое-нибудь третье лицо?..

«…Ах ты, старый плут Усерхет! Тебе все до конца разжевывать? Тебе, первому своднику в столице? Тебе, который содержит лавку ради веселых и продажных девиц?..»

– Уважаемый Усерхет… – Ваятель выдержал довольно большую паузу. Потом снова повторил это обращение и снова немножко помолчал. (С этими лавочниками иначе невозможно.) – Они не только знакомы. Они любят друг друга. Они не только любят на расстоянии, но не раз и не два виделись друг с другом. И не только виделись, но и возлежали на ложе любви…

– Как?! – возмутился Усерхет. – И все это за моей спиной?!

– Почему – за спиной? На твоих глазах, Усерхет. И к тому же за те самые деньги, которые ты получил.

– Я?!

– Да, ты.

– Деньги – за Сорру?

– Именно! За Сорру.

– Возможно ли, Джехутимес?

– Не огорчайся, Усерхет. Тем более что слава о твоих девицах – прекрасна.

– Это верно, девушки у меня отменные.

– Твой вкус приводит всех в восхищение.

– И это верно!

– Они любят друг друга, Усерхет. Тихотеп предлагает серебро и золото. И я надеюсь, что договоримся с тобой.

Усерхет принялся длинно и нудно перечислять все достоинства Сорру: кулинарные, хозяйственные, рыночные и прочие женские…

– Вот насчет женских – ты не распространяйся, – перебил его ваятель, – они хорошо известны.

– Пожалуй, – согласился Усерхет.

– Думаю, что их оценил не один Тихотеп. – Джехутимес улыбнулся.

– Пожалуй.

– Если только сам ты случайно не прошел мимо…

Лавочник ухмыльнулся.

– Прошел или не прошел?

– Джехутимес, для этого я уже стар.

– А все-таки?

– У меня своя недурная женская половина. Там одни красавицы, если не считать моей жены.

– Она стара?

– К тому же и корява. Суха, как пальмовый ствол, сваленный бурей. Но с нею в мире и дружбе живут остальные красавицы, которых я не пускаю в эту лавку. Они – только для меня.

«…Старая обезьяна! Для тебя бы я припас краснозадую из зверинца его величества. Что ты смыслишь в женщинах? Ты получше жарь своих гусей и мясо на вертеле. Вот твое истинное призвание…»

– Сорру – наша любимица. Я бы не задумываясь продал бы любую другую рабыню. Но Сорру?.. Я даже не знаю, что тебе и ответить.

– Почему не знаешь? Назови плату. Я назову – свою. И мы на славу поторгуемся.

– Сейчас? – спросил лавочник.

– Не сходя с места. Прямо вот здесь.

– В таком случае я принесу вина. Нельзя торговаться без вина. Дело не выгорит.

– Тащи вино!

В лавке стоял полумрак. Горели всего два светильника, нещадно чадя копотью. Пахло жареной рыбой. Глинобитный пол был мягок, как ковер. От него веяло теплом. Рядом, за стеной, кто-то храпел. Не очень громко. Не на весь дом. А так – довольно терпимо. С мягким присвистом.

Лавочник разлил вино. Предварительно показав печать на глиняной пробке, Джехутимес прочел: «Лучшее вино из вин Ахетатона».

«…Усерхет решил торговаться не на шутку. Подать такое вино – это кое-что да значит! Боже милосердный, хватило бы времени до утра! Судя по кувшину, разговор предстоит долгий…»

Усерхет подал фруктов, засахаренных фиников. И холодный кусок мяса. Такой большой кусок. Рассчитанный скорее на льва, чем на человека.

– Достаточно было бы одного мяса с вином, – сказал ваятель, ища глазами нож.

– Всему свое время, – изрек лавочник.

– Тоже верно. А кто это храпит, Усерхет?

– Где?

– За стеной.

Лавочник прислушался. Махнул небрежно рукой:

– Один купец. Не то из Вавилона, не то из Ниневии. Кажется, из Вавилона. Эти вавилонские что воробьи: их везде полно. Снуют себе по миру. Ездят, плавают, торгуют, обманывают.

– Как все, Усерхет! Как все! – проговорил ваятель и напомнил хозяину, что на столе отсутствует весьма важный предмет: нож.

Аудиенция

По зову фараона в Большой приемный зал явились Пенту и Эйе. Они решили

совершенно определенно: его величество в благодушном настроении. Вроде бы так оно и было поначалу: стариков фараон встретил учтиво, предложил им скамьи. Спросил: не предпочитают ли циновки? С ними вроде бы уютней, меньше официальной сухости. Ибо эти колонны ужасны – они подавляют человека. Когда-нибудь придется заняться ими и придумать что-то более приемлемое. Об этом надо поразмышлять, не откладывая в долгий ящик. Так или иначе многие храмы и здания в Ахетатоне следует заменить более капитальными, каменными постройками. Не ровен час: пойдет ливень – счастье, что его не было! – и от столицы останется одно воспоминание…

«…Его величество, как видно, решил перестроить город. Для этого он и вызвал нас. Судя по выражению лица Эйе, он ничего об этом не знает. Он тоже удивлен, хотя изо всех сил пытается не выдавать этого…»

…Его величество полагает, что, не трогая того, что возведено, можно недалеко, тут же, рядом, построить новые каменные здания. Говоря откровенно, с этой целью – точнее, для предварительных предположений – он поручил Тефнахту, начальнику строительства памятников царю, подыскать подходящий каменный карьер. Он не должен находиться на большом расстоянии. Ни к чему возить камень издалека…

«…Несомненно одно: фараон затевает новое строительство. Его уже не устраивает этот город. Ему нужен более долговечный, более просторный, более величественный. Ему нужен совет, и он получит его. Я вижу, Пенту несколько смущен этой неожиданностью. Но что поделаешь? Фараона надо знать…»

Эхнатон так и не получил ответа: циновки или скамьи? Тогда он предложил то, что было, – скамьи. Такие удобные, пахнущие смолою, тяжелые скамьи.

Когда они уселись, его величество сказал:

– Ну, о городе – это между прочим. Мы еще поговорим об этом. Я хотел поделиться с вами другими мыслями. Мне нужен ваш совет.

Еще больше удивились и Пенту и Эйе. Какой совет? О чем? Если не город, то что же?

– Не очень давно… – сказал его величество, – а сказать точнее, совсем недавно я беседовал с одним невзрачным писцом Ты, Эйе, и ты, Пенту, наверно, не знаете его. Хотя допускаю, что видели в глаза. И – может быть – диктовали ему. Звать его Бакурро…

– Как?

– Бакурро.

– Такой маленький, плюгавенький? – спросил Эйе.

– Да, да.

– Тщедушный такой? Который тени своей боится? – поинтересовался Пенту.

– Он самый… Я проговорил с ним почти полночи…

– Полночи?! – удивился Пенту.

– Да.

– И это при том, твое величество, что я запретил тебе ночные бдения?

– Ага. При этом.

– Неразумно, твое величество.

– Согласен. Но бывают мгновения, когда ты до смерти нуждаешься в собеседнике…

– Мы же к твоим услугам, твое величество. В любое время. И дня и ночи…

– Спасибо, Пенту. Но мне требовался именно Бакурро. Он мне сказал нечто. И об этом думаю все время.

Фараон обошел вокруг семеров. Он сделал несколько кругов прежде чем остановился, чтобы продолжить свою речь. Он сказал:

– Этот писец Бакурро – человек мыслящий. Мне казалось по первому впечатлению, что он пишет только чужие мысли. Только по взгляду его замечал, что это не совсем так. Я вызвал его на разговор. На откровенный. Я полагаю так: человек, который тебя интересует, должен говорить откровенно или ничего не говорить. Не так ли?

Пенту сказал: «Так». А Эйе неопределенно пожал плечами.

– Поэтому между нами состоялся откровенный разговор. Он высказал свои мысли.

Открыто. По-моему, не страшась ничего и никого… Чем всегда опасны маленькие люди? Чем опасны? – повторил фараон.

– Твое величество, – сказал Эйе, – мы слушаем тебя со вниманием.

– Я скажу чем: ему терять нечего! Если ты, Пенту, или ты, Эйе, подумаете о своих угодьях, прежде чем скажете «да» или «нет», – этому Бакурро терять нечего. Писец нужен везде, в отличие от семера.

Фараон не без злорадства взглянул на своих семеров. Впрочем, они ничуть не испугались слов его величества. Цену себе они знали…

– Что же говорил этот Бакурро?

– Это любопытно, – сказал Эйе.

– Очень, – поддержал его Пенту. – Смерть как хочется услышать, что сказал этот Бакурро-писец.

– А вы не смейтесь раньше времени над Бакурро. – В голосе фараона зазвучали недобрые нотки. – Бакурро полагает, что чем сильнее наша власть, тем скорее рухнет Кеми.

– Что рухнет?

– Кеми.

– От сильной власти?

– Выходит, так… Хочу послушать вас: что скажете? Уж слишком убежденно он говорил, чтобы плюнуть на его слова и позабыть. И слишком мрачно, чтобы согласиться с ним. Чтобы найти в себе мужество и сказать ему: «Ты прав».

Фараон вдруг заволновался. У него порозовели щеки. Крепко сжались челюсти, и проступили желваки под скулами. Глаза превратились в щелочки. Подбородок – такой немного лошадиный подбородок – угрожающе выступил вперед.

– Этот Бакурро рассказал нечто вроде древней притчи. Где-то в Митанни – а может быть, еще дальше – делают деревянные бочки. Под вино или пиво. Эти бочки скрепляют обручами. Бакурро говорил о слишком тесных объятиях этих самых обручей. Эти объятия, насколько я уразумел, и погубят наше государство. Вот какова его мысль! А теперь я буду молчать. А вы будете говорить.

Он сел на скамью без спинки. Сел ровно. В ожидании, что скажут семеры.

«…Его величество встревожен. Не буду я Эйе, если это не так! Глупое предсказание некоего Бакурро не может произвести столь сильного впечатления. Здесь что-то не так. Подожду-ка этого Пенту…»

«…Эйе молчит. Между тем ему следовало бы раскрыть рот. Он ближе к его величеству. К тому же у него нюх, как у лиса пустыни: дохлятину чует за много-много сехенов. Есть мудрое правило: не торопись! Не буду забегать вперед. Не ребенок я…»

– Я слушаю вас, – сказал его величество.

«…Кто же из них начнет первый? Эйе? Но ведь у Эйе правило – выждать! Выждать, подумать. Подумав, промолчать. Если это возможно. Если нет, сказать нечто, что ни к чему не обязывает… Пенту? Пожалуй, он. Этот многоопытный и честный старик слишком научен жизнью. То есть настолько научен, что пытается разглядеть нечто на том месте, где давно ничего нету… Итак, эти мои любимые семеры будут выжидать, что скажет другой, по возможности упрятав свое мнение в ворохе витиеватых фраз… Вот глубоко вздохнул Пенту. Набрал воздуха в легкие. Наверное, что-то скажет… Вот-вот скажет…»

Пауза была слишком длительной. Становилось неприлично. Его величество мог подумать о своих семерах бог знает что! Делать нечего – надо говорить… И Пенту начал:

– Твое величество, насколько я понимаю, некий Бакурро-писец…

– Вовсе не «некий», Пенту! Он сидит в моем зале и прилежно записывает.

– Стало быть, писец Бакурро высказал мысль, которая встревожила твое величество. Мысль его не нова. Я это утверждаю. Я читал документы одного судебного следствия, происходившего при его величестве Гор Нахтнеб-Тейнефер-Иниотефе Втором. Это почти восемьсот лет тому назад. Я все сосчитал. Я считал вместе со звездочетом Усером Младшим.

– Что же случилось в столь незапамятное время, Пенту? – Фараон обменялся коротким

взглядом с Эйе. Царедворец лукаво подмигнул. Как это расценить? Да как угодно!

– А я скажу, что случилось! В то время тоже жил некий двойник Бакурро. Того звали несколько иначе: Ани. Кузнец по ремеслу. Сын кузнеца. И внук кузнеца. Мастер он, как видно, был отменный. Да только в голове было что-то не так. Как у всех отменных мастеров. И вот…

Тут фараон остановил семера.

– Не торопись, – сказал он. – Повтори-ка.

– Что повторить?

– Как, это значит: в головах отменных мастеров?..

– А что же? Я верно сказал. Если мастер отменный – у него своя голова. Сам думает. Сам все видит.

– Своя голова у каждого, Пенту?

Семер замотал головой. Как мул на водопое.

– Нет, твое величество. Смею заверить: не всегда! А у отменных мастеров – всегда своя голова. Возьми, к примеру, Джехутимеса…

– Своя голова! – с удовольствием произнес фараон.

– Бек…

– Своя голова!

– Юти…

– Своя!

– Вот видишь, твое величество! Мои слова подтверждаются.

– Что же они делают со своей головой?

Эйе хмыкнул: в самом деле – что делают?

– Они высказывают при помощи своей – а не чужой – головы, свои, а не чужие мысли. Только и всего!

Фараон обеими ладонями изобразил подобие качки на море:

– Своя голова. Свои мысли. Своя голова. Свои мысли…

– Бакурро смутил тебя. А тот, Ани-кузнец, смутил его величество Гор Нахтнеб-Тейнефер-Иниотефа Второго. В чем разница? Во времени, твое величество!.. Ани говорил: надо восстановить праздник хебсед в том виде, в каком он существовал некогда. А что это значит? Убивать фараонов! Вот что значит! Потому что, говорил Ани-кузнец, нельзя терпеть правления одного человека. Нельзя терпеть, чтобы слово одного человека было как камень и руки у всех, и языки у всех были связаны тем словом. Вот о чем думал Ани!

– Зачем это ему нужно было, Пенту?

– И об этом тоже сказано в тех старинных папирусах Ани хотел одного, свободы.

– Чего? Чего? – сказал фараон, морщась.

– Свободы.

– Зачем она ему?

– Не знаю.

– Разве он был раб?

– Нет он был немху. Но дай им волю, – Пенту указал пальцем на стену, – дай им волю, и тогда не того еще потребуют… На чем держится государство? На твердом, словно камень, слове его величества, их величеств, всех правителей Кеми ныне, присно и во веки веков! Да, да, да!

Пенту закончил свое слово, трижды хлопнув ладошами.

– Но что ты думаешь о Бакурро?

– Что думаю?! – Семер всплеснул руками: разве он выражается неясно? – Что думаю?! Бакурро недалеко ушел от Ани. Они словно бы сговорились Они изъясняются одними словами Этот Бакурро придумал притчу о каком-то сосуде из Митанни. В этом все отличие его от Ани. Да разве в этом суть? Бакурро произносил слово «свобода»?

– Не помню. Может быть.

– Не произносил, так произнесет! Ведь осмелился же изложить твоему величеству

нечто, что, по моему глубокому убеждению, идет во вред Кеми.

Фараон опустил голову и вскинул ее, выпрямляя спину.

– А теперь – ты, Эйе.

Эйе кивнул. Почесал кончик носа. Почесал затылок. Почесал лоб. Точнее, слегка потер его двумя пальцами, точно хотел разгладить морщины.

– Что еще сказал этот Бакурро?

– Разное. Но меня заинтересовала притча о митаннийской бочке, – сказал фараон.

– Потому, что это самое важное?

– Да, важное.

– Потому, что именно в этом увидел твое величество нечто?

– Да.

Эйе продолжал, как бы рассуждая сам с собою:

– Царский писец, лицезреющий великого владыку, слышащий его слово и записывающий его слово на папирусе, вдруг обращает твое внимание на некую сказку. Или притчу. Это не меняет дела. Неизвестно: придумана притча где-то далеко или сочинил ее сам писец? Ибо, как известно, писцы всех времен были мастаками на этот счет. Ум их постоянно бдит. Глаза как бы шарят в поисках чего-то. Им даже не спится по ночам. Писцы всех времен были источниками неких мыслей, которые шли не на пользу.

– Ты имеешь в виду всех писцов?

Эйе не торопился с ответом. Как это понимать: всех писцов? Поголовно всех? Каждого, кто выучился грамоте?..

– Твое величество, грамота во все времена была источником… Как бы это сказать?.. Грамотные всегда о себе много воображают. Это надо иметь в виду. Если этого они не говорят прямо, то это вовсе не значит, что они думают о себе иначе. Я хочу сказать следующее: ухо всегда надо держать востро по отношению к скрибам. Скриб с чернильным прибором и папирусом в руках – опасный человек. Он может покорно записывать все твои слова. Но при этом он может в душе, втихомолку поиздеваться над тобой, если почему-либо твои слова не по нраву ему.

– Вот как! – воскликнул фараен, будто только что ему открыли глаза на дерзновенное поведение скрибов. Будто сам не знал этого.

– Твое величество, можешь поверить мне: писцы – народ не совсем надежный. Я хочу сказать: следует почаще заглядывать в их душу. Очень и очень глубоко. Для чего? Для того, чтобы распознать нечто, что может быть обращено во вред самодержавным владыкам. Есть один путь, чтобы вернее держать их в руках.

– Какой же это путь? – нетерпеливо спросил фараон. Пенту кивнул: дескать, это очень важно знать.

Эйе загнул большой палец левой руки;

– Один путь: душить…

– Как? Как?

– Душить, – невозмутимо повторил Эйе.

– Кого душить? – Фараон аж приподнялся со скамьи. Это для него было неожиданно.

Эйе улыбнулся:

– Ну, не в прямом смысле. Но – почти. Чтобы не оставалось у них времени на разные там дурацкие размышления…

– … Дурацкие размышления, – произнес фараон. Повторил, как эхо.

– Дело, дело и еще раз дело – вот удел скриба! Слова влетают ему в ухо, и он их записывает на папирусе. Надо, чтобы гнул он спину. Над письмом. И не разгибал спины. Над письмом. Был послушателем великих слов. Вот участь, справедливая участь скриба!.. Такую участь готовили им дальновидные самодержцы, наиболее рукастые правители. И трон бывал непоколебим!

– Есть и другой путь, – сказал Пенту.

– Какой же?

– Тоже очень ясный путь, – ответил Пенту. – Но в нем имеется большой изъян.

– Любопытно…

– Человек – существо думающее. А скриб – тем более! Тут нужна мера.

Эйе заметил, что мера необходима во всем. Даже животворный разлив Хапи не должен переходить предначертанных богом границ.

– А как установить пределы? – спросил Пенту.

– Какие пределы?

– Мышления.

– Их устанавливает его величество, – торжественно провозгласил Эйе.

– Каким образом?

– Своим волеизъявлением. Своим приказом.

Пенту не удовлетворил этот ответ. Он сказал:

– Когда цыпленок зародился в яйце – его нетрудно заметить: достаточно просмотреть на свет. Или чуточку потрясти возле уха. Или разбить яйцо… Но как быть с мыслями?

– С какими?

– Которые в голове скрибов.

Фараон с интересом следил за спором семеров. «… И этот и тот, несомненно, люди умные. Больше того, хитрые! Особенно Эйе. Многомудрые и многоопытные они. Говорят дело. Хотя вроде бы и расходятся во мнениях, но в конце концов сойдутся на главном. Не могут не сойтись! Ибо они живут на одной ладье, плывущей в мировом океане, и деваться им некуда…»

Пенту пояснил.

– Узнать, что творится в голове скриба, так же трудно, как угадать намерения сытого льва. Голову скриба не просветишь, подобно куриному яйцу. Не разобьешь ему голову, чтобы выяснить, какие там копошатся мысли. Чем больше станешь запугивать его, тем глубже уйдет в свою нору. Подобно мыши. Ругая тебя в душе, станет скалить зубы в неискренней улыбке. Глядя на тебя нарочито грустными глазами, будет издеваться над тобой под сурдинку. Разве не так?

Эйе ответил:

– И так, и не так.

– А как же?

– Пенту, ты хотел сказать о другом пути. Каков же он?

– Очень прост, Эйе! Корми скриба получше, пои вином самым отборным, плати побольше золота, создай ему жизнь лучистую, как звезда Сотис…

– И тогда?..

– И тогда – он твой раб. Душой и телом. Он будет верно служить тебе. И никакая митаннийская бочка не придет ему в голову. Ты вправе спросить: откуда ты это взял. Скажу: премудрость сию открыл не я. Она была известна – притом очень хорошо – и во времена Пиопи.

– Я не понимаю, – вмешался фараон. – Я не понимаю: разве жизнь не меняется? Разве Пиопи тоже ломал себе голову над угадыванием мыслей каких-то писцов?

– Да, твое величество, – ответил Пенту. – Даже такой великий и старый фараон, как Пиопи Второй, не мог точно решить, какой путь лучше: первый или второй?

– А нет ли третьего пути? – Фараон показал три пальца, словно Пенту был глух. – Нет ли третьего?

– Третьего? – Царедворец обхватил голову руками так, как если бы она трещала от боли, раскалывалась на части. – А зачем третий, твое величество? Разве что совместишь эти два пути! Правда, можно и так: дать отменного пирожного, а затем закатить здоровенную затрещину. Это, говорят, тоже помогает.

Фараон кивнул. Этот кивок поощрил мудрого царедворца к дальнейшей импровизации. Пенту картинно развел руками:

– О бог, великий и милосердный! Что может быть более поучительным, чем затрещина

после пирожного? Как бы плохо ни было оно выпечено – все-таки покажется искуснейшим произведением кулинара! А почему? Потому, что затрещина – хуже. Рассказывают, что однажды нечто подобное применил его величество Дедкара-Асеса. В незапамятные времена. Об этом я читал на скале за третьим порогом. Так он учил уму-разуму своего писца. И он благополучно царствовал двадцать восемь лет.

Эйе молча улыбался. Так, чтобы не выдать улыбку. Эдак таинственно. Многозначительно.

– Ты хочешь что-то сказать? – спросил его фараон.

– Я?

– Да, ты!

– Нет, ничего… Ничего особенного…

– А все-таки? Поведай нам…

– Право, ничего…

Его величество ударил ладонями себя по коленям, давая понять, что достаточно наслушался всякой всячины и что теперь будет говорить сам. Он прошелся несколько раз взад и вперед. Тут же. Недалеко: пять шагов вперед и пять – назад. А потом внезапно стал у колонны и прислонил к ней голову.

– Я внимательно слушал вас. Скажу правду. Хотя знаю, что не всем она нравится. Отец мой всевышний свидетель тому, что я не раз проигрывал от своей прямоты. И тем не менее…

Фараон смотрел наверх. Словно бы испрашивая совета у бога, который в голубых сферах. На челе его и в глазах его обозначилась сыновняя покорность и послушание В самом деле: он прислушивался. И только ему ведомые слова доносились сверху, и губы его величества, казалось, покорно повторяли их. Фараон стоял, не шевелясь и не глядя на собеседников…

– Да, я размышлял над словами этого писца Бакурро. Взвешивал их. Я не мог поступить иначе. Ибо запали они глубоко в мою душу. Имеющий уши не должен пропускать слова, обращенные со стороны. В противном случае для чего уши? Я спрашиваю: для чего? Если уши нужны любому – они стократ требуются правителю. Ибо в руках его судьба всего мира. Поэтому я и слушал Бакурро. Поэтому, но не только…

Его величество внимательно прислушивался к звукам, которых не слышит никто, кроме верного и почтительного сына его величества Атона. Царедворцы сидели словно бы каменные…

– Я слушал этого Бакурро еще и потому, что говорил он вещи необычные Которые не доводилось мне слышать. Возможно, что нечто подобное и случалось прежде в Кеми. В давно прошедшие времена. Возможно, говорю. Если это так, то необходимо признать некую неизменность времени. Между тем известно, что мир не видел еще города, подобного Ахяти, и той молниеносной быстроты, с какой он был возведен. Нет, мир не знал этого!..

Постепенно голос его величества становился все более твердым. Взоры фараона были обращены на семеров, сидящих в почтительных позах. Взгляд его величества стал подобен взгляду птицы нехебт – беспощадным и всевидящим…

– А гимны, сложенные в этом великом городе? Разве в Кеми слышали прежде что-либо подобное?

– Нет, – сказал Эйе.

– Нет, – подтвердил Пенту.

И это была правда. Его величество хорошо это знал. Так же как его враги – явные и тайные. Причем и те и другие отдавали ему должное. В самом деле, когда и кто складывал гимны благозвучнее? А музыка, которой сопровождались они? Кто вдохнул жизнь в эти арфы и флейты, в эти лиры и барабаны? Верные слуги его величества, которые чутко слушали советы фараона и в точности исполняли их. Или изваяния Джехутимеса, Юти, Бека?.. Разве не свидетельствуют они о том, что Кеми ушел вперед от седых времен, когда строились пирамиды вблизи Мен-Нофера? Нет, нельзя согласиться, что в Кеми ничто не

меняется. Значит, не мог и двойник Бакурро произнести в точности те слова, которые говорил в ту ночь этот писец Бакурро…

«…Его величество во что бы то ни стало хочет чем-то отличаться от фараона Нармера, фараона Джосера и их потомков. Если Пенту посмеет разуверить его в этом, то навлечет на себя великий гнев. Фараон сам скажет, что отличает его от великих предшественников и что сближает. Он сам обо всем скажет…»

Эйе смотрел в одну точку: на небольшую щербинку на гладко отполированном каменном полу Смотрел, думал и слушал. А Пенту от усталости прикрыл глаза. Но он не спал. Он никогда не засыпал в присутствии его величества. Ему удобнее было слушать с закрытыми глазами. Фараон знал эту его привычку.

– Я размышлял над словами Бакурро. Не мог я иначе. Выслушав вас и внемля советам моего отца Атона светозарного, я решил обнародовать указ…

Где-то меж колонн, в конце зала, мелькнула фигура начальника царских покоев Ипи. Царь приказал ему прислать двух писцов. И тот бросился выполнять приказание.

Его величество уперся рукою в колонну, точно намеревался сдвинуть ее с места. И сердито сказал:

– Вот прикажу я, вот прикажу я нечто. И весь Кеми – от Порогов и до Дельты, от Азиатских пустынь и до Ливии – превратится в базальт. И сейчас мы крепки, и сильны, и непобедимы. Но я сделаю Кеми подобием единого лагеря воинов. Это будет базальтовый бивуак. Даже дыхание у всех должно быть одинаково равномерным. Не говоря о шагах. По сравнению с которыми шаги лучшего полка покажутся расхлябанными. Вот прикажу я это и сделаю!.. Я обнародую этот указ!

Царь сжимал кулаки. Он казался кулачным бойцом. Каких обожают в азиатской Ниневии.

Это было поразительно: грозный тщедушный царь! Но главное в другом: что это будет за указ? **О** чем?

Этой ночью

– Кийа.
– Я слушаю тебя.
– Кийа.
– Твое величество, я здесь…
– Кийа.., Ты не так меня называешь…
– А как же называть тебя, мой любимый?
– Вот так, как назвала.
– Хорошо, мой любимый.
– Это твои груди?
– Нет, твои. Они принадлежат тебе.
– Потому, что люблю их?
– Потому, что ты – господин мой.
– Они тверды, как яблоки.
– Это плохо?
– Я люблю их.
– Яблоки?
– Нет, твои груди…
– Эти груди – твои, мой любимый…

Эхнатон ищет глаза. Ее глаза. А вместо них – глубокая глубина. Он ищет ее губы. А вместо них – прохладные гранаты: такие большие, такие гладкие, такие притягательные. Он жаждет взять ее всю. В свои руки. В свои объятия. А вместо нее – обжигающее, невесомое пламя. О Кийа, кто родил тебя? Неужели же женщина во плоти? Или ты рождена там, на небе, возле отца великого Атона?..

– Послушай, Кийа, порою ты кажешься существом сказочным.

– Что же во мне сказочного?

– Или святою…

– Это еще что?!

– Я боюсь притрагиваться к тебе.

– Обними меня.

– Мне кажется, что проснусь однажды и не увижу тебя. Все окажется сном.

– Крепче обними!

– А может быть, я – это сон?

– Сжимай же посильнее… Я люблю, когда ты причиняешь боль…

– Вдруг ты проснешься и – не будет меня…

– Молчи…

– Ты будешь плакать?

– Прошу тебя, замолчи.

– Кийа, ты будешь плакать по мне?

– Вот я зажимаю тебе рот…

Его величество с каждым днем все сильнее ощущает одно: не может без нее! Она – в сердце его. Она – жизнь его. Как он мог без нее до сих пор?.. Он прижимается губами к ее уху и шепчет едва слышно:

– А ты сына родишь?

– Я рожу много сыновей. Я молода. У нас должно быть их много. Очень много.

– Именно сына?

– Только сына. Потому что люблю тебя… А когда любишь, говорят, желания сбываются.

– Да, это правда.

– Может, я уже зачала сына?

– Может быть. У меня не было сына. Одни дочери. Я не знаю, что с ним делать-то?

– С сыном?

– Да.

– Надо сделать ему обрезание…

– Это я знаю…

– А потом растить богатыря.

– Каким образом?

– Доверь это мне, возлюбленный мой.

– Доверяю…

Он целует мочку ее уха… Упругую, как бобовое зерно…

– Откуда у тебя такая мочка?

– Она вкусная?

– Вкуснее меда.

– Она тоже твоя, любимый.

– А это?

Он мизинцем – едва-едва мизинцем, кончиком его – касается углубления в животе. Крошечного углубления на белой чаше…

– Он тоже мой, Кийа?

– Конечно.

– Совсем?

– Совсем, совсем…

– Совсем, совсем, совсем?

Его величество дурачится от счастья. От избытка чувств… Горячей щекой припадает к животу. Он словно пчела на цветке.

Она смеется. Ей приятно. Эхнатон на вершине счастья – она-то хорошо понимает!

Он спрашивает не без лукавства!

– А если я умру?

– Сначала – я.

– Если – я?

– Но ты же повелел строить гробницу для меня?

– Так что же?

– Значит, раньше умру я!

– Неправда!

И он снова припадает к ней. И снова и снова спрашивает себя: «Кто же изваял ее? Где этот величайший ваятель?» Спрашивает себя, а сам знает – кто. Не может не знать. Это он! Это он, сияющий на небе!..

Он замирает. Обнимая ее. Слившись с ней… Нет откуда она? Кто изваял ее? И почему приблизил ее к себе так поздно?!

Кийа запрокинула руки. (Подмышки у нее гладкие, словно галька морская. Они тщательно выбриты цирюльниками.) И соски тоже рвутся вслед за руками. Куда-то кверху. Или в сторону. Такие розовые. Бледно-розовые.

Глаза ее полузакрыты. Она обессилела от любви. Ибо он – сильный. Ибо он – любимый. Она родит ему сына. Еще сына. Сыновей. Сколько захочет – столько и родит…

Ночь. Глухая ночь. Спит земля. Не спит только стража. И не спит Кийа. Не спит его величество.

– Ты устал?

– И не бывало!

– Ты жаден до любви.

– До твоей любви. До твоей!

Они смотрят вверх. При свете одного-единственного светильника потолок кажется небесным шатром. Под которым летают птицы. Написанные рукою Юти…

Может быть, проходит час… Он говорит:

– Я не говорю: буду любить вечно. Однажды уже говорил. Правда, не тебе. Но мне хочется доказать это…

И снова лежат. Безмолвные. Счастливые.

Ему захотелось вина. Ей тоже. Они садятся. Полунагие. И пьют глотками. Глоточками. Порою каплями. Наслаждаясь. Как любовью. Такое хорошее вино. «Лучшее вино Атона в Ахетатоне…»

– Послушай, – говорит он, – я сочиняю указ. Я разошлю его всем хаке-хесепам. Во все провинции. Я повелю высечь слова указа на гранитных столбах. И поставить те столбы во всех провинциях. И пока будут стоять те столбы с теми текстами – будет цел и неприступен Кеми. Во веки веков!

Вспомнив об указе, его величество на радостях поднимает чару. Выше головы. На всю вытянутую руку. А потом пьет ее залпом. Единым духом…

– Если мы были вот такими, – говорит фараон и крепко сжимает кулак, – то теперь, после указа, будем такими. Это указ о том, как нам дальше жить. Он превратит Кеми в единый военный лагерь. Несокрушимый кулак! Власть провинций обратится в ничто! Власть фараона усилится неимоверно!

Его величество сжал кулак изо всей мочи. Даже косточки на тыльной стороне побелели. Хрустнули суставы. Небольшой, но внушительный кулак получился. Кийа тронула, погладила его. Одобрила:

– Хорош кулак!

Фараон доволен. Очень доволен. Посмотрим, что скажут брат Суппилулиуме, брат Душратта, брат Узиру и прочие братья-враги, чтоб им пусто было! Кеми крепок, един, как никогда. Но этого мало: он будет словно базальт! Ни единого ворчанья не услышит его величество. Дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина! Как в войсках. Да еще похлеще! Это единственный путь. Для Кеми. Иного нет и быть не может!..

Фараон продолжал любоваться кулаком. Вместе с Кийей. Она согласилась с его

мнением. Да, голова в государстве должна быть одна. Как сказал некий мудрец в старину: «Остальные головы должны или повиноваться, или преспокойно уходить в могилу». Одна голова – одна мысль, одна воля! И тогда можно спокойно спать. Благоденствие Кеми будет обеспечено. А Хапи будет течь при всех обстоятельствах, пока сияет на небе его величество великий Атон…

– Это так! Это так! – подтверждает фараон.

А знает ли Кийа, кем был навеян этот указ? Ну конечно, не знает! Откуда ей знать, если он ничего не говорил – ни единого слова – об этом самом писце Бакурро? Иногда бывает так: хороший совет получаешь от того, который мыслит совершенно противоположно. То есть твой советчик убежден в одном, а подсказывает тебе нечто другое. Правильное, по твоему убеждению. Неправильное, по его мнению…

– Тебе не кажется, что этот писец более не нужен?

– Нет, почему же, Кийа? Напротив, я хочу дать ему повышение.

– Это зачем же еще?

– Он будет моим постоянным советчиком. Негласным. Он посоветует одно, а я, может быть, сделаю иначе. Он человек прямой. Вроде хорошо отполированного бронзового зеркала. Нельзя же без зеркала. Верно, нельзя?

– Пожалуй.

– Вот и без Бакурро нельзя. Пускай убедится в том, что Кеми процветает вопреки его словам. Назло ему.

«…Или это новый любимец, или невинная причуда его величества? Неужели какой-то писец, неведомый миру, будет давать советы владыке Кеми? Это настолько смешно, что об этом надо молчать. Надо рассказать обо всем Маху. Он, наверно, примет меры. Наверно, примет. Маху свое дело знает…»

Фараон продолжал размышлять вслух. Он все может. Стоит пожелать ему – и Суппилулиуме будет повергнут во прах. Душратта замолчит. А этот вьюн Узиру исчезнет с лица земли. Только этого его величества пока что не желает. Тутмос Третий дошел чуть ли не до гор, которые за Митанни. А для чего? Ради дани? Пожалуй. Однако все прекратится в любой день, если нет поблизости гарнизонов. Но и гарнизоны – до поры до времени. Если говорить серьезно, вернее всякой дани – занятие вражеской страны. Не войском, но идущим за ним народом. Но кто же на Кеми желает переселиться в неопрятную Азию? Кто? Разве что преступники, которым все безразлично – что на каменоломню, что в Азию! И эфиопам тоже придется поразмыслить, почесать затылки, умерить свой пыл И ливийцам – тоже. Одним словом, Кеми поставит врагов на место. У них колени станут что вода. И кости все станут что вода!

Она слушала и радовалась. В самом деле, почему бы не прекратить все эти разговоры насчет того, что его величество трусит, боится войны, предпочитает отступление наступлению? Почему бы не развязать руки Хоремхебу? Этот…

Фараон решительно перебил ее:

– Нет, я не говорил, что начну войну. Об этом и не заикался. Я сказал нечто другое: Кеми будет словно кулак, он будет единый: с одним биением сердца, с одним дыханием, с едиными мыслями. Вот такого Кеми враги убоятся. И без войны. А воевать зачем же? Без нужды не стоит! Ведь каждую войну – рано или поздно – надо заканчивать. Но как? Сам придумаешь конец? Или его навяжут тебе? Понимаешь, Кийа, это очень многотрудное дело – война!

Да, она отдает себе отчет. И тем не менее. Надо ли без конца сдерживать Хоремхеба? Если у того чешутся руки – в добрый путь! Дорога в Азию открыта. В Эфиопию – тоже…

– Дороги войны всегда открыты, – многозначительно сказал его величество. – Хапи разливается не когда угодно А в определенное время. Для этого священная река избрала месяц тот. Не эпифи или месоре. Но – тот. Ты запомни это, Кийа.

Его мысль не требовала дальнейших пояснений.

– А еще учти, Кийа: для покорения других стран и народов недостаточно одного

оружия. Колесниц боевых. Щитов непробиваемых. Копий и стрел. Пращей и палиц. Когда мы приходили в Азию, каждый солдат, кроме оружия нес с собою и своего бога: кто – Амона, кто – Атума, кто – Анубиса, кто – Тота, кто – Ра-Гора-Ахути, кто – Озириса, кто – Изиду, Шу, Маат, И не только азиаты, но и мы сами не понимали своего собственного святого воинства. А нынче? Нынче все воочию видят и превозносят единого и великого бога нашего, который сияет на небе и который избрал меня своим единственным сыном.

Она схватила руку его величества. Она целовала руку.

– Я сказал тебе, Кийа: великая Хапи для разлива избрала месяц тот. Я говорю тебе: я сам изберу месяц, в который воины мои разольются, подобно Хапи, – в сторону Та-Кефт, и в сторону Эфиопии, и в сторону Митанни. И дальше. И дальше На Восток На Запад. И моря подчинятся нам. Кефтиу и Иси будут подобно Саи и Ей-н-ра – нашими, совсем нашими. Подобно ступеням, ведущим все выше и дальше.

– Да, да, да, – шептала Кийа прижимаясь к нему. Его величеству рисовались необъятные просторы Та-Нетер, и Западного моря, и Восточных государств, и всех государств Та-Кефт – богатых и многолюдных…

Он сказал как о деле завершенном:

– И благодаря чему все это?

– Тебе!

– Не совсем: благодаря указу. Который повезут во все концы.

Он скосил взгляд. И увидел то, что увидел: два маленьких стража на груди ее, пахнущей благовониями. Они стояли розовоголовые. Упругие. Зовущие.

И осторожно. Очень осторожно. Затаив дыхание. Дотронулся пальцем. Сначала до одного. Потом до другого соска.

Его величество был счастлив…

Тахура снова пишет

«Досточтимейший и мудрейший хозяин мой, которого любит и всегда слушает его слуга покорный Тахура, ныне торгующий товарами в великом Кеми!

Тахура молит богов о ниспослании тебе и всей твоей семье такой благодати, которой ты один достоин. И боги внемлют моим молитвам, которые есть просьбы раба твоего купца Тахуры.

Товар я продаю. Нельзя сказать, что быстро, нельзя сказать, что медленно. Купец, к которому я прибыл и который есть великий купец этой земли, пребывает в добром здравии. Он хорошо покупает товар. И да будет так всегда! Купец этой земли, как достоверно известно, крепок ныне здоровьем. Его помощники надеются служить ему, говоря: «Вот господин наш, умелый в торговых делах и сильный духом и сердцем своим».

Те же из его помощников, которые надеялись когда-нибудь заменить хозяина своего на посту его, теперь пали духом. Ибо хозяин их дал слово прожить много лет. Если почему-либо это не случится по воле богов, то мое предыдущее письмо о его помощниках полностью остается в силе. Эти помощники, невзирая ни на что, сильно соперничают меж собою. На кого же они надеются? На покупателей своих? Однако должен сообщить с радостью, что покупатель спит или дремлет, не принимая участия в великой ярмарочной торговле. И это на благо твоему величеству, ибо хозяин ярмарки здесь с его интригами – сам по себе, а покупатель сей страны с его заботами – сам по себе.

А теперь я хотел бы узнать у твоего величества: не будет ли каких-либо указаний относительно покупки льна и цены на лен? И если будет на то твоя щедрость, я бы нижайше просил прислать твоему слуге сколько возможно талантов золота или серебра. Ибо жизнь здесь не дешевая, и на еду, не говоря уже об угощении купцов, уходит немало дебенов.

Спешу также сообщить, что твой покорный слуга узнал и о том, что главный купец, о котором я говорю, возьшел намерение укрепить кровлю своей лавки. Да еще и подпереть стены до такой степени свежими подпорками, чтобы лавка не только хорошо служила, но и

вызывала бы страх у соседних купцов. А страх этот, как тебе доподлинно известно, бывает оттого, что один купец делается богаче и сильней и тогда норовит подавить своих соперников по торговым делам.

Так сказывали нынче весьма сведущие в торговле люди.

Остаюсь рабом твоим покорным, послушателем слов твоих, в надежде на известия от тебя

Купец Тахура.

Писано в городе Ахетатоне в месяц паони 17 года царствования его величества Нефер-Хеперу-Ра Уен-Ра Эхнатона».

Полная готовность

Сеннефер вошел молчаливый, слишком ровный в спине. Молча кивнул хозяйке. Молча поднялся по лестнице.

Ка-Нефер раздвинула льняную занавеску: в комнате стало светлее. Яркое вечернее небо заиграло в широком оконном проеме,

Нефтеруф сидел в углу. Его не сразу заметил парасхит. А как только заметил – кивнул. Тоже молча.

– Дома мы одни, – сказала Ка-Нефер. – Муж ушел к Тихотепу.

– Зачем? – спросил осторожный Сеннефер.

– У него помолвка с девушкой из лавки Усерхета.

– Значит, мы одни?

– Мы здесь втроем. – Ка-Нефер улыбнулась.

«… Красивая, слишком красивая женщина. Слишком красива – слишком ветрена. Как мог Шери довериться ей? А Нефтеруф? Живя под одной кровлей с нею, как поручился он за свою плоть? Мужчина в соку и красивая женщина в важном деле – это гибель для дела. Это все равно, что хетт в одной лодке с жителем Кеми. Это все равно, что Амон и Атон в одном храме…»

Сеннефер смерил холодным, сосредоточенным взглядом пронзительно красивую женщину и льву подобного Нефтеруфа. Он не одобрял. Не понимал того, как мог этот бывший каторжник довериться красавице, которая достойна украсить женскую половину любого правителя мира.

«…То ли я ему слишком понравилась, то ли он сердит на меня. А за что?.. Он, как видно, очень осторожен. Он осторожен, как лев на водопое. Он явился в дом, где никогда не бывал. Он подозрителен. Он умудрен опытом…»

«…Сеннефер кажется напуганным. Или ошеломленным. Старик словно бы языка лишился. Вот он сидит. Сидит и молча озирается. Вот он сидит, и страх на плечах его, испуг в глазах его…»

Сеннефер даже вздрогнул, когда внизу послышались шаги. А это был Шери. Мудрый и неторопливый Шери. Который умел выжидать, подобно пауку. Он перешагнул через порог и сказал:

– Здравствуйте все, кто под этой крышей!

Голос у него твердый. Звенит подобно бронзе. Казалось, что он принес с собой добрые вести. Казалось, что только-только спустился с небес, где парил в чистых сферах.

Шери усадил рядом с собой Ка-Нефер. Он обнял ее за плечи, словно дочь. Жестами пригласил старика и бывшего каторжника поближе к себе. И они уселись – голова к голове, лоб ко лбу. Так и уселись в кружок. Такой тесный, что было слышно, как бьются их сердца. Очень тесно было. И очень гулко бились сердца. И с этой поры не существовало более красавицы. Ни мужчин. Одни заговорщики Только они!..

Шери достает кусок папируса. Такой изрядный кусок – амаге по ширине, два амаге да еще один пат по длине. Он расстилает на полу этот папирус. На котором четырехугольники. Они выведены умелой рукой. Их изобразил человек с острым глазом. Как у коршуна. Шери

взял два цвета: черный и красный.

– Вы видите?

Шери ткнул пальцем в самый большой четырехугольник.

– Что здесь? – спросил Нефтеруф.

– Это дворец. А вот здесь, – Шери переставил палец, – вот здесь – воздушный мост. Вы знаете этот мост? Под ним проходит Дорога фараона. Вы знаете этот мост?

Нефтеруф прошептал:

– Дайте мне обыкновенный молоток. Который у каменотесов. И вы через три дня не найдете на месте этого моста.

– Слушайте же дальше. Завтра утром вот из этих ворот выйдет тот, ради которого мы собрались. Ворота помечены красным. Это – стена, которая тянется вдоль Дороги. От ворот до моста – десять шагов. Это – узкие ворота. Боевая колесница будет ждать его у ворот. Обратите внимание: от ворот до колесницы – пять шагов. Пять больших шагов. Шесть – коротких. Я пометил это место красным. Это цвет крови. Ты понял меня, Нефтеруф?

У бывшего каторжника раздулись ноздри. Он в упоении прикрыл глаза. И прошептал:

– Я напьюсь его крови. Я напьюсь его крови…

– Да, Нефтеруф, ты отомстишь. Ты очистишь Кеми от этого изверга.

Так сказал Шери. Это были его слова. Не чьи-нибудь. Раз Шери подумал, раз он произнес свои мысли громко, для всех, – значит, он знает, что говорит, когда говорит и кому говорит.

Нефтеруф пояснил:

– Я буду стоять под сикоморой. От дерева до колесницы – сто шагов. Я пойду к колеснице от сикоморы. Не спеша. Готовый прибавить шагу…

– …если того потребуют обстоятельства, – уточнил Шери.

– Если потребуют обстоятельства, – повторил бывший каторжник. – Нож у меня на груди. Я точил его целую неделю. Это хеттский нож из настоящего железа. Им можно бриться. Это настоящий хеттский нож. Из их столицы Хаттушаша. Его мне продал один купец, по имени Тахура. Я сказал ему, что я – мясник. Он сказал: «Этот нож в одно мгновение свалит бегемота, который в болотах Юга». Я сказал ему: «Я и есть охотник на бегемота».

– Покажи мне этот нож. Покажи нам, где ты его носишь?

Нефтеруф отпрянул назад. Он словно бы подпрыгнул. И оказался в двух шагах от папируса. Оказался на коленях – чуть откинув голову и выпятив грудь:

– Нож со мною!

Но никто не видел этого хеттского ножа. Где он? На груди? Сбоку? Под мышкой? Где нож, который продал ему купец Тахура?

Нефтеруф достал его, и клинок – узкий, как жало змеи, – сверкнул в сумеречном освещении.

– Я точил его на камне…

Нефтеруф положил нож на свою грубую ладонь и обнес каждого, словно лакомством. По мнению мужчин, нож во всех отношениях был превосходен. А Ка-Нефер содрогнулась.

– Это смерть. Это смерть, – сказала она.

– Да, смерть! – Нефтеруф спрятал нож. – А это – чарочка.

Нефтеруф достал – тоже неведомо где спрятанную – глиняную чарочку. Такую маленькую.

– Я выпью его кровь, – сказал он с удовольствием.

Шери насторожился:

– Как это – кровь?

– Очень просто: наполню чарку – и выпью. Для меня будет слаще меда.

– Пусть, – сказал Сеннефер, – пусть пьет.

– Я отхлебну его теплой крови. Прежде чем прикончат меня стражники…

«…Какой ужас! Он говорит о своей смерти так, словно бы собирается на чужие

похороны. Я бы не смогла! Я никогда не смогла бы!.. А Шери, а Сеннефер смог бы?.. Наверное, нет. Наверное, нет…»

– Я буду неподалеку, – тихо сказал Шери. – Одного из стражей уложу я. Того самого, кто руку на тебя подымет.

– Нет! – возразил Нефтеруф, – Нельзя так! Нельзя умирать всем! Кто же будет мстить дальше? Нет, Шери, тебе не следует ввязываться. Другое дело, ежели я промахнусь. Или схватят меня за руку.

Каждый обдумывал эти слова. В них содержалась правда. Здравый смысл требовал именно этого. Нельзя иначе. Нельзя оставаться совсем без головы!

Ка-Нефер интересовало нечто иное. Она размышляла о другом. Пожалуй, о более существенном. Ка-Нефер обратилась к Шери:

– А если… А если фараона не будет на месте? Ведь может же статься такое! Может же передумать он в самое последнее мгновение и остаться во дворце? Может, Шери?

Шери ответил не задумываясь:

– Может, Ка-Нефер.

«…Он это говорит спокойно. Или Шери видит дальше всех, или заранее примирился с неудачей? Тогда фараон сделает все, чтобы окончательно успокоить своих врагов…»

– Может, Ка-Нефер, может! А посему принимаем такие меры: его светлость Маху будет внимательно следить. У него на лбу выскочат десять новых глаз. Если этот ублюдок перерешит ехать, его настигнет смерть в спальне, в зале – большом или малом, в коридоре, на крыльце, на дорожке сада! Это решено!

Шери чеканил каждое слово. О, в эти мгновения он выказал себя большим и сильным человеком!

Вот он сидит ровно. Вот он говорит спокойно. Вот он дышит равномерно. И лицо его не выдает волнения.

Иное – Нефтеруф: этот весь пылает, глаза у него навыкате, сопит, точно буйвол в болоте, скрежещет зубами. Он бы съел фараона живьем. Обглодал каждую кость. Напился крови. Уж очень крепка обида на фараона! И злоба Нефтеруфа безгранична, точно пустыня на Западе…

Сеняефер как бы размышляет вслух:

– У ворот… Недалеко от воздушного моста… В двух шагах от боевой колесницы… Удар в спину… Меж лопаток. Маху будет начеку… – Вдруг старик вскидывает глаза, хватает папирус, мнет его у себя на груди. – А если не будет?.

Он впивается взглядом в Шери. Будто хочет сразить того. Вот-вот набросится в ярости.

– Что – не будет, Сеннефер?

– Маху… Если Маху не окажется начеку?

– Он поклялся, Сеннефер.

– Это хорошо, что поклялся. Но если… если…

– Исключено, Сеннефер, исключено!

– А все-таки?

– Говоришь невозможное!

– Шери, а если?.. Ну, все-таки, Шери?.. А?.. Подумай, Шери. Это бывает раз в жизни. Подумай, Шери…

Шери уверен. Убежден. Он отметает невозможное,

– Ну, а если? Ну, а если, Шери?

Три пары беспокойных, встревоженных глаз устремлены на него. Словно из засады. Ждут ответа затаив дыхание. Не без тревоги. Не без страха. Можно подумать, что в ожидании прыжка разъяренной пантеры. А разве не так? Царь, пожалуй, хуже пантеры! Никому не будет тогда пощады! Зашьют в льняные мешки и осторожно опустят на дно Хапи. И закроется вода над головой. Хоть и священная река, но вода есть вода: в ней тонут, задыхаются, теряют рассудок…

Логика Шери-заговорщика неотвратимо ясная: в случае неудачи сам Маху поплатится

жизнью. В первую очередь… Можно задать себе вопрос: разве предательство исключено? Конечно, можно задать и такой вопрос… Предательство никогда не исключалось. Их всегда хватает, этих предателей. Что же касается Маху – всякое подозрение по отношению к нему должно быть отметено. Безоговорочно. Для этого у Шери имеются достаточные основания… В этом заговоре участвует строго ограниченное количество лиц. Это не восстание народа. Или восстание рабов. Заговор, можно сказать, дворцовый. Он никого не касается, кроме как самих заговорщиков. В этом все удобство дворцового заговора! Конечно, можно было бы кликнуть клич и собрать недовольных под штандарты большого восстания Но этот путь не годится. Там, где замешан народ, – не жди ничего путного. Речь идет о вполне определенной вещи: о беспощадной мести людей знатных и славных, униженных и ославленных фараоном-ублюдком. Поскольку заговор ограничен самым узким кругом людей, успех его зависит только от этого узкого круга. И больше никого не касается! Вот почему Шери уверен и отметает мысль о предательстве…

– Если только, – заключает довольно мрачно Шери, – нет предателей среди нас. – И вдруг – грубо, резко, оскорбительно: – Ты, Нефтеруф?

– Я? – говорит бывший каторжник. – Я?.. Никогда!

– Может, ты, Сеннефер?

Сеннефер холоден, как базальтовый камень:

– Нет, Шери, нет.

– Может, ты, Ка-Нефер?

Молодая женщина отрицательно качает головой Эдак неторопливо. Медленно…

– И я тоже – нет, – сказал Шери. – Маху тоже – нет! Что же еще надо вам?

«… Наше счастье, что с нами мудрый и великий Шери. По сравнению с ним Нефтеруф – этот красивый самец – выглядит несмышленышем. Он чрезмерно горяч. Чувства застилают его ум… А Сеннефер слишком стар. И слишком тщедушен. Его удел – мудрствование. Его стихия – рассуждения, подсказка, советы…»

Ка-Нефер тщательно обдумывает слова Шери. Она согласна с ним. Она готова идти за ним куда угодно.

– Теперь вы уверены? – спрашивает Шери.

– Да! – отвечают одновременно Нефтеруф и Сеннефер.

– В таком случае прочь всякие сомнения! Сильнее бейтесь, сердца! Станьте тверже, руки! Бьет час!

Шери говорит негромко, но кажется, что слушает его весь Кеми – от Дельты до Первого порога. А может быть, еще дальше. В нем бьется такое сдержанное, такое укрощенное им самим буйство, что невольно возвышает над сонмом обыкновенных людей. Именно таким представлял себе Нефтеруф главного противника фараона…

– Я напьюсь его крови, – подтверждает свое неукротимое намерение бывший каторжник. – Я все равно не удержусь, как бы меня ни отговаривали!

– А мы и не отговариваем, – говорит Шери.

– Это хорошо! Это хорошо!

На улице раздались негромкие голоса. Кто-то постучался в дверь. Ка-Нефер мигом вскочила со своего места и кинулась вниз. Шери улыбнулся едва заметно.

– Явился, – сказал он. – Маху держит слово.

Шери сказал это, не выглянув на улицу. Даже не повернув головы

– Вот опустились носилки… Вот выходит грузный Маху. Рабы помогают ему войти в дверь. Не узка ли она для него?..

Не успел Шери произнести последнее слово, как Маху появился самолично. Он пропустил в комнату Ка-Нефер, но не перешагнул порога Так и остался там.

Шери медленно оборотился к нему. Не вставая. Между тем как Нефтеруф и Сеннефер

почтительно склонили головы.

Маху сопел. Как обычно. Одет обыденно. Даже невзрачно. Но украшения – дорогие. Бусы – из сердолика. Золотые и серебряные перстни на пальцах. Меч на бедре в золотой оправе.

Молча оглядел комнату. Ничего не говоря. И неясно, каково настроение его перед великим часом.

Он сказал:

– Вы обсудили это?

И указал пальцем на кусок папируса.

– Да, – ответил Шери.

– Нефтеруф готов для дела?

– Да, готов.

– А ты, Сеннефер?

– И я.

– И ты, Шери?

– Что за вопрос?

– Спрашиваю, – значит, так надо.

– Готов и я.

– И Ка-Нефер?

– И я тоже, твоя светлость.

Задавая вопросы, Маху становился все более торжественным. Голос его звучал все более уверенно.

– Слушайте меня все! – Маху поднял руку. – Слушайте внимательно. Не пропускайте ни единого слова мимо ушей своих. – Что-то жестокое, что-то радостное, невообразимо мрачное и вместе с тем высокое нарастало в нем, отражаясь в его взгляде, в его голосе, на его челе. – Так слушайте же: его величество… правитель Верхнего и Нижнего Кеми…

Бам! Бам! Бам! Бам! – это стучат сердца. Нет, невозможно слушать Маху: душа не выдержит! Скорее, скорее, Маху!..

– Его величество умер!

– Что? – Шери встал. – Что ты сказал, Маху?

Остальные словно языки проглотили. Ка-Нефер припала к стене. Чтобы не упасть.

– Он еще теплый, – со злорадством сказал Маху. И, для вящей убедительности заглядывая каждому в глаза, продолжал: – Кийа безутешна. Она рыдает. Она в отчаянии Эйе молчит, как молчите вы.

Шери пробормотал:

– Он умер?.. Он умер сам?

– Да. Схватился за сердце. Хотел что-то сказать, но в горле заклокотала слюна. Он был мокрый от пота. И бледен, как папирус. И когда к нему наклонилась Кийа…

Эпилог

Не так давно в парижском Лувре я приметил знакомое лицо. Еще издали. Где я видел его раньше?..

Вот оно все ближе, все ближе…

Да, это был *он* !

С глубокой раной на лбу. Разбитый на несколько частей кем-то и снова кем-то заботливо собранный. Такой бледный, такой гипсовый…

Он смотрел на дверь. Будто напуганный. Глаза у него чуть навыкате. Шея вытянута…

Так его величество Эхнатон предстал еще одним своим ликом. И я вспомнил слова доктора Хасана Бакри, которые сказал он мне в каирском музее у огромного бюста фараона: «Теперь вы его будете встречать очень часто». И верно: я вижусь с ним в разных городах и

разных книгах. Словно с живым…

Да, фагаон скончался в тот день. Неожиданно для друзей. Неожиданно для врагов. Но Кеми продолжал жить. И жил еще очень долго. Правда, последующие века – скорее по инерции.

А в начале нашей эры некогда страшный для соседей своих Кеми лежал совершенно обессиленный. Как бы в полусне. Во прахе.

И многие спрашивали себя: где сила его? Где вышколенный грозными фараонами народ? И был ли он вообще? Спрашивали, хотя все еще стояли исполины Джосера, Хуфу, Хефрена!

Прежнее величие его покрылось страшным слоем небытия А пылинки вселенной – Эхнатон и Нефертити – смешались с пылью пустыни. Имена их были преданы анафеме после того, как Амон-Ра снова воцарился на своем блистательном троне, а жрецы его заняли подобающее положение. Оставленный на волю ветров и песков, Ахетатон исчез, словно бы его и не сушествовало на свете. Более того: Эхнатон и Нефертити оказались лишенными даже вечных жилищ – своих могил, приличествующих их сану. То есть произошло нечто такое, что не укладывалось в сознании египтянина, случилось наихудшее, что могло ожидать смертного в Кеми. И мы нынче гадаем, кому принадлежит полуистлевший скелет: Эхнатону, Семнех-ке-рэ или кому-нибудь другому?..

Но, как бы то ни было, пятимиллионный народ – прямой наследник древних египтян – продолжал жить. С трудом помня свое прошлое. Не пытаясь заглянуть в будущее.

Достаточно было в 641 году появиться на берегах Хапи трехтысячной аравийской коннице Амру, чтобы бесповоротно сгинула эпоха, хотя и отдаленно, но все-таки связанная с великим Кеми. И в стране прилежных писцов не нашелся скриб, который, бесстрашно подводя черту, написал бы неизбежное в таких случаях слово:

Конец

Агудзера–Каир– Москва
1964–1968

Приложение.
Из рассказов моих друзей

…И он же – Нефер-Хеперу-Ра Уен-Ра

Вот что рассказал мне наш известный египтолог профессор Ю. Я. Перепелкин:

– … Вы смеетесь, а я спрашиваю: что есть археология в ряду других наук? Тоже наука? Неоспоримо. Как дважды два – четыре? Вроде бы и – да, и – нет. Нам, египтологам, далеко ходить за странными примерами и не надо. Извольте…

В начале нашего века в Долине царей – близ Фив – был обнаружен тайник. Здесь, под землей, был установлен саркофаг. На саркофаге – как обычно это было принято у древних египтян – надписи, надписи… Много надписей. Из этих надписей мы узнаем, что люди, похоронившие того, кто лежал в саркофаге, думали, что похоронили царя Наф-Хуру-Ра, он же – Эхнатон и он же – Нефер-Хеперу-Ра Уен-Ра… Верно, это супруг повсеместно знаменитой царицы Нефертити, как называют ее на университетских скамьях, а точнее – Нафтиты, а еще точнее – Нефрэт…

Кроме саркофага, в тайнике находился катафалк царицы Тии – матери Эхнатона, точнее – Ахнаяти, а еще точнее – Эхнайота.

Итак, в тайнике только два имени: царицы Тии – на катафалке и четырех заупокойных кирпичах – и царя Наф-Хуру-Ра – на саркофаге. Значит, царь был погребен здесь после его

безвременной кончины?

Мумия сильно испорчена водами, проникшими в тайник. Однако четко выделялся затылок, как и на его скульптурных изображениях. Все могли убедиться также в том, что и таз соответствует описаниям (широкий, почти женский), и рост небольшой, и конечности тонкие… Словом, настоящий Эхнатон, настоящий Ахнаяти, Эхнайот. О чем и свидетельствует надпись! Надпись на саркофаге. Археология как бы говорит: да, здесь лежит Эхнатон, Ахнаяти, Эхнайот!

Но вот является медицина – и рушится явное. Медицина утверждает: нет, это не Эхнатон, ибо, судя по суставам, этому всего двадцать три – двадцать четыре года. Сколько же было лет Эхнатону, когда он умер? Лет тридцать пять. Это вполне вероятно, если учесть, что он мог воцариться лет семнадцати, а царствовал он столько же. Куда же девать разницу в десять с лишним лет?

Суставы, выходит, против Эхнатона. Суставы за то, чтобы мумию приписать фараону Сменхкара, точнее – Семнех-ке-рэ. А надпись в тайнике гласит: здесь почиет Эхнатон. И люди, захоронившие мумию, видимо, не сомневались в том, что это – Эхнатон. Именно Эхнатон… Умерший на радость своим врагам…

Я понимаю, что ни у вас, ни у меня не возникает мучительная дилемма: археология или медицина? Но в случае с мумией, найденной в тайнике, где имеется вывеска «Эхнатон», вдруг встает вопрос: медицина или археология? На чьей стороне правда?

Какова, по-вашему, альтернатива?

Или ее нет вовсе?

Тогда позволительно спросить: что же есть?

Исторические рассказы

Фараон и воры

Вот небольшая история, почти в том виде, как сообщил ее фиванский писец, «весьма ловкий пальцами» Хемаус-Инени. Свиток его папируса, покрытый письменами за четырнадцать веков до нашей эры, был обнаружен египетским археологом Абд-эль-Даудом.

Шел четвертый год правления живого божества Аменхотепа Четвертого, более известного под именем Эхнатона – жизнь, здоровье, сила!

Вскоре после того, как великий Нил вернулся в свои пределы, к землепашцу Тхутинахту явился его друг Певеро.

Был этот Певеро и высок, и костляв. На висках у него треугольные впадины. Под глазами два углубления. Взгляд его блуждал, точно взгляд одержимого. Можно было подумать, что его преследуют стражники номарха, у которого Певеро состоял чеканщиком по золоту, серебру и меди.

Певеро торопился, точно бегемот на водопой. Он торопился и поэтому отказался даже от пива.

Он сказал так:

– Тхутинахт, ты мой друг. И ты знаешь, что я один. Совсем один, как оазис в великой пустыне запада.

Он говорил эти слова, а взгляд его блуждал, как взгляд раба, бежавшего из нубийских золотых копей. Певеро говорил так:

– Тхутинахт, друг мой, я должен показать тебе нечто. И тогда ты поймешь, кто такой Певеро, высохший от горя и слез.

Тхутинахт едва доставал головой до плеч Певеро. Был землепашец этот слаб телом – вместилищем Ба, ибо жилось ему не слаще, чем перепелу в когтях у сокола, рыболову под брюхом крокодила, охотнику в объятиях льва. С восхода и до захода солнца месил он грязь на поле. Он был опален зноем, и лицо его превратилось в подобие жареного мяса. Семья его жила в бедности. А сам он жевал кожу. Всего сорок разливов пережил Тхутинахт, но казался

старцем: волосы его стали серебром, мускулы – золотом, и высохло тело его, как рыба на солнце.

Землепашец внимательно слушал своего друга и говорил про себя:

«Певеро теряет разум. Боги разгневались на него».

А Певеро говорил так:

– Ты не знаешь меня, Тхутинахт. Ты не знаешь меня. Поднялся я выше пирамиды Хуфу. Ибо успокоилась душа моя, жаждавшая отмщения. И стал я повелителем мертвого божества.

Тхутинахт разинул рот и усиленно прочищал мизинцем уши от грязи. Певеро говорил так:

– Я покажу тебе нечто. И ты увидишь себя как бы в сказке. И ты сможешь взять столько золота, сколько нужно.

Землепашец прочищал свои уши, дабы не пропустить ни единого слова. Певеро спросил:

– Тхутинахт, желаешь ли увидеть нечто такое, что удивительно?

Тхутинахт затрепетал от страха и все-таки сказал «да», потому что был беден и жаждал золота, много золота.

Тогда Певеро сказал так:

– Принеси клятву.

– Какую, Певеро?

– Если разгласишь мою тайну, пока я жив, пусть постигнет тебя… пусть постигнет…

– Что, Певеро?

– Мор! И тебя, и твою семью. Мор! И всех твоих близких до седьмого колена. Мор! Но это не все: пусть и ты и твоя семья лишитесь вечного блаженства на полях Иалу, если разгласишь мою тайну, пока я жив.

Землепашец вскрикнул, точно ухватил его за ногу прожорливый крокодил.

– Только не поля Иалу, Певеро! – взмолился он.

– Нет, только поля Иалу, Тхутинахт!

Землепашец дрожал и, дрожа, повторил клятву – всю, от слова до слова. Тогда Певеро сказал так:

– Я приду за тобой. Я приду сегодня. Приду, когда свет луны падет на вершину Рог.

И он оборотился спиной к своему другу и пошел от него прочь.

Когда стало совсем темно и свет луны упал на вершину Рог, Певеро явился к Тхутинахту. И повел он его на север, а потом на запад. Хотя и светила луна, а все-таки было темно и страшно.

Землепашец испуганно озирался вокруг. Ему мерещились тени великих фараонов. И он сказал так:

– Певеро, кости мои словно вода…

Ремесленник даже не обернулся. Он продолжал идти. Он двигался так уверенно, точно ему был знаком каждый локоть этой дороги…

Вот они миновали Долину великих храмов и усыпадьниц. Дважды обходили спящих стражников, охранявших некрополь. Певеро со своим другом направлялся в сторону Долины царей, но, не достигнув ее, свернул влево, к крутой и безжизненной горе.

– Мои кости как вода, – говорил дрожащий Тхутинахт.

– Не скули, словно пес! – прикрикнул на него Певеро. – Мы уже на месте.

И стал он возле белого камня.

Вокруг было тихо. Мерцали сонные звезды. Сонно светила луна. Спали даже боги во всем Верхнем и Нижнем Египте.

Певеро навалился на камень и сдвинул его в сторону. Зияющая дыра открылась под камнем, дыра чуть пошире мужских бедер.

– Ползи за мной! – приказал Певеро. И, улегшись на землю, превратился в большого червя. И червь этот пополз в дыру, что была чуть пошире мужских бедер.

Касаясь носом потрескавшихся пяток Певеро, Тхутинахт последовал за ним в дыру.

Долго ползли они. Казалось, остановится дыхание, потому что со всех сторон подступала земля. Она охватывала человека объятиями льва. Но вот стало просторно, можно было и вытянуться во весь рост.

Певеро пошарил рукой, нашел на положенном месте сверло, лучок и трут для добывания огня. Вскоре запылал факел. И землепашец увидел то, что увидел: обиталище усопшего бога, о котором слышал только краем уха. Тхутинахт упал наземь, потрясенный видом священных предметов.

– Встань! – приказал Певеро.

Тхутинахт подергал себя за нос, а потом поглядел на Певеро, чтобы удостовериться, что оба живы, что великий Ра не убил их в своем неистощимом гневе.

Певеро поднял факел, и глаза увидели то, что они увидели: позолоченную колесницу фараона; множество посуды из серебра и золота; множество сосудов из чистого алебастра и ляпис-лазури – вместилища для благовоний антиу и шасас, иуденеб и хасаит; носилки из эбенового дерева, инкрустированные золотом и разноцветным финикийским стеклом. И статуэтки стояли здесь из золота и электра – статуэтки Осириса…

Все это было подобно сну, подобно тому, как если бы житель Дельты вдруг увидел себя в горах далекой Нубии.

– А теперь, – сказал Певеро, – пройдем туда…

И Тхутинахт увидел пролом в стене. Землепашец колебался. Тогда первым пролез Певеро с факелом в руке, который чадил. А за ним Тхутинахт.

И здесь увидели глаза землепашца то, что увидели: в просторной усыпальнице стоял ковчег. Весь он был желтый, потому что был выкован из золота. Занимал ковчег почти все помещение в высоту, и в длину, и в ширину. И был Тхутинахт вдвое ниже ковчега.

Певеро зашел с правой стороны и толкнул ногою золотую дверь. И Тхутинахт упал на камни, потрясенный величием Вечного Покоя. И он запричитал:

– О бог наш Осирис! О владыка владык, покоривший мир!

И не скоро осмелился землепашец поднять глаза на золотые саркофаги, безжалостно вывороченные ломом Певеро.

Мумия великого божества валялась на полу, и золотой урей украшал ее лоб. Золотая маска божества была помята, словно старый медный таз.

– Что это? Что это? – в страхе вопрошал Тхутинахт.

Но Певеро молчал.

Золотой Осирис смотрел на Тхутинахта. Соколы из электра обратили свои клювы к Тхутинахту. Мумия великого божества, униженная до предела, скалила серые зубы, словно улыбалась Тхутинахту.

Певеро стал ногою на спеленатую грудь великого божества.

– Смотри, Тхутинахт, – сказал дерзкий Певеро, – это владыка Верхнего и Нижнего Египта, который поднялся к своему горизонту. Это то, что осталось от его величества фараона Аменхотепа – жизнь, здоровье, сила!.. Теперь он под моей ступней, и я, Певеро, топчу его!

Тхутинахт слушал его, раскрыв глаза выше бровей.

– Возьми, Тхутинахт, это золото, что вокруг, возьми электра, что вокруг, возьми все, что пожелаешь. И пусть мы будем могильными ворами!.. Возьми и этот великий знак – золотой урей. И соколов не оставляй – они пригодятся детям. Возьми и маску его величества – жизнь, здоровье, сила! И ты перестанешь есть кожу. Ты будешь питаться ягодичной частью барашков… Распеленай это мертвое божество и возьми себе все, что увидишь на нем.

Тхутинахт мучительно колебался. Пальцы его дрожали, подобно пальмовым листьям в вечерний день. Но взгляд его сделался жадным, и казалось, вот-вот набросится он на несметное богатство, лежащее вокруг.

Певеро сорвал золотой урей со лба мумии и бросил его к ногам землепашца.

– Ты трус! – вскричал разгневанный Певеро. – Все, что видят глаза, добыто моим

трудом, Тхутинахт. Твоим трудом, Тхутинахт. Бери без страха все, и благо тебе будет.

– Я сделаюсь вором, я сделаюсь вором, – сказал Тхутинахт. – А я никогда не крал.

Певеро успокоил его:

– Ты возьмешь только свое. Это все наше, Тхутинахт. Этот человек, который подо мной, умертвил моего брата. По слову его сгноили в нубийских копях отца моего. По велению его отсекли мечом голову дяде моему. Он был лютым шакалом. Божественным шакалом. Он утопал в роскоши. А я ел кожу. И ты ел кожу. Так зачем ему эта роскошь и там, на полях Иалу?

Тхутинахт все еще колебался.

Певеро влез на опрокинутую крышку саркофага.

– Смотри, Тхутинахт, – говорил он, – этот мертвый бог так же сух, как и я, как и ты. По одному слову его сожрали брата моего крокодилы. Так зачем возлежать ему среди этой роскоши?

Тхутинахт понемногу приходил в себя. Он уже полагал, что надо унести с собою и золотой урей, и золотого Осириса, и соколов из электра…

– Слушай, брат мой, – говорил Певеро, возвышая голос, – я приходил сюда каждую ночь с тех пор, как прорыл этот ход. Я потешался над этой божественной мумией. Однако же надо, чтобы кто-нибудь знал, что я похитил. Прорыв ход, я выпустил на свободу Ка. Повернув мумию, я лишил своего вместилища Ба.

Тхутинахт принялся собирать разбросанные драгоценности. Он поспешно прятал их в кунжутовый мешок, что принес с собой Певеро. А Певеро тем временем, схватив свободной рукой тяжелый лом, долбил кварцитовый саркофаг. Он уже ничего не видел и не слышал. Он остервенело бил ломом, намереваясь превратить камень в мелкую пыль. Вдруг он обратил свой взор к алебастровым сосудам и ларцам из эбенового дерева. И он ринулся на них, как фараон на врагов.

Тхутинахт попытался унять Певеро, терявшего разум. Он попытался уговорить его покинуть это обиталище божества. Однако Певеро продолжал свое. А когда же Тхутинахт приблизился к нему, то чуть было не лишился головы – тяжелый лом просвистел на волосок от виска.

Тхутинахт схватил мешок и бросился к пролому в стене. С трудом обнаружил он в смежном покое подземный ход. И, вдохнув свежий воздух, текущий снаружи, пополз, словно червь, помогая себе носом, животом, ногами и пальцами рук. И он тащил за собой мешок. И уж не слышал ругательств помешавшегося Певеро…

Вот уже и звезды блеснули. Проглянуло ночное небо величиной с ладонь.

Тхутинахт задыхался. Он обливался потом. И прежде, чем высунуть голову из земли, внимательно прислушался. Все было тихо и там, внизу, в усыпальнице, и здесь, наверху, под небом…

На этом кончается свиток папируса, повествующий о двух, но далеко не единственных, могильных ворах древности, постоянно тревоживших царские усыпальницы Египта.

Что стало с Певеро? Разбогател ли Тхутинахт или же был схвачен фараоновой стражей? Об этом умалчивает история, изложенная нами так, как записал ее от начала и до конца фиванский писец, «весьма ловкий, пальцами» Хемаус-Инени…

1960

Тайна пирамиды Сехемхета

Несколько лет тому назад египетский археолог Мохаммед Закария Гонейм под толщей песка обнаружил пирамиду. Это было в Саккара, на виду величественной ступенчатой громады фараона Джосера.

Найденное каменное сооружение относилось к эпохе третьей династии египетских царей. Однако оно было не достроено; но что самое удивительное – алебастровый саркофаг Сехемхета, преемника Джосера, запечатанный по всем правилам, покрытый погребальными

венками и в свое время установленный в каменной усыпальнице глубоко под основанием пирамиды, оказался пуст. Обследование показало, что гробница не пострадала от могильных воров. Так куда же девалась мумия?

Ответ на этот вопрос дает новый Саккарский папирус, найденный уже после трагической гибели М. З. Гонейма.

Ниже приводится дешифрованный текст свитка, возраст которого равен четырем тысячам семистам годам. Я позволил себе сделать лишь небольшие вставки там, где значительно пострадали письмена.

Мудрейший Ненеби – царский зодчий и главный надсмотрщик над парасхитами, великий звездочет и певец – стоял перед храмом Ра, недалеко от пирамиды Джосера. Бескрайняя Западная пустыня, не успев еще накалиться ввиду раннего утра, была милостива к плодородной долине Хапи и не дохнула еще на нее смертоносным дыханием зноя.

Ненеби смотрел на творение зодчего Имхотепа, а слух его был поглощен криками надсмотрщика и посвистами кнутов, которые доносились оттуда, где сооружалась новая красавица, готовая затмить пирамиду Джосера. Фараон Сехемхет, что значит Могучий Телом, – жизнь, здоровье, сила! – поручил величайшему после Имхотепа зодчему Ненеби строительство своего горизонта, в который готовился подняться, подобно Осирису.

Ненеби был и плечист, и высок. На лбу его множество морщин – одна из них находила на другую. Но глаза ученого сияли, как у молодого воина, точно обсидиановые глаза у золотой птицы Нехебт в храме Ра.

Здесь в состоянии созерцания и глубокого раздумья и застал его царский скороход по имени Ха. Это был сильный человек. Ноги его, словно крылья сказочной птицы. Ха не шагает, а летит.

И сказал Ха, поклонившись мудрейшему Ненеби:

– Его величество фараон Сехемхет – жизнь, здоровье, сила! – повелел передать тебе свое благоволение и пожелание львиного здоровья.

– Жизни ему, здоровья ему, сил ему! – воскликнул ученый.

– Ненеби, великий Сехемхет – жизнь, здоровье, сила! – желает видеть тебя и говорить с тобой.

Ненеби был удивлен.

Что случилось?

Почему в такой ранний час понадобился он его величеству фараону?

И спросил Ненеби:

– Не болен ли великий владыка?

– Болен, – ответил Ха. – Он не спал эту ночь, – ответил Ха. – Кожа его сделалась совсем как золото, – ответил Ха.

Ученый задумался. Он думал так крепко, что казалось, не здесь он, а очень далеко, в стране нубийцев или стране шумеров. Пока он думал, бойкий Ха вытащил занозу из ноги. Была та заноза с мизинец, и ни один из царских скороходов не смог бы стерпеть ее.

– Я иду, – сказал Ненеби, точно просыпаясь ото сна.

– Он ждет, – ответил Ха. – Он желтый, как золото, в своем золотом зале, высоком, как небо.

– Иду, – сказал Ненеби.

И он заторопился вместе с Ха.

Ненеби предстал перед живым богом. И сказал ему фараон.

– Я звал тебя, Ненеби. Я ждал тебя, Ненеби. Я думал над твоими словами, Ненеби. Ты говорил, Ненеби, очень резко. Но ты не лгал, Ненеби?..

И ответил Ненеби так:

– Великий царь, я положил себе за твердое правило не лгать. Не лгать, даже если это неприятно тебе, божественному владыке. Правило это весьма обременительное. С ним трудно. С ним очень трудно жить.

Его царское величество выглядел изнуренным. Он выглядел весьма изнуренным. Ему

приходилось делать большое над собой усилие, чтобы уловить хотя бы малейшее несоответствие между словами придворного ученого и выражением его лица. Красноватые глаза фараона еще больше покраснели после бессонной ночи. Он был как золото, а глаза точно сгустки крови…

Ненеби говорил:

– Мы, твое величество, живем не во времени Нармера. Миновали и годы Небка. Фараон Джосер пронесся по земле на своей золотой колеснице к долине Иалу. Мы живем в просвещенный век твоего величества. Мы научились считать звезды, как никогда раньше. Мы проникли в тайны великой Хапи и точно определяем день ее разлива. Строение человеческого тела открыто для нас, как небо перед очами. Мы достигли совершенства в бальзамировании. Даже шумерам далеко до нас!.. И вот я спрашиваю твое величество: неужели подобает нам строить громады никому не нужных пирамид? Разве воскреснет когда-нибудь тот, кто пролежал семьдесят дней в растворе чистого натрона, чьи внутренности, высушенные и набальзамированные, лежат в конопах? Рэзме мумия способна ожить, подобно Осирису?

– Я думал об этом, – сказал фараон, морщась, как от зубной боли. – Я думал все время после нашей беседы.

Ученый продолжал:

– Человеческое тело, великий царь, исполнено величайшей гармонии. Его Ка живет в нем же. Ка словно вода в сосуде. Когда человек умирает, его Ка испаряется, будто водяной пар. И пропадает. Никто не видел, твое величество, чтобы пыль обретала душу. Душа умирает вместе с живым существом. Разве ты можешь опровергнуть эту истину?

Фараон колебался. Он не мог сказать ни «да», ни «нет».

– Нет! – ответил за него ученый. – Вот нагляднейший пример. Фараон Джосер приказал зодчему Имхотепу соорудить пирамиду, равной которой нет в подлунном мире. Его божественная мумия была перенесена в вечную усыпальницу. Несметная толпа народа исполнила священный танец Мау. Чем все это кончилось? Джосер не только не воскрес, но мумия его бессовестно ограблена и уничтожена могильными ворами. Подумай над этим, твое величество.

Фараон сказал:

– Если послушать тебя, Ненеби, то египтяне должны бросать своих покойников шакалам.

Ненеби вздохнул:

– Разве шумеры выбрасывают мертвецов?

– Не знаю, – ответил фараон. – Ты, кажется, забываешь, Ненеби, что Египет один в подлунном мире.

Ученый воскликнул:

– Тем более! Тем более не следует нам подавать пример невежества. Когда в человеке прекращается борьба огня с водою, он умирает. И Ка его тоже умирает. И всего справедливее предавать его земле или воде. Твое величество обессмертит свое имя в веках, если откажется от дорогостоящей пирамиды и подаст великий пример просвещенного погребения. А иначе – подумать только, великий царь! – мы обратим Египет в страну сплошных пирамид и великих мертвецов. Разумно ли это? Надо, чтобы кто-нибудь подал пример! Надо, чтобы кто-нибудь стал наимудрейшим! Пусть Джосер не понял этого. Но ты – великий царь! Ты живешь в просвещенный и великий век! Не надо оглядываться назад, на царственных предков. Надо смотреть вперед, где зарождаются новые поколения и жизнь, полная неведомых тайн. Человек живет в своих подвигах, а не в высохшей мумии с золотой маской.

Фараон по юношеской привычке грыз ногти.

– Ты забываешь, Ненеби, – произнес живой бог, – что фараоны происходят от Ра. И они не подвластны земным законам.

Ненеби беззвучно рассмеялся. Фараон насупился.

– Ты разговариваешь с владыкой Египта, – сказал он грозно.

Ненеби пал к его ногам.

– Ты очень умен, твое величество, – сказал ученый, не поднимая глаз. – Ты очень мудр. И мне трудно спорить с тобой. Я твой раб, и мой долг – наблюдать за строительством пирамиды. Я клянусь, что она затмит громаду Джосера. Она будет красивее шумерских девушек.

Фараон улыбнулся. Ученый продолжал:

– Я возвел четыре ступени над фундаментом. Рабы и днем, и ночью ставят камень на камень. И днем, и ночью скрежещут полозья и мычат быки. Несметное число мер песка подвезено к пирамиде. Когда будет убрана эта песчаная насыпь, перед взором откроется нечто, по сравнению с чем померкнет гробница Джосера. Мы затмим ее пропорцией форм. Все это будет сделано. Но я еще и еще раз спрашиваю тебя: во имя чего? Чтобы и тебя постигла участь Нармера, Небка, Джосера? Чтобы шарили по твоей божественной мумии грязные руки грабителей?

Его величество сжался, точно ему стало холодно. Он молчал. Он долго молчал.

Ненеби говорил:

– Я не хочу убеждать тебя. Я все сказал еще в прошлом году, когда твое величество изволило беседовать со мной в продолжение долгих ночей. Я, твое величество, продиктовал писцу завещание. Я наказываю своим сыновьям предать меня великому, жизнетворному Хапи.

Фараон сказал:

– И ты станешь добычей крокодилов?

– Я избегну грабителей!

Фараон сказал:

– Ненеби, я позвал тебя не ради новой беседы. Во мне созрело твердое решение, и я желаю довести его до твоего слуха. У меня болит правый бок. Горькая желчь на языке моем. И тело мое желтеет и холодеет. Врачи не в состоянии исцелить меня. Я повелел главному жрецу храма Ра предать мое тело Хапи. Он очень недоволен этим. Однако он не смеет ослушаться. Я повелел своему писцу написать мою волю на папирусе и высечь такие же письмена в храме Ра.

Фараон умолк. Он был в поту. Он был мокрый от пота.

Ученый благоговейно опустился на колени и поцеловал край одеяния живого бога.

Он был очень рад. Он был очень рад.

…И все-таки вышло все не совсем так, как завещал фараон Сехемхет, повелитель Верхнего и Нижнего Египта.

Саккарский папирус, известный теперь под номером 768, следующим образом излагает заключительную часть истории, раскрывающей тайну пирамиды Сехемхета:

«И вот живой бог покинул землю. Угас золотой урей на его царственном лбу. И как повелел он, был обернут в широкие пелены. Тело его, не испытавшее бальзамирования, было тайно предано великой реке Хапи.

Рабы, опускавшие усопшего фараона в холодную Хапи, были приведены к вечному молчанию. Вскоре пустой алебастровый саркофаг, запечатанный всеми печатями, был перенесен в погребальную камеру, вырытую в скале под недостроенной пирамидой. И был исполнен священный танец Мау. Главный жрец храма Ра освятил вход в камеру и запечатал его царскими печатями…»

Пирамида так и осталась недостроенной. Тайна ее теперь уже не тайна. Однако стараниями жрецов, верных своему делу, выросли новые громады – пирамиды Хуфу и Хефра, Сахура и Ниуссера, Нефериркара и Неферефра идругие.

1961

Возвышение фараона Нармера

Когда Умеду, жрец храма бессмертного Ра, прибежал во дворец и бросился на живот свой и оцарапал о каменные плиты нос свой, фараон Нармер не был еще живым богом, но первым номархом среди номархов Верхнего Египта.

Фараон с удивлением и даже испугом наблюдал за тем, как ползает на тучном животе своем этот самый Умеду, не очень-то радивый служитель бога, обуреваемый ненавистью к верховному жрецу.

И вот Умеду заговорил громко, очень громко:

– О великий из великих, бессмертная река Хапи, дарующая зелень Египту, сильнейший среди львов, оплот справедливости во всей вселенной, Амон-Ра, владыка Мемфиса, попирающий своей стопою Дельту, Собек, Гор, Монту, Хатар, Агум, Сопду, Нефер-бау, Семсеру, Гор Восточный, Владычица Имет, которая на голове твоей, Совет богов на водах, Мин-Гор посреди пустыни, Великая госпожа Пунта, Горуэр-Ра и все боги Египта и островов моря, великий повелитель всего сущего, бог живой и бессмертный!

Сильный телом и дланью своей, не раз проливавший вражью кровь, фараон впервые растерялся. А Умеду продолжал извиваться на камнях, подобно червю.

– Встань же, – сказал смущенный фараон.

– Я не смею! Яне смею! – вскричал Умеду. – Глаза мои недостойны лицезреть живого бога, повелителя вселенной!

Фараон, опоясанный нубийским мечом, которым умело действовал во многих битвах, не знал, что и говорить, ибо никогда не видел подобного. Между тем Умеду все ползал на животе, причитая:

– Червь я невзрачный! Песчинка я в пустыне, недостойная твоей божественной стопы!

Умелый, очень умелый писец Ашери клятвенно свидетельствует о том, что в эти мгновения, именно в эти мгновения, фараон почувствовал себя живым богом. И в нем забродила могучая душа, как бродит пивная брага, приготовленная шустрыми рабынями. И увидел фараон, как смертный ползает пред ним, и услышал он эти слова жреца, и великая сила Ра точно вселилась в его грудь, и понял он, что вечно сиять ему рядом с солнцеликим…

А жрец продолжал тереть носом каменные плиты.

– Мы рабы бессловесные по сравнению с тобой, – говорил он. – Голос твой точно голос горлицы, и каждое слово твое как сгустки меда.

Фараону, косноязычие которого хорошо было известно, захотелось пнуть ногою этого лживого Умеду. «Однако, – подумал фараон, – почему бы и не быть мне сладкоречивым, как соловей, если бог я живой?» И не отвратил ушей своих от жреца, ползавшего перед ним. Напротив, теперь он слушал его не без удовольствия.

Фараон Нармер был в расцвете своего величия. Он утвердился в Верхнем Египте, только что усмирил восставшую Нубию. Из Мемфиса его соколиные глаза уже видели Дельту, изгибающуюся, словно тростник, под его дланью. Мир склонялся к его ногам, меч его был всемогущ, но только сейчас ощутил в себе фараон необычайную силу, присущую живому богу. И все этот Умеду…

Однако Умеду не первый среди жрецов. Что скажет верховный? Он стар и мудр, и слова его словно камни – они очень опасны.

И фараон осторожно спросил:

– А будет в согласии с твоими справедливыми речами верховный жрец?

Умеду неожиданно вскочил и приблизился к живому богу. Он сказал:

– Ужели истинный служитель бога Ра осмелится возвысить голос против истины?

Фараон сказал:

– А военачальники мои? Будут ли они в согласии с твоими справедливыми речами? Особенно Каи, который словно бешеный лев для врагов? Особенно Аму, который опасней крокодила для врагов?

И снова пал на колени жрец Умеду, и целовал ноги владыке мира, пахнущие потом и пылью, и говорил:

– О сладостный бальзам! О величайшая из благодатей!

И просил разрешения, чтобы сказать недостойное его величества слово.

Фараон оставил тронный зал и вошел в маленькую комнату, где беседующих мог слышать только великий Ра – жизнь, здоровье, сила!

И сказал жрец Умеду:

– Величайший и справедливейший из сущих! Твое царское величество! Живой бог, дарованный Египту, словно жизнетворный Хапи! Я открою тебе, я открою тебе тайну сокровенную. И глаза твои увидят путь, ведущий к единодержавию и власти, достойной солнцеликого, и ты будешь возвеличен от скал Нубийских до островов моря, и станешь ты подобием солнца восходящего. Для этого надо взять сердце свое в руки свои и отсечь несколько непокорных голов. Отсечь, чтобы покатились они на плиты каменные, подобно тыкве шумерской. Твое величество, ты и не подозреваешь, сколь веским доказательством твоей божественности явится та черная кровь, которую прольешь ты ко благу Ра – великого и непогрешимого. Я знаю все, я знаю все! Послушайся меня – и благо будет тебе! Есть в мире страх, есть в мире страх. И человек пред ним словно ящерица трепетная и трусливая. Есть в мире страх, который человека превращает в зайца. Убей тех, кто не видит силы твоей божественной, и благо тебе будет!.. Есть в мире страх, и он обращает людей в стадо баранов. Возьми ты в руки божественный меч свой, и благо тебе будет!.. А писцы прославят деяния твои в веках! Я знаю все, я знаю все!

Умеду приник губами к ногам фараона, словно к роднику, лобызал их лобзанием преданной собаки.

Фараон Нармер думал и решал…

Он подумал и решил!

Вот свидетельство Ашери, написанное им самим:

«…И, когда вошли в тронный зал семеры и жрецы и возгласили трубы, явился его величество и занял место на троне из эбенового дерева, инкрустированного золотом и слоновой костью. И снова повалился на каменные плиты жрец Умеду и ликовал громогласно, что узрел он бога живого и солнцеликого, и целовал он стопы его величества.

Жрецы и семеры стояли, словно каменные изваяния. Не видели они никогда ничего подобного, и в книгах о подобном не говорилось ничего.

Военачальник Аму сказал, протирая глаза, как после сна:

– Что творит этот больной, дергающийся на полу?

Военачальник Ка-и сказал:

– Что это значит, что это значит? Разве здесь живой бог, в этом зале?

Еще не стихли слова эти под сводами зала, а уж нубиец взмахом меча отсек голову Аму и взмахом меча отсек голову Ка-и. И покатились две головы, словно тыквы шумерские.

И тогда пали ниц семеры, пали ниц военачальники, и вторили они жрецу Умеду, ибо стоял перед ними страх, превращающий человека в зайца и ящерицу трепетную.

И только верховный жрец Хемуи не преклонил колен и не причитал, ибо был он в это время в храме, где поклонялся бессмертному Ра… Но как только услышал о происшедшем, поспешил он в тронный зал, словно муж на зов утопающего. Поспешил верховный жрец Хемуи в тронный зал, чтобы самолично увидеть содеянное…

И предстал Хемуи, жрец богобоязненный и справедливый, перед троном фараона Нармера. И увидел он подручного своего, валяющегося в пыли, увидел семеров и военачальников, валявшихся в пыли, и вопросил Хемуи:

– Что это значит? Что это значит?

– О бог наш Ра, дарующий жизнь! – воскликнул Умеду, а вслед за ним – семеры и военачальники.

– Что это такое? Что это такое? – говорил разгневанный Хемуи. – Разве бог Ра переселился в этот тронный зал, в этот зал фараона?

Нармер, который стал живым богом, сказал громогласно:

– Да!

И увидел Хемуи возле себя раба-нубийца с обнаженным мечом, и увидел конец свой. И

сказал богобоязненный Хемуи:

– Нармер, которого знал я номархом и воином, с которым делил я кружку пива и ячменную лепешку! Ты не бог, ты не бог и никогда им не будешь! Непрочен мост, сооруженный на костях человеческих. Берегись, ибо кровь человеческая способна вопить и вопль ее погубит тебя и славу твою погубит. Берегись!

– Казни этого богохульника! – вскричал Умеду.

И фараон сказал с высоты своего божественного величия:

– Ты слышишь, Хемуи недостойный, что говорит Умеду, избранный богом Ра верховным жрецом?

Хемуи усмехнулся:

– Разве бог избирает самого нерадивого?

Посинел от этих слов Умеду. И цвет лица его стал похож на цвет лазурита. Фараон сказал:

– Вот шевельну я пальцем, вот шевельну я пальцем – иголова твоя, Хемуи, падет на эти камни, точно тыква шумерская. И погребен ты будешь, точно раб, без священной пляски Мау, и не будет в мире мумии твоей, ибо таково желание мое, брата бессмертного Ра.

Хемуи был стар годами. Но сердце его было отважным. Он сказал:

– Делай как знаешь, делай как знаешь!

И он смеялся в лицо фараону.

– Чему ты смеешься, недостойный? – спросил его живой бог.

Хемуи ответил так:

– Я смеюсь тому, что и ты умрешь рано или поздно. И вот эти, которые лежат на камнях пред тобою, разграбят погребение твое и станут поносить имя твое. И сколько бы ни было злодеев после тебя, все они последуют за тобой, и ни один из них не будет иметь вечной власти над людьми. Я смеюсь, я громко хохочу потому, что ты вовсе не бессмертный бог!

Так говорил верховный жрец, и смерть настигла его в тронном зале…»

Вот свидетельство правдивейшего из писцов Ашери:

«Воцарился живой бог в Мемфисе. И падали египтяне на живот свой при виде его. И при имени его. И слово Нармера стало как меч, как молния в горах нубийских. И не было человека, который бы не сказал:

– Вотон, живой бог, дарующий жизнь!

Не было иного, ибо кто говорил противное, тот лишался головы, поражаемый гневом бессмертного и сслнцеликого, восседавшего на троне своем из эбенового дерева…»

Случилось это тогда, когда фараон Нармер из простого смертного превратился в живого бога, – пять тысяч сто шестьдесят три года тому назад.

1961

Заветное слово Рамессу Великого

Его высочество принц Мернептах подошел к тяжелым резным дверям и остановился, словно не решаясь переступить порог. Два рослых нубийских стража почтительно расступились перед ним.

– Джау, – сказал принц жрецу Амона, другу детства, – подожди меня. Вот здесь.

Принц указал на низенькую скамью из эбенового дерева. Жрец кивнул. Это был знак согласия. В то же самое время это было благословение. Это был кивок друга. Уже стареющего жреца. Стареющему, шестидесятипятилетнему принцу.

И когда он открыл тяжелые двери, и когда он вошел в просторный зал – благой бог, его величество Ремессу Второй Усермаат-ра-Сотепен-ра восседал на троне, прямой, как в молодости, и, казалось, неукротимый, как во все годы шестидесятисемилетнего царствования.

В зале не было никого, кроме принца и фараона. В зале не было даже лучей солнца,

которое еще не успело взойти. Ибо прежде него всегда бывал на ногах благой бог, его величество Рамессу Второй Усермаат-ра-Сотепен-ра. Так было заведено от начала этого великого и беспримерного царствования бога-героя, сокрушителя азиатов, ливийцев и многочисленных морских разбойников – шерденов, грозы Нубии и Эфиопии, чей взор достиг пределов Офира и Пунта.

Фараон держал в руках знаки своей безграничной власти. Его дыхание слышали в Дельте, за порогами Хапи, далеко в Нижнем Ретену и пустыне Запада. Царь хеттов внимал его слову. Львы дрожали в песках при одном его появлении. Пыль курилась дымком на вершине пирамиды Хуфу, когда благой бог изволил говорить в полный голос.

Крючкообразный посох фараона светился множеством разноцветных финикийских камней. Многохвостая плеть в руке его была точно радуга на небе.

Принц почтительно подошел к отцу. Поцеловал его левое плечо. И стал слева. Фараон улыбнулся одними губами, посмотрел на принца одними глазами, не поворачивая головы.

И увидел принц, что в глазах его величества – здоровье, на щеках его – сила и на губах его – любовь к сыну. На сухих губах, которым уже девяносто лет, три месяца и двадцать один день.

Шестьдесят пять лет глядит на эти губы, на этот подбородок принц Мернептах. Двенадцать старших братьев его, двенадцать принцев так и не дождались престола. Они умирали один за другим. Во цвете лет. Полные сил. От болезней или вражеских мечей. А бескрайний Египет пребывал во власти старого фараона – жизнь, здоровье, сила! – старого, очень старого бога. Вот состарился и тринадцатый сын, а его величество все на престоле. И враги этой земли потирают от удовольствия руки, ибо владыка – тень того молодого Рамессу Второго, героя битвы при Кодшу, попиравшего стопою своей страны и народы…

Не предложил на этот раз фараон своему сыну ни скамьи, ни циновки у своих ног. И принц продолжал стоять, чтобы выслушать снова благого бога.

А когда его величество открыл уста, когда он вдохнул побольше воздуха в грудь, чтобы легче было говорить, Мернептах вдруг увидел перед собой старого, очень старого человека, которому легче было сидеть вот так, ровно, с посохом и плетью, нежели произнести несколько слов.

Принц был любящим и почтительным сыном. Он хорошо знал, чья кровь течет в его жилах, знал, что вся великая страна внимает каждому слову своего фараона и слово фараона есть камень с нубийских гор. И тот, кто сидел сейчас там, за дверью, – верный Джау, – тоже знал, сколь крепка десница фараонова и сколь твердо его слово, летящее, как птица, во все концы египетской земли…

Фараон начал медленно, внятно. Правда, негромко, но так, словно вокруг находились военачальники, готовые к штурму вражеской крепости. И речь его была ясна, как небосклон в это раннее утро, когда солнце только-только начинает свой путь в сторону Западной пустыни.

– Сын мой, – сказал его величество, – есть вещи, которые доподлинно должны быть известны владыке этой земли, если он действительно хочет быть владыкой, а не щепой на высокой воде Хапи. У настоящего владыки глаза должны быть открыты.

– Это так, – подтвердил принц.

– Я желаю, сын мой, чтобы ты всегда стоял на верном пути, а наша страна благоденствовала вечно. Если я не скажу тебе правды, – беда нам, беда Египту. Простолюдин скажет неправду семеру, семер скажет неправду тебе, а ты мне скажешь неправду – что же тогда будет? Столько неправды даже великая пирамида не выдержит.

– Это верно…

– Я предпочитаю иметь против себя десять тысяч шасу с обнаженными мечами, нежели одну неправду, которую сообщит мне джати из любви ко мне.

– Это верно…

– Поэтому я желаю посвятить тебя в тайну, которая стала тайной благодаря моему величию и низости моих писцов. – Фараон вздохнул. – Что ты знаешь, сын мой, о битве при

Кодшу?

Принц удивился. Что он знает о битве при Кодшу? О той самой, которая прославила Рамессу Второго? Что он знает о битве?.. Принц был озадачен.

– В этой битве, – сказал он, – благой бог, его величество Рамессу Второй Усермаат-ра Сотенен-ра – жизнь, здоровье, сила! – разбил царя хеттов Метеллу, один выстоял против азиатов, один повергнул во прах своих врагов и ступил на землю египетскую как властитель вселенной.

Это был официальный ответ. Такова была формула, которая точно и сжато выражала официальную версию битвы при Кодшу – величайшей, которую когда-либо вел Рамессу Второй.

Фараси усмехнулся. Уголками губ. Едва заметно. Не глядя на сына. И покачал головой, как бы выражая сомнение в том, о чем говорил принц, как бы желая опровергнуть все слова принца. Фараон сказал:

– Нет.

Хотя это «нет» и было произнесено спокойно, негромко, принцу показалось, что обвалился потолок. «Что слышат мои уши?» – подумал Мернептах.

– Я скажу тебе нечто, – бесстрастно продолжач фараон, – нечто такое, что сослужит тебе хорошую службу на троне. Я скажу тебе нечто, что сделает тебя воистину великим. Выше меня. Чтобы великим ты был сам по себе, а не двойник твой, созданный моими слугами для сказок и песен.

Мернептах казался смущенным. Неужели фараон решил покрыть позором свое имя, отрицая величайший из своих подвигов?..

– Я скажу тебе о битве, сын мой, скажу о битве, сделавшей меня солнцеподобным в глазах смертных. Но я расскажу тебе правду о битве при Кодшу. И эта правда сделает тебя достославным из всех фараонов, сидевших на троне Верхнего и Нижнего Египта… Да, я осадил этот город, который на дороге в Нижний Ретену. Я осадил его. Я подошел к стенам Кодшу, пройдя через пустыню с моими отрядами, дыша песком и размалывая песок на зубах. И в глазах моих был песок, и я смотрел через камни, которые были в моих глазах. И веки мои покраснели и чуть не кровоточили. Но я шел вперед во главе отряда Амона, а за спиною у меня были отряды Ра, Птах и Сутех. Я несся, как птица Нехебт, потому что был молод и не знал усталости, ине было золота на коже моей и в крови моей, как сейчас.

Фараон говорил медленно, словно берег свои силы, что было не удивительно в его девяносто лет. На лице его было золото, и в крови его было золото. А в глазах горел огонь: это жар сердца изливался через них.

– А когда я подошел к стенам Кодшу, я не увидел Метеллу-азиата. Войско его скрылось, точно мышь при виде тигра. И я приказал разбить лагерь и расставить вокруг боевые колесницы. Но вот откуда ни возьмись кинулись на нас азиаты, и смяли они мой лагерь. И я оказался один против врага… Это правда.

– Знаю, – сказал Мернептах.

– Ты ничего не знаешь, – проговорил фараон, по-прежнему глядя прямо перед собою и словно в воздухе читая тайные письмена. – Ты не знаешь всего, но тебе даны уши, чтобы ты слышал то, что услышишь… Да будет тебе известно, что в тот день я бился, как лев. И одним глазом смотрел на юг. Я смотрел на юг, и не видел пыли, и не видел войска моего. А вокруг были враги. Напротив, на том берегу Оронте, стоял сам Метелла и с ним войско – восемь тысяч пращников, тяжело вооруженных, и лучников тоже. Метелла стоял на том берегу и ждал моей смерти.

Принц поднял руку, желая показать, что крайне неприятно слышать о смерти истинного льва, если даже речь идет о прошлом.

– Ты слушай, слушай, – строго сказал фараон. – Ты узнаешь истинную правду о битве, которая удивила мир, живущий под солнцем. И нет человека в мире, который не знал бы о той победе, и не было бы победы без меня.

Принц наклонился и поцеловал руку фараона, сухую, как пальмовая кора.

– Но, сын мой, если бы кто-нибудь из моих военачальников одержал именно такую победу, какую одержал я, я приказал бы казнить его без промедления. Слышишь?

– Слышу, – ответил принц.

– Понимаешь меня?

– Нет, – сказал принц.

Фараон почему-то глотнул воздуха. Как рыба на песчаном берегу. Он сказал:

– Дело в том – и ты запомни это, – что я проиграл битву при Кодшу. Я едва унес ноги. И слезы бессилия стояли у меня в горле. И сухие были глаза. Я до сих пор не уразумею: почему Метелла не убил меня? Почему не преследовал и не связал меня как пленника? Я не был в Кодшу. Не взял его. Потому что не смог. Видел его только вблизи, как вижу тебя. Когда я унес ноги с поля боя, когда увидел над собою штандарты отряда Ра и Метелла предложил мир, я сказал себе: это Амон-Ра дарует мне жизнь и отвращает от меня позор!

Мернептах стоял, скрестив руки, и глядел себе на кончики сандалий. Его смущала эта откровенность отца, и он не знал, как ему поступить.

– А когда я вернулся к нашей благодетельнице Хапи, – продолжал фараон, – и умыл лицо ее божественной водой, трубы играли победу, а писцы и ваятели уже прославляли меня на все лады. И семеры лизали мне руки, как псы. Битва при Кодшу была возвещена всему миру, я был вознесен выше небес. И я стоял рядом с солнцем, которое на небе, и братом моим был Амон-Ра. Жрецы не жалели в храмах благовоний, которые из Пунта и Офира. На храмах высекались победные надписи – от пола до потолка. А та, кто знал правду, были сосланы на рудники в Нубию, и они подохли, как голодные шакалы. И живописцы. И писцы… Вот как все было…

Фараон передохнул. Он посмотрел в решетчатое окно и заторопился:

– Зачем я все это говорю тебе, принц Мернептах?

Тон был особенно сухой. Официальный.

– Не знаю, – глухо сказал сын.

– Чтобы остерегался лгунов и вертящих хвостами добрых собак, – сказал фараон. – Они могут погубить наш великий дом и запросто отдадут страну врагам нашим. Ты слышишь меня?

– Да, – ответил принц.

Фараон прикрыл глаза и тихо сказал:

– Иди.

И указал плетью на дверь.

Мернептах вышел из зала, и нубийцы прикрыли за ним двери, тяжелые, точно каменные плиты. Джау нетерпеливо бросился к нему.

– Что случилось? – спросил он. – И отчего ты так задумчив?

Принц отвел его в сторону, к большому окну, из которого был виден весь двор и Дельта была как на ладони. Солнце вставало за просторами азиатскими, и поднимался пар над рекой.

– Джау, – сказал принц, – он был слишком откровенным.

– Так.

– Он сказал, что битву при Кодшу проиграл…

– Так.

– … а не выиграл.

– Скорей! – крикнул Джау и побежал в зал, увлекая за собой принца.

А когда они добежали… Когда они приблизились к трону, благой бог лежал, запрокинув голову и опустив руки, из которых выпали знаки царственной власти. Золото, золото покрывало лицо фараона, и он уже был подобен мумиям, которые в пирамидах.

– Вознеслась душа, – проговорил жрец.

Принц стоял в полной растерянности. И он услышал как сквозь стену слова Джау, обращенные к новому фараону:

– Твое величество, свершилось предначертанное. И это должно было быть именно так,

ибо откровенность его была чрезвычайной. Так может говорить благой бог только перед смертью. И он хотел помочь тебе, потому что был великим воином!

– Ты так думаешь? – спросил Мернептах.

Жрец промолчал.

1965

Чудак

Олень был съеден. Обглодан до последнего суставчика. Женщины убрали кости.

В шикарную гостиную принесли холодной воды, подслащенной диким медом. Вода аппетитно булькала в мешке из медвежьей шкуры, напоминавшей бурдюк.

Комната была вырублена в прочной суглинистой скале. Яркий свет врывался из входа диаметром с обруч сорокаведерной бочки. Густо пахло дымом, подгоревшим мясом и шкурами, которыми была устлана гостиная. В общем, это жилище вполне соответствовало тому высокому положению, которое занимал Ахаун – вождь мудрого и живучего племени. Это племя занимало небольшой уголок на том самом месте между Тигром и Евфратом, на котором за пять тысяч лет до этого счастливо коротали свой век Адам и Ева.

Ахаун, мужчина лет тридцати, неторопливо обсосал пальцы своих рук, только что беспощадно ломавших оленьи ребра. Хитровато улыбнулся и сказал своим гостям:

– Как видно, всем понравился олень…

Здесь находились только лучшие: лучший зверолов, лучший метатель камней, лучший охотник на барсов, лучший следопыт, сильнейший борец, лучший скороход.

– Да, да, да! – гаркнули гости в один голос.

– Червячка заморили? – спросил хозяин.

– Да, да, да! – сказали гости.

– А там жарится еще один, – порадовал хозяин.

Гости оскалили зубы, от души приветствуя нового оленя.

Борода у Ахауна достигала пупа. За трапезой он ее перекидывал через левое плечо. Но что может быть приятней после еды, чем запустить пятерню в бороду и чесать ее этак медленно, этак основательно, время от времени грубовато подергивая ее? Знаете, от удовольствия мурашки по пяткам бегают…

Ахаун сказал:

– Но прежде я хотел бы, чтобы вы послушали одного чудака…

– Чудака? – спросил зверолов.

– Чудака…

– Как это – чудака? – словно бы не расслышал лучший метатель камней.

– Вот так – чудак! – Вождь племени чуть не продырявил себе указательным пальцем висок, чтобы показать, какой же это непроходимый чудак.

– Где же он? – сказал следопыт, шмыгая носом, точно чудак должен был пахнуть как-то особенно.

– Он ждет на лужайке. Перед моим домом.

Охотник на барсов вышел из пещеры, чтобы привести этого чудака.

Ахаун сказал:

– Вы сейчас услышите нечто, но вы не смейтесь. Изо всей мочи крепитесь. Не вздумайте хохотать. Вы меня поняли? Слушать серьезно…

– Поняли, – сказали гости.

– То есть и вида не подавайте, что он порет чепуху…

– Трудно, но постараемся, – сказал первый силач.

Вождь посмеивался. Поглаживал бороду и посмеивался. Предвкушая удовольствие. Он ткнул пальцем в грудь зверолова.

– Слушай, – сказал Ахаун, – ты не смотри на меня, когда этот чудак начнет говорить.

– Почему не смотреть?

– Умру со смеху.

– И ты не гляди на меня.

Вдруг стало темно: это охотник на барсов вел за собой этого самого чудака и загородил вход.

Ахаун откашлялся. Напустил на себя важный вид. Остальные последовали его примеру.

Вслед за охотником в гостиную вошел худой, обросший волосами человек. На вид он казался старым. И на самом деле он был не молод – уже за шестьдесят. На боках можно ребра пересчитать. Глаза впалые, горят, как звездочки в ночи. Острый нос, оттопыренные уши, седая голова. Он постоял немного, а потом присел на корточки возле теплой пещерной стены,

В гостиной стало тихо. И в той, смежной комнате тоже не было слышно женских голосов. Вождь смекнул: они притаились и подслушивают мужской разговор.

Ахаун сказал:

– Уакаст, у меня собрались наши лучшие люди…

Тот коротко кивнул.

– Они хотят выслушать тебя…

Снова короткий кивок.

– Им не терпится узнать, что ты задумал.

Гости прорычали что-то невнятное, но, по-видимому, одобрительное: да, они желают послушать этого человека. Который у стены. Который на корточках.

– Говори, – сказал Ахаун. – Мы слушаем.

Уакаст задумался. Кашлянул. Почесал кончик носа.

И начал, упершись взглядом в земляной пол:

– Я хотел сообщить нечто.,. Может быть, я самоуверен?.. Это решите вы сами… Нет, я, кажется, взялся за дело не с той стороны…

«Он к тому же еще и косноязычен», – подумал вождь. Ему даже стало жалко этого хилого человека, пытавшегося что-то сделать. Причем искренне…

– Ну вот, теперь я нащупал свою мысль, – продолжал Уакаст извиняющимся тоном. И оживился: – Я много лет наблюдал людей. Много лет я слушал их. Особенно стариков. Потом я наблюдал себя. Я даже готов был умереть…

– Умереть?! – воскликнул вождь.

– Да, умереть.

– Закрыть глаза я…

– Вот именно.

Этот Уакаст говорил о смерти так, словно собирался сходить на берег реки и утолить жажду. Гости переглянулись, но не проронили ни слова. Уакаст пояснил:

– Я готов был умереть ради выяснения истины…

– Чего? Чего? – перебил его зверолов.

– Истины.

– Это еще что такое?

– Истина?

– Да, эта самая!.. С чем ее жрут?!

Уакаст пожал плечами Он решил, что лучше всего продолжить свой рассказ…

– Одним словом я не спал много ночей. Порой ходил и думал. Наяву. А будто бы во сне…

– Постой, постой! – промычал следопыт. – Как это – во сне? Этого не бывает!

– Где? – спросил тихим голосом Уакаст. – Где не бывает?

– Со мной не бывает!

– Верю. Я верю тебе. А со мной это случается, и довольно часто.

«Сейчас они начнут хохотать», – подумал вождь, едва сдерживая себя. Поэтому он ни на кого не глядел.

– Да, со мной это случается, – продолжал Уакаст, – особенно в последнее время, когда я пришел к твердому убеждению.

– К чему? К чему? – разом выкрикнули гости.

– К твердому убеждению.

– Слова-то какие! – проворчал метатель камней.

– Говори дальше, – предложил вождь.

– Чтобы не утруждать вашего внимания, я скажу покороче. Значит, так: наблюдая человека в его повседневной жизни, я пришел к заключению, что…

Уакаст умолк, глубоко вздохнул, словно готовясь к большому прыжку.

«Да говори же… Говори же ты…» – подумал вождь и в сердцах вырвал волос из бороды.

Гостей утомило это длинное вступление. Это похоже на то, что поставили перед тобой жареную дичь, а забавляют праздной болтовней. Ты голову не морочь, подавай самую суть! Да поживее!..

– …я пришел к заключению, что очень важно мыть руки в воде. Мытье рук, особенно в проточной воде, многим продлит жизнь и значительно улучшит состояние здоровья…

– Чего? Чего? – вопросил метатель камней, хотя он отлично слышал каждое слово Уакаста.

Уакаст спокойно и неторопливо повторил:

– Значительно улучшит состояние здоровья…

– Мытье рук?

– В проточной воде?

– При чем здесь руки?!

– И при чем вода?

Так говорили гости, а точнее – выкрикивали. По всему чувствовалось что они крайне возбуждены. То есть возбуждены настолько, что готовы отлупить этого чудака несущего такую околесицу, которую и слушать невозможно

– Да, – невозмутимо продолжал Уакаст, – я точно установил это. Я много голодал на своем веку. И много холодал. Порою глина была мне пищей. Очень часто голова моя находилась под уступом скалы, в то время как по телу моему хлестал ливень. Но я все сносил в надежде, что открою нечто, что весьма и весьма будет полезно для всех, для всего мира, который между Тигром и Евфратом…

Вождь остановил его Он потребовал полной тишины, чтобы и мухи не слышно было.

– Уакаст, – сказал вождь, – значит, так; я мою руки, и здоровье мое улучшается?

– Если угодно, то да!

– Значит, так: я мою руки, и дни моей жизни продлятся?

– Да!

Вождь не унимался, хотя этот Уакаст отвечал недвусмысленно и четко:

– Значит, так: все наше племя моет руки, и оно здоровеет?

– Да!

И тут вождь не выдержал – покатился на землю, хохоча, исходя слезами от хохота. За ним, не выдержав, последовали все гости, все до единого. Они катались как дети, они ошалело смеялись – визжали, пищали гоготали. Каждый на свой особый манер.

Уакаст еще больше побледнел. Он стал желтее глины. И звездочки в его глазах погасли.

Вождь едва перевел дух. Едва пришел в себя.

– Вы слышали этого чудака? – проговорил он не без труда. – Нет, вы слышали?! Вон отсюда, несчастный! Чтобы ноги твоей не видел здесь! Надувай кого-нибудь, кто поглупее! Вон! Вон! Вон!

Откуда-то из глубины пещеры полетели в Уакаста обглоданные оленьи кости. Уакаст не стал дожидаться, когда ему проломят голову, он выскочил наружу. Он бросился в ближайший лесок.

– Нет, вы слышали? – неистовствовал вождь. – Пришел разнесчастный чудак и стал молоть такую чепуху, точно перед ним дети!

– Охе-хо!

– Аха-ха!

– Хи-хи-хи!

– Хэ-хэ хэ!

– Го-го-го!

Это смеялись над чудаком.

Измывались над его бредовыми мыслями.

Над его словами.

Над его руками.

И водою, которая, дескать, столь целебна…

Охо-хо! Аха-ха! Хи-хи-хи! Хэ-хэ-хэ! Го-го-го!

Горы содрогались от этого могучего смеха…

1970

Смерть святого Симона Кананита

1

Случилось это в сороковой год от рождества Христова в местечке, именуемом Псырцха, на земле диких абасгов.

Святой апостол Симон Кананит обошел много земель от северных пределов Египта до самых Кавказских гор. Неся благую весть, он вступил на землю колхов и, пренебрегая крайней усталостью, двинулся дальше.

Он шел, как простой странник, питаясь корнями диких кустарников, утоляя жажду у лесных родников. Борода ею спуталась, пожелтела от пыли, ноги покрылись язвами, грубая власяница сопрела от пота. Влекомый несокрушимой верой в учение Христово, апостол достиг Абасгии[27].

Силы покидали его. И все-таки он шел вперед. День проводил в пути, а ночь – в горячих молитвах. Абасги, одетые в яркие одежды, приветливо встречали святого старца, кормили диким медом и кислым молоком. Апостол подолгу разговаривал с ними, пытаясь обратить их к великой вере Христовой. Он терпеливо благовествовал, и слово богово, казалось, с трудом проникало в их грубые души, ибо абасги отвечали так:

– Добрый странник, ты гость наш, и двери наших хижин открыты для тебя. Что же до твоих слов, смысл которых едва постигается нами, мы подумаем о них после. После того, как ты побываешь в Псырцхе и наши вожди убедятся в истинности твоих речей.

Апостол осенял их крестным знамением, говоря:

– Чада мои, сердца ваши снедаемы дьявольскими сомнениями. Но велик господь наш, могущественно слово Христово, и вы вкусите святую благодать.

Так говорил апостол. Абасги же, слушая его, улыбались, как дети.

2

Жарким майским днем апостол Симон появился у крепостных ворот местечка Псырцха. А накануне он отдыхал близ полуразрушенного города Диоскурия, укрепив молитвами и пищей свою плоть, старательно вычесав бороду и омыв в морской воде бренное тело. И стала походка его твердой, глаза засверкали, словно звезды, гордо запрокинулась голова. Он готов был спорить с целым сонмом варваров, убеждая их в величии веры Христовой…

У крепостных ворот апостола встретила стража и препроводила его к вождям абасгов, одетым в доспехи из буйволовой кожи и высокие шапки из овечьей шерсти.

---

[27] Абасгия, Абазгия – древняя Абхазия.

Святой осенил их крестным знамением и воскликнул звонким голосом:

– Во имя отца и сына и святого духа!

Вожди удивленно переглянулись, ибо ничего подобного доселе слышать не приходилось. Один из вождей, по имени Сум, обратился к толмачу, а тот к страннику с таким вопросом:

– Кто ты, откуда и зачем пожаловал к нам?

Вместо прямого ответа апостол с большим воодушевлением принялся рассказывать о господине своем Иисусе Христе – сыне человеческом, о двенадцати апостолах его, среди коих оказался и предатель по имени Иуда.

Святой человек благовест вовал о триедином боге, о вере Христовой, победно шествующей по Иудее, Египту. Ассирии, Вавилону, Риму и множеству других стран. Учение Христово, свидетельствовал он, разит неверные души, сокрушает капища, низвергает идолов. Близок день вселенского торжества, ибо властвует надо всем сущим господин всего сущего Иисус, принявший смерть за грехи людские!..

Без устали держал свое слово святой апостол, и речь его переводилась с арамейского на язык абасгов опытным толмачом.

До вечера благовествовал святой Симон, а когда взошла луна, абасги разошлись, чтобы с утра снова обратить свой слух к речам неведомого гостя.

Апостол вошел в ближайшую оливковую рощу, чтобы провести здесь ночь в горячих молитвах.

3

А наутро, когда вожди абасгов были в сборе, великий апостол, сполоснув лицо в речушке, предстал перед ними.

И Сум вопросил:

– Незнакомец! Вот явился ты издалека и обращаешь к нам свое слово, и мы с почтением слушаем тебя, ибо ты стар, и седины в твоих волосах и бороде, и лицо твое в сухих морщинах. Скажи: верно ли, что ты требуешь от нас, чтобы мы твоего господина по имени Иисус признали своим господином?

Апостол воскликнул:

– Истинно так, ибо сметены будут с лица земли и будут обращены во прах ваши капища, кои я видел множество. Исполнится сие, ибо господин мой всемогущ и беспощаден к нечестивцам во гневе своем.

Сум сказал так:

– Незнакомец! Годы твои немалые, и долг наш – отнестись к тебе с должным почтением. Отвечай нам: кто твой господин?

– Мой господин, – отвечал апостол, – властитель тела и духа нашего. Он – сын человеческий, предреченный пророками древности, вознесшийся на небо и повелевающий всеми нами, всеми помыслами нашими, всеми тварями земными.

Апостол поведал о том, как жил и какие чудеса явил миру Иисус Христос, как умер он для того, чтобы воскреснуть, и ожить, и вознестись на небо, и занять место одесную господа бога. Поведал и о том, как Христос шел на Голгофу, неся свой крест. Сын человеческий, говорил он, искупил своими страданиями грехи людские, кои громоздятся выше наивысоких гор. И о тайной вечере говорил апостол, о кротости сына человеческого, живым вознесшегося на небо.

Гневными проклятиями проклинал апостол Иуду, предавшего за тридцать сребреников Иисуса Христа. Весь день говорил святой человек о страданиях сына человеческого на кресте и о том, как был погребен в могиле, высеченной в скале, и как была заставлена та могила тяжелым камнем. И о землетрясении говорил святой апостол – о том, как разверзались могилы и вставали из могил великие святые и возносились к престолу небесному…

Абасги не прерывали его речь, слушали молча, изредка переглядываясь меж собой.

Святой апостол был исполнен священного огня, ланиты его пылали жаром, глаза светились, точно молнии.

Так закончился день второй, и апостол удалился в оливковую рощу, чтобы помолиться богу, помолясь, испросить у него милости и обратить к вере Христовой дикие племена абасгов.

4

На третий день апостольского благовествования Симон Кананит так закончил речь:

– Блаженны будут ипребудут в счастье и довольстве те, кто откроет свои сердца вере Христовой. И здесь, на земле, пребудет тот в довольстве и счастье, кто признает над собою единую и вековечную власть Христа, сына человеческого, воскресшего для вечной жизни. И там, за гробом, пребудет в блаженстве тот, кто признает над собою власть святого сына человеческого и скажет: «Я раб его, я недостоин его щедрот».

Так говорил великий святой.

И сказал Сум, один из вождей абасгов:

– Почтенный старец, мы слушали тебя и поняли тебя, как могли. Мы хотим предложить тебе три вопроса.

– Говори же, – сказал апостол, которому, не страшны были никакие подвохи, ибо бог благоволил к нему.

– Вот первый, – сказал Сум. – Верно ли, что твой господин по имени Иисус Христос, сын человеческий, и верно ли, что он властвует над человеком в этом мире и в мире потустороннем?

Апостол воскликнул, и голос его был как грам:

– Истинно! Мы рабы его здесь и рабы его там, в царстве мертвых, ибо он господин всему – живому и мертвому!

Абасги поняли старца.

– Ответствуй, – продолжал Сум, – верно ли, что твой господин рожден от женщины?

– Истинно так! – предвкушая близкую победу, сказал святой апостол.

Сум сказал:

– Скажи нам, почтенный старец, как согласуется учение твоего господина с учениями мудрых эллинов по имени Платон и по имени Аристотель?

Святой Симон Кананит, теребя бороду, чуть не выщипал ее, но так и не мог припомнить – кто таков Платон и кто таков Аристотель. И он спросил:

– Кто сии эллины?

Абасги переглянулись, удивленные вопросом святого апостола.

Сум объявил, что наутро почтенный старец услышит решение абасгов, терпеливо слушавших речи апостола в течение трех дней.

И снова вошел апостол в рощу, чтобы молиться там и просить милости у бога.

5

И вот настало утро.

Апостол был бодр как никогда. Силы его удвоились, ибо видел минувшей ночью сон: стоял Симон пред господином своим Иисусом Христом, словно на той, на тайной вечере. Господин был светел лицом и говорил:

– Благодать тебе, Симон. Мне приятно дело твое, и абасги в лоне моем и в лоне отца нашего.

С тем и проснулся святой апостол…

Он шагал к месту условленной встречи с абасгами, и пгицы пели хвалу ему.

Абасги ждали старца. Их пришло великое множество. В первых рядах стояли вожди, и вместе с вождями – Сум.

Возликовало сердце апостола, ибо он собственными очами видел подтверждение знамению, посетившему его минувшей ночью. И он крикнул:

– Благодать вам, открывшим сердца свои великому слову господина нашего!

Сум поднял руку, требуя внимания, и заговорил торжественно и повелительно.

– Вот наше слово, старец, пришедший издалека. Выслушай. Ты говоришь: вот господин вам от колыбели и до смертного дыхания! Ты говоришь: вот господин ваш и за гробом! Есть великие цари на земле. Это – фараоны. Они властны над человеком от его рождения и до смерти. Но за гробом не властны. А власть твоего господина – это власть десяти фараонов вместе взятых. И даже более. А разве смеет человек, рожденный женщиной, властвовать всю жизнь над человеком, от колыбели его до могилы и даже за могилой?

Сум обратил свой взгляд к народу, и абасги сказали:

– Нет!

И это слово было точно гром. Сум продолжал:

– Так говорим мы. Ты же утверждаешь обратное. А это есть вечное рабство, рабство, неотвратимое для тех, кто признал твоего господина своим, а признав его, назвался его рабом. Мы долго обдумывали твои слова и, обдумав, пришли к единому мнению, чтобы семя твоих слов не дало ростков на земле нашей, предать тебя смерти.

Старец затрясся от гнева. Он собрался было возражать, но суровые абасги, непочтительно пиная, повели его к берегу веселой горной речки, где недолго думая удавили…

Такова правда об убиении святого апостола Симона Кананита.

1963

Руан, 7 июля 1456 года

Огласив приговор, его преосвященство архиепископ Реймский Жан Жувенель дез Урсен удалился в боковую комнату.

Стояла жара. Было душно, хотя дворцовые окна были открыты настежь. Клирик внес тяжелую стопу исписанных бумаг и положил на стол.

– Монсеньер, – сказал клирик, – брат Жанны нижайше просит вас принять его.

– Что ему надо?

– На два слова, говорит.

– Его зовут Жан?

– Да, монсеньер.

– Это тот самый неуклюжий мужик?

– Да, он.

– Очень жарко.

– Июль, ваше преосвященство.

– Особенный, особенный… А что, этот Жан напоминает чем-нибудь Жанну?

– Глаза, монсеньер, глаза… Говорят, ее глаза!

– Этому лет пятьдесят, наверное?

– Выглядит гораздо старше, монсеньер.

– Пригласите его.

Клирик удалился и вскоре вернулся вместе с Жаном, пожилым, крестьянского вида человеком. Жан низко поклонился. Его преосвященство поманил его к себе:

– Несчастная Жанна д’Арк ваша сестра?

– Да, монсеньер.

– Вы должны быть довольны, Жан: ей и вам возвращено честное имя, снято оскорбительное пятно. Его величество король Франции самолично следил за реабилитационным процессом. Вы слышали заключительные слова приговора?

Крестьянин помялся. Подумал.

– Да. Кажется.

Архиепископ предложил клирику прочесть вслух самое важное место в приговоре суда.

Клирик быстро нашел нужную бумагу, и его голос зазвучал торжественно:

– «Мы отменяем, кассируем и аннулируем приговоры…»

Монсеньер архиепископ пояснил Жану:

– Речь идет о приговорах, вынесенных прежде. Это понятно тебе, Жан?

Жан кивнул. А клирик продолжал:

– «…и лишаем их всякой силы. И мы объявляем названную Жанну и ее родных очищенными от пятна бесчестия».

Клирик положил бумагу на место.

– Понимаешь, Жан? – сказал архиепископ милостиво. – «От пятна бесчестия»!

Жан молчал.

– Тебе что-нибудь не ясно, Жан?

– Да, монсеньер.

– Что же именно?

Жан смотрел вниз и мял в руках шапку. Видимо, этот крепкий, коренастый крестьянин из деревни Домреми изрядно-таки волновался.

– Что же именно? – повторил свой вопрос монсеньер архиепископ.

– Приговор не без изъяна, – проговорил Жан глухо.

– Не без изъяна? – изумился архиепископ и переглянулся с клириком.

Тот пожал плечами, давая понять, что и он тоже крайне недоумевает.

Жан сказал, не подымая тяжелых век:

– Монсеньер, мы много страдали все эти двадцать пять лет. С тех самых пор, как сожгли бедную Жанну. Поверьте мне, монсеньер, наша мать и Пьер, мой брат, – все мы плакали. Мы плохо спали все эги двадцать пять лет. Мы очень страдали, монсеньер. Да что я говорю?! Разве только мы? Если бы вы знали, монсеньер, как горевали все, кто знал нашу бедную Жанну. Ее подружка Манжетта и та выплакала все свои глаза. Наша деревня Домреми сочувствовала нам. Все эти двадцать пять лет!

– Да, это, наверное, так, – согласился архиепископ.

Жан оживился. Голос его стал тверже, уверенней. Наконец-то он поднял на монсеньера свои черные грустные глаза.

– Можете мне верить, монсеньер. Мы простые люди, но мы страдали все двадцать пять лет от сознания, что Жанна погибла безвинно. Сегодня, слушая вас, я еще раз понял и почувствовал, сколь чистой была Жанна и как задаром она сгорела. Монсеньер, это же она в огне горела! Когда цыпленку голову сворачиваешь, и то просишь у бога прощения. Мы же люди набожные, монсеньер. Мы-то понимаем, как это ужасно, когда человек безвинно гибнет. Извините меня, монсеньер, но представьте себя на месте Жанны; вот вас обкладывают дровами, вот подносят горящую головешку к сухим щепам, вот загорается огонь, вот огненные языки лижут вам руки…

Архиепископу стало не по себе. Жестом он дал понять, что хорошо представляет все муки Жанны.

Крестьянин говорил нудно, повторяя слова и мысли, расписывая беды, которые пришлось пережить семье Жанны. Его преосвященство подумал, что Жан гнет в одну сторону, притом довольно упорно. «Ему нужны деньги, – решил архиепископ. – Обычная крестьянская уловка, чтобы выторговать побольше». И он набрался терпения…

– И вот, монсеньер, сгорает наша Жанна. От нее остается пепел, да и тот развевают по свету. Зачем, монсеньер? Что Жанна сделала плохого9 Разве не служила она всей своей молодой жизнью королю и Франции? Разве не вела она войска против ненавистных англичан? Поезжайте, ваше преосвященство, в Орлеан, спросите там любого о Жанне д’Арк… Вы знаете, что на Жанну молятся, как на святую? Я сам сначала не верил, но потом, когда мы с нашей матерью приехали в Орлеан, все увидели своими глазами. Мало того: и нас с матерью водили они друг к другу, словно напоказ. Нас встречали как самых именитых людей. А нашей матушке определили постоянное вспомоществование от тамошнего муниципалитета…

«Все ближе он к цели, все ближе к цели, – сказал про себя архиепископ. – Ему нужны деньги, компенсация за причиненный ущерб семье. Еще два-три слова, и я услышу все, что полагается. Интересно же, во сколько экю он оценит этот ущерб?»

Жан стоял с шапкой в руках, точно грешник, вымаливающий прощение.

«Но никакой речи о компенсации и быть не может, – продолжал раздумывать архиепископ. – Мать получает пенсию от Орлеанского муниципалитета, а братья и прочиеродственники никаких прав – ни юридических, ни фактических – на компенсацию не имеют. А то, что они много пережили за эти двадцать пять лет, прошедшие со дня казни Жанны, – это, разумеется, естественно. Поэтому-то и получают они на руки реабилитационную бумагу».

И, как бы читая его мысли, клирик подал Жану бумагу, составленную по всей форме: это была выписка из постановления суда. Крестьянин бумагу принял с почтением, сложил ее аккуратно и положил в карман.

– Там все сказано, Жан, – объяснил ему монсеньер архиепископ Реймский, – и любой, кто пожелает прочесть ее, поймет, что пятно бесчестия полностью снято с вас, что Жанна ни в чем не повинна. Это дается вам именем нашей святой церкви и короля. Святой престол в Риме будет поставлен об этом в известность… Ты понял меня, Жан?

– Да, монсеньер.

– Поздравляю тебя, Жан, и всю вашу семью с благополучным исходом процесса! Все эго было не так просто и не так легко. Но, к счастью, трудности позади. Они были преодолены с божьей помощью, и твоя сестра Жанна полностью оправдана, Жан, то есть признана ни в чем не повинной, Жан.

Однако Жан не торопился благодарить его преосвященство. Не торопился заканчивать аудиенцию, так милостиво предоставленную ему. Клирик подавал Жану недвусмысленные знаки, указывая на дверь, но крестьянин или не замечал их, или делал вид, что не замечает. Приближался час второго завтрака, и его преосвященство не любил без особой нужды откладывать прием пищи. Пунктуальность в этом деле только на пользу здоровью.

– Да, монсеньер, я уяснил все, что вы изволили сказать только что. Жанна оправдана. Жанна ни в чем не повинна. Отныне мы можем смело смотреть людям в глаза. Не правда ли?

– Именно, Жан, именно!

– Монсеньер, извините мою темноту. Я знаю поле да сошку, монсеньер. Однако не могу не высказать всего, что у меня на душе. Прошу прощения, но могу ли я высказать то, что камнем лежит на моем сердце?

– О, разумеется, разумеется!

Жан глубоко вздохнул. Провел шапкой по вспотевшему лбу. «Ну вот, сейчас будет представлен счет. По всем правилам крестьянского крохоборства, – подумал архиепископ. – У меня с собою несколько экю. Думаю, что он вполне удовлетворится ими».

Жан сказал:

– Я только что положил в карман вашу бумажку. Как бы складно ни была написана она монсеньер, – все же не восполнит и сотой, и тысячной доли нашей утраты…

Архиепископ протянул крестьянину кошелек:

– Возьми, Жан…

– Что это? – испуганно проговорил крестьянин.

– Я надеюсь, Жан, что несколько экю не повредят тебе.

– Что вы! – Жан отшатнулся, да так, что чуть было не упал на блестящий паркет. – Никогда, монсеньер! Я беден, ваше преосвященство, но золото всего мира не может заменить нам Жанну. Стоит только подумать, как ужасно жарко ей было в том костре, – и у нас трясутся губы, а из глаз хлещут слезы.

Жан прикрыл лицо шапкой. Плечи его зловеще дрогнули. Жан плакав негромко, как бы про себя, – тем ужаснее действовали его всхлипы на двух мужчин, безмолвно наблюдавших за ним под сводами большого дворца.

Жан быстро совладал с собой. Вздохнул глубоко.

– Я хочу спросить вас, монсеньер, об одном: почему не значатся в приговоре имена епископа Кошона, второго судьи Жана Леметра, секретаря Гильома Маншона, Жана Массье, Жана Бопера, де Ла Пьера и других?.. Ваше преосвященство, ведь это они без всякого смущения вели на казнь бедную Жанну! Это они соорудили костер! Ах, монсеньер, если бы вы знали, как чиста и как красива была наша Жанна! И как любила она нас!.. Верно, монсеньер, Францию она любила еще больше, была предана королю больше, чем семье. Но разве это вина? Разве нет во всем этом божественного провидения? Так почему же, монсеньер, в приговоре не сказано справедливых слов обо всех этих палачах?! Разве Жанна сама взошла на костер? Разве не мучили и не пытали ее Кошон и его люди, решение которых вы справедливо отменили нынче?

Архиепископ подошел к крестьянину и, пастырски возложив руку на его плечо, сказал:

– Сын мой, правосудие свершилось, ошибка исправлена. К чему теперь ворошить то, что не прибавит вам душевного равновесия, но еще больше разбередит рану? Епископ Кошон умер, и Жан Леметр в лучшем мире…

– Монсеньер, – перебил его Жан, – справедливость должна торжествовать до конца! К этому взывает человеческая совесть! Если Кошон и Леметр мертвы, то для них должны быть найдены подходящие выражения…

У Жана горели глаза. Он говорил точно на площади. Здесь, в этой комнате, вдруг не стало забитого крестьянина.

Архиепископ глядел на него с удивлением. И с подозрением. И даже с боязнью.

– Сын мой, – сказал он скороговоркой, – благословляю тебя.

И, осенив Жана крестным знамением, удалился. За ним последовал клирик.

В комнате стало совсем тихо.

Здесь не было никого, кроме брата Жанны д’Арк. И он продолжал говорить, но его не слушал никто, кроме вездесущего бога.

В этот жаркий июль.

Седьмого дня.

1456 года.

1968

Баллада о первом живописце

Солнце показалось из-за гребня гор, а Нуннам все еще работал. Он действовал то пучком сухой травы, то кремневым зубилом. На каменном полу просторной и сухой пещеры лежали небольшие кучи сухой земли – желтой и красной, серой и белой. Тонко перемолотый уголь, добытый из тлевших головешек был замешен на липкой сосновой смоле. Впрочем, и земля – желтая и красная, серая и белая – замешивалась на смоле. При помощи зубила Нуннам выбивал контуры на прочной стене, а землями расписывал. Он достиг великого совершенства в изображении зверей. Он рисовал медведей и волков, куниц и зубров. Нуннам был сущим кудесником, его знали во всех ближних и дальних пещерах. Его наперебой приглашали расписывать стены, в которых жили старейшины родов.

Нуннам достиг большого умения, руки его творили чудеса. Его почитали пуще старейшин. Ему приносили лучшие куски от убитых серн и медведей. А в благодарность он украшал жилища людей все новыми и новыми зверями – прыгающими и спящими, пьющими воду и терзающими друг друга в ожесточенных схватках…

Нуннам хорошо знал, какая земля где находится. Он знал, что красная – выше Голубого озера, а серая – у самой ее воды, что белой земли вдоволь за лугом, где пасутся зубры, а смолы – в лесу, где растут ели.

Нуннам достиг вершины совершенства. Он был молод, полон сил. Через плечо живописец носил леопардовую шкуру и ударом кулака мог свалить любого противника. Его уважали и одновременно боялись.

Однако нынче молодой кудесник превзошел самого себя. Нуннам дерзнул, и дерзание

его не имело предела: он решил изобразить человека, подобного себе, подобного отцу, подобного старейшине! Задумав новую работу, Нуннам потерял сон, забросил жен, забросил детей, позабыл и о старом отце, и о своей дряхлой матери. По ночам художник мечтательно глядел на луну. А пещера тем временем храпела. Многочисленная семья Нуннама спала на шкурах медведей, не подозревая, что хозяин ее задумал невероятное и в высшей степени дерзкое…

Иногда он уходил к ручью. И ручей, казалось, беседовал с ним и, беседуя, подсказывал, как надо действовать в задуманном деле, чтобы успех увенчал его. Камни с шумом перекатывались в быстром течении, и Нуннам удавливал тайное значение этого шума.

В последнее время он подолгу всматривался в лицо евоего отца, и в жестких чертах волосатого человека ему чудились грубая нежность и неиссякаемая сила.

Он внимательно изучал своих детей и твердо знал, сколько пальцев на руках и ногах, как растут ресницы на веках и какого цвета бывают волосы. Нуннам мысленно выводил дуги бровей и округлости губ и бедер. Ягодицы и груди у женщин выпуклы. А груди у мужчин плоские…

И вот Нуннам решился. Когда уснули все, он бесшумно пробрался к выходу пещеры. Здесь заранее была заготовлена плоскость в рост человека. Твердым зубилом художник нанес контуры человеческого тела. Все было здесь – и голова, и нос, и ноги, и пальцы на ногах, и ресницы на глазах.

В небе светила луна. Ее голубой свет падал на сухую етену, и Нуннам работал уверенно. Где-то выли шакалы, хрипло бились неуемные зубры и шумно возились лесные птицы. Художник поклонился луне, озарявшей землю своим светом, поклонился светлой звезде, мерцавшей ярче прочих звезд, и поцеловал прохладный камень, на который предстояло наложить липкую смолу, перетертую с землей.

Нуннам для начала покрыл все тело изображения, от головы до ног, желтой земляной краской и щеки выделил красной землей. Белую землю он приберегал для глаз и зубов, а черную – для волос.

Нуннам нанес серую краску на то место, где полагается быть зрачкам. Посреди серых кругов он поставил черные точки, и вдруг ожило лицо на холодном камне.

Нуннам даже испугался. Он не знал, кто это – отец его или старший сын, друг или враг? На него глядел человек, двойник человека, и это поразило художника. Нуннам упал наземь, не смея поднять глаз на произведение рук своих.

Затем он встал и продолжал работу. Тело появившегося на пещерной стене человека показалось ему несколько желтоватым. И он наложил на грудь и плечи, на бедра и икры ног немного красной земли, немного зеленой и черной, а местами желтой. Углем Нуннам оттенил ногти на руках и ногах, ибо ногти должны быть грязными, если то не женщина и не новорожденный…

До рассвета работал Нуннам. За это время он дважды сбегал к речке, чтобы напиться воды. Грудь распирало от порывистого дыхания, но он работал упрямо, смешивая землю со смолой и накладывая новые слои на почти живого человека, не умеющего только говорить и двигаться…

С первыми лучами солнца Нуннам счел работу законченной. Он умылся и долго пил из речки, подобно изжаждавшемуся зубру. А когда вернулся к своему детищу, там уже толпились люди. Они сзывали всех, кто еще не успел проснуться. Они обещали показать чудо, которое совершилось в пещере Нуннама.

Вскоре явился старейшина. Он был дряхл и тяжел. Брюхо у него с годами отвисло, и густая борода покоилась на брюхе. Увидев живого человека на стене, старейшина отбросил деревянную палицу и застыл в немом изумлении. Он стоял ближе всех к изображению.

А все прочие члены рода толпились за его спиной.

– Нуннам, – сказал старейшина, – кто изобразил это?

– Я, – ответил Нуннам.

– Нуннам, это живой человек.

Художник молчал, а толпа радостными криками подтвердила слова старейшины.

– Нуннам, – продолжал старейшина, не жалевший шкур диких зверей ради того, чтобы иметь все новые изображения животных на стенах своей просторной пещеры, – Нуннам, ты сотворил нечто, чего никогда не видел человек. Ты изобразил живую душу на мертвом камне. Твой человек словно рожден женщиной. Он имеет лицо и руки. У него две ноги и десять пальцев на ногах. У него две руки и десять пальцев на руках. Ты сделал его похожим на нас, и он сверкает разными цветами, словно радуга. И он живой, словно радуга.

Нуннам кивнул в знак согласия.

Старейшина растопырил пальцы на руках и руки приблизил к рукам того, почти живого человека. И никто не смог отличить руки каменные от рук живых, хотя по цвету были они разные.

– Нуннам, – сказал старейшина, – у этого человека на стене столько же глаз, сколько и у меня. Глаза состоят из белков и зрачков. Но цвет их не таков, как у меня с тобой. Есть у него и веки, и ресницы на веках. Зрачок серый, и на сером зрачке есть черное пятнышко. Одну сторону лица он сделал цветом травы, а другую – цветом неба. И это хорошо!

Нуннам кивнул.

– Посмотри на эту ногу. Она длиннее левой, и рука одна короче другой. А вид у него богатырский, и, кажется, он без недостатков. Он словно живой.

Нуннам сказал:

– Да, все у него, как у живого.

– Вот тут человеку положены соски. Они есть и на твоем изображении. Но они почему-то желтые, словно месяц. Глядя на стену, я вижу мужчину, притом мужчину сильного. Ему может позавидовать любой из нас. Он может приглянуться любой из женщин. Он не похож на меня или на тебя, но изображение это является изображением человека. Ты не стал рабом своего зрения, но подчинил его уму своему.

Эти слова старейшины были для художника слаще кабаньего мяса и целебнее дикого меда. И он слушал великого мецената, равного которому не знал ни один житель пещеры во все прошедшие времена.

Старейшина ходил вокруг изобрижения. Он рассматривал его со всех сторон и не находил ни единого отступления от естества. И его поразило это неслыханное умение. И он думал о том, как уберечь это изображение, ибо полагал, что второй раз повторить подобное невозможно. И это, пожалуй, так: Нуннам, всегда цветущий и сильный, выглядел сейчас бледным, больным, точно побывал на рогах у зубра.

– Нуннам, – обратился к художнику старейшина, – ты совершил такое, чего не совершал никто до тебя и едва ли превзойдет кто-либо когда-либо. Это изображение ни в чем не отступает от человека, и с первого взгляда его можно принять за живого. Это великое умение, и оно должно быть вознаграждено. – Старейшина обратился к мужской части всего рода с такими словами: – Я полагаю, что каждый из нас должен убить по одному оленю и принести оленя в пещеру Нуннама. А еще я полагаю, что каждый из нас должен являться сюда ежедневно, чтобы увидеть изображение и, увидев его, выказывать бесстрашие в охоте и битвах. А, еще мы должны выкопать для него сухую и просторную пещеру. Нуннам достоин ее.

Весь род одобрил эти слова. Нуннам смущенно опустил голову.

– Нуннам, – сказал мудрый старейшина, – ты создал нечто такое, что никто не превзойдет. Не знаю, достигнет ли кто-либо твоего умения даже в наше великое время, ибо мастак ты на разные цвета и из несхожести, словно из кремня, высекаешь великую схожесть.

Он оскалил зубы, что значило: «Я очень, очень доволен!»

Отец художника сказал:

– Отныне в нашей пещере будет одним человеком больше. И ему надо дать имя.

Старейшина согласился. И он окрестил того, что глядел со стены, Мунуннам, что значит – сын Нуннама, детище Нуннама.

И жители пещер разбрелись по лесу, чтобы достойно отметить этот день, явивший чудо

подлунному миру.

1961

На пороге мрака

Ним-го, казалось, сгорбился под тяжестью невыносимого горя. Густые брови сошлись на переносице. Губы плотно сжаты. Он долго молчит, переминаясь в ноги на ногу.

Динива глядит на него вопросительно. Он знает, что Ним-го не появился бы в его хижине так рано, если бы не какое-нибудь важное событие. По пустякам Ним-го никого не потревожит.

Ним-го – да будет это известно! – великий человек. Много услуг оказал он людям. Он придумал ловушки, в которые легко попадали опасные звери. Он изготовил каменные ножи, которым завидовали все иноплеменные люди. Палицы его, которым была придана особая, неповторимая форма, устрашали самых смелых необыкновенной мощью… Нет, не стал бы Ним-го в такую рань тревожить попусту больного вождя племени!

Динива кашлял. Страшная судорога сводила его. Он задыхался. Недоставало воздуха. И он стал как рыба, выброшенная на берет.

– Туда, – коротко кивнул Ним-го. Он не хотел, чтобы кто-нибудь слышал их. Он владел тайной, которую мог сообщить только Диниве.

Они отошли к кустам рододендрона. И Ним-го сказал:

– О мудрый, я смастерил вот этими руками нечто. Оружие, изготовленное мной, невиданно и опасно. Дозволь показать его, дабы ты мог решить сам, что делать с ним.

Динива закашлялся. Он хватал воздух сухими, треснувшими губами. Он сделался синий, точно небо.

– Что за оружие? – спросил Динива, придя в себя.

– Я этого не могу объяснить. Лучше бы ты сам посмотрел.

– Оно у тебя с собой?

– Там, – сказал Ним-го и кивнул в сторону леса. – Я спрятал его надежно. И никто не видел его. Никто не подозревает его силы.

– Это новая палица?

– Нет.

– Нож?

– Нет, не нож. Я открыл хитрость, которая позволяет мне посылать на сто шагов острую палочку. Та палочка летит с писком, наподобие какой-нибудь пташки. И она впивается в тело, точно змеиное жало. Если ту палочку смазать соком дерева му или отваром коры кустарника сиу, надо полагать, тот, в которого вонзится моя палочка, мгновенно умрет.

Динива вдумывался в каждое слово. Он слушал речь Ним-го, словно сказку, ужасающую человека. И он прошептал:

– Ним-го, скажи мне, все это правда?

– Правда.

– Твои слова соответствуют тому, что ты поведал?

– Истинно!

– Летают птицы, – проговорил Динива, – но никто не видел летающей и свистящей палочки. Возможно, ты заблуждаешься?

– Я могу показать тебе это оружие.

– Когда?

– Хоть сейчас! Это недалеко. На лесной прогалине.

Динива задумался. Он полагал, что надо позвать еще кого-нибудь из наиболее опытных мужей племени, ибо то, что сообщил Ним-го, никак не умещалось в одной голове.

И он разбудил своих сверстников, видавших виды. Он разбудил храбрых и опытных – всего пять человек, ибо тайна должна была быть глубокой.

И вот семеро мужчин, облаченных в леопардовые шкуры, направились на лесную

прогалину. Впереди шел коренастый Ним-го. Остальные следовали за ним по узкой тропинке.

И они вышли на прогалину. Утренний туман рассеивался. Но лес еще спал. Он стоял гордый и величественный, скрывавший великую тайну!..

Ним-го усадил старейшин на дерево, сваленное буреломом Он отмерил сто шагов до ближайшего дерева на противоположном конце прогалины. А потом, пошарив в кустах, достал это самое оружие. И он показал его старейшинам.

– Вот эта ветвь дерева туим, – говорил Ним-го. – Она чуть пониже меня, и она изогнута в виде нашей реки – плавно, не круто – наподобие небесной радуги. А много плавнее Это дерево туим, из которого изготовлено оружие, обладает гибкостью. Оно не ломается, если даже изогнуть его вот так. – И Ним-го показал на пальцах рук, как можно изогнуть это дерево. – К обоим концам ствола я привязал эту тонкую лиану. Лиана достаточно крепка. Ее можно натянуть, и она не лопнет. Я ее добыл на самой верхушке дерева туим, куда она поднялась, гонимая соками земли… А вот это и есть та самая палочка, о которой я говорил тебе, о Динива! Она имеет в длину два локтя. Она из дерева, именуемого дубом. На конце ее камень, не обычный, а горный. Из него можно высечь огонь наподобие молнии.

Старейшины слушали Ним-го затаив дыхание. Они никогда ничего похожего не слыхали! Они ничего похожего не видали!

– А теперь, – спокойно продолжал Ним-го, – я покажу вам, как действует это оружие, названия которому пока нет.

Ним-го стал вполоборота к дереву, выбранному в качестве цели, слегка раздвинул ноги. В левую руку он взял ветвь дерева туим, а в правую – палочку с каменным наконечником. Он приставил палочку тупым концом к лиане и стал ту лиану натягивать. Лиана потянула за собой оба конца ветви и выгнула ее.

Ним-го натягивал лиану все сильнее, и ветвь стала похожа своим изгибом на радугу. Однако Ним-го продолжал натягивать лиану все больше… Но вдруг он ее ослабил, выпустив ее, и палочка, к великому удивлению старейшин, со свистом полетела в сторону дерева. Она летела, едва различимая глазом, и вонзилась в кору. Она вонзилась на высоте человеческого роста.

Старейшины заспешили к дереву. И они увидели своими собственными глазами великое чудо: палочка прочно держалась на дереве. Каменный наконечник почти целиком ушел в кору.

Динива кашлял. Он долго не мог отдышаться.

– Невиданное от века, – сказал он, дотрагиваясь пальцем до непонятной, летающей палочки. – А зачем понадобились тебе эти перышки от диких птиц, Ним-го? Ты ими хотел украсить свою смертоносную палочку?

– Нет, – ответствовал Ним-го. – Я увидел, как неуверенно летит палочка без этого оперения. И я подумал, что хорошо бы приделать перышко, наподобие птичьего хвоста. Я привязал одно перышко. Стало хуже. Тогда я привязал два. И стало лучше. Я попадал в дерево безошибочно.

Старейшины внимательно осмотрели палочку и пришли к выводу, что если бы вместо этого дерева оказался человек и палочка попала бы ему в сердце или глаз, то он непременно бы умер. Если бы палочка попала в правый бок, пониже ребер или меж ребер, человек все равно бы умер. Если бы палочка попала ему в висок, левый или правый, человек все равно бы умер. Если бы палочка попала в горло или шею, человек лишился бы голоса и, наверное, погиб бы…

– Эта палочка опаснее палицы, – заключил Динива. – Для того чтобы вонзить ее во врага, не надо стоять очень близко. Врага можно убить за много шагов от него

– Я думал убивать зверей, – заметил Ним-го.

– Можно и зверей, – сказал Динива.

– Но лучше врагов, – сказал один из старейшин. – Зверей можем бить палицей или камнями. А для врагов нельзя придумать ничего лучшего!

Старейшины выразили свое полное согласие с ним. А Динива сказал так:

– Вот мы стоим, и перед нами это страшное оружие. Оно несет смерть на много шагов. Оно непобедимо, и племя наше может стать владыкой мира. Я говорю – может стать, ибо не уверен, что подобной палочки нет где-нибудь за горами или за Великой пустыней, лежащей рядом с нашей землей. Я прихожу к такому заключению: если все племена, известные нам, вооружить подобными палочками и натравить племена друг на друга, то род человеческий будет уничтожен в течение полета этого камня.

И Динива подбросил кверху камень, и камень упал в высокую траву.

– Я думал убивать зверей, – оправдывался Ним-го, – я думал о мясе для нашего племени.

– А о врагах ты подумал? – спросил Динива.

– Нет, – сказал Ним-го.

Старейшины были озадачены. Слова Динива запали им глубоко в сердце.

– Мы стоим на пороге мрака, – сказал один из старейшин.

– Верные слова, – согласался с ним Динива. – Если это оружие будет пущено в ход, мы и глазом моргнуть не успеем, как окажемся распростертыми на земле. И все племя наше погибнет в один прекрасный день.

Один из старейшин потянул палочку, но она не подалась, она прочно сидела в коре.

– Удивительно, – сказал он. – Камень застрял так, что его и не достанешь Эта палочка запросто могла бы пронзить человека насквозь.

Ним-го попытался вытянуть палочку.

– Она словно заноза в теле зубра, – сказал он.

– Нам надо подумать, – сказал Динива.

Старейшины вернулись к бревну, поваленному буреломом. Уселись на него и долго молчали Молчал и Ним-го, подавленный мощью собственного же детища.

Динива надрывно кашлял. Это новое оружие, смертельную опасность которого он уже предвидел, взволновало его, и кашель усилился. Он понюхал сухую траву, которую носил на поясе в кожаном мешочке, и ему стало полегче.

– Да, – сказал он, – мы подошли к порогу мрака. Подумайте над тем, что может произойти, если таких палочек будет изготовлено очень много, по числу мужчин! Воздух наполнится свистом. Воздух наполнится этими палочками, и человеку некуда будет укрыться. Эта палочка настигнет его, не дав ему опомниться. Эта палочка убьет его, превратит его в землю, прежде чем человек успеет надежно защититься.

– Я имел в виду только зверей, – упрямо твердил Ним-го.

– А я говорю о людях, – возразил Динива. – Люди погибнут от этого оружия. В этом нет сомнения. И я предвижу завтрашний черный день.

А день завтрашний всем представлялся концом света, концом племени, концом всех племен, живущих в горах, нагорьях, долинах и жаркой пустыне…

– Мы на пороге мрака, – повторил мудрый Динива.

Мужчины были подавлены неожиданно нагрянувшей бедой. Ним-го во всем винит себя – это он, это он принес беду всему своему племени и всем племенам в горах и нагорьях, в долинах и пустыне…

Но беда свершилась, и впереди был только мрак… Мрак, и больше ничего! Только мрак…

1961

Суд под кипарисами

Афины.

Четыреста шестой год до нашей эры.

Стоит осенняя пора – месяц пианопсион.

На Пниксе, где растут высокие и строгие кипарисы, заседают высокие и строгие судьи.

Это заседает трибунал в составе ста именитейших граждан Афин. А судит он стратега Перикла, сына Перикла, и его пятерых коллег по стратегиону.

На Пниксе народ теснится с утра. Трибунал заслушал показания обвиняемых. Произнесены речи многочисленных обличителей и заступников.

День клонится к закату. Подсудимые стоят лицом к Акрополю. Перикл, сын Перикла, не сводит глаз с Парфенона, где все еще дышит дыханием Перикла-старшего, первого стратега Афин в пору самого блистательного расцвета города.

Председатель . Следует огласить неопровержимо доказанные факты. Как те, которые говорят в пользу подсудимых, так и те, которые свидетельствуют против стратегов.

Народ . Слушаем… Слушаем.

Председатель *(читает свои заметки, нанесенные на вощеную дощечку).* Итак, морская битва близ Аргинусских островов выиграна нами.

Народ . Верно!.. Это так!..

Председатель *(продолжает читать).* Из ста шестидесяти двух спартанских триер потоплено сорок, взято на буксир и приведено в Пирей двадцать. Остальные рассеяны по морю или трусливо скрылись за горизонт.

Народ . Да, это так!

Председатель . Наши потери в этой морской битве таковы: двадцать две триеры потоплены, повреждены тридцать пять. *(Обращается к Периклу, сыну Перикла, с немым вопросом.)*

Перикл *(тихо).* Все верно. Об этом мы донесли стратегиону.

Председатель . Морская битва выиграна. Историки, несомненно, напишут: «Афиняне выиграли битву у лакедемонян при Аргинусских. островах».

По толпе прокатывается гул одобрения.

Молодой афинянин *(своему соседу).* Председатель Лисимах беспристрастен, как сами боги.

Его сосед . Боги будут учиться у Лисимаха беспристрастности…

Молодой афинянин *(очень серьезно)…* .и строгости.

Председатель *(ровным голосом).* В этой битве погибло среди волн сто семь афинских моряков. Их тела не были выловлены и не были преданы земле согласно нашему обычаю. *(Снова немой вопрос в сторону подсудимых.)*

Перикл . Я призываю в свидетели богов, дабы ни одно мое слово не оказалось лживым – волнение началось столь устрашающее, что немыслимо было и думать…

Народ . Что он говорит? Немыслимо было думать о спасении?

Перикл . Погода выдалась омерзительной. Жестокий бой изнурил моряков. Мы заботились о тех, кто остался в живых.

Председатель . Живые заботятся о живых. А на кого полагаться мертвым? Чьим заботам вверять себя?

Перикл, сын Перикла, молчит, молчат и остальные его коллеги.

Председатель *(с укоризной к Периклу).* В сорок лет можно бы и о мертвых подумать. Разве тебе не сорок?

Перикл . Будет через год.

Молодой афинянин *(своему соседу).* Он, кажется, просит снисхождения по малолетству.

Его сосед . Ха-ха-ха!

Председатель . О мертвых вы подумали? (Он указывает пальцем на стратегов, дескать, вас спрашивают.)

Подсудимые стратеги молчат. Трибунал молчит. По толпе прокатывается возмущение действиями стратегов.

Амазис (*на нем небесно-голубого цвета гиматий, золотистая борода в колечках).* Высокочтимый трибунал! Я хочу сказать еще несколько слов от имени тех, кто воздает должное героям битвы при Аргинусах, хочу вкратце еще раз довести до слуха высоких судей

наше мнение перед тем, как будет вынесен приговор… Любая битва есть величайшее проявление стойкости духа и воинского искусства. Битва требует полной отдачи всех сил – душевных и физических. Всего себя! Только и только так можно ее выиграть.

Народ . Верно сказано!.. Хорошо сказано?

Амазис *(он владеет всеми скотобойнями в Афинах, поэтому слова его имеют особый вес).* Я спрашиваю: каков результат битвы у Аргинусских островов, что находятся близ Лесбоса? Кто ее выиграл? Кто? – я спрашиваю. Не мы? Не афиняне? Не эти стратеги, которые находятся здесь, на Пниксе, в качестве подсудимых? В штормовую погоду наши разбили противника и вернулись сюда победителями. Афиняне, чего вам еще надо?!

Амазис поворачивается лицом к народу. А народ молчит. Вода медленно льется из клепсидры. Аиазис молча сходит с трибуны. Его место занимает Лисандр.

Лисандр *(худущий, как жердь, со впалыми щеками, с глазами, блестящими словно звезды).* Я тоже буду краток, как Амазис. День ведь прошел в доскональном разбирательстве этого дела. Все теперь ясно, как ясны письмена на дощечке.

Молодой афинянин *(своему соседу).* Ты слышишь?

Его сосед . Не мешай…

Лисандр . Одни говорят: «Стратеги наши одержали победу при Аргинусах», Им вторят другие: «Аргинусские острова войдут в историю как место нашей победы». Одни предлагают: «Увенчаем же лавровыми венками победителей при Аргинусах!» Другие вторят им: «Великая победа должна быть отмечена великим триумфом!» Вот какие голоса раздавались сегодня здесь, под кипарисами Пникса…

Голос из народа . Были и другие!

Лисандр . Верно, были.

Голос из народа . Это говорили истинные патриоты.

Лисандр . Я как раз и намереваюсь обратиться к этим самым голосам… Когда сегодня некоторые говорили о победе, то имели в виду победу любой ценой.

Молодой афинянин . В самом деле – что?

Его сосед . Он сейчас объяснит. Лисандр – голова!

Молодой афинянин . Говорят, он за аристократов…

Его сосед *(горячо).* Лисандр – это голова! Понял?

Лисандр . Побеждать – значит много думать, прежде чем бросаться в бой, прежде чем опускать в воду весла на боевых кораблях. Это значит – по возможности береги своих, а своих мертвых предай земле.

Шум в народе. Возгласы одобрения. Члены трибунала призывают к спокойствию

Молодой афинянин *(в порыве признательности).* Слава Лисандру!

Его сосед . Потише, ты!

Лисандр *(дождавшись тишины).* Шестеро наших стратегов пренебрегли этими правилами. Спасибо им за то, что разбили лакедемонян. Спасибо им за то, что потопили часть вражеских кораблей вместе с их предводителем Калликратидом. Но ведь и мы потеряли немало! Многие наши моряки утонули в море. Им не была оказана надлежащая помощь. Не была даже сделана попытка выловить трупы и с почестями предать земле.

Молодой афинянин . Позор таким стратегам!

Лисандр . Я кончаю. В назидание всем, в назидание потомкам – шестерым стратегам, представшим здесь перед судом народа, следует вынести самый суровый, самый беспощадный приговор!

Народ . Приговор? Какой? Скажи – какой?

Лисандр *(после долгой паузы).* Единственно в таких случаях возможный – смертный приговор!

Народ жестами и возгласами одобряет предложение Лисандра. Трибунал прерывает свою рабогу, чтобы вынести приговор.

И через час объявляется единогласное решение судей: шестерых стратегов Афин, хотя и выигравших морское сражение при Аргинусских островах, но не принявших должных мер

для спасения утопающих воинов, а также и мер для пристойного погребения погибших и тем самым навечно запятнавших себя стратегов, – казнить смертной казнью.

И недалеко от этого места – у подножия Пникса – воины, вооруженные дубинами, размозжили головы великим стратегам великих Афин.

1970

Крепость

Они очутились в ужасном положении, когда грекам пришла мысль поджечь дома

Прокопий Кесарийский

Византийские войска плыли на тридцати кораблях. На самом большом, украшенном резьбой, расписанном золотом и заморской лазурью, развевались знамена двух императорских военачальников – Иоанна и Улигача.

Хриплый мореход выкрикивал слова команды – три ряда весел послушно погружались в воду.

Медленно перекатывались волны Понта. Уходил в сизую дымку тумана тонкий берег, на котором как на ладони был виден полуразрушенный Питиунт. Знаменитая буковая роща и вековые сосны, осквернённые римлянами, вытянулись в узкую полосу, похожую на лезвие обоюдоострого ножа абазгов. Ветер дремал в это раннее утро, и паруса висели, словно широкие плащи на тощих плечах.

Солнце подкатывалось к зениту, когда мореход, почтительно раздвинув парчовые занавески, сказал:

– Трахея!

Могучая волосатая рука сорвала парчу и небрежно отбросила ее прочь. Великолепное зрелище открылось взору: впереди лежала спокойная бухта, за бледноватым краешком моря поднимался изумрудного цвета берег, а дальше вырастали исполинские горы: громоздясь друг на друга, они уходили длинной цепью на север, в страну скифов. Взглянув на эту картину, Улигач зевнул и велел одеть себя. Это был грубый человек, выросший в сечах. Бесчисленные раны и победы принесли ему положение, власть и славу.

Иной человек был Иоанн. От рождения он был приучен к тонкому обхождению, бархатным одеяниям и различным благовонным маслам. Свою низость и тщеславие он скрывал за любезной улыбкой. Для врагов он был опаснее откровенного Улигача.

Иоанн сопровождал Улигача, чтоб разделить с ним победные лавры.

Верховный военачальник Бесс видел в Улигаче соперника и не мог допустить, чтобы плоды легкого похода в Трахею, а затем и в самую Скифию достались одному Улигачу и слишком возвысили его. Император внял просьбе Бесса.

Иоанн сидел развалившись на складной скамейке и с любопытством смотрел на приближающийся берег.

С нескрываемой злобой следил за Иоанном Улигач. Он понимал, зачем приставлен к нему этот придворный честолюбец, и разглядывал его, как скользкую тварь. Улигач вспомнил грязные слухи, ходившие в столице, – в самом деле уж слишком женственно выглядел Иоанн. Подпоясавшись мечом, Улигач запел грубую солдатскую песню.

От корабля к кораблю передавались условные звуки рожка. Тяжелый морской поход приближался к концу. Возбужденные воины звенели панцирями, коваными шлемами и мечами. Страдавшие морской болезнью с облегчением покидали вонявшие блевотиной душные трюмы. На кораблях зашумело, как в шмелиных гнездах. Нетерпеливые прыгали в море и, радуясь, мокрые вылезали на сушу.

…Посреди лагеря, разбитого на берегу, ярко-голубым цветом выделялась палатка военачальника. Иоанн и Улигач восседали на скамьях, покрытых шкурами львов, под их ногами, по восточному обычаю, лежали тяжелые бархатные подушки.

Воины обступили вождей полукругом. Иоанн готовился произнести большую речь. Но шум, затеянный какими-то драчунами, прервал его на первом же слове. Стража сломя голову

бросилась унимать буянов. Однако оказалось, что это вели двух абазгов. Они называли себя посланцами от жителей Трахеи или Гагары – так именовали свою крепость абазги. Воины грубо обыскивали абазгов, осыпая их бранью. Иоанн оглядел прибывших и спросил:

– Кто вы, откуда и что вам надобно?

Посланцы – старик и отрок – приблизились к военачальникам, но им пиками преградили путь. Старик был высок ростом, не дряхл, в силе. Большая войлочная шапка покрывала седую голову. Борода – до пояса. Легкая обувь из буйволовой кожи обтягивала худые ноги. Выцветшие глаза пытливо глядели из-под косматых бровей.

Волнение и гнев нескрываемо проступали на лице отрока. Он то густо краснел, то бледнел, кусая губы, как горячий конь. Иоанн подумал: «С этим поладить нелегко».

Старик сказал:

– Меня зовут Баг. Мне минуло девяносто три года. Народ послал нас спросить: кто вы, откуда и что вам надобно?

Старик говорил твердо и сурово.

Улигач вспыхнул, скверное слово готово было сорваться с его губ, но Иоанн остановил его и сказал важно:

– Мы – слуги его величества императора Византии. Велик его гнев. Однако вам не будет причинено зло, если вы сами этого не захотите.

– Да продлятся дни вашего императора! – почтительно сказал старик. – Чем же он разгневан?

– Как! – воскликнул Иоанн, обнажив белые зубы. – Разве ваших поступков недостаточно, чтобы вызвать страшный гнев? Вы осмелились посадить у себя князьями Опсита и Скепарна? Кто давал обет никогда не брать себе князей?!

Старик отвечал, погладив бороду:

– Мы убоялись римского рабства. Страшнее смерти оно!

Улигач крикнул:

– Вы замыслили зло против нас. Берегитесь!

Баг поклонился безропотно, но без страха. Отрок глядел исподлобья, как волчонок. Его, самого юного из мужчин, направили к чужой дружине вместе со старейшим. «Там, где окажется лишним старческое благоразумие, выступит юношеская пылкость».

Старика Иоанн нашел дерзким, а мальчишку готов был раздавить, как мокрицу. Мановением руки он подозвал писца и распорядился объявить приказ о сдаче крепости.

Писец, раскрыв свиток, глухо заверещал:

– «Все, от мала до велика, выйдут на открытую местность перед крепостью и сложат они оружие, и щиты, и пращи свои. Панцири железные и нагрудники из сыромятной кожи также принесут к ногам. Все, от мала до велика, возденут руки горе и поклянутся страшною клятвою, что впредь будут они верны и послушны императору Византии. В доказательство сего послушания побьют они камнями злокозненных Опсита и Скепарна и поклянутся коленопреклоненно…»

– Стой, – сказал старик и вырвал свиток из рук писца. – Что ты читаешь, раб?

Писец обнажил меч.

– Не торопись, – сказал ему Иоанн, изменившись в лице. – Старик, мы идем в Скифию. Не чините нам помех, и мы вас не тронем.

Старик поклонился, но сказал очень твердо:

– Нет, мы не осквернim себя подобным предательством.

Баг походил на изваяние. Отрок, глаза которого пылали, вывел из себя Иоанна, и он сказал, выделяя каждое слово:

– Мы истребим вас. Крепость сровняем с землею.

Снова поклонился Баг, безропотно, но без страха.

А отрок, окрыленный, воскликнул:

– О! Вы увидите, как умеют умирать абазги!

Это было похоже на вызов. Улигач затрясся от злобы. Кровь бросилась ему в лицо.

– Щенок! – брызгая слюной, прохрипел он, хватаясь за рукоять меча. – Руку!

Отрок немедля протянул руку. В глазах его словно сверкала молния.

Иоанн взглянул на мальчика и Улигача и ухмыльнулся. Широко раскрыв рты, следили воины за этим зрелищем.

Старик выступил вперед, заслонив собою юношу. Он сказал:

– Разве забыты обычаи всех времен и народов – послов не трогать?

– Послов? – Улигач расхохотался в лицо старику. – А где же ваши печати?

Старик растерялся. Воины дружно гаркнули, требуя расправы.

Баг посмотрел через плечо на крепость, над ней клубился черный дым – приготовления к битве окончены.

– Баг, – сказал отрок, – не мешай ему. Вот она, печать, – моя рука!

Улигач взмахнул мечом. Отрубленная рука упала, как тростинка. Не шелохнулся отрок. Жгучая молния продолжала сверкать в его черных очах.

Иоанн сказал Улигачу, указывая на юношу:

– Вот первая крепость, которую ты не одолел.

Улигач потряс мохнатым кулаком в сторону крепости. Корабли продолжали входить в бухту, на берег с гиканьем высаживалось вражеское войско…

Страшная весть быстро разнеслась по крепости. Посланцев встречали с непокрытыми головами. Истекающего кровью отрока внесли на руках и уложили на площади. Вышла вся кровь, и он умер.

Баг поведал обо всем.

Защищать крепость до последнего стало единственным помыслом осажденных. Приготовлениями руководил Опсит. В полночь он собрал старейшин и сказал так:

– Старейшины, мужи отважные! Я все обдумал, взвесил. Истина ясна, она гласит: помощи ждать неоткуда, будем умирать!

Первым подал голос Баг. Он сказал жестко:

– Мой дом умрет вместе со мною. Пощады не попросит.

Кончил.

Встал Дуара, веснушчатый, сухой.

– Мы примем смерть все – от мала до велика!

Кончил.

Один за другим поднимались старейшины. Все они повторяли слово в слово сказанное до них. Кончили.

Встал Опсит. В плечах – два локтя ширины, высота – семь локтей, видом – барс, голова как у буйвола. Он сказал.

– Разойдемся по местам. Уделом каждого пусть будет смерть, но не позор! Внушите это всем.

Слова военачальника проникли в души, как стрелы. Разнесли старейшины жар этих слов, и запылали гневным пламенем сердца осажденных. И схватили в ту ночь пятерых злокозненных людей, чьи черные мысли были на благо врагу. Побили камнями, а тела бросили волкам. Под крепостными стенами стоял хруст: то звери пожирали звероподобных.

Всю ночь работали кузни: ковались мечи и пики, оттачивались обоюдоострые ножи, навострились стрелы. Дети собирали камни для пращников. Женщины чинили обувь, латали одежду. В домах распевались песни, возвеличивавшие воинскую доблесть.

И когда на иссиня-черном небепроступила тусклая бледность, все как один стояли в ожидании врага. И Баг приготовился к великому подвигу. Он жил в большом деревянном доме, сколоченном из каштановых досок. Вокруг дома высилась каменная ограда с бойницами. Это была маленькая крепость.

Рядом с Багом, словно вросшие в землю, стояли сыновья его Гана и Самар. Дальше, рядом с ними, – внуки и правнуки, жестокие в битвах. Жены поодаль варили смолу. Дети жались по углам.

На весь берег протрубил низким звуком заморский рог. С развернутыми знаменами

византийцы двинулись к крепости; построенные в виде кабаньего клыка, войска устремились к воротам. Иоанн с дружиной, погрузившись на ладьи, поплыл в обход крепости.

Опсит повел воинов на врага кратчайшим путем. По правую и левую руку он поставил лучших предводителей. Улигач решил не принимать боя и оттянуть схватку до тех пор, пока Иоанн не ударит в спину осажденным. Он приказал отступить на расстояние двух стадий. Опсит пришел в величайшую ярость. Он намеревался быстро расправиться с врагом и жаждал схватки.

– Эй вы, трусливые зайцы! – крикнул он. – Змеиные выкормыши! Куда вы бежите, если вызываете на бой?

Улигач ответил грубой бранью.

– Собачий ты сын, подлейший Опсит, нечестивый ублюдок, богохульник! Как смеешь поднимать меч на божественного императора? Иль позабыл ты царьградское гостеприимство? Так-то держишь свое слово?

Опсит ответил:

– А где ваша совесть, черви дождевые, ящеры проклятые? Не вы ли грабите мир, обращаете народы в рабов? Мы ненавидим вас и вашего кровожадного императора.

Озлились византийцы на эти речи. Порешили они биться немедля. Бросились враги друг на друга, как два стада бешеных буйволов. Великая произошла сеча, трава заалела от крови, крики сотрясали воздух, стоны раненых смешались с хрипом умирающих, вороны и черные коршуны бросились клевать еще теплые глаза, полные слез. Никогда не вернутся домой непрошеные гости, много их полегло костьми на колхидской земле!

Абазги неистово наседали. Злоба застилала им глаза, сгоряча сами лезли на копья. Тяжело вооруженные византийцы рубили их мечами наотмашь. Великий урон причинил Улигач осажденным!

Вдруг пронзительные крики раздались со стороны крепости, словно рушились небеса. Поздно понял Опсит, в чем дело.

– В крепость! – закричал он.

Абазги бросились назад. Наступающие смешались с отступившими. В крепостные ворота проникли и те и другие. У реки ударил Улигач.

– Молите пощады! – кричал он.

Тучи стрел понеслись в ответ, сам он едва успел шмыгнуть под навес. Осердясь, Улигач рубанул подвернувшегося мальчика и велел показать мертвого осажденным. Жестокость эта еще более ожесточила абазгов.

Иоанн повстречал Улигача на поле битвы, окровавленного, с разбитой скулой.

– Собачья порода, – сказал Улигач, – они засели в домах, привязав к себе тех. кто послабее духом. Они дали клятву умереть

– Тем лучше, – сказал Иоанн.

На каждом пороге шло кровопролитие. Абазг, лишившийся рук, пускал в ход зубы. Такого не видывал свет!

– Брат мой, – сказал Улигач, – крепость мы возьмем, но с кем мы двинемся дальше?

Иоанн подумал и сказал:

– Сжечь варваров в их домах!

Тут подбежал Симон-военачальник. Черную принес весть: двадцать отборных воинов из личной охраны Улигача растерзаны на части. Сообщил Симон эту весть и рухнул замертво.

Факельщики стали высекать огонь, в стан абазгов полетели огневые стрелы. Подобные осеннему звездопаду, падали они на головы осажденным.

Баг объявил своим домочадцам:

– Дети мои! Всему приходит конец. Нас пугают огнем. Но разве огонь не чище поганых вражьих стрел?

Потом изо всей мочи закричал своим соседям:

– Э-уй, отважный Суад! Э-уй, бесстрашный Куараш! Баг сгорит, но не выкажет

слабости духа. Э-уй!

И через мгновение точно многоголосое эхо отозвалось со всех сторон:

– Э-уй! Бесстрашные орлы!..

Густые сумерки ложились на землю. Подул легкий Морской ветер. Запылали первые дома. С треском загорался папоротник на кровлях. Огонь, как живой, пополз от дома к дому. Завоеватели увидели людей, которые грозили из пламени, которые презрительно плевались, изрыгая проклятья врагу.

Гул битвы утихал, уступая место грозному огню, довершавшему день неслыханным уничтожением.

Десять огненных стрел обезвредили дети и внуки Бага. Но вот прилетела одиннадцатая, и запылала кровля.

Баг сказал:

– Гана, стань позади всех и рази всякого, кто устрашится.

Огонь охватил стены. Удушливый дым повалил из-под низа.

– Песню! – вскричал Баг и запел громко, неистово, закрыв глаза, усмехаясь кривой улыбкой.

А стрелы все летели – со свистом, оставляя за собой длинные хвосты. Вскоре вся крепость пылала, как огромный жертвенный костер.

Уцелевшие жители уходили в горы, выбирали места для засад. Их провожали зарево пожара и пронзительная прощальная песня.

Так кончилась эта великая ночь, и встало над пепелищем ясное утро нового года – пятьсот пятидесятого года от рождения Христова.

1955

Очень странные люди

И уличены были Ионафан и Саул, а народ вышел правым.

Первая Книга Царств, 14, 41

Миа-ав не поверил. Он решительно отказывался верить.

– Я живу шестьдесят зим, – сказал он, – я ничего похожего не слышал.

Он грыз ногти и часто мигал глазами, потому что был стар. Однако его настойчиво убеждали.

– Мин-ав, вождь племени нашего, – говорила ему, – ты должен знать все. Великая крамола грозит нам, и мы пойдем к погибели, есля не искореним зло.

Мин-ав набросил на себя медвежью шкуру, потому что холодно стало ему, ибо был он стар.

– Не верю, – в который раз повторил он. – Я знаю Да-вима. Я знаю жену его младшую. Звать ее Шава. Она дочь моего друга. Я. знал ее маленькой, такой зубастенькой. Она грызла орехи, подобно белке, и любила сосать ребрышки.

– Великий Мин-ав, – сказали ему почтительно, – дело очень худо. Нельзя допустить, чтобы страшная болезнь разъела тело нашего племени. Нас уничтожат соседи, ибо мы ослабнем.

Мин-ав почесал волосатую грудь и задумался.

– Не верю, – повторил он в задумчивости.

– Они выбросили все куски мяса, – объясняли ему. – Они сказали: «Он был нашим другом, и мы не станем есть его мясо». Он сказал – «Это мясо не пройдет вгорло». Она сказала: «Мы не притронемся к мясу нашего друга, мы не станем грызть его хрящей, мы не станем обгладывать его костей». Он сказал: «Мой друг спасал мне жизнь. Еще вчера – пока не сорвался он с кручи – шли мы в обнимку в поисках дичи…» Да-вим бросил мясо, Шава бросила мясо. Они ушли голодными.

– Не верю, – упорствовал Мин-ав.

Ему терпеливо втолковывали очевидцы (их была целая толпа):

– Да-вим сказал: «Я отказываюсь есть подобных себе. Лучше я сдохну от голода». Шава сказала: «И я, и я не стану осквернять себя мясом подобных мне существ». А мы сказали им: «Где же вы добудете столько мяса в нашей бедной долине? Вы же умрете с голоду! Вы совершаете такое, чего не бывало с тех пор, как светит наше жаркое солнце».

– И что ответил Да-вим? – мрачно спросил вождь.

– Он сказал так: «Лучше мы умрем, подобно всем живым существам, но есть подобных себе больше не будем».

– Что сказали вы?

– Мы сказали им, могучий Мин-ав: «Вот вы восстаете против устоев нашего племени, против божеств наших и вождя нашего. Вот вы навлекаете на себя гнев всего племени. Вот вы подаете молодым пример нечестивости…»

– Хорошо говорили, – похвалил Мин-ав, от злости вырвав клок волос, покрывавших его грудь.

– Мы сказали им: «Вот вы подаете дурной пример, вы поднимаете голос против племени и обрекаете себя на изгнание…»

– Хорошо говорили, – сказал Мин-ав. – Если все обстоит так, как сообщаете вы, они будут изгнаны и они умрут, как звери, в пустынной пустыне.

– Вот и они! – вскричали очевидцы.

В самом Деле, Да-вим и Шава в сопровождении толпы единоплеменников направлялись к тростниковой хижине Мин-ава. Вождь потупился. Он не хотел глядеть в сторону отступников.

– Идите сюда! – грозно сказал он – И станьте здесь, чтобы видели все, а я вас не видел!

Молодой великан Да-вим и его хрупкая жена (младшая и любимая) подошли к вождю и стали там, где он указал. Их окружили многочисленные соплеменники.

Да-вим держал голову слишком высоко, его глаза смотрели куда-то вдаль, поверх песчаных насыпей. Шава держалась чуть сзади него и не спускала глаз с вождя.

Мин-ав спросил их:

– Это правда?

Да-вим молчал.

– Правда! Правда! – загалдели стоявшие вокруг.

– Это правда? – снова спросил вождь молодого Да-вима.

И тот поразил его своим ответом.

– Правда, – сказал он глухо, но твердо. – Мы отказались от мяса моего друга. Я закинул в кусты его берцовую кость. Я схоронил его голову, и никто не отыщет ее.

Мин-ав от удивления ахнул:

– Что я слышу! Что я слышу!

– Он был моим другом, – продолжал Да вим. – Мы шли с ним в обнимку. Мы поклялись беречь друг друга…

– Это хорошо, – сказал вождь.

– Он сказал: «Мы друзья навсегда».

– Это хорошо!

– Я ему сказал: «Я твой навсегда».

– Это тоже хорошо!

– Он сказал мне: «Если рядом появится лев, брошусь на него и обороню тебя…»

– Это очень хорошо! – подтвердил вождь.

– Я сказал ему: «Если змея зашипит, я схвачу ее, но не дам ужалить моего друга».

– Это хорошо!

– Я ощущал его тепло. Я знал его радости. Он знал мое горе. Когда я сломал ногу, он тащил меня с утра до полудня.

– Это хорошо!

– Я плакал, когда он сорвался с кручи и сломал себе шею. Я плакал, когда он остыл.

– Ты плакал? Это хорошо!

– И я не позволил глодать его. Я ударил осмелившегося отделить его голову…

Мин-ав нахмурился.

– Я ранил того, кто хотел унести его ногу…

Мин-ав рвал на груди волосы – молча, исступленно. И все племя смотрело на этих двух мужчин со смешанным чувством любопытства и презрения к молодому отступнику и его женщине.

– Да, мне все известно, – сказал вождь. – Я знаю, что ты дрался точно лев и тебя пришлось связать. Я знаю, что ты плевался от злобы и грозил убийством соплеменникам. Ты переступил черту невозможного. Ты сквернословил…

– Да, – признался молодой великан, – все это было. Теперь ты знаешь все, и я не отступлю от того, что сказал. А сказал я так: никогда во рту моем не будет мяса ни соплеменников, ни врагов. Никогда не прикоснусь я к трупу, чтобы отведать вкус его.

Мин-ав вскочил со своего места. В глазах его горел огонь, и пальцы его сжимались, как при схватке с медведем.

И тут раздался из толпы голос:

– Это она, эта тихая на вид женщина, смутила его сердце!

И все взоры обратились на юную Шаву. И под взглядами разгневанных людей она словно выросла, словно стала тверже и сильнее.

– Говори! – приказал ей вождь.

И она сказала:

– Да, мы дали друг другу слово. Смерть нашего друга открыла глаза. Мы больше никогда не прикоснемся к мясу человека. Мы никогда не станем есть его. Вы можете побить нас камнями и съесть нас, но мы будем стоять на своем.

– Она! – сказал Мин-ав. – Она совратила его!

Толпа загудела и потребовала изгнания отступников, что равносильно смерти. Вождь молчал. Он сопел, все еще надеясь на раскаяние…

– Нет! – твердо произнес Да-вим.

– Нет! – сказала маленькая женщина.

Толпа приумолкла в ожидании решения вождя, мудрого и беспощадного.

– Хорошо, – сказал вождь, – хорошо, что вы не утаили от нас своих неслыханных намерений. Мы изгоним вас, и пропадете вы, словно песчинка, в этой великой пустыне!

– Да, – сказал молодой, – мы это знаем.

Вождь готов был задушить его, лишь бы не слышать его слов.

– Вы плюете на свое племя. Вы осмелились поднять руку на соплеменников своих. Послушайте, что говорят они.

И вождь обвел волосатой рукой огромную толпу мужчин и женщин. И те заорали:

– Вон этих смутьянов!

– На съедение зверям нечестивцев!

– Убить их и устроить пиршество!

– Перегрызть им глотки!

– Я, я перегрызу глотки!

И когда поутих рев, вождь обратился к Да-виму:

– Ты слышал? Ты видел? Вас двое, а против вас – все племя. Вот люди, преисполненные гнева, и они растерзают вас по одному знаку моему. И вы станете прахом. Возможно ли двум идти против многих? Неужели все мы неправы и правы только вы? Нет, правы мы, а вы виноваты перед нами. И только раскаяние спасет вас!

Толпа заревела, как стадо львов, и гнев ее был безудержен. Однако вождь был сильнее толпы, и он сдерживал ее. Да-вим сказал:

– Я готов ко всему. Я отказываюсь от мяса подобных мне. И я уйду в пустыню.

Те же слова повторила маленькая женщина, и старый вождь давался диву, глядя на нее и слушая ее. Видя упорство их и не в силах более сдерживать гнев, он крикнул:

– Уйдите, чтобы не видели вас! Идите и подумайте перед смертью: кто прав – племя или вы?

Шава взяла за руку молодого великана и на глазах онемевшей толпы увела его в сторону пустыни. И ни один человек не поднял голоса в защиту этих нечестивых и очень странных людей.

1961

Перикл на смертном одре[28]

Великий вождь и великий руководитель афинскою народа умирал.

Его большая голова, не раз служившая мишенью для комедиографов, покоилась на жесткой солдатской подушке. Вождь почти не дышал. Не было слышно предсмертных хрипов, и тяжелые веки казались высеченными из мрамора.

Вокруг него в благоговейном молчании сидели первые люди Афин – стратеги и архонты. В углу толпились друзья и почитатели.

Чума скосила всю его семью и почти всех его друзей. Он долго держался, словно утес посреди разбушевавшегося понта. Он пережил очень много смертей. Наконец рухнул и сам.

Перикл умирал медленно. Угасалг точно факел, лишенный масла. Он уходил, словно триера в безбрежный океан: бесшумно, медленно, невозвратно…

– Он уже там, – сказал Алкивиад, – Только бренное тело напоминает о том, что среди нас жил тот, кого звали Периклом. Только дела его взывают к нам о том, чтобы вечно помнили мы о нем и никогда не забывали его.

Так говорил, друг Перикла славный Алкивиад, и он склонил голову в скорбном молчании.

Стратег Клеонт, сын Фания, сказал вполголоса, будто опасался разбудить спящего вождя:

– Ты прав, Алкивиад: дела его превыше дел человеческих. Афины никогда не забудут своего стратега. Его мудрые речи, сказанные с ораторской трибуны, переживут века. Его ум будет мерилом человеческой мудрости и глубины мысли. Его ненависть к врагам будет вдохновлять сынов прекрасных Афин на многие подвиги. Ты прав, Алкивиад: дела его слишком велики, и мы едва ли охватим их одним взглядом. Пройдет время, и люди скажут: «Перикл воплотил в себе все могучее и мудрое, прекрасное и грозное».

Так говорил Клеонт, сын Фания. Он умолк и закрыл лицо руками, дабы не видели окружающие его горючих слез.

Архонт Алкмеон, муж, умудренный жизнью и многочисленными ратными походами, сверх меры влюбленный в Афины, воздал должное гражданскому гению Перикла.

– О первейшие мужи Афин, – сказал он, – великий вождь, ушедший от нас в царство теней, показывал всем нам образцы преданнейшей любви к своему отечеству. Он украсил город свой красотой непреходящей. Он оставил нам Парфенон и Пропилеи. Он подарил нам Одеон – великий очаг прекраснейшего из искусств. Недремлющим оком оберегая Афины от злокозненной Спарты и многих других врагов государства нашего, Перикл не жалел ни денег, ни сил для украшения великих Афин. И эта его деятельность зачтется ему благодарными потомками как лучший памятник гению Перикла. О мужи, мы потеряли великого гражданина. Я молю богов, чтобы услышали нас и даровали нам хотя бы частицу той государственной, политической и военной мудрости, которой обладал наш друг и вождь.

Так говорил Алкмеон. В торжественной тишине его голос звучал столь тихо и столь

---

28 Письмена, найденные абхазским археологом Заканбеем Гунба в местности Скурча, близ реки Кодор, представляют несомненный интерес. Археолог пока что не обнаружил явных следов построек всемирно знаменитой Диоскурии, однако труды его были вознаграждены: из искусственного грота он извлек почти законченный рассказ, один из вариантов которого, очевидно, послужил материалом Плутарху в том месте, где о Перикле пишет «Так говорили они между собою, думая, что он уже потерял сознание и не понимает их. Но Перикл внимательно все это слушал» и так далее. Письмена датируются III веком до рождества Христова.

явственно, что еще тише казалась тишина и еще торжественнее становилась торжественность. Много приятного слышали уши Перикла. Но столь лестного и столь правдивого не было еще высказано. И если бы все это слышал великий вождь, то жизнь его продлилась бы по меньшей мере еще на десять лет. Но Перикл, казалось, лежал бездыханный, и только слабый отсвет былого румянца догорал на щеке его, обращенной к свету.

– Все сказанное здесь – сущая правда, – сказал архонт Сокл, человек молодой годами и весьма отважный в морских схватках. – Девять трофеев воздвиг наш великий Перикл в память своих побед. Он добыл эти победы, вынужденный воевать, принуждаемый к тому действиями врагов наших. Нехотя брался он за меч, но, однажды взявшись, доводил начатое до конца. О мужи многомудрые, Афины не видели и не скоро увидят государственного деятеля, подобного Периклу. Только во времена благословенные Гомера и в те поседевшие времена, когда герои рождались от богов, жили люди, равные Периклу. Но с тех пор не носила земля наша мужа более достойного, чем Перикл.

– Это истинно так, – сказал Алкивиад.

Сокл продолжал, глядя на заострившийся нос Перикла.

– Нет, я не могу думать о том, что нет его меж нами. Афины осиротели, и, кажется, осмелеют наши враги и ринутся на нас. И вот тогда-то мы почувствуем, что нет его, что ушел от нас воитель славнейший. Его военную доблесть едва ли возместим мы все, едва ли мы найдем ему достойную замену. Вот какого потеряли мы стратега и человека.

Здесь, у смертного одра великого Перикла, стратеги и архонты говорили чистосердечно. Они дали волю своим чувствам, и слова их шли из глубины сердец. Так всегда: человека особенно ценят после его смерти.

Алкивиад сказал:

– О мужи афинские, вспомните то, как великий вождь наш, приняв рулевое весло из рук Эфиальта, повел вперед нас и наше государство. Вспомните одно из величайших благодеяний его, которое заключено в замечательнейшем акте передачи всей полноты власти народному собранию. Перикл мог бы сделаться всевластным тираном, мог бы ни с кем не делить своей власти. Он мог бы заставить всех нас склонить головы перед ним, и нам бы ничего не досталось. Народ стал бы послушным оружием в его руках. Но нет, мужи афинские, не пошел он по столь привлекательному на первый взгляд пути, но смело отдал себя на суд народный…

Молчаливый архонт Протид вставил и свое слово. Он сказал:

– Это он, наш вождь, облегчил избрание архонтов из народа, отменив преимущества богатых над бедными. Не это ли великое благодеяние, оказанное Периклом согражданам своим?

– Верно, – согласился Алкивиад, – и это будет записано на золотой таблице, которую народ несомненно выставит у помещения стратегов.

– А деньги неимущим? – продолжал Протид. – Деньги на посещение Одеона? Разве теорикон не является плодом удивительных раздумий величайшего из наших сограждан, который – увы! – бездыханный возлежит на смертном одре?

Сокл сказал:

– Он, этот великий человек, сделал все для того, чтобы облегчить участие народа в управлении государством. Это и есть величайшее деяние Перикла, которое не забудется, доколе светит солнце и сверкают на небе звезды.

И вот, когда, казалось, все закончено, и сказаны все слова, и остается только прикрыть глаза Периклу заботливой рукою, умирающий вздохнул. Он вздохнул. Открыл глаза. И губы его зашевелились.

Присутствовавшие напрягли свой слух. Нет, не умер еще великий сын славных Афин! Он слышал все, что говорилось у его ложа… Перикл обвел взглядом своих друзей, улыбнулся им, как бы благодаря их.

И он заговорил. И все слышали слова его, и все запомнили слова его, и стали те слова

достоянием Афин – всех его граждан. И слова те облетели всю землю, от Столбов на западе до восточных берегов Понта Евксинского и до самых вершин египетских пирамид…

Вот что сказал Перикл, что доподлинно известно:

– Пусть это так, мужи афинские… Пусть совершил я те удивительные деяния, о которых говорилось здесь… Но вы не упомянули о самых наиважнейших… о самых наиважнейших… о делах наиважнейших.

Умирающий перевел дух. Он снова оглядел всех и еще раз улыбнулся горькой улыбкой, как бы говоря: «Вот каков я, вот насколько слаб я – и двух слов не могу высказать». Друзья его еще ниже склонились над ним, чтобы не упустить ни единого слова, сказанного великим Периклом.

И Перикл сказал:

– Если вы и впрямь собираетесь отметить мои заслуги, и если вы когда-нибудь пожелаете сказать о них всенародно… то не забывайте о главнейших… – И он снова перевел дух. – А наиважнейшие заслуги мои суть следующие… Я никогда… никогда, обладая большой властью, никому не завидовал, никого не считал своим непримиримым врагом и ни разу не дал волю гневу своему. Вот моя наиважнейшая и первая заслуга… А вторая наиважнейшая заслуга моя суть следующая… – Умирающий собрал последние силы и с возможной ясностью произнес: – Вы не отыщете в Афинах ни одного человека, кто бы по моей вине надел черный, траурный плащ… Ни одного… Ни одного…

Это было все, что хотел сказать умирающий. Это были его последние высокие слова, воистину достойные великого и мудрого мужа. И, как бы высказав все, что следовало высказать, Перикл закрыл глаза, и через мгновение великий вождь афинян отошел в царство теней.

И уже не его уста, а уста друзей его повторяли Перикловы слова:

– «Вы не отыщете в Афинах ни одного человека, кто бы по моей вине надел черный, траурный плащ… Кто бы по моей вине надел черный, траурный плащ… По моей вине… черный, траурный плащ…»

1961

Послесловие. Пришельцы из далеких эпох

Роман Георгия Гулиа «Фараон Эхнатон» – первая часть исторической трилогии, в которую, помимо этой вещи, вошли романы «Человек из Афин» – о выдающемся политическом деятеле, полководце Древней Греции Перикле и «Сулла» – о знаменитом римском диктаторе. Перед нами взаимосвязанные, но вполне самостоятельные произведения, рисующие жизнь крупнейших государств в разные эпохи рабовладельческого общества. Что же объединяет между собой эти романы? На этот вопрос ответил сам автор в предисловии к своему историческому триптиху, подчеркнув, что «части трилогии связаны между собою хотя бы тем, что главные герои их жили и боролись на великих изломах истории».

В справедливости этих слов читатель может убедиться, познакомившись с романом «Фараон Эхнатон». В самом деле, описанные в нем события, происходившие более трех тысяч лет назад, относятся, пожалуй, к одному из самых острых и напряженных периодов в истории Древнего Египта. Это ощутимо с первых страниц произведения, переносящих нас в тревожную обстановку, которая возникла в новой египетской столице Ахетатоне, при дворе фараона, заставляющих в какой-то мере почувствовать тот «трепет истории», о котором писал Флобер. Автор без промедления вовлекает нас в этот бесконечно далекий от нас мир древней жизни, где кипят политические и человеческие страсти, происходит столкновение разных, непримиримых идей, идет ожесточенная борьба между новым и старым. И, оговоримся сразу, вся эта столь чуждая нам жизнь вдруг становится близкой и понятной, как будто действие происходит где-то в наши дни. Напряженный темп повествования взят с самого начала, в первых же главах завязывается полный драматизма сюжетный узел: в

столице Кеми появляется беглый каторжник, неумолимый мститель, твердо решивший любой ценой устранить фараона.

Сложность обстановки в государстве обрисована автором весьма четко и убедительно. Да, в нелегком положении оказался «верховный глава вселенной» Эхнатон на четырнадцатом году своего правления! Великое и непобедимое Кеми с его трехтысячелетней историей вынуждено терпеть унижения от своих внешних врагов. Неспокойно на границах империи. Во многих местах соседи теснят войска фараона. На севере наступают хетты, главные, самые сильные враги. В горах Ретену движутся к египетским форпостам мятежные азиатские князья. То же самое в Северном Джахи, в Палестине, в Эфиопии, в Ливийской пустыне. Подорвано влияние империи в Азии, где у египтян огромные владения. Вот уже десять лет Кеми не ведет войны, и непокорные народности, племена вышли из повиновения, лезут со всех сторон, угрожают безопасности царства вселенной. Это враги внешние, но есть и враги внутренние. Поводов для ненависти к фараону-реформатору, как мы знаем, предостаточно: Эхнатон сверг традиционного бога египтян Амона, расправился со старой знатью, разорил виднейших людей Кеми, сослал многих в рудники, не пощадил славный город Уасет, бывшую столицу государства. Внутренние враги не дремлют, растет оппозиция. Растут распри и при дворе «земного божества», нет единства среди его царедворцев и сановников. К тому же, наметился разлад в семье фараона. Ахнаяти охладел к жене своей Нефертити, «великая любовь уступила место великому равнодушию». В его сердце поселялась «усталость»…

Не удивительно, что фараон Эхнатон, «царь-еретик», как иногда его называют, привлек внимание романиста. Это одна из сложнейших и противоречивых фигур древнего мира, чья политика и деяния вызвали столь различную оценку историков. В романе Георгия Гулиа этот главный образ наделен большой жизненной и психологической достоверностью, он глубок и многомерен. Мы знакомимся с Эхнатоном, когда он достиг тридцатипятилетнего возраста и подошел к последней черте своего пути, что, конечно, ему неведомо. Это, бесспорно, крупный политический деятель рабовладельческой эпохи, сильная личность, человек, наделенный проницательным умом, государственной мудростью, волей, энергией. Кто мог решиться сокрушить извечное божество Кеми – бога Амона, уничтожить его тысячелетний культ? На это не отважился ни один из трехсот фараонов, правивших до Эхнатона. Вместе с Амоном он сверг множество других богов. Не стало ни Озириса, ни Изиды, ни Тота, ни Атума, ни Анубиса, ни Ра-Гора-Ахути, ни Шу, ни Маат, ни других старых богов и божков Древнего Египта. При этом фараон – реформатор религии разогнал и всех прежних жрецов. Он создал культ единого бога Атона, светозарного отца, животворного и солнцеликого. С этого момента сын Аменхотепа III – Аменхотеп IV стал называть себя Эхнатоном, что означает «Угодный Атону». Таков был этот фараон, которого враги называли «женоподобным ублюдком», «тыквоголовым», «душителем»…

Но что боги… Заслуживает внимания прежде всего миролюбивая политика Эхнатона, которую тот проводил в отличие от своих; предшественников. «Нет более убежденного мирного человека во всем Кеми, чем я», – говорит о себе фараон. И это не просто слова. Они подтверждены делом. Многие годы империя не ведет войн. Эхнатон предложил мир хеттам, эфиопам, ливийцам и другим соседним народам. Несмотря на упорное стремление военачальников во главе с Хоремхебом к войнам, кровопролитию, он настойчиво проводит политику мира. Правитель Кеми замечает, обращаясь к своему брату Семнех-ке-рэ: «Как ни говори, война – это слабость». Произносит он и такие мудрые слова: «…когда я смотрю далеко вперед, то вижу величие Кеми не в войнах. Человек не может драться всю жизнь…» Фараон стойко держится мира, он объявил своих подданных равными другим народам. Согласимся, что такая внешняя политика, проводимая в условиях рабовладельческого строя, которому присущи постоянные кровавые набеги и захватнические войны, грабежи и массовые убийства, не может не вызвать уважения к личности Эхнатона. Впрочем, и сам он, видимо, сознает значительность своей политики. «Скажи мне по совести, дорогой Семнех-ке-рэ, был фараон сильней и дерзновенней меня?» – спрашивает он брата.

Владыка Кеми наделен в романе и другими привлекательными чертами, что, очевидно, не идет вразрез с исторической правдой.. Этот фараон-поэт, слагающий гимны, слывет покровителем и знатоком искусств. Венценосный стихотворец, просвещенный монарх… «..лучшее в Кеми, – говорит он, – ваятели и писцы его, зодчие и музыканты». И обращаясь к ваятелям в мастерской Джехутимеса: «Учтите: вы – фараоны в своем деле… Ни один фараон Кеми, начиная с Хуфу, не может сделать то, что делаете вы». Может быть, Эхнатон в жизни и не мог выразиться столь прямолинейно и несколько на современный лад. Но в главном романист прав: Эхнатон высоко ценил искусство и немало сделал для его развития. В романе отражены и некоторые другие стороны просветительской деятельности Эхнатона, например, его желание упростить, облегчить письмо, создать новое, доступное каждому.

Фараон в известной степени лишен сословных предрассудков. Он «желал видеть вокруг себя поменьше знатных, и побольше умелых и преданных людей». Он мог выдвинуть, назначить на важный пост человека низкого происхождения. Так, вспомним, во главе города Ахетатона он поставил Псару-младшего, безвестного простолюдина, взятого «из вонючей мастерской». Эхнатону не были свойственны, выражаясь современным языком, чувства национального превосходства, великодержавного шовинизма. В своем гимне он называет «славный народ обширного Кеми» после других народов Джали и Та-Нетер, Вавилона и Митанни, арамейцев, шумеров, израильтян, и на недоуменный вопрос Семнех-ке-рэ, почему он так сделал, отвечает: «Если мы – народ великий на самом деле, то почему бы не проявить скромности? И не стать позади своих соседей?» Все это характеризует Эхнатона как правителя, государственного деятеля с передовыми для своего времени взглядами.

Во введении к биографии Александра Македонского Плутарх писал, что «часто какой»нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями и осады городов». Нам кажется, автор следует этому завету древнегреческого историка, создавая из отдельных черточек полнокровный образ своего героя, – стараясь говоря словами того же Плутарха, углубиться в изучение признаков, отражающих душу человека».

Живой фараон, с его достоинствами и недостатками, с его положительными чертами и человеческими слабостями, сквозь невообразимую даль времени, сквозь густую мглу тысячелетий смотрит на нас со страниц романа. Довольно тщедушный на вед человек С тонким, острым, как кинжал, лицом, с характерной удлиненной, гладко выбритой головой на тонкой и высокой, вытянутой шее, с глазами чуть навыкате. Но, главное, разумеется, не в физическом облике болезненного фараона, запечатленном в его хорошо известных скульптурных портретах. Суть – в проникновении в его внутренний мир, психологию.

Монтень отмечал в своих «Опытах» что «великолепна та жизнь, которая даже в наиболее частных своих проявлениях, всегда иво всем безупречна». Что до Эхнатона, то он, конечно же, не безупречен. Далеко не безупречен. И автор показывает это, стараясь нарисовать объективно правдивый образ человека, о котором существует столько разноречивых мнений, суждений и домыслов, легенд.

Эхнатон – человек своей эпохи, своего времени. Он прочно усвоил идеологию рабовладельческого общества. Глубоко верит в незыблемость единой деспотической власти фараона, который все и всех подчиняет себе. Он считает, что народ нужно держать в строгой узде, что необходимы дисциплина, железная дисциплина, безусловное подчинение немху. Он горячо поддержал бы верховного жреца Атона, старика Эйе, который, в разговоре с царицей-матерью Тии, так характеризует механизм государственной власти в Кеми: «На чем основана сила и крепость государства? На беспрекословном повиновении народа. Пока слово фараона священно и железно – прочность государственной власти обеспечена… Воистину уши народа на спине его! Они хорошо слышат палку, когда она на спине его. Хорошо понимают ее язык».

Фараон изрекает сентенции, подобные, например, этой: «Любое государство – большое или малое – нуждается прежде всего в справедливости». Но в жизни не придерживается этого принципа. Он причинил людям немало зла; он жесток, не прощает малейшего

неповиновения. Не задумываясь, приказывает дать сто палочных ударов юноше, отказавшемуся стать воином.

Мы знакомимся с Эхнатоном, когда весь он охвачен тревогой, беспокойством, смутными предчувствиями. Разлад не только во дворце, в Великом Доме, разлад – в его душе. Фараон понимает, что растет число недовольных его политикой, что усиливается оппозиция, до поры до времени притаившаяся и готовая нанести внезапный удар. Он не доверяет лицемерным придворным, сановникам, которые за его спиной плетут сеть интриг. Его величество Наф-Хуру-Ра, как его иногда называют, чувствует себя одиноким, ему не на кого положиться, и это повергает его в смятение. «Я чувствую, как жена моя и дети мои отдаляются от меня. Народ отдаляется от меня. Кеми уходит от меня…» – говорит он главному жрецу дворцового святилища Хет-Атон старому Пенту, которому еще доверяет. Незадолго до своей внезапной кончины фараон, женившись на наложнице Кийе и объявив ее соправительницей, старается лихорадочно навести порядок в государстве, намечает принять ряд решительных мер, расправиться с явными и тайными врагами, со всеми инакомыслящими и недовольными. Он разрабатывает указ, благодаря которому Кеми, как он рассчитывает, превратится в единый военный лагерь, и его власть, власть фараона, усилится неимоверно. «… Дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина! – размышляет Эхнатон. – Как в войсках. Да еще похлеще! Это единственный путь…» И говорит Кийе, с которой делится своими планами: «… Кеми будет словно кулак, оно будет единое, с одним биением сердца, с одним дыханием, с едиными мыслями…»

Чувствуя, что почва уходит из-под ног, фараон решил ввести в стране военную диктатуру, стать диктатором. Но этот указ, который он не успел разработать до конца, представляется скорее актом отчаяния, судорожной попыткой удержаться у власти, стабилизировать любой ценой положение. Ну, а если бы Эхнатон не умер, если бы указ был введен в действие, достиг бы он своей цели, удалось бы ему превратить Кеми в военный лагерь? Вряд ли, ведь его авторитет, власть, влияние были сильно подорваны. Скорее всего, если бы правитель Кеми не скончался от сердечного приступа, он был бы свергнут, убит заговорщиками. Все шло к этому. Но фараон умер естественной, не насильственной смертью, и с его уходом рухнуло все созданное им. Культ светозарного Атона прекратил свое существование. Египтяне вновь обрели своих прежних богов. Новый славный город Ахетатон перестал быть столицей Кеми. Все это произошло в результате гражданской войны, вспыхнувшей после смерти Эхнатона. Ненадолго трон займет красавец Тутанхатон, ставший Тутанхамоном после того, как был низвергнут культ бога Атона. Этот юноша, женатый на дочери Эхнатона Анхесенспаатон (известной также под именем Анхес-ан-Амун), упоминается в романе. Пройдут века. Много веков. Тысячелетия. И в начале 20-х годов нашего столетия, в Долине царей в Египте будет обнаружена гробница Тутанхамона, а в ней всемирно известная теперь мумия зятя (а по мнению некоторых ученых, сына) Эхнатона, умершего в восемнадцатилетнем возрасте. Археологическая сенсация века.

Интересно дан в романе и образ жены фараона Нефертити, чей раскрашенный скульптурный портрет из розового песчаника, такволнующе напоминающий чем-то облик современной женщины, принадлежит к числу самых замечтельных произведений древнеегипетского искусства. О создании этого бюста в мастерской Джехутимеса рассказано в романе довольно подробно. Автору удалось зримо передать обаяние, необыкновенную женственность Неферити, органично сочетавшиеся в ней с умом, проницательностью. В течение всех пятнадцати лет, которые эта «настоящая женщина из женщин», с таинственно-многозначительной улыбкой, как бы предвосхитившей за многие столетия улыбку Джоконды, прожила со своим мужем, она была его единомышленницей и верной помощницей, одобрявшей все его преобразования. Она поддержала культ солнцеликого Атона, была убежденной противницей войн, сторонницей миролюбивой политики, проводимой ее августейшим супругом. Эта очаровательная женщина была наделена поистине мужской выдержкой, волей, силой характера. Как стоически перенесла она разрыв с фараоном, провозглашение соправительницей царской наложницы Кийи! Устранение от

дел Нефертити отрицательно сказалось на положении Эхнатона. Он сам, не ведая того, нанес себе удар. Роль Нефертити при дворе, в решении государственных вопросов была велика. Это отметил старый жрец Эйе: «Я очень сожалею о разрыве с царицей. Нафтита была опорой. Ему. Всем нам…»

И далее Эйе размышляет: «… Нафтита – не проста царица. Она была душою того дела, за которое боролся фараон. То, что Эхнатон оставил Нефертити, предав ее опале, было только на руку его врагам.. укрепило их позиции. Ведь „тыквоголовый“ лишился, в сущности, единственного неподкупного друга, советчика, которому мог всегда доверять.

В романе четко обозначен водораздел: с одной стороны, фараон, его окружение и с другой – враги, недоброжелатели. Образы противников Эхнатона выписаны автором ярко и убедительно. Одна из самых колоритных фигур – Нефтеруф, с появления которого в новой столице на берегах Хапи и начинается повествование. В нем клокочет ненависть к фараону, и для этой ненависти у него есть веские основания. Вспомним, кто такой Нефтеруф. Он из знатного, рода, жившего из поколения в поколение в прежней столице Кеми – великом городе Амона Уасете. Фараон жестоко расправился с его родными и близкими, с ним самим, сослав его в золотые рудники. Нефтеруф говорит красавице Ка-Нефер: «Множество знатных людей испытывало горечь изгнания и вкус каторжной жизни в горах, пустынях и на морях.. Я жил и клялся отомстить». И вот бывшему аристократу из Уасета Усеркаафу (таково его настоящее имя), который, добывая золото для фараона, «ел землю под землей», удалось бежать вместе с девятью каторжниками. Он прибыл в Ахетатон, чтобы вступить в единоборство с фараоном. Натура страстная, цельная, необузданная, могучий, сильный человек, готовый расстаться с жизнью ради осуществления поставленной перед собой цели, – таким предстает Нефтеруф на страницах романа.

Совершенно иным выглядит руководитель оппозиционной партии, действующей в глубоком подполье, глава заговорщиков Шери, потомок великого рода, с которым тоже расправился фараон. Весь он – воплощение выдержки, хладнокровия, полная противоположность пылкому, несдержанному Нефтеруфу. Напомним, что говорит о нем Ка-Нефер: «Шери никогда не пойдет прямо, подставляя грудь вражеским стрелам. Он попытается обойти укрепленные места. Он отыщет тропы, по которым никто не хаживал». К Шери, вождю невидимой, тщательно законспирированной оппозиции, стекаются все противники фараона. Он умело использует то обстоятельство, что против Эхнатона настроены самые различные слои египетского общества: и бывшие аристократы, представители знатных фамилий Уасета, Мен-Нофера, Ей-н-ра, многих из которых фараон сослал на каторгу, и лишенные привилегий, униженные жрецы Амона, и люди из народа – немху, чей удел – нищета и бесправие. Шери осторожен, осмотрителен в своих действиях ипоступках, но он твердо решил не сворачивать с избранного пути, довести дело до конца, его девиз, ставший девизом всех заговорщиков; «Жизнь или смерть!»

Запоминаются и образы рядовых участников заговора против фараона, и прежде всего Ка-Нефер, жены ваятеля Ахтоя, и старика Сеннефера, парасхита, вскрывающего трупы и освобождающего их от внутренностей для последующего бальзамирования Не случайно примкнула Ка-Нефер к оппозиционной партии. Она многим обязана Шери: когда ей было двенадцать лет, ее выкрали вавилонские купцы, и родовитый аристократ спас ее из плена. Но только ли это, только ли чувство благодарности и признательности заставило молодую красивую женщину примкнуть к Шери, к заговорщикам? Очевидно, нет. Ведь мать Ка-Нефер была хеттитка (а хетты – враги Кеми, которые вели постоянные, не прекращавшиеся в веках войны против Египетского государства), отец же – отважный воин из Мен-Нофера, города, навлекшего на себя гнев фараона. Вполне достаточна для того, чтобы Ка-Нефер сознательно присоединилась к заговору. Шери безгранично доверяет Ка-Нефер, понимая, что она не может стать отступницей, предать их общее дело. Жажда мести фараону привела в ряды оппозиций и терпеливого и мудрого старика Сеннефера.

Характерно, что к оппозиционной партии примкнул начальник дворцовой стражи Маху, «живая плеть фараонова», человек жестокий и коварный, чьи руки обагрены кровью

бесчисленных жертв. Он предал Эхнатона, перед которым изливается в льстивых заверениях. Это лишний раз говорит о том, как ненадежно окружение фараона.

Заговор против Эхнатона вырисовывается в основном как заговор опальной египетской знати, думающей прежде всего о собственных интересах, о восстановлении утраченных богатств и привилегий. Сами заговорщики и не скрывают этого. Так, их вождь Шери вполне откровенно заявляет: «Там, где замешан народ, – не жди ничего путного. Речь идет о вполне определенной веши: о беспощадной мести людей знатных и славных, униженных и ославленных фараоном-ублюдком».

Антагонистом фараона представлен в романе главный военачальник – сорокапятилетний Хоремхеб. Он словно живое олицетворение грубой силы, ненасытного честолюбия. Хоремхеб – солдафон. Хоремхеб – война. Ему «чудится Кеми в образе подводного хищника. Кеми, пожирающее соседние земли. Соседние государства. Соседние народы…» Сколько таких хоремхебов, обуреваемых жаждой насилия, жаждой крови, агрессий, экспансий, появлялось на исторической арене в последующие тысячелетия, вплоть до нашего времени! Зловещий образ главного военачальника написан одной краской. Но он исторически и психологически достоверен. Хоремхеб возглавляет во дворце военную партию; бездействие фараона выводит его из себя, он требует войны… Суть этого человека раскрывает царедворец Пенту, который, как мы помним, открыто заявляет ему: «Ты готов ввергнуть страну в военное бедствие, лишь бы удовлетворить собственное честолюбие. Оно у тебя алчное, Хоремхеб! Оно готово проглотить весь мир. Такое оно алчное!» Возможно, умудренный опытом царедворец, привыкший скрывать свои мысли, в действительности не говорил бы так прямо и резко. И все же в словах его заключена беспощадная правда. Ибо именно таков Хоремхеб. Эхнатон давно уже раскусил своего «военного министра». Он говорит о нем Семнех-ке-рэ: «Этому чудовищу мерещится только война… Он спит и видит – войну. Ему безразлично, с кем воевать. Лишь бы воевать. Гнать рекрутов в Азию. Везти им пищу и вино. Убивать и чужих и своих…»

Роман «Фараон Эхнатон» – произведение социальное. Классовые, социальные конфликты и противоречия, присущие рабовладельческому обществу, отображены правдиво и точно. Активным действующим лицом в романе является народ, простые люди, чья жизнь полна страданий и лишений. Течет время, один фараон сменяет другого, а народ остается. И живется ему при любых фараонах, правителях, князьях не сладко. Те, кто возводит новые города, строит прекрасные дворцы, прокладывает дороги, обрабатывает поля, те, кто своим трудом созидает славу и могущество государства Кеми, лишены всего. Разителен контраст между жизнью богатых и бедных, между холодным великолепием дворцовых покоев фараона, роскошными особняками его приближенных, сановников и грязными кварталами Ахетатона, где ютятся горемычные немху. Ваятель Джехутимес размышляет: «О, бог милосердный, какая нищета в этом великом государстве…» Нищета эта и в городе, и в деревне. Бедный родственник лавочника Усерхета, крестьянин Ипи, живущий в хесепе Эмсух, на маленьком клочке земли, с. болью в сердце вопрошает главного царского ваятеля: «Господин великий… скажи мне, ответь мне на мой один вопрос: почему мы, пашущие, возделывающие злаки, вскармливающие скот и посылающие наших детей умирать в далеких походах, должны дохнуть с голода? Почему нет у нас земли, когда мы без нее не можем?» А вспомним, какие бездны горя и жизненных тягот раскрывает перед скульптором Тихотепом его возлюбленная, прекрасная арамеянка Сорру, маленькая женщина, которую Усерхет содержит в своей лавке для услады гостей: «Разве у всех над головой крыша? Я знаю немху, которые живут в норах, подобно крысам. Они зажимают рукою рты – чтобы негромко – и клянут фараона и его семеров… Они – все эти немху, вся эта голодающая чернь – сосут кожу. Сырую кожу вместо мяса. Разве это жизнь?..»

Одна из сильнейших сцен в романе – бунт живущего в трущобах блистательного Ахетатона простолюдина Пепи, который отказывается воевать с хеттами и вообще не желает служить в войсках.

Он восстает не только против непререкаемой воли фараона, но и против смиренной

пассивности бедняков.

Роман Георгия Гулиа интеллектуально насыщен, в нем нашла отражение не только материальная жизнь эпохи, но и жизнь духовная, на его страницах мы встречаем много интересных рассуждений, споров – о внутренней и внешней политике, войне и мире, о человеческой жизни, искусстве: зодчестве, ваянии, живописи, музыке… Герои размышляют, для чего рождается человек. Чтобы воевать, драться или жить мирно? Чтобы разить врагов, проливать свою кровь или, как замечает фараои, чтобы жить, наслаждаться, молиться его величеству Атону, слагать гимны, работать на полях, кормить семью и детей? Идут разговоры о силе военной и силе духовной, справедливости, свободе и свободомыслии, о любви, грамоте и грамотности… Столь же интересны и споры об искусстве. О том, например, можно ли объединять при создании домов, дворцов, храмов таланты, допустим, двух выдающихся зодчих, или нельзя этого делать, поскольку эти зодчие тем и славны, что существуют порознь, каждый сам по себе? О том, должно ли искусство подавлять, поражать человека своими масштабами, должны ли его творцы создавать колоссальные скульптуры, пирамиды, или время гигантских сфинксов прошло, и следует создавать небольшие произведения, которые могли бы украсить жилые комнаты? Надлежит искусству приносить людям только радость или и грусть, боль? Вот что говорит в связи с этим ваятель Тихотеп: «Нет большего оскорбления для искусства и его служителей, чем требовать одной только радости! Более того: искусство создано не для того, чтобы веселить. Кто хочет бездумного веселья – тот его всегда найдет и без искусства. Мы часто несем миру невеселые мысли. Мы будоражим душу, подчас заставляем ее трепетать в страхе. Мы клеймим негодяев! Что же до веселья – его много в лавке уважаемого Усерхета…»

«Фараон Эхнатон» обращен в далекое историческое прошлое, которое трудноразличимо сквозь дым тысячелетий. Но это не просто история, ожившая перед нами в ярких художественных картинах и образах. Многое, о чем поведал писатель, не утратило своею значения, волнует нас и по сей день.

Лион Фейхтвангер говорил: «Я никогда не собирался изображать историю ради нее самой». Георгий Гулиа, так же, как и другие советские исторические романисты, придерживается этого принципа. В его книге деяния и поступки героев, пришельцев из далекой эпохи, их характеры запечатлены на достоверном и тщательно выверенном социально-историческом фоне. Роман просторен, полифоничен. Это не только жизнеописание знаменитого фараона, но и фреска народной жизни. Прав известный советский литературовед и критик Ю. Барабаш, назвавший историческое произведение Г. Гулиа романом политическим. «… Перед нами, – писал он, – серьезное социальное полотно, реалистически воссоздающее картины острейшей политической борьбы, в которой, кроме фараона, жречества и рабовладельческой верхушки, так или иначе принимают участие и широкие слои населения тогдашнего Египта» Это, кстати, в не меньшей степени относится и к двум последующим частям трилогии – романам «Человек из Афин» и «Сулла».

Стиль, композиция, структура «Фараона Эхнатона» – глубоко современны. Сюжет приковывает внимание читателя с самого начала, первые главы-сцены посвящены отдельным персонажам – Нефтеруфу, Ка-Нефер, Эхнатону, Нефертити, Хоремхебу и другим. Здесь, на этих страницах, происходит наше первое знакомство с основными героями и здесь же завязывается острый сюжетный узел – заговор против фараона-еретика. Действие естественно и свободна, будто подчиняясь не воле автора, а логике повествования, логике самой изображаемой жизни, переносится из дома красавицы Ка-Нефер во дворец фараона, из дворца в лавку Усерхета, то в трущобы столбцы Кеми, то в скульптурную мастерскую скульптора Джехутимеса, то в пекарню, то в парк южного дворца, то в дом старого царедворца Эйе, то в жалкую хижину парасхита Сеннефера… Эпизоды, в которых кипят политические страсти, споры, обсуждаются дела государственной важности, перемежаются любовными сценами. Речь действующих лиц, пожалуй, порой несколько осовременена, но индивидуальна, полна экспрессии. И, разумеется, нельзя не отметить прекрасное знание автором материальной культуры эпохи, быта, свидетельство чего – множества

запоминающихся деталей тогдашней жизни.

Авторскому стилю присущи краткие усеченные фразы, который вносят в повествование стремительность, порывистость, напряженность, вполне соответствующие динамике сюжета.

Органично примыкают к роману «Фараон Эхнатон» помещенные в книге исторические рассказы. Они могли возникнуть на основе романа, вернее, на основе материалов, использованных для написания большого полотна. Так, по-видимому, родились рассказы «Тайна пирамиды Сехемхета», «Заветное слово Рамессу Великого». Но бывает инаоборот: исторический рассказ, отображенный эпизод прошлого может послужить «зерном» будущего романа. Так было с новеллой Георгия Гулиа «Перикл на смертном одре». В дальнейшем из этого маленького произведения вырос роман «Человек из Афин».

Вошедшие в книгу рассказы Г. Гулиа посвящены разным эпохам, разным историческим формациям: первобытное общество, рабовладельческое – Древний Египет, Древняя Греция, Абхазия начала нашей эры, феодальная Франция… Герой рассказа «Тайна пирамиды Сехемхета» – фараон, носивший это имя, замечателен тем, что, вняв советам мудрейшего Ненеби, отказался от погребения в дорогостоящей пирамиде и повелел главному жрецу храма Ра предать после смерти свое тело, не подвергнутое бальзамированию, волнам Хапи. Сехемхет, отваживавшийся на столь поразительный для своего времени шаг, фараон-ниспровергатель Эхнатон – такие необычные исторические личности интересны писателю в первую очередь. Другой рассказ – «Заветное слово Рамессу Великого» носит разоблачительный характер. Фараон, открывающий перед смертью своему сыну Мернептаху истину, которая заключается в том, что он, фараон, проиграл битву при Кодшу, в то время как всегда считалось, что одержал в ней блистательную победу, за что его превозносили и прославляли, как бы подтверждает тем самым, что деспотическая власть неотделима от лжи.

Симпатией к свободолюбивым и гордым древним абасгам, жившим в начале нашей эры на территории нынешней Абхазии, пронизан рассказ «Смерть святого Симона Кананита».

В этом рассказе ощутимы и ирония, лукавая усмешка, вообще свойственные творчеству Георгия Гулиа в целом.

Писатель снискал популярность не только историческими произведениями, но, прежде всего, своими романами, повестями, рассказами, новеллами, посвященными современности, нашей, советской действительности.

Начало известности Георгия Гулиа положила публикация в 1948 году его повести «Весна в Сакене» в журнале «Новый мир», который редактировал тогда Константин Симонов. Я хорошо помню, какое впечатление произвела на меня и, наверно, на многих эта вещь, написанная жившим в Абхазии литератором. Повесть, полная проникновенного лиризма, свежести, открыла перед читателем мир абхазской деревни и ее людей, заботы и устремления сельчан. Прочитав ее, невозможно было не полюбить горы и тех, кто трудится на их предоблачных склонах, В ту пору Георгий Гулиа был уже вполне зрелым человеком. Окончив Закавказский институт инженеров путей сообщения, он работал по своей специальности, участвовал в строительстве Черноморской железной дороги. Еще в начале 30-х годов написал и опубликовал повести «На скате», «Месть», «Рассказы у костра». Литературные способности сочетались у него с дарованием художника. Он занимался живописью, графикой, и небезуспешно, о чем свидетельствует присвоенное ему в 1943 году звание заслуженного деятеля искусств Грузии. Но вот настал день, когда Г. Гулиа решил заняться исключительно литературной работой. Сам он об этом рассказывает так:

«И я пустился по селам, по городам и долам. Писал малюсенькие заметки и подвальные статьи, рецензии и репортерские зарисовки. Делал все, что положено журналисту. Весной 1947 года как-то под звуки радиолы я единым духом продиктовал стенографистке повесть. Через неделю начал переписывать ее от руки и отдал машинистке. Свежие листы читали отец и сестра, а по вечерам – Елена Андреевна (*мать Георгия Гулиа. – О. Д.).* Наконец печатание было закончено, и отец пробежал последнюю страницу.

За обедом я увидел бутылку вина и коньяк.

– За твою повесть! – сказал отец.

Я понял, что не будет ее ругать. Сестра была в восторге, мать присоединилась к ней…

Отец продолжал:

– Ты назвал ее «Люди в Сакене». А между тем это о весне. О людях и весне. За «Весну в Сакене»!»

Отец – это Дмитрий Иосифович Гулиа, народный поэт Абхазии, основоположник абхазской литературы, оказавший большое влияние иа творческое становление своего сына. Дмитрий Гулиа – человек необыкновенный по своему яркому и многогранному таланту. Перед такими людьми можно лишь преклоняться. Он был одним из создателей абхазской письменности, лингвистом, филологом, поэтом, прозаиком, общественным деятелем. Георгий Гулиа рассказал о своем отце, о его удивительной судьбе в книге, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Он рассказал о том, как сын абхазского крестьянина, Дмитрий Гулиа еще в детстве познал трагедию махаджирства: турецкие солдаты-аскеры сожгли дом его родителей и заставили всю семью отправиться в Турцию, но, к счастью, изгнание оказалось непродолжительным. О том, как способный и любознательный мальчик учился в Сухумской горской школе и потом вместе со смотрителем школы Константином Мачавариани выпустил первую абхазскую азбуку. О том, как Дмитрий Гулиа учительствовал в абхазских, греческих и русских школах на своей родине, как в 1912 году вышел его первый сборник стихотворений. О том, как рождались произведения его отца: книги стихов и поэм, повесть «Под чужим небом» и роман «Камачич», «История Абхазии» и разнообразные лингвистические, фольклорные труды; рассказал о работе Д. Гулиа-переводчика. Словом, обо всей этой большой, подвижнической, наполненной неустанным трудом жизни – от рождения в горном селе и до смерти патриарха абхазской советской литературы 7 апреля 1960 года на даче в поселке Агудзера, неподалеку, от Сухуми, где слышится, будто отзвуки вечной жизни, неумолчный шум морского прибоя.

Уже тридцать с лишним лет Георгий Гулиа живет в Москве, никогда, впрочем, не порывая связей с Абхазией.

Здесь им создана трилогия «Друзья из Сакена», в которую помимо начальной повести, о которой уже говорилось, вошли повести «Добрый город», «Кама», повесть «Каштановый дом», написанная в форме записок учительницы, выпускницы университета, приехавшей работать в абхазское селение Дубовая роща, где ее ждет много нового, необычного, иная жизнь со своими традициями, интересные, самобытные люди; и роман «Пока вращается земля…», посвященный ученым; его главный герой – вирусолог Иконников работает в Институте экспериментальной патологии и терапии в Сухуми. В романе ставятся важные и злободневные вопросы морали, этики человеческих взаимоотношений, долга ученого, научного работника, затрагиваются и проблемы современного искусства и литературы.

Свой путь к исторической прозе Георгий Гулиа начал с освоения прошлого своей родной Абхазии. Это логично и закономерно. Его повесть «Черные гости» и роман «Водоворот», получившие высокую оценку ученых-историков и вызвавшие живой интерес у читателей, воскрешают драматические события жизни свободолюбивого абхазского народа в XIX веке, когда происходили войны между Россией и Турцией, шло завоевание Кавказа русскими армиями, когда абхазы, как и другие кавказские народности, оказались как бы в эпицентре острейших политических, социальных и национальных противоречий.

Итогом большой и кропотливой многолетней работы стала историческая трилогия Георгия Гулиа «Фараон Эхнатон», «Человек из Афин», «Сулла», за которой последовали новые историко-биографические произведения – книги о великом поэте восточного средневековья Омаре Хайяме, о Михаиле Лермонтове, Александре Блоке, а также роман о викингах «Сага о Кари, сыне Гуннара»

Георгий Гулиа, абхазец по рождению, пишущий на русском языке, известен также как блестящий рассказчик, создатель небольших, пересыпанных блестками юмора, остроумия рассказов и новелл, вошедших в многочисленные сборники его «малой прозы». Он продолжает писать о своей родине Абхазии, жизни земляков, работает над новыми

историческими произведениями.

Читать Георгия Гулиа легко и интересно. Видный советский литературовед Александр Дымшиц, хорошо знавший его творчестве, опубликовавший о нем ряд статей, выпустивший критико-биографический очерк, писал: «Книги Гулиа увлекательны, ведь этот писатель умеет втягивать нас, его читателей в живой процесс познания жизни и людей. Он сталкивает нас с событиями, которые открываются нам впервые, он знакомит нас с людьми, которые творят жизнь.»

Процесс познания действительности и людей бесконечен… Георгий Гулиа помогает нам постигать мир современников и тех, кто существовал до нас сравнительно недавно или очень давно, в седой древности… Звенья жизни рода человеческого взаимосвязаны и неразъединимы. Нужно знать, как жили, боролись и страдали, вершили зло или творили добро люди прошлых эпох. Познавая их, мы познаем себя.

Олег Добровольский